

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПО  
СЛАВЯНОВЕДЕНИЮ  
И  
БАЛКАНИСТИКЕ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ И БАЛКАНИСТИКИ

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПО  
СЛАВЯНОВЕДЕНИЮ  
И  
БАЛКАНИСТИКЕ

Ответственный редактор  
В. А. ДЬЯКОВ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»  
МОСКВА 1984

и-90

БИБЛИОБИБЛИОКСЕММА  
ИХ-ТА РУССКАЯ ИЗДАНИЯ  
ИХ-ТА СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ ИЗ СССР

78996

Книга посвящена истории изучения стран Центральной и Юго-Восточной Европы в дореволюционной, советской и отчасти зарубежной историографии. В ней рассматриваются проблемы становления советской славистики, а также вопросы формирования и развития славяноведения в России с XVI до начала XX в. Статьи сборника опираются на широкий круг опубликованных и архивных источников, впервые вводимых в научный оборот. Рассчитано на историков, славистов и читателей, интересующихся вопросами славистики.

Рецензенты

В. А. Дунаевский, С. Б. Бернштейн

Редакционная коллегия

А. Н. Горяинов, М. Ю. Досталь,  
В. А. Дьяков, А. С. Мыльников, М. А. Робинсон

и 0506000000—307  
042(02)-84 47-84-III

© Издательство «Наука», 1984 г.

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Изучение народов Центральной и Юго-Восточной Европы имеет в нашей стране богатые традиции. Особенно быстрыми темпами оно развивалось после 1945 г. На протяжении первых послевоенных десятилетий были опубликованы как обобщающие труды, так и конкретные исследования по славяноведению и балканистике, чаще стали появляться специальные историографические работы<sup>1</sup>. 70-е и начало 80-х годов ознаменовались в данной области не только дальнейшим количественным ростом, но и существенными качественными сдвигами, которые нашли свое выражение в весьма содержательных и основанных на первоисточниках исследованиях, подготовленных С. В. Смирновым, Л. П. Лаптевой, Ю. Д. Беляевой, И. С. Достян<sup>2</sup>. Появились чрезвычайно полезные для исследователей суммирующие весь накопленный ранее фактический материал биобиблиографические словари: дореволюционных славистов; историков-славистов СССР; восточнославянских языковедов дореволюционного и советского периодов<sup>3</sup>. Наконец, была основана международная серия «Исследования по истории мировой славистики». Открыл серию вышедший в СССР принципиально важный сборник статей советских и зарубежных авторов об основных методологических проблемах

---

<sup>1</sup> См., в частности: Советское славяноведение. Краткий обзор литературы 1945—1963 гг./Под ред. В. Д. Королюка, Н. И. Толстого, И. А. Хренова, И. М. Шептуниова, С. А. Шерламиновой. М., 1963. 84 с.; статьи С. Б. Бернштейна, В. И. Злыднева, В. Д. Королюка в журнале «Советское славяноведение» (1967, № 5).

<sup>2</sup> Смирнов С. В. Первые русские слависты в Чехии.— В кн.: Тр. по русской и славянской филологии Тартуского гос. ун-та. Тарту, 1973, с. 47—176; Лаптева Л. П. Русская историография гуситского движения (40-е годы XIX в.—1917 г.). М., 1978. 340 с.; Беляева Ю. Д. Литературы народов Югославии в России. Восприятие, изучение, оценка. Последняя четверть XIX — начало XX в. М., 1979. 280 с.; Достян И. С. Русская общественная мысль и балканские народы. От Радищева до декабристов. М., 1980. 328 с.

<sup>3</sup> Славяноведение в дореволюционной России/Биобиблиографический словарь. М., 1979. 409 с.; Историки-слависты СССР/Биобиблиографический словарь-справочник. М., 1981. 205 с.; Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды/Биобиблиографический словарь. Минск, 1976,

истории славистики<sup>4</sup>. Затем появились сборники, подготовленные на международной основе, но изданные в Чехословакии и Болгарии, они включают и работы о русской дореволюционной славистике<sup>5</sup>. Кроме этого, в серии «Балканские исследования» вышел специальный том об изучении балканистики в СССР<sup>6</sup>.

В 1981 г. увидел свет первый сборник историографических исследований, подготовленный Институтом славяноведения и балканистики АН СССР. Он охватывал как историческую, так и филологическую проблематику, как дореволюционный, так и советский этапы изучения отечественной наукой истории, культуры, языков славянских и балканских народов<sup>7</sup>. В сборнике было опубликовано 15 статей, сгруппированных в двух разделах: «Славяноведение и балканистика в СССР»; «Изучение народов Центральной и Юго-Восточной Европы в дореволюционной России».

Настоящее издание является продолжением названного сборника и ставит перед собой те же задачи: изучение слабо разработанных историографических проблем славяноведения и балканистики, накопление фактического материала и оценочных суждений для обобщающих трудов, необходимость которых давно уже ощущается в отечественной и зарубежной науке. По сравнению со сборником 1981 г. настоящее издание расширилось за счет освещения методологических вопросов истории славистики (статья М. Ю. Досталь), а также за счет раздела «Публикации», в котором печатается не публиковавшаяся ранее лекция идеолога русского народничества П. Л. Лаврова «Роль славян в истории мысли». Дальнейшая разработка недостаточно изученных вопросов историографии славяноведения и балканистики будет продолжена в последующих сборниках аналогичного содержания.

#### Редактория

т. 1. 319 с.; 1977, т. 2. 350 с.; 1978, т. 3. 384 с.

<sup>4</sup> Методологические проблемы истории славистики. М., 1978. 339 с.

<sup>5</sup> *Stúdie z dejín svetovej slavistiky do polovice 19. storočia*. Bratislava, 1978. 511 s.; История на славистиката от края на XIX и началото на XX век. София, 1981. 272 с. В международной серии «Исследования по истории мировой ставистики» предполагается издание еще трех сборников, посвященных второй половине XIX в. (Югославия), межвоенному периоду (Польша) и славистике в неславянских странах (Австрия).

<sup>6</sup> Основные проблемы балканистики в СССР/Балканские исследования. М., 1979, в. 5. 283 с.

<sup>7</sup> Исследования по историографии славяноведения и балканистики. М., 1981. 302 с.

# СТАТЬИ

---

А. С. МЫЛЬНИКОВ

## ОБ ИСТОКАХ СТАНОВЛЕНИЯ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ В РОССИИ

(К вопросу об изучении «предыстории» славистики)

Вопрос о начале формирования славистики относится к числу ключевых в историографии отечественного и зарубежного славяноведения. Издавна, во всяком случае с середины XIX в., он привлекал к себе внимание многих ученых, обращавшихся к истории науки о славянских народах. С тех пор накоплен значительный материал, который позволяет с достаточной определенностью утверждать, что возникновение в 1830-х годах университетской славистики было не исходным рубежом, а очередным и притом отнюдь не первым шагом на пути оформления комплекса славистических дисциплин. Этой точки зрения придерживались в свое время А. А. Кочубинский, А. Н. Пыпин, К. Я. Грот и многие другие исследователи конца XIX — начала XX в. Так, рассматривая развитие славянской филологии, И. В. Ягич писал: «Столетия работали на отдельных частях, пока не появилось сознание внутреннего единства, клонящегося к одной цели. Не ранее конца XVIII столетия стал обрисовываться полный объем славянской филологии как самостоятельной науки<sup>1</sup>. Проведенные в последние годы исследования позволяют связывать процесс становления в России славистики как научного комплекса с деятельностью В. Н. Татищева, М. В. Ломоносова и других ученых XVIII в. Уместно заметить, что процесс этот протекал, по-видимому, во многом синхронно с аналогичным процессом в зарубежных странах. Например, формирование основ немецкой славистики В. Цайль и Г. Порт относят тоже к середине XVIII в.<sup>2</sup>

Однако только констатацией отмеченного факта намеченная проблема не исчерпывается. Очевидно, целенаправленный интерес в России XVIII в. к языкам, истории и культуре зарубежных славянских народов появился не на пустом месте и не внезапно, а был составной частью проходивших здесь глубоких общественно-культурных пе-

ремен, развивался параллельно с осознанием культурно-языковой близости с этими народами или, по меньшей мере, с некоторыми из них (прежде всего с балканскими славянами).

Это обстоятельство, отмеченное уже первыми историками славистики (наиболее глубоко А. А. Кочубинским и К. Я. Гротом), истолковывалось применительно к рассматриваемой теме по-разному. Так, И. Первольф, а в еще большей степени И. В. Ягич склонны были начинать историю славянских изучений с эпохи создания славянской письменности, рассматривая этот процесс как плавную эволюцию от частного к общему. Наоборот, А. Н. Пычин чрезмерно категорически противопоставлял «настоящее славяноведение» XIX в. предшествующему времени, а «послепетровский» период «допетровскому», когда, по его словам, изучение в России славянства «было или отрывочно и случайно, или же не имело никакого строгого научного значения»<sup>3</sup>. Нам уже приходилось отмечать, что в основе такого подхода, который разделялся впоследствии многими другими учеными<sup>4</sup>, лежала недооценка факта исторического развития научного познания в его общественно-культурной обусловленности. Тем не менее, представление о резком размежевании между XVIII и XIX столетиями оказалось весьма живучим. Оно порой воспринимается не только как разность эпох, но и как буквальный хронологический рубеж.

Между тем, накопленные к настоящему времени в трудах Д. С. Лихачева, М. Н. Тихомирова, Г. Н. Моисеевой, А. Н. Робинсона и других советских историков, литератороведов и историков науки наблюдения и выводы убедительно свидетельствуют о неправомерности резкого противопоставления этих двух веков русской истории. Они показывают, что эпоха петровских преобразований первой трети XVIII в., при всей ее значимости, была не началом, а закономерным продолжением и апогеем процесса секуляризации культуры и роста значения человеческой личности, подготовленного социально-экономическими и политическими сдвигами предшествующих десятилетий<sup>5</sup>. Не случайно В. И. Ленин подчеркивал, что «новый период русской истории» начинается «примерно с 17 века»<sup>6</sup>. Все это имеет непосредственное отношение и к проблеме историков славистики, которая была одним из компонентов складывавшейся национальной культуры и составной частью формировался национального сознания русского об-

щества эпохи начавшегося перехода от культуры средневековья к культуре нового времени<sup>7</sup>.

Постановка вопроса об истоках отечественного славяноведения, если не сводить ее к формальным спорам хронологического порядка, должна учитывать два существенных обстоятельства. С одной стороны, наличие качественного различия между научным славистическим комплексом и предшествовавшим ему характером и уровнем знаний о славянах; с другой стороны, существование взаимосвязей между этими двумя этапами, из которых более ранний может быть определен как предыстория славистики. Обе отмеченные стороны оказываются диалектически взаимозависимыми. Это позволяет ставить вопрос об осмыслиении процесса становления науки о славянах как развивающейся системы.

Такой подход был бы оправдан уже и в том случае, если бы мы ограничили объем понятия славистики только филологией, которая, по словам защитника именно такой трактовки И. В. Ягича, «представляет сложный организм различных предметов, сплошь связанных в одно целое»<sup>8</sup>. Но нас интересует не столько зарождение в России частных знаний о языке, истории и культуре некоторых зарубежных славянских народов, сколько процесс формирования основ славистики в целом, как комплекса взаимосвязанных наук. В этом смысле и с точки зрения включаемых ею областей знания (язык, история и культура) и с точки зрения ареала исследования (отдельные славянские народы и их взаимосвязи как между собой, так и с другими народами) славистика интердисциплинарна<sup>9</sup>. И эта наиболее характерная ее черта должна лежать в основе методики изучения ее истории.

Таким образом, возникают следующие вопросы: как, когда и в каких формах появился, развивался и реализовывался в России специальный и осознанный интерес к относительно широкому и, по представлениям своего времени, научному истолкованию славянской темы; какие факторы влияли на это развитие; в каком отношении к нему находилась европейская наука того времени, в частности, труды И. Г. Спарвенфельда, Г. Лейбница, Г. В. Лудольфа и других зарубежных ученых, обратившихся в конце XVII — начале XVIII в. к славянской тематике. Насколько нам известно, этот круг вопросов до сих пор комплексного освещения не получал. Их постановке и рассмотрению и посвящена предлагаемая статья<sup>10</sup>.

\* \* \*

Прежде чем перейти к вопросу, как, когда, в какой форме прослеживаются в России первые сознательные и, что важно, устойчивые, основанные на определенных теоретических посылках попытки освещения славянской темы, необходимо подчеркнуть, что оформление отдельных компонентов славистического комплекса происходило разновременно. Так было не только в России, но и в других славянских и неславянских странах, где приблизительно в ту же эпоху происходило складывание основ славяноведения. Некоторые компоненты (например, языковедческие) могли возникать и действительно возникали намного раньше оформления славистического комплекса и его осознания в качестве самостоятельной сферы знания. Поэтому до определенного времени такие компоненты славистики, не составляя еще системы, которой лишь предстояло возникнуть в будущем, развивались в рамках иных, предшествовавших ей научных структур<sup>11</sup>.

На стыке двух различных подходов к рассматриваемому предмету и лежала грань между собственно «историей» славистики и тем, что выше названо «предысторией». Но как раз потому, что эволюция отдельных звеньев славянских изучений протекала в отношении друг друга не синхронно, сама по себе грань между «историей» и «предысторией» славистики в хронологическом смысле не была единовременной, однозначной. В то время, как одни элементы уже получали истолкование в духе научного рационализма просветительского типа, другие продолжали осмысляться в рамках феодально-средневековых традиций. При этом зачастую происходили столь причудливые переплетения между тем и другим, что разграничительную линию провести не только сложно, но порой и невозможно. Показательна с этой точки зрения баснословная этимология названий отдельных славянских народов или отдельных географических наименований. Так, М. Н. Тихомиров ссылался на статью «О истории, еже о начале Руския земли и создании Новаграда и откуду влечашеся род словенских князей», в которой говорится, что впуком легендарного Ноя был Скиф, от имени которого прозвались Скифы, «им же имена суть: первый Словен, второй Рус, третий Болгар, четвертый Коман, пятый Истер» (в некоторых списках Ильмер)... Далее рассказывается, что Александр Македонский «ссыпался» с русскими князьями письмами,

причём приводится текст письма Александра «храбросердному народу словенскому»<sup>12</sup>.

Можно, разумеется, высмеивать или презрительно третировать подобные умозаключения как несостоительные. Однако при внимательном рассмотрении оказывается, что они вовсе не были исключительной привилегией русской историографии XVII в. Например, сюжет о даровании грамоты Александром Македонским был, по указанию А. Н. Пыпина, заимствован из «Хроники всего мира» польского историка XVI в. Бельского<sup>13</sup>. Известные в разных вариациях и в древнерусской и в зарубежной славянской среде предшествующих столетий, эти представления частично перекочевали и в XVIII в. М. Н. Тихомиров справедливо напоминал о произвольном этимологизировании петербургским акад. Г. Байером в первой половине XVIII в., например, наименования Москвы от названия «мужской монастырь».

Число подобных примеров можно легко увеличить. Ограничимся лишь двумя. Так, баснословными постройками буквально пронизаны «Три рассуждения о трех главнейших древностях российских» В. К. Тредиаковского, который, горячо полемизируя с норманистом Байером, прибегал к не менее фантастическим домыслам, стремясь обосновать древность славянских народов. В частности, он доказывал славянские корни скифов и сарматов (что было свойственно для многих русских и зарубежных авторов XVI—XVII вв.), производя отсюда наименования не только Германии (холмы — Холмания — Халмания — Алмания), но даже и Европы («от словенского Яропа или Яроба, т. е. хлеб яровой»). Касаясь «первоначалия Россов», В. К. Тредиаковский писал: «Разные наименования россиянам суть следующие. По первородству скифы они и сарматы. По праотцу Россы: от сего и Россаны, и Россаланы, и Ругии, и Руты, и Рассы, и Руссианы, и Русаны, и Рутены, и Рутсены, и Руцции, и напоследок Россиане. По языку сперва словене; а потом по славным делам Славяне, обще со всеми славянами, а особенно с болгарами»<sup>14</sup>. Что же касается связей со славянами Александра Македонского, то этот, довольно распространенный в среде не только восточных, но также западных славян сюжет оставался привлекательным долгое время. Например, о грамоте, якобы дарованной Александром Македонским славянам, с сообщением, что она «по ныне цела хранится в Праге в одной церкви», говорилось в статье «О древности и превосходстве славянского языка и о способе возвысить оный до первоначального его величия», помещенной в 1786 г.

в журнале П. И. Богдановича «Новый Санкт-Петербургский вестник»<sup>15</sup>.

Если отвлечься от круга привлекавшихся в XVII и в XVIII вв. источников и от стилевых различий, то принципиально разница трактовки названных тем в XVII и в XVIII вв. была незначительной. Добавим, что подобное этимологизирование и тогда и даже позднее, в первой половине XIX в., было достаточно распространено не только в русской, по и в зарубежной науке. За ним, по-видимому, стояла некая стадиальная общность научного мышления. Приведенные примеры показывают, что в реальной действительности соприкосновение «истории» и «предыстории» славистики приобретало не механический, а диалектический, своего рода волнообразный характер. Переход здесь в основном завершался тогда, когда на базе постепенного накопления качественных изменений во всех элементах формирующаяся система славянских исследований приобретала новое качество.

Рассматривая этот процесс, необходимо принимать во внимание следующее. Во-первых, «предыстория» славистики не была чем-то одномерным и неизменным. Она обладала внутренним развитием, которое само по себе заслуживало бы периодизации, что в данном случае не входит в нашу задачу. Отметим лишь, что завершающая фаза «предыстории» славистики может одновременно с полным основанием трактоваться как непосредственный пролог ее «истории».

Во-вторых, и это хотелось бы особо подчеркнуть, «предысторию» славистики неправомерно рассматривать в качестве некоего донаучного этапа. Не касаясь великого наследия Кирилла и Мефодия, творчески усвоенного древнерусской культурой, летописная, лексикографическая, литературно-переводческая деятельность старорусских книжников, обладая идеейной целеустремленностью, вполне отвечала уровню научного познания своей эпохи, а XVI век, например, был в России, по замечанию Л. С. Ковтун, «веком активной филологической работы»<sup>16</sup>. Иной вопрос, что деятельность эта отражала представления о славянском мире и о месте в ней Русского государства способами, свойственными культуре феодального типа, когда и классификация отраслей запада и их структура были иными по сравнению с новым временем. Наметившаяся перестройка в этой области и знаменовала вступление «предыстории» славистики в последнюю, завершающую фазу.

Первые симптомы этой перестройки спорадически проявляются во второй половине XVI в., неуклонно развиваясь и усиливаясь к середине следующего столетия. Они прослеживаются в содержании ряда лексикографических, исторических и иных памятников письменности, создававшихся, переводившихся или обрабатывавшихся в русской среде этого периода.

Подобные произведения, не утратившие еще черт семантического синкретизма, свойственного средневековому мышлению, начинают, однако, демонстрировать критический подход к текстам и зарождавшуюся дифференциацию отраслей знания, на первых шагах — в форме выделения отдельных тематических комплексов. Один из таких комплексов, появившихся уже в XVI в., был, по удачному выражению Л. С. Ковтун, связан с «подготовкой филологических основ книгопечатания». И неудивительно, что появление в Москве типографского дела знаменовало определенный рубеж на путях такого развития, отразившего тесные контакты русской культуры с братскими культурами украинского и белорусского народов.

В первую очередь следует назвать Ивана Федорова, которому принадлежит создание первого у восточных славян печатного «Букваря» (Львов, 1574). Грандиозным для своего времени предприятием был изданный Иваном Федоровым в 1581 г. в Остроге полный текст славянской Библии. Именно в этом украинском городе в середине 1570-х годов была создана греко-славяно-латинская школа (или «академия»), которую И. Н. Голенищев-Кутузов назвал «предтечей всех российских университетов»<sup>17</sup>. Прибытие в Острог знаменитого московского первопечатника, жившего к тому времени в Великом княжестве Литовском, было вполне закономерным и психологически обоснованным шагом. Подготовка острожской Библии велась на высоком для своего времени научном уровне. В ней участвовали члены местного ученого-литературного кружка, которому покровительствовал князь Константин Острожский, ревнитель западнопорусского православия, не чуждый в то же время и симпатий к западноевропейской культуре.

Примечательно, что острожское издание стояло в зависимости от предшествующего опыта, накопленного как в восточнославянской, так отчасти и в западноевропейской культурной среде. В основу текста Библии был положен ее

церковнославянский перевод, завершенный к концу XV в. в Новгороде под руководством архиепископа Геннадия. Вместе с тем, при подготовке текста острожского издания производились поиски и сличение других славянских списков — «зводов добре исправленных» — в сербских, болгарских и греческих монастырях, а также в Константиполе, Италии и на Крите. Подготовкой текста к печати руководили Тимофей Михайлович и Герасим Смотрицкий. Последнему принадлежало второе предисловие к Библии, написанное прозой и стихами. Острожская книга, превосходно изданная Иваном Фёдоровым, является ценнейшим памятником славянской лингвистики и занимает важное место в истории книги и культуры славянских народов<sup>18</sup>. Она может рассматриваться как крупный шаг на пути становления славянской археографии и критики текста. А кропотливая и для того периода серьезно поставленная филологическая деятельность позволяет рассматривать Острог 70—80-х годов XVI в. как важнейший славянский научно-культурный центр.

Едва ли случайно, что именно здесь была подготовлена первая печатная грамматика, изданная в виленской типографии Мамоничей в 1586 г. В основе книги лежал перевод возникшего в Сербии в XVI в. сочинения о восьми частях речи. Любопытно, что при изложении основ диалектики, включвшем в это издание, составители грамматики наряду с ортодоксальной «Диалектикой» Дамаскина использовали «Диалектику» И. Спангенберга, выходившую в Кракове в 1544 и 1552 гг. Хотя виленская грамматика в целом еще достаточно хаотична, исследователи отмечают наличие в ней ранних попыток реформы церковнославянского языка в направлении укрепления связей его с народным языком, употреблявшимся в белорусской и украинской среде. А само издание свидетельствует о наличии связей между типографией Мамоничей и острожским культурным центром<sup>19</sup>.

Грамматика 1586 г. увидела свет анонимно, хотя некоторые исследователи допускают не лишенное правдоподобия предположение о причастности к ней Лаврентия Зизания. Во всяком случае, спустя десятилетие в Вильно, правда, не у Мамоничей, а в типографии Святодуховского братства, были опубликованы труды этого выдающегося деятеля белорусской и украинской культуры XVI—XVII вв.: «Грамматика словенска съвершеннага искусства осми частий слова и иных нўждных» и «Наука ку читанию и разумению писма славенскаго» (или «Азбука») вместе со словарем

«Лексис сиречь речения въкратце събранны. И из словенскаго на простый руский диялекти истолкованы»<sup>20</sup>.

Труды Л. Зизания обрели широкую известность и послужили основой для последующих опытов в области славянской лексикографии и лингвистики в восточнославянской среде в целом. Так, многие разделы «Грамматики» 1596 г. были включены Мелетием Смотрицким в его «Грамматику славянскую», впервые изданную неподалеку от Вильны, в Евье, в 1619 г. Книга Смотрицкого прочно и на длительное время вошла в круг учебной и научной литературы у многих славянских народов. Она была с добавлением рассуждения Максима Грека о пользе изучения грамматики переиздана в 1648 г. в Москве, а позднее неоднократно использовалась в грамматиках И. Копиевича (1706), Ф. Поликарпова (1721), Ф. Максимова (1723) и др. Книгами М. Смотрицкого и его предшественника Л. Зизания, с многими положениями которых он, впрочем, не был согласен, пользовался во время пребывания в России при разработке вопросов славянского языкоznания Юрий Крижанич. Фактически до М. В. Ломоносова книга Смотрицкого оставалась наиболее авторитетным руководством в своей области. Но еще в 1782 г. в университетской типографии московский купец А. Сыромятников издал отдельной брошюрою предисловие к «Грамматике» Смотрицкого 1648 г.<sup>21</sup>

Среди разнообразных лексикографических трудов, возникавших в XVII в., особое значение для зарождавшихся славянских исследований имели двуязычные словари и азбуковники, причем оба вида этих источников часто взаимно переплетались. Словари отражали новый этап развития литературных языков не только русской, но также украинской и белорусской народностей. «Цель их — поставить в ряд со старославянской лексикой русскую, украинскую, белорусскую как вполне равноправную. А это значило содействовать вытеснению старославянских архаизмов в лексике литературного языка свежими элементами из словаря разговорной речи. В таком изменении оценки старославянского наследия отчетливо проявился переломный момент в истории нашей лексикографии: начинается разработка лексики национального языка»<sup>22</sup>.

Важное место среди подобных словарей занимает «Славено-rossийский лексикон» видного деятеля украинской культуры Памви Берынды, впервые изданный в Киеве в 1627 г. Среди источников этого словаря исследователи называли, в частности, русские азбуковники, «Лексис» Зизания,

записи устной русской, украинской и белорусской речи, а также и другие материалы, в том числе, возможно, какие-то зарубежные, вероятно, немецкие, западно- и южнославянские лексикографические труды XVI в.<sup>23</sup>

«Славено-российский лексикон», получив известность в России, неоднократно использовался в филологических работах последующих десятилетий, в частности, видными представителями украинской и русской учености XVII в. Епифанием Славинецким и его сподвижником Арсением Корецким-Сатановским, прибывшими по приглашению в Москву из Киева в 1649 г. для участия в правке церковных книг. Они внесли заметный вклад в русское издательское и переводческое дело. Важную роль в развитии славянской лексикографии сыграли их рукописные словари, в том числе совместно составленный с использованием материалов П. Берынды обширный «Лексикон славенолатинский». Ссылки на его словарь встречаются и позднее, в XVIII — начале XIX в., например, в «Словаре Академии Российской» (1789—1794) и в рукописях А. И. Ермолаева, выдающегося русского палеографа и книговеда начала XIX в. и учителя А. Х. Востокова<sup>24</sup>.

Для нашей темы важно отметить, что в толкованиях отдельных слов П. Берында приводят иногда примеры не только из восточнославянских, но и западно- и южнославянских языков (хорватский, чешский, польский). Независимо от источников, которыми автор при этом пользовался, расширение лингвистического контекста за счет других славянских языков само по себе показательно. То, что это отвечало потребностям эпохи, подтверждается обращением к славянским языкам и в других, современных «Лексикону», лексикографических работах.

Обращает на себя внимание составленный в Москве в 1670 г. и сохранившийся в списках «Лексикон языков полского и славенского скорого ради изобретения и уразумения бывающия в неведомых вещах и неискусства газыков» (сокращено: «Лексикон поленославенский»). Исследователи этого труда, называя его «первым появившимся в России словарем, предназначенным для перевода с польского», отмечали исключительную полноту его словника (15 200 заглавных слов), почти вдвое превышающую не только словарь Берынды, но и более поздний «Лексикон греко-славено-латинский» Е. Славинецкого<sup>25</sup>. К сожалению, имя автора этого словаря не раскрыто. Между тем, еще И. Добровский, посетивший в 1792 г. шведский город Упсада, где и теперь еще сохраняются старопечатные и рукопис-

ные книги, вывезенные И. Г. Спарвенфельдом в 1687 г. из Москвы (об этом сказано ниже), видел фрагмент этого словаря, указав, что его автором является Симеон Полоцкий<sup>28</sup>. Это наблюдение недавно было подтверждено шведской слависткой У. Биргегэрд. Действительно, на первом листе рукописи рукой Спарвенфельда сделана атрибуция по-русски («Отца иеромонаха Симеона Полоцкого словник полоно-славенский») и по-латыни («Simeonis Polscy Lexicon Polonie Slavicum Fragmentum»)<sup>29</sup>.

Эта исключительно важная атрибуция, существенно расширяющая круг научного наследия Симеона Полоцкого, вполне подтверждается данными из предисловия к «Лексикону», в котором, в частности, по словам исследователей, указано, что из единого славянского языка образовались различные языки, в том числе польский, отдаляющийся от исконного славянского по причине смешения с латинским и французским. Здесь примечательна мысль о первичности и исходной чистоте церковнославянского языка, который ассоциируется с русским<sup>30</sup>. Этот взгляд вполне отвечал позиции Симеона Полоцкого, который, например, в стихотворном предисловии к «Рифмологиону» писал, что, прибыв в Москву, увидел испорченность того языка, которым писал «в моем дому», и с помощью «грамматики» (по-видимому, как полагает А. Н. Робинсон, М. Смотрицкого) решил обучиться «чистому» славянскому языку, сохранившемуся в России<sup>31</sup>.

Такие представления долгое время существовали в российском и зарубежном славяноведении, их еще в 1790-х годах обосновывал сербский писатель и историк И. Раич. Нечего удивляться, что этот взгляд был на рубеже XVII—XVIII вв. очевидным. В более развернутом виде он был еще раз сформулирован Ф. П. Поликарповым-Орловым, в то время директором московского Печатного двора, в предисловии к изданному им в 1704 г. «Лексикону трезычному». Он писал, что от церковнославянского языка «аки от источника неизчерпаема, прочиим многим произыти языком, сиречь польскому, чешскому, сербскому, болгарскому, литовскому, малороссийскому и иным множайшим, всем есть явно»<sup>32</sup>.

Во многом сходные тенденции, хотя и выраженные иными средствами, наблюдаются в другой разновидности лексикографических произведений — рукописных азбуковниках. Этот своеобразный жанр, сочетающий в себе словарные своды с азбучным расположением слов и статьи грамматического содержания, отчасти связанные с бого-

словской и философской проблематикой, всецело принадлежит XVII в. Во многих азбуковниках в качестве сравнительного филологического материала встречаются слова из зарубежных славянских языков, в том числе — из польского, чешского, хорватского, сербского, болгарского<sup>31</sup>.

В русские азбуковники пространных редакций уже на рубеже XVI—XVII вв., как показала Л. С. Ковтун, часто включались материалы из «Лексиса» Зизания, что еще раз свидетельствовало об использовании русскими книжниками опыта западнорусских словарных работ. На примере «Азбуковника» 1596 г. из собрания М. П. Погодина (ГПБ, Погод. 1642) исследователь отмечает, что собранные здесь славянские материалы «не сводятся к копированию статей «Лексикона» Лаврентия Зизания, причем даже почерпнутые из юго-западных источников словарные сведения поданы применительно к русскому читателю и к русскому языку. Не только славянизмы, но и польские, украинские, белорусские слова нередко оказываются в поменклатурной части азбуковников»<sup>32</sup>. Источники и степень адекватности славянских аналогий в азбуковниках заслуживали бы фронтального лингвославистического исследования. Несомненно, однако, что появившиеся в восточнославянской среде в конце XVI—XVII вв. грамматики, словари и азбуковники, в составе и в распространении которых наглядно отразилась динамика русско-украинско-белорусских культурных связей, означали в перспективе создание предпосылок для исследований в области сравнительного славянского языкознания, что и произойдет в XVIII в., знаменуя становление важнейшего компонента славистического комплекса. Другим была разработка проблем истории славянских народов.

Она не имела еще самостоятельного значения, а входила обычно в круг тематики трудов по отечественной и мировой истории. Таковы, прежде всего, русские «Хроно-графы» второй (1617) и третьей (между 1620—1644) редакций, «построенный» в Посольском приказе в 1672 г. в трех экземплярах «Титулярник», содержащий генеалогию российских государей, патриархов, римских пап и зарубежных монархов (в двух последующих экземплярах были, в частности, добавлены портретные изображения польских королей, начиная со Стефана Батория)<sup>33</sup>, космографии, представлявшие собой переводы или компиляции иностранных источников с включением сведений по истории, экономике и политике описываемых стран (с этой точки зрения интересна так называемая 76-главная Космография

18996

1670 г.) и некоторые другие произведения сходной направленности, которые создавались в России вплоть до начала XVIII в. исключительно в рукописной форме. Таких попутных упоминаний в XVII в. сколько угодно. Не говоря уже о разного рода летописцах, сошлемся хотя бы на «Историю о царях и великих князьях земли русской», составленную в конце 1660-х годов, возможно в качестве учебника для детей Алексея Михайловича, дьяком Федором Грибоедовым. Здесь, например, сообщается о русско-польских отношениях первой половины XVII в.<sup>34</sup>

У нас нет в данном случае возможности специально останавливаться на объеме содержащейся информации о зарубежных славянских народах, ни тем более па общей характеристике подобных произведений, поскольку эта проблематика получала освещение в трудах ряда исследователей<sup>35</sup>. Отмечалось, в частности, что преимущественный интерес московских книжников вызывало прошлое и современное им состояние Польского государства и что об остальных славянских народах (например, о чехах) русские компиляторы и переводчики черпали сведения в основном из польских же источников. Важно, однако, что в XVII в., по сравнению с предшествующим периодом, наметилось расширение круга сведений (о зарубежных славянах), попадавших в поле зрения русского читателя. Так, наряду со сведениями о южных славянах, представленными в «Хронографе» 1512 г., во вторую, а особенно в третью его редакцию были включены материалы и о западных славянах, в том числе о поляках и чехах. К кругу рассматриваемой тематики относятся и наблюдения А. М. Панченко над характером изложения в русских памятниках XVII в. древнечешских преданий — известную в двух списках «Историю вкратце о Богеме, еже есть о земле Чешской» и некоторые другие<sup>36</sup>.

Однако в созданных или переписывавшихся с текстов предшествующего времени произведениях XVII в. сведения о славянских народах играли, так сказать, подчиненную роль. Они стояли в ряду материалов о других зарубежных странах, с которыми Россия была связана или которые вызывали в русском обществе по тем или иным причинам интерес. Следовательно, само по себе наличие такой информации еще не свидетельствовало об особом, а тем более специальном внимании к зарубежным славянам. Все же, интерес к ним существовал, а во второй половине XVII в. продолжал углубляться. Об этом, в частности, свидетельствовало появление более частных работ,

своего рода тематических «монографий», в которых при изложении событий отечественной истории в той или иной степени затрагивалась и общеславянская проблематика, в первую очередь (и это было типично) вопросы происхождения и отдельные аспекты истории культуры древних славян.

Одну из таких работ — распространявшуюся в списках XVII в. статью «О истории, еже о начале Руския земли и создании Новаграда» — мы уже выше упоминали. Заслуга ее анонимного автора заключалась в стремлении, основываясь на летописных материалах и отчасти на «Хронике» М. Бельского, нарисовать общеславянский фон древнерусской истории. В этой связи здесь приведены две версии происхождения имени славян: «нарицахуся от многих слов письменаго разума» и «от славных делес своих». В таком предположении, по мнению М. Н. Тихомирова, для своего времени имелись элементы рационализма. Это словоизъяснение повторялось и позднее, о нем писал в 1704 г. Ф. Поликарпов, во многом сходные домыслы неоднократно приводились отечественными и зарубежными славистами не только XVIII, но и XIX в. Отметим еще намерение автора «О истории» возвести происхождение славян к Скифу, именуемому внуком библейского Ноя. В этой части со статьей было бы небезынтересно сопоставить относящуюся к 1692 г. «Скифскую историю» Андрея Лызлова, в начальных главах которой повествуется «о названии Скифии и границах ее». Хотя этот объемный труд был впервые опубликован лишь Н. И. Новиковым (в 1776 г. в Петербурге и в 1787 г. в Москве), «Скифская история» была хорошо известна и неоднократно переписывалась в XVIII в. В обращении к читателям первого издания Н. И. Новиков делает характерную оговорку: «Кажется, нет нужды выхвалять труд сочинителей: ибо оный давно уже писателями российской истории похвален и уважен»<sup>37</sup>.

Дальнейшим шагом в освещении общеславянской проблематики стал «Синопсис или краткое собрание от различных летописцев о начале славенороссийского народа и первоначальных князех богоспасаемаго града Киева», изданный в Киеве в 1674 г. Книга очень скоро приобрела популярность. В 1678 г. последовало второе, а в 1680 г.— третье издание «Синопсиса» (по С. И. Маслову в 1680 г., кроме того, было выпущено еще два издания)<sup>38</sup>. Это было первое у восточных славян типографски изданное руководство по отечественной истории. К этому времени, после воссоединения в 1654 г. Украины с Россией и заключения

с Речью Посполитой Андрушовского перемирия 1667 г., вся Левобережная Украина и Киев уже входили в состав Российского государства. Это создавало благоприятные условия для распространения «Синопсиса» и в собственно русской среде. Позднее, в 1714 г., «Синопсис» был переиздан в Москве и неоднократно перепечатывался в дальнейшем — вплоть до середины XIX в. известно около 30 его изданий. До выхода в свет «Краткого летописца» М. В. Ломоносова (1760) киевский «Синопсис» употреблялся в российских школах в качестве учебника, хотя по авторскому замыслу, вероятно, таковым и не являлся. По словам И. П. Еремина, в центре внимания автора находилась судьба Киевского государства как начального этапа становления российского самодержавия<sup>39</sup>. Книга имела поэтому в первую очередь не учебный, а публицистический характер и «предлагала вниманию читателей наиболее полное по тому времени историческое обоснование воссоединения Малой России с Великой и заключала в себе отнюдь не двусмысленный призыв к дальнейшей борьбе за окончательное воссоединение с Русским государством всей Украины». Этим, видимо, следует объяснить и внимание автора к общеславянским корням русского и украинского народов.

Первые три публикации «Синопсиса» (1674—1680) считаются авторскими, хотя доподлинно имя создателя книги до сих пор не установлено. Нередко им условно считается деятель украинской культуры второй половины XVII в. архимандрит Киево-Печерской лавры Иннокентий Гизель, по «благословению» которого книга издавалась. Это, однако, сомнительно, так как Гизель «благословлял» издание и других книг. В последнее время украинским историком Ю. А. Мыцыком была выдвинута гипотеза о принадлежности авторства монаху Киево-Печерской Лавры П. Кохановскому, с деятельностию которого он связывает также «Хронограф» (1681) и «Обширный синопсис русский» (1681—1682). Последний, согласно Мыцыку, может рассматриваться как расширенное, по сравнению с более кратким печатным «Синопсисом», руководство по общерусской истории. Эта точка зрения представляет интерес, хотя заслуживает более развернутого обоснования<sup>40</sup>.

Как указано выше, киевский «Синопсис» проник и в великорусскую среду, о чем свидетельствуют его списки, по ряду весьма ранние. Вопрос этот в целом разработан недостаточно, в связи с чем полагаем целесообразным обратить внимание на выявленный нами в 1977 г. и позднее атрибутированный список конца XVII в. из собрания Пав-

ловского дворца-музея под Ленинградом<sup>41</sup>. Рукопись писана полууставом на вержированной бумаге с водяными знаками (голова шута с 7 зубцами), переплет доски в коже, заключающий 111 листов. На форзаце сохранилось несколько владельческих записей, из которых наиболее ранняя датированная относится к 1705 г. (владелец Никита Шепелев). По сравнению с оригиналом название рукописи сокращено и несколько изменено: «(О) начале древняго славенскаго народа и о паречии или прозвище его». Однако, исключая незначительные разночтения и отдельные описки, павловская рукопись в целом верно передает текст киевского издания. Какого именно? В завершающих разделах списка сообщается о двух Чигиринских походах русских и украинских войск (1677—1678) и содержит здравица в честь Федора Алексеевича, вступившего на престол в 1676 г. Однако в нашем списке нет текста «Сказания о Мамаевом побоище», которое впервые было опубликовано в третьем издании «Синопсиса» 1680 г. Эти соображения, в совокупности с выборочным сличением текста, позволяют заключить, что в основе павловского списка лежит второе издание «Синопсиса» 1678 г.

Оставляя в стороне общую характеристику «Синопсиса», отчасти уже получившего освещение в литературе, сосредоточим внимание на тех его разделах, которые непосредственно относятся к интересующей нас теме, используя при этом текст новонайденного павловского списка.

В первых семи главах («О частех света», «О Азии», «О Африце», «О Европе», «О народе руском», «О народе сарматском», «О народе роксоланстем») в традиционном для средневековой историографии духе излагается начало человеческого рода и сообщается, что после всемирного потопа Ной поручил отдельные части света своим сыновьям: Азию — Симу, Африку — Хаму, Европу — Афету. Далее следует забавное примечание: «Еже есть и четвертая часть вселенныя, Америка, еже нарицается Новый свет. Но яко сия последе прочих новоизобретена и к сему предложению мало что ключима, сего ради без описания остается» (л. 8)<sup>42</sup>. Славянские народы возводятся, таким образом, к Афету, который «есть прародитель и отец всех, найпаче во Европе обитающих христиан». Что касается происхождения имени и языка славянских народов, то по этому поводу автор «Синопсиса» вполне в духе представлений того времени говорит: «И от славных делес своих, найпаче же воинских, славянами или славными зватися начаша. Такожде и язык славенский один от седми десят и двоих,

от столпотворения по размещении языков изыде, племене афетова, и от славы имени славенск наречеся» (л. 5 об.).

В третьем издании после первой, общей, главы добавлена новая глава «О свободе или волности славенской». В ней со ссылками на польского историка XV в. Яна Длугоша рассказывалось о мужестве славян в древности и их победах над «греческими и римскими кесарями», о том, что Александр Македонский даровал славянам грамоту о вольности и владении землями, которая была подтверждена римским кесарем Августом. Эта глава была введена не только из желания подчеркнуть древность и могущество славянства, но, видимо, и по композиционным соображениям, которые прежде автором не учитывались. Об этом можно судить по завершающей эту часть фразе: «Славяне же, рассеявшиеся и оседши различныя страны, разными именами прозвавшася: от них же будет особно нижей». И действительно, в главе «О Европе» в числе других европейских народов поименованы и славянские: «...словане, Русь, Москва, Польша..., Мазовша..., чехи, слионско (т. е. очевидно силезцы.— A. M.), Морава..., Сербская, Болгарская и Босненская земля, Далмация...» (л. 8). О территориальном разделении некогда единого племени мы встречаем упоминание и в последующих главах, где, в частности, утверждается, что славяне в древности были известны и под именем сарматов (л. 10 об.—11). Позднее, рассеяясь, славяне получали разные имена «от рек, лесов, приметов, поль, от дел и от князей своих». В качестве примеров приведены: «древляне или полесяне от древес или от лесов густых, поляне или поляки от поль..., чехи от Чеха князя, ляхи или лехи от Леха, первого короля польского...» (л. 12). Вместе с тем неоднократно подчеркивается не только общность происхождения (повторяя восходящие к средневековой апналистике библейские толкования), но и языковое родство «народов московских, словенороссийских, польских, волынских, ческих, болгарских, сербских, карвацких и всеобще, елико их есть словенска языка природне оупотребляющих» (л. 12 об.). С другой стороны, автору нужно указать на единство восточных славян с остальным славянским миром. Поэтому, затрагивая происхождение «народа рускаго», он специально отмечает: «И тако Рос от россения своего прозвавшася, а от словенов именем точию различствуют, по роду же своему едино суть, и яко один кто иже народ словенский нарицается словенороссийский или словенороссийский» (л. 10).

Подробно освещая возникновение Древнерусского государства, автор в основном повторяет летописные предания о призвании в Новгород по совету «разумного мужа „Гостомысла“ от немец» трех варяжских братьев Рюрика, Синеуса и Трувора. Однако, как бы предваряя критику будущих аргументов норманистов, он поясняет, почему призваны были именно варяги: «...попеже варяги над морем Балтийским, еже от многих парицается Варяжское, селения свои имуще, языка словенска бяху и зело мужественны и храбры...» (л. 19). Но, даже назвав варягов славянами, автор связывает истоки русской государственности не с актом призыва, а с крещением Руси, которое он отодвигает намного ранее времени князя Владимира. Разрозненные замечания на этот счет, встречающиеся в предыдущих главах, он суммирует в главе 45 «О сем, колкраты россы прежде Владимира даже до царствия его крещены». С его точки зрения, крещение Руси при Владимире было пятым по счету, первые же четыре он последовательно связывает с апостолом Андреем Первозванным, с Кириллом и Мефодием, с князем Олегом и, наконец, с княгиней Ольгой.

В этих рассуждениях, частично основанных на летописных материалах, обращает на себя внимание, что автор говорит в сущности не об одних восточных славянах, а о всем славянском мире. Так, в связи с первым эпизодом автор «Синоопсиса» пишет, что апостол Павел послал к славянам своего ученика Андроника, «щже очи и крести во Иллирику и Мисии, си есть в Болгарех, в Босне, и в Мораве, иде же потом в Пании или в Панонии, епископом бысть» (л. 57). О втором крещении, связанном с деятельностью Кирилла и Мефодия, рассказывается следующим образом: «...в царстве царя греческого Михаила, патриарху Константинопольскому сущу Фотию, от них же по прошению князей славенских Святополка Ростислава и Кочела, присланы бяху славяном очители веры христовы Мефодий и Кирил, сынове мужа нарочита именем Лва от Солнца. А они подах духа святаго, пролежища греческия книги славенским языком святое Евангелие, Апостол и проч.» (л. 57 об.).

Отдельные главы посвящены в «Синоопсисе» возникновению письменности на Руси и древнеславянским языческим обрядам. Глава 15 названа «О сем, когда Росии письмена знати начаша». В ней сказано: «Ведати же подобает, яко славеноросский народ еще в року от рождества христова семь сот девятдесятаго нача писание имети и оумети, ибо в том року кесарь греческий брань ведши со

славянами, и мир с ними соделавши, послав им в знак памятие приятелства и неразрушимого мира литеры, сиречь словеса азбучная „а“, „б“, „в“ и проч., еже в то время от греческого писания ново бяху измышлена ради славянов и от того времени Россия наша начаша писание и книги имети, и деяния своя исписывать, обаче поляков письмены и историemi славенороссий народ двема сты лет и девятмы оупреди, ибо поляки за Мечислава первого христианского князя полского начаша чести и писати, о чом все летописцы латинстии и греческии и полскии сагласуются, яко и Стрийковский ясне изобразует» (л. 18—19).

Если эта глава, текст которой мы привели полностью, важна для историографии славянской письменности, то главы 31—32 имеют прямое отношение к истории славянской этнографии, поскольку посвящены дохристианским древнеславянским обычаям и верованиям. Одна из этих глав, композиционно связанных с крещением Руси при князе Владимире, называется «О идолех», следующая за ней — «О обливании водою на великий день». Обе главы по содержанию представляют собой одно целое и заслуживают комплексного изучения. До сих пор, однако, эти любопытные сведения, а главное — их источники, исследованы еще не достаточно.

В этой связи сошлемся на наблюдения акад. Б. А. Рыбакова относительно главы «О идолех»: «Рассказ об идолах Ладе, Леле и Полеле представляет для нас большой интерес как древнейшая этнографическая восточнославянская запись о том, что „игралищные сомнница“ существуют, по свидетельству автора, „и поныне“. Рассказ этот, по мнению Б. А. Рыбакова, имеет неизвестный нам, но относящийся к XVII в.protoоригинал, кроме „Синопсиса“, скопированный и автором Пискаревского летописца. Включение этого рассказа в киевский „Синопсис“, — добавляет Б. А. Рыбаков, — связало его с Украиной, но по языку он несомненно русского, московского происхождения. Факт же копирования его на Украине без каких бы то ни было изменений и поправок может говорить о том, что подобные игрища существовали тогда и там»<sup>43</sup>. Это несомненно так, поскольку в первых же строках следующей главы «О обливании водою на великий день» мы читаем: «Нецый от древних беззаконии источником и езером оумножения ради плодов земных жертвы приношаху, а временем и людей в воде топяху, по некиих странах рассийских еще и доселе древняго того безчиния обновляется память» (л. 39).

Понятно, что автор «Синопсиса», стоявший на ортодоксальных православных позициях, резко осуждал подобные, «бесовские» обычаи и предостерегал своих читателей от впадения в соблазн. Важнее, впрочем, что при освещении общеславянской культурно-исторической проблематики книга вобрала некоторые источники русского происхождения, в том числе и созданные в XVII в., но в оригиналах до сих пор не обнаруженные. Это превращает «Синопсис» из рядовой компиляции в источник до известной степени самостоятельного значения. В части освещения славянской проблематики он явился своего рода итоговым трудом, наиболее полно подводившим черту тому уровню знаний о славянах, который накопился ко второй половине XVII в.

И вполне закономерно, что «Синопсис» оказал несомненное влияние, в том числе и при освещении славянской темы, на некоторые исторические труды русских авторов, создававшиеся на рубеже XVII—XVIII вв. Под этим углом зрения заслуживал бы специального рассмотрения известный в науке, но практически совершенно не изученный трактат монаха Афанасьевского монастыря на Мологе Тимофея Каменевича «О начале славяно-российского народа и градов Москвы, Новограда Великаго и прочих» (1699). Каменевич был плодовитым автором. Так, к 1684 г. относится его «Книга, именуемая историа еллиногрецкая и грекославянская в память предбудущим родом, от кого и в какая лета зачася наша словенорусская земля и кто в ней первый начат княжити»<sup>44</sup>.

Главы «Синопсиса», в которых описывается история древних славян, были широко использованы Ф. П. Поликарповым-Орловым при написании соответствующих разделов «Истории России», над которой он по поручению Петра I работал в 1708—1715 гг. На это обстоятельство обратила внимание Г. Н. Моисеева, обнаружившая саму эту рукопись, прежде считавшуюся утраченной, а также подготовительные материалы к ней. Из последних мы узнаем, что Поликарпов отнюдь не механически копировал «Синопсис», а, по-видимому, проявлял специальный интерес к славянской теме. Так, среди подготовительных материалов сохранилась объемистая статья (более 200 страниц) «О начале государства полского и чешского»<sup>45</sup>. Эта рукопись как первый опыт специального освещения в русской историографии того времени подобной темы заслуживает самостоятельного исследования.

\* \* \*

Намеченный круг вопросов является в сущности частью более общей проблемы использования и интерпретации источников, из которых русские ученые книжники XVII в. черпали сведения о славянских народах.

Основным каналом информации о зарубежных славянах оставались, насколько можно судить, летописи древнерусского, московского и западорусского происхождения. Однако теперь все большую роль начинают играть исторические, географические и аналогичные им труды зарубежных авторов, проникавшие в Москву либо прямо из-за рубежа, либо через посредство образованной украинской и белорусской среды. Многое из этого переводилось — крупнейшим переводческим центром XVII в. был Посольский приказ. Так, при освещении славянской тематики встречаются ссылки на «Хронику всего мира» (1551) польского историка-протестанта XVI в. Марцина Бельского, которая еще в 1584 г. была переведена в Москве; на «Историю Европейской Сарматии» Александра Гвальини, впервые изданную по-латыни в 1581 г. и переложенную на русский язык с польской публикации 1611 г.; на «Хронику польскую, литовскую, жмудскую и всей Руси» (1582) Мацея Стрыйковского, первая книга которой была переведена в 1682 г. Были также известны в переводах и на языке оригинала книги польского историка-гуманиста Мацея Меховского «О двух Сарматиях» (1517), в которой затрагивались вопросы происхождения польского и других славянских народов; латинская компиляция польского историка католической ориентации Марцана Кромера «О начале и истории польского народа» (1555) и некоторые другие произведения, относящиеся к славянской теме. Среди них встречаются переводы книг, изданных за рубежом не только прежде, в XVI в., но и современных. Так, уже в самом начале XVII в. появился первый из трех напечатанных русских переводов «Церковных анналов» католического писателя Цезаря Барония по сокращенному краковскому изданию на польском языке П. Скарги (1603).

Среди переводных рукописных книг, возможно, связанных с деятельностью Посольского приказа, И. М. Кудрявцев называл «Историю польского короля Владислава IV» Горчина, вышедшую в свет на польском языке в Кракове в 1648 г.<sup>46</sup> В этом случае хронологический разрыв между изданием оригинала и его русским переводом был, особенно по тем временам, минимальным. Показательно, что лишь

один из переводов, «Хроника» Бельского, был издан в XVI в. Все остальные переводы возникли в XVII в.<sup>47</sup>

В целом среди переводов нашей тематики труды польских авторов преобладали. В этом, по-видимому, сыграла роль не только содергательная сторона, но и относительно большая, по сравнению с иной зарубежной литературой, доступность в Москве книг, издававшихся в соседней Польше. Это отчасти подтверждается тем, что книги различной тематики на польском языке довольно часто встречаются в известных нам личных библиотеках образованных русских людей конца XVII — начала XVIII в.<sup>48</sup> Сложившаяся в эти десятилетия ситуация сохранялась длительное время. Так, трудами Бельского, Длугоша, Кромера, Стрыйковского, а также М. Претория интенсивно пользовался в своих славистических розысканиях М. В. Ломопосов<sup>49</sup>.

Сочинения польских историков XV—XVI вв., в которых можно было найти сведения о славянских народах, по крайней мере до середины XVIII в., оставались в России функционирующими, почти современными литературными источниками<sup>50</sup>. Работы историков других зарубежных славянских народов открывались для русских читателей с большим опозданием. Так, «Книга историография початия имене, славы и разширения парода славянского» зачинателя югославянской исторической науки далматинца Мавро Орбини, опубликованная по-итальянски еще в 1601 г., была издана в переводе на русский язык С. В. Рагузинского в Петербурге лишь в 1722 г. Это произошло по личному указанию Петра I, который настолько интересовался ходом издания, что, будучи в Астрахани, писал 18 июля того же года в Петербург: «Книгу, которую преподнес Сава Рагузинский о славенском пароде с италианского языка, другую, которую преподнес князь Кантемир о магометанском законе, ежели напечатали, то пришлите суда, не мешкая. Буде же не готовы, велите немедленно напечатать и прислать»<sup>51</sup>.

К моменту издания в русском переводе книга Орбини во многом устарела. Используя источники некритически, автор наполнил книгу баснословиями (например, народы германского и тюркского происхождения отнесены к числу славян, а происхождение последних определено как скандинавское), крайне неравномерно в хронологическом отношении и с ошибками осветив историю отдельных славянских народов. На некоторые ошибки Орбини в освещении истории Кирилла и Мефодия обращал внимание в приложенном к русскому изданию «Рассмотрении сея по-

вести» Ф. Лопатинский. И тем не менее, для своего времени, да, пожалуй, и для XVIII в., книга Орбины во многом носила новаторский характер. Задумав дать сводную историю всех славянских народов — сам по себе подобный замысел предвосхитил усилия славистов XIX—XX вв.— Орбина впервые в славянской историографии отказался от летописного принципа подачи материала.

В России этого не произошло не только в XVII в., но и в ближайшие десятилетия следующего столетия. Элементы традиционной диахронической формы оказались устойчивыми и, например, прослеживаются в исторических трудах В. Н. Татищева и М. В. Ломоносова. Изменения, наметившиеся на рубеже XVII—XVIII вв., затрагивали в первую очередь не форму, а манеру изложения, которая все более испытывала на себе воздействие опыта европейской раннепросветительской мысли с присущим ему отходом от конфессионального провиденциализма и рационалистической критикой фактов. Так было, разумеется, не только в России, но и в других странах, например, в немецкой и западнославянской, польской и чешской историографии и филологии конца XVII—XVIII вв. Важнейшим проявлением этого являлось новое отношение к методологии исследования, прежде всего к подбору и оценке используемых источников.

В России первый шаг в этом направлении был, по наблюдению М. А. Алпатова, сделан на рубеже 70—80-х годов XVII в., когда анонимный автор (Н. Г. Спафарий?) выдвинул принципы «учения исторического», ибо (цитирует далее его слова М. А. Алпатов) «прежде сего словенским языком никто о том не писал». Выступая сторонником расширения источников базы исследования и критики источников, автор «учения исторического» утверждал: «...також что прежде сего о своих предках и народах, хотя и разные повести и летописцы словенским языком написали, однакож несовершенным описанием и не по обычю историческому, притом и не согласуются меж собою те летописцы»<sup>52</sup>. Подобный, новаторский для своего времени подход, явился закономерным итогом предшествующего развития.

М. Н. Тихомиров отмечал, что в русской исторической литературе XVII в. предпринимались первые попытки критического анализа и истолкования источников<sup>53</sup>, приводя в качестве одного из примеров объяснение имени славян из рукописной статьи «О истории». Это отчасти подтверждается и другими рассмотренными нами материалами, в ко-

торых источники все чаще назывались на полях рукописей и в тексте. Например, в «Синопсисе», помимо Библии, имеются ссылки всего на 15 названий (на Нестора, другие отечественные летописи, а также на трактаты зарубежных авторов). Но собственно критическое отношение к ним, по крайней мере в части славянской тематики, ничтожно (вспомним хотя бы введенную в киевское издание 1680 г. главу «О свободе или волности славянской»). В большей, нежели в исторических работах, мере попытка критики текстов встречается в трудах филологического содержания. Традиции такого рода восходили в России к Максиму Греку, который еще в первой половине XVI в. дал здесь, по словам С. К. Булича, «первые образчики филологической критики текста, стоявшие вполне на уровне тогдашней европейской науки»<sup>54</sup>.

Критический анализ текстов и сравнительный анализ редакций практиковался деятелями острожского ученого-литературного кружка, подготовившими текст церковнославянской Библии 1581 г., а в середине XVII в.— в московской среде при работе над правкой богослужебных книг. Постепенно этот подход стали переносить на исторические и литературные тексты вообще — сперва в виде прямых ссылок на критические суждения зарубежных авторов<sup>55</sup>, а вскоре и вполне самостоятельно. Уже А. И. Манкиев в историческом трактате «Ядро Российской истории», предпринятом по повелению Петра I и закопченном в 1715 г., «впервые сопоставляет и критически проверяет различные исторические построения, не ограничиваясь изложением чужих мнений»<sup>56</sup>. Так, он высмеивал итальянских авторов, производивших имя славян от итальянского слова «невольник», не упуская возможности подчеркнуть древность славянского языка: «Славенский, происшедший от славы, гораздо старший и древнейший есть язык, нежели испорченный римский, си есть италианский». Впрочем, А. И. Манкиев, труд которого был опубликован только в 1770 г. в Москве, имел возможность пройти выучку у И. Г. Спарвенфельда при обстоятельствах, о которых будет коротко сказано ниже.

\* \* \*

Какие же причины лежали в основе возникновения в русской среде XVII в. устойчивого и специального интереса к общеславянской проблематике и к отдельным зарубежным славянским народам, каков был круг потребителей такой

информации? В самом общем плане ответ на поставленные вопросы следует искать в тех переменах, которые исподволь происходили во всех сторонах жизни русского общества той поры.

Расширение экономических связей с зарубежными странами, в том числе и со славянскими землями; сложные военно-дипломатические отношения с ближайшими соседями — Речью Посполитой, монархией Габсбургов и Отоманской Портой; усиление культурных контактов, одним из результатов которых был рост во второй половине XVII в. интереса к польской, а затем, на рубеже этого и следующего, XVIII в., к чешской и южнославянским культурам (это подготавливало почву для появления славянских аспектов во внешнеполитической деятельности Петра I) — эти и подобные факторы превращали ознакомление с зарубежными славянами в важную и общественно значимую задачу. Одновременно они создавали ту среду, для которой такая информация представляла первостепенный интерес.

С одной стороны, это были разнообразные нужды государственного аппарата, прежде всего — Посольского приказа, который не случайно являлся центром переводческой и издательской деятельности на протяжении всего XVII в. Следует заметить, что круг сотрудников Посольского приказа, среди которых было немало высокообразованных людей, а равно собранные здесь материалы заслуживали бы специального комплексного анализа под углом зрения интересующей нас темы. Помимо естественной потребности в получении информации о зарубежных народах, в том числе и о славянах, правящим кругам такие сведения бывали нужны и для обоснования определенных политических позиций и конкретных дипломатических акций. Одним из каналов такого интереса стали обращения к проблемам генеалогии, вообще характерные для духовной жизни периода культуры европейского барокко<sup>57</sup>. Баснословные этиологические домыслы о «первых» славянских владыках, о «родоначальниках» отдельных славянских народов, восходивших к потомству библейского Ноя, о грамоте Александра Македонского, о «родстве» русских государей с римскими кесарями (через Августа) — все эти представления, прослеживаемые в древнерусских и славянских летописях, начиная с раннего средневековья, получают в XVII в. как бы новые импульсы, осмысливаясь на новой основе, отчетливо связанной с политическими реалиями своего времени<sup>58</sup>. Подобные поиски, постепенно освобождаясь от шелухи домыслов, в перспективе способствовали разра-

ботке общеславянской тематики и выяснению места Руси среди остальных славянских народов.

С другой стороны, интерес к славянской теме оказывался одним из элементов растущей тяги к знаниям и европейскому опыту среди части боярства, дворян, духовных лиц, а возможно, и в более широких слоях населения, особенно городского, общавшегося с иностранцами, численность которых в Москве непрерывно увеличивалась.

Правящие круги все более осознавали необходимость развития образования. В первой половине XVII в. в России стали предприниматься отдельные попытки введения регулярных школ. Поскольку в Москве необходимых учебных заведений все же не было, немало русских людей отправлялось для получения образования в Киев, где на базе слияния ранее созданных Братской школы и школы при Киево-Печерской лавре в 1632 г. возникло высшее учебное заведение — Киево-Могилянская коллегия (с 1701 г. — академия). Такие поездки значительно упростились после воссоединения Украины с Россией. С середины XVII в. дальнейшие шаги по созданию учебных заведений делались и в Москве. Не касаясь этой темы подробнее, укажем, что в 1681 г. школа русского и греческого языков открылась при Печатном дворе, а в 1687 г. начала действовать Славяно-греко-латинская академия, сыгравшая важную роль в развитии образования в России конца XVII — начала XVIII в. Заметим, что вклад Академии в славянские изучения этих десятилетий (в частности, анализ содержания и тематики учебных программ и пособий) заслуживал бы специального исследования. Едва ли можно считать случайным, что некоторые преподаватели, студенты и выпускники Академии неоднократно привлекались для выполнения литературно-переводческих заданий, связанных с расширением русско-славянских контактов<sup>59</sup>.

Эти наиболее общие факторы дополнялись многими, порой весьма практическими побуждениями бытового и делового характера. Это прослеживается на примере лексикографических трудов. Показательно, что автор «Лексикона поленославенского» 1670 г. (предположительно Симеон Полоцкий) в подзаголовке объяснял необходимость словаря «скораго ради изобретения и уразумения быающыя в неведомых вещех и неискусства газыков». Эта мысль развита в предисловии, где указано на отличие современного польского языка от «исконного славянского» и этим в сущности объяснен смысл создания «Лексикона», призванного служить «в общую пользу обоих в единстве народов», т. е.

русских и поляков. Подобная аргументация отвечала заинтересованности определенных кругов русского общества второй половины XVII в. в укреплении русско-польских контактов. Необходимость знания языков и общей ситуации в других славянских землях обусловливалась наличием торговых связей с ними, получающих в XVII в. дальнейшее развитие.

Преобладание практических соображений объясняет, по-видимому, причину, по которой в московской среде XVII в. создавались оригинальные лексикографические труды в основном прикладного характера. Но были и теоретические соображения, импульсы которых шли от западнорусских ученых книжников, находившихся, так сказать, на передовой линии идеейной и религиозно-политической борьбы с приверженцами католицизма и униония. В период подготовки и особенно после объявления в 1596 г. Брестской унионии эти вопросы приобрели для белорусского и украинского населения, входившего в состав Речи Посполитой, необычайную остроту, в частности, в связи с борьбой за сохранение от ассимиляции и дальнейшего развития белорусской и украинской культуры. Напомним, что один из инициаторов унионии польской иезуит Петр Скарба в конце XVI в. с вызовом заявлял: «Еще не было на свете академии, где бы философия, богословие, логика и другие свободные науки преподавались по-славянски. С таким языком нельзя сделаться ученым. Да и что это за язык, когда теперь никто не понимает и не разумеет писанного на нем. На нем нет ни грамматики, ни риторики, и быть не может»<sup>60</sup>. В литературе неоднократно уже отмечалось, что филологическая деятельность Л. Зизания, М. Смотрицкого и ряда других белорусских и украинских грамматистов тех десятилетий представляла собой ответ делом на аргументы П. Скарбы и благодаря этому имела прогрессивное значение. Она встречала отзвуки в других славянских землях, прежде всего в России, где «Грамматика славянская» Смотрицкого, заново изданная в Москве в 1648 г., на многие десятилетия стала главным руководством в области русской и славянской филологии.

Нужно отметить, однако, что собственно конфессиональные факторы, сохраняя свое значение, отнюдь не были главными, определяющими. В XVII в. в среде русских, а также белорусских и украинских книжников росло понимание общеславянской общности. И этот аспект порой перевешивал религиозно-политические соображения, какими бы серьезными для официальных кругов они не оста-

вались. Показательно, что книга Смотрицкого была переиздана в Москве, несмотря на то что ее автор, умерший к тому времени, в последние годы перешел из православия в униатство, за что был осужден в 1628 г. Киевским церковным собором как отступник. Единственно, на что пошли московские издатели, это на снятие с титульного листа книги имени М. Смотрицкого и на добавление к книге рассуждения Максима Грека о том, что изучение грамматики полезно и не ведет к впадению в ересь<sup>61</sup>.

В том же направлении развивалась мысль многих православных деятелей украинской культуры. В качестве примера сошлемся на предисловие к «Беседам и деяниям апостолов» Иоанна Златоуста, принадлежащее одному из руководителей Киево-Печерской типографии Захарию Копыстянскому. Обращаясь «ко всему иафетороссийскому роду», он говорил: «Приемлете его иафетово племя, россовые и славяне, и македонове, стяжите и болгарове, сербове и босняне, облобызайте и истрове, иллирикове и далматове, срящите и молдоване, мултяне и унгровлахове, въсприимишьте и чехове, моравляне, гарватове и вся широковластная Сарматия възлюби и притяжи и все православнии»<sup>62</sup>. Из приведенной цитаты видно, что славянский мир рисовался Копыстянскому во многом еще как мир православия. Отсюда его обращения ко «всему повсюду православным христиапом», отсюда и упоминание им в числе славян венгров, влахов и молдаван — подобные представления кое-где сохранились вплоть до начала XIX в. Важнее, однако, что он включает в круг славянских народов чехов, хорватов и боснийцев, которые в массе своей к православию не относились. Живое ощущение славянской культурно-языковой общности оказывалось в результате сильнее, чем конфессиональность. Это создавало почву для восприятия славянских изучений в патриотическом аспекте, вело к последующему распространению самой славянской темы не только как предмета ученого-литературных занятий, но и как одного из факторов формировался национального сознания.

\* \* \*

В основном развитие в России интереса к разработке славянской темы шло примерно в том же направлении, что и в ряде современных ей стран — как славянских (укажем в первую очередь на Польшу, а также на Чешские земли, находившиеся, начиная с 1620 г., под австрийским господством), так и неславянских. Среди последних преж-

де всего были Швеция и Германия, где интерес к славянству в целом шел в значительной мере через интерес к России, ее прошлому и современному положению. Названный круг вопросов составляет самостоятельный и требующий специального рассмотрения сюжет, в связи с чем мы остановимся лишь на некоторых моментах, существенных для ответа на то, в каком отношении к развивавшимся в России славянским разработкам находилась европейская наука конца XVII — начала XVIII в.

В Швеции центральным звеном в изучении славянской проблематики была русистика, точнее — русская лексикография. В период Ливонской войны, а особенно после временного присоединения к Швеции согласно Столбовскому миру 1617 г. части исконных русских северо-западных территорий, для шведского правительства необходимость иметь специалистов русского языка приобрела чисто практическое значение. Помимо необходимости обычного общения с русскоязычным населением, знание русского языка для официальных шведских кругов требовалось в связи с предполагавшимся обращением православного населения в лютеранство. В Стокгольме, а также в ряде других городов на подвластной шведам территории (в Выборге, Ревеле, Тарту, Нарве и др.) были учреждены официальные переводческие центры. В столице при королевской канцелярии с этой же целью было образовано особое управление, которое возглавлял королевский переводчик. Штат переводчиков был большим. По указанию Б. Янсон, от периода с 1595 по 1661 г. в Швеции остались сведения о 83 переводчиках, известных по имени<sup>63</sup>.

Согласно указу Густава II Адольфа от 1625 г. в Стокгольме была создана типография, имевшая русские (кирилловские) литеры для печатания книг, предназначенных для проведения курса на лютеранизацию православного населения. Среди нескольких изданий этой типографии для нас наибольший интерес представляет учебник русского языка «Алфabetum rutenorum», который А. Шёберг датирует временем до 1639 г. По его заключению, эта книга была «первым печатным учебником русского языка, включающим букву «э» в русский кирилловский алфавит»<sup>64</sup>.

Не приходится удивляться, что на достаточно подготовленной для этого почве именно в Швеции развернулась в конце XVII — начале XVIII в. деятельность И. Г. Спарвенфельда, широко образованного филолога, одновременно занимавшего достаточно высокое общественное положение (он был придворным церемониймейстером). Прибытие Спар-

венфельда в составе дипломатической миссии в 1684 г. в Москву, где он получил легальную возможность оставаться до 1687 г., позволило ему глубже ознакомиться с русским языком, а главное — собрать и изучить циркулировавшие здесь рукописные и печатные материалы лексикографического характера. Среди работ, привезенных Спарвенфельдом домой, сохранились списки латинско-славянского словаря Е. Славицкого, славяно-латинского словаря Корецкого-Сатаповского и Славицкого, «Лексикон» Берынды (в издании 1653 г.) и ряд других источников.

На основании собранных материалов Спарвенфельд в течение более двух десятилетий трудился над составлением четырехтомного славяно-латинского словаря. Ему помогали славянские переписчики — словак М. Забапи и несколько русских военнопленных перепода Северной войны, из которых известны имена дипломата А. Я. Хилкова, его секретаря и будущего автора «Ядра Российской истории» А. И. Манкиева и некоего Шепелина. Однако этот труд, сохранившийся в рукописи, никогда не был издан. По наблюдению исследователя, в состав этого труда почти полностью вошли материалы словарей Берынды, Славицкого и Корецкого-Сатаповского, а также из «иллирийско-латинско-итальянского словаря» Якоба Микалия (издан в Лоретто в 1649 г.), паконец, «слова, дописанные русскими пленными и самим Спарвенфельдом»<sup>65</sup>. Отсюда следует, что русская среда — живое общение с ней и созданные в Москве лексикографические работы — явились важнейшим источником в изысканиях Спарвенфельда.

Этот пример далеко не единичный. Почти одновременно со Спарвенфельдом в Москве, с 1686 по 1689 г., находился в составе католической миссии чешский учёный иезуит Иржи Давид, о котором известно, что он общался со шведским филологом, обсуждая обоюдно интересовавшие их славистические вопросы. По возвращении Давид издал в Нише в 1690 г. русский букварь — это была первая отпечатанная за пределами России книга такого рода. Иржи Давид подготовил ее на основе «Грамматики» М. Смотрицкого<sup>66</sup>. Книга последнего лежала также в основе грамматики русского языка («Grammatica Russica») немецкого лексиколога Г. В. Лудольфа, изданной по-латыни в Оксфорде в 1696 г. Автор, проявлявший особый интерес к живой русской речи, привел в предисловии ряд любопытных наблюдений, свидетельствовавших о далеко зашедшем к концу XVII в. разрыве между русским разговорным и учено-письменным языком.

Все эти зарубежные труды основывались на полученных из России печатных или рукописных лексикографических работах. Это обстоятельство, до сих пор недостаточно, на наш взгляд, оцененное в историографии славистики, еще раз показывает, что работы, возникавшие в восточнославянской среде, обладали для своего времени достаточно серьезным теоретическим и методическим уровнем.

От этих десятилетий сохранились лингвистические материалы более частного, практического характера, также показывающие, какое влияние оказalo на их создателей знание русской среды. Так, в муниципальной библиотеке Люпебурга (Ганновер, ФРГ) хранится рукопись, на которую наше внимание обратил исследователь русско-германских связей в XVIII в. Х. Ишрайт. Она написана по-немецки и озаглавлена: «Русско-германский вокабулярий или московитско-немецкий словарь, разделенный на несколько глав»<sup>67</sup>. Рукопись была составлена в 1707 г. Адамом Эмануилем Селлием, работавшим в качестве аптекаря и врача в Москве в последние десятилетия XVII в. До сих пор рукопись не опубликована. Ограничимся лишь несколькими примерами из первой главы «О боже и его сущности».

Текст разделен на две колонки. В первой даны отдельные слова или словосочетания на немецком языке с соответствиями по-русски, писанными в латинской и потому не всегда точной транскрипции. Так, например, истолковываются выражения, связанные с русскими обозначениями троицы и с формулами, бытовавшими, надо полагать, не только в церковном, но и в повседневном обиходе: «посредник» (*postrednik*), «божья милость» (*boschie milost*), «божий дар» (*boschie darr*). Название главы в транскрипции по-русски передано так: «Perwaja Glawa o Boge Gestestwo Iego». Этот ценный источник заслуживает специального изучения. В целом он может быть определен как фразеологический словарь, вероятно, предназначенный для общения составителя с русскими, а точнее, учитывая его профессию, с пациентами.

Деятельность таких, пока еще немногочисленных в Европе, знатоков славянских языков, какими были Спарвенфельд, Лудольф и некоторые другие лица, имевшие возможность черпать свои знания из первых рук, оказывала положительное воздействие на расширение источников надежной информации. Известно, что великий немецкий ученый Г. Лейбниц, заинтересовавшийся русской и общеславянской проблематикой (он был, в частности, одним из первых, кто серьезно обратился к изучению языка и куль-

туры остатков племен полабских и поморских славян, сохранившихся к его времени в Ганновере), в 1690-х годах вступил в переписку со всеми, кто в Германии (например, ориенталист Х. Лудольф и уже упоминавшийся Г. В. Лудольф) и за ее пределами (например, польский иезуит Коханьский и Спарвенфельд) знал русский язык. В свою очередь славянские интересы Лейбница оказали прямое или косвенное влияние на тех немецких ученых начала XVIII в., которые стали обращаться к славянской проблематике. Среди них были профессора Хельмштедского университета И. Г. Экхарт, С. Ф. Хан, П. Лайзер, Э. Рейш, мекленбуржец Г. Ф. Штибер, член Берлинской академии наук И. Л. Фриш, М. Френцель, участники кружка поэтов в Галле и др. Все это делало Ганноверско-Брауншвейгский, Берлинский и Галльский научные центры одними из наиболее ранних и продуктивных в процессе становления немецкой славистики, для которого роль славяно-германских связей несомненна<sup>68</sup>.

\* \* \*

В рамках одной статьи невозможно было затронуть, а тем более охватить в полной мере все аспекты намеченной проблематики, которые к тому же в ряде случаев еще нуждаются в предварительных источниковедческих разысканиях. Однако и рассмотренные в статье материалы позволяют заключить, что в России на протяжении XVII в.— и чем ближе к исходу столетия, тем сильнее— развивался и углублялся специальный, осознанный интерес к зарубежным славянским народам, который был связан с общими сдвигами в духовной жизни русского общества.

Конечно, это был переходный период, и при наличии указанной тенденции многие аспекты такого интереса проявлялись пока еще в зачаточной форме, спорадически, будучи составной частью трудов по отечественной истории или мероприятий по совершенствованию и упорядочению норм литературного языка. Но в рамках привычных и во многом традиционных представлений исподволь зрели элементы нового видения мира, нового подхода к предмету освещения.

Этот процесс продолжался и позднее, приблизительно до середины XVIII в., когда появляются труды В. Н. Татищева и М. В. Ломоносова, означавшие с методологической точки зрения качественно новый этап в трактовке исторических и филологических аспектов славянской темы.

Они в свою очередь подготовили последующее выделение в рамках российской славистики отдельных тематических и страноведческих комплексов. Однако исходные рубежи этого процесса лежали не в XVIII в., а во второй половине XVII в., когда наметились первые контуры будущей дифференциации.

Ведущее место здесь принадлежало языковедческой проблематике: распространение и переездание западнорусских грамматических работ, их переработка и дополнения, появление оригинальных лексикографических трудов — славянских словарей, рукописных азбуковников и др. Во всех этих произведениях, если их расположить хронологически, можно обнаружить неоднократно отмеченный наблюдателями XVII—XVIII вв. прогрессировавший разрыв между нормами церковнославянского и живого языка<sup>69</sup>, а в ряде случаев и настойчивый интерес к лексике других славянских языков. Это обстоятельство, отражая процессы формирования русского национального литературного языка, имело непосредственное влияние и на эволюцию славянских изучений в России. С одной стороны, оно стимулировало разработку грамматики собственно русского языка. Благодаря работам в этой области В. Е. Адодурова, В. Н. Татищева, В. К. Тредиаковского и, наконец, М. В. Ломоносова («Российская грамматика» 1755 г.) в России складывается русистика<sup>70</sup>. С другой стороны, увеличивавшийся разрыв между церковнославянским и русским литературным языком и интенсивные усилия по разработке русской грамматики неизбежно порождали необходимость сравнительного подхода к языкам всех славянских народов в их отношениях друг к другу и во взаимосвязях с церковнославянским языком.

Что касается исторической тематики, то она во многом продолжала летописные нормы, удерживая и старую форму подачи материала. Но возникновение в XVII в. новых компиляций и летописцев с использованием дополнительных сведений из работ славянских и других зарубежных авторов также свидетельствовало о постепенном изменении традиционных канонов.

Примечательно, что многое из того, что возникло в интересующей нас сфере в XVII в., не утрачивало в глазах людей той эпохи значимости, а переходило в следующее столетие, сохраняя познавательное, научное или учебное значение. Об этом со всей очевидностью свидетельствовал репертуар русской книги XVIII в.— неоднократные переиздания и переработки «Грамматики» М. Смотрицкого по

тексту московского издания 1648 г., киевского «Синопсиса», первые публикации трудов, созданных в XVII в. в рукописной форме или изготовление их новых списков. В этом проявилась преемственность культурных традиций на одном из крутых поворотов русской истории.

Но это не было и простым повторением пройденного. Именно на рубеже XVII—XVIII вв. подготовленные предшествующим ходом развития возникали явления, сопряженные с поисками нового подхода к научному познанию, отражавшиеся и в освещении славянской темы. Главным, разумеется, были внутренние потребности общественно-культурной жизни русского общества. Именно они создавали почву для напряженных исканий, в ходе которых переосмысление местного опыта, накопленного московскими учеными книжниками на протяжении XVII в., сочеталось с использованием культурных достижений западнорусской — украинской и белорусской — среды, контакты с которой в эти десятилетия были чрезвычайно тесными и взаимно плодотворными. Все это сопровождалось также ознакомлением с опытом обращения к славянской теме польских, южнославянских, итальянских, немецких и других зарубежных авторов, многие труды которых в России так или иначе были известны.

Тесные взаимосвязи между XVII и XVIII вв. в данной, как и во многих иных областях отечественной культуры, еще раз подтверждают стадиальную общность самой переходной эпохи, которая представляла собой лишь разные ступени единого по своей сущности процесса. При таком подходе более отчетливо проступают те внутренние побудительные причины, которые вели «предысторию» славистики к ее завершающей фазе, одновременно означавшей начальный этап ее становления как комплекса научных дисциплин, все более адекватно отвечавшего уровню и типу научного мышления нового времени.

<sup>1</sup> Ягич И. В. История славянской филологии. СПб., 1910, с. 1.

<sup>2</sup> Эта тема с привлечением историографии вопроса рассмотрена в статьях: Мыльников А. С. К вопросу о путях и особенностях формирования славяноведения в России.—В кн.: *Študie z dejín světové slavistiky do polovice 19. století*. Bratislava, 1978, s. 289—314; Дьяков В. А., Мыльников А. С. Об основных этапах истории славяноведения в дореволюционной России.—В кн.: Славяноведение в дореволюционной России. Биобиблиогр. словарь. М., 1979, с. 11—13; Цайль В., Порт Г. Этапы развития славистики в Германии до 1945 г.—В кн.: Методологические проблемы истории славистики. М., 1978, с. 148.

- <sup>3</sup> Пыпин А. Н. Обзор русских изучений славянства.— Вестн. Европы, 1889, кн. 6, с. 664; *Он же. Русское славяноведение в XIX столетии.*— Вестн. Европы, 1889, кн. 7, с. 238.
- <sup>4</sup> См., например: Лаптева Л.-П. Основные линии развития научного славяноведения в России в XIX—начале XX в.— Вестн. МГУ. Сер. 9. История, 1977, № 2, с. 53.
- <sup>5</sup> В обобщенном виде см. в кн.: Мусеева Г. Н. Древнерусская литература в художественном сознании и исторической мысли России XVIII века. Л., 1980. 262 с.
- <sup>6</sup> Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 153—154.
- <sup>7</sup> Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970, с. 136—152; *Он же. Развитие русской литературы X—XVII вв. Эпохи и стили.* Л., 1973, с. 138, и след. См. также: Робинсон А. Н. Борьба идеи в русской литературе XVII века. М., 1974. 408 с.
- <sup>8</sup> Ягич И. В. История славянской филологии, с. 1.
- <sup>9</sup> См. об этом в кн.: Марков Д. Ф. Сравнительно-исторические и комплексные исследования в общественных науках. М., 1983.
- <sup>10</sup> В статье сделана попытка конкретизации некоторых общеметодологических соображений, сформулированных мной в докладе «Становление славистики как предмет исследования» на заседании Международной комиссии по истории славистики в ноябре 1980 г. (Берлин, ГДР). Публикацию доклада см.: *Zeitschrift für Slawistik*, 1982, № 1, S. 20—28. См. также: Дьяков В. А., Мыльников А. С. Берлинское заседание Международной комиссии по истории славистики.— Сов. славяноведение, 1981, № 4, с. 124—126.
- <sup>11</sup> Ценные материалы собраны в кн.: Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды. Библиогр. словарь. Минск, 1976, т. 1. 320 с.
- <sup>12</sup> Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1955, т. 4, с. 95.
- <sup>13</sup> Пыпин А. Н. Обзор русских изучений славянства.— Вестн. Европы, 1889, кн. 4, с. 599.
- <sup>14</sup> Тредиаковский В. К. Три рассуждения о трех главнейших древностях российских. СПб., 1773, с. 156.
- <sup>15</sup> См.: Мыльников А. С. Чешские и словацкие материалы в русской журналистике второй половины XVIII в.— В кн.: Чешско-русские и словацко-русские литературные отношения. М., 1968, с. 146.
- <sup>16</sup> Ковтун Л. С. Лексикография в Московской Руси XVI—начала XVII в. Л., 1975, с. 6. Богатый материал к историографии славянской филологии в восточнославянской и русской среде (XI—XVII вв.) собран в публикации: Ягич И. В. Рассуждения старины о церковно-славянском языке.— В кн.: Исследования по русскому языку. СПб., 1895, т. 1, с. 289—1070.
- <sup>17</sup> Голенищев-Кутузов И. Н. Славянские литературы. М., 1973, с. 183.
- <sup>18</sup> См.: Мыльников А. С. Острожская библия и некоторые аспекты этнокультурного развития славянских народов в XVI веке.— В кн.: Федоровские чтения 1981 года. М. (в печати).
- <sup>19</sup> Зернова А. С. Типография Мамоничей в Вильне (XVII век).— В кн.: Книга: Исследования и материалы. М., 1959, т. 1, с. 184—187.
- <sup>20</sup> Анушкин А. На заре книгопечатания в Литве. Вильнюс, 1970, с. 168—170; Ботвинник М. Б. Лаврентий Зизаний. Минск, 1973, с. 130—131, 163—164.
- <sup>21</sup> Предисловие ко грамматике словенской... М., 1782.
- <sup>22</sup> Ковтун Л. С. Русская лексикография эпохи средневековья. М.; Л., 1963, с. 317.
- <sup>23</sup> Судник М. Р. Гісторыя узінкнення і этапы развіцця беларускай лексікографіі старажытнай пары.— Працы Інститута мовознауства АН БССР. Мінск, 1957, вып. 4, с. 97 и след.; Алексеев М. П. Сло-

- вари иностранных языков в русском азбуковнике XVII века. Л., 1968, с. 58; Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды..., с. 22.
- <sup>24</sup> ЛО ААН, ф. 108, оп. 1, д. 143.
- <sup>25</sup> Дидиакин М., Стрекалова З. Из истории русской лексикографии.— В кн.: Славянское источниковедение. М., 1965, с. 124.
- <sup>26</sup> Dobrovský J. Literarische Nachrichten von einer... Reise nach Schwei-  
den und Russland. Prag., 1796, S. 83. По любезному сообщению  
Г. Н. Моисеевой, в пражском Литературном архиве хранится рукопись И. Добровского «Otca i ieromonacha Symeona Polockogo Slow-nik polonoslawensky», представляющая собой заметки об этом словаре, сделанные, возможно, во время работы И. Добровского в Шве-  
ции.— Literární archiv v Praze, 13(a), 7, 1. 1.
- <sup>27</sup> Uppsala. Universitetsbiblioteket, Slav. 61. Информацию об этом см. в кн.: Очерки по раннему периоду славяноведения в Швеции. Лунд, 1975, с. 39. Пользуясь случаем, приношу благодарность руководству Отдела рукописей Библиотеки Упсальского университета и доктору Улле Биргегэру за присылку ксерокопии листа с атрибуцией И. Г. Спарвенфельда.
- <sup>28</sup> Дидиакин М., Стрекалова З. Из истории..., с. 125.
- <sup>29</sup> Робинсон А. Н. Борьба идей..., с. 342.
- <sup>30</sup> [Поликарпов-Орлов Ф. П.] Лексикон трезычный, сиречь Речений славенских, елиногреческих и латинских сокровище. М., 1704, с. 2—2 об. По мнению М. Г. Булахова, под «литовским» Поликарпов понимал белорусский язык. См.: Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды..., с. 191.
- <sup>31</sup> Алексеев М. П. Словари иностранных языков..., с. 59.
- <sup>32</sup> Ковтун Л. С. Древние словари как источник русской исторической лексикологии. Л., 1977, с. 101.
- <sup>33</sup> Кудрявцев И. М. «Издательская» деятельность Посольского приказа.— В кн.: Книга. Исследования и материалы. М., 1963, т. 8, с. 183.
- <sup>34</sup> Памятники древней письменности. СПб., 1896, т. 121, с. 49—50.
- <sup>35</sup> Попов А. Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы русской редакции. М., 1869; Космография, 1670 г. СПб., 1878—1881 и др.
- <sup>36</sup> Панченко А. М. Чешско-русские литературные связи XVII века. Л., 1969. 182 с.
- <sup>37</sup> Лызлов А. П. Скифская история. СПб., 1776, ч. 1. 176 с.
- <sup>38</sup> Маслов С. И. К истории изданий киевского «Синописиса».— В кн.: Статьи по славянской филологии и русской словесности. В честь А. И. Соболевского. Л., 1928, с. 341—343. В Амстердаме, по повелению Петра I, Н. Кошиевичем было также осуществлено издание «Синописиса» на латинском языке.
- <sup>39</sup> Еремин И. П. К истории общественной мысли на Украине второй половины XVII в.— Тр. отд. древнерусской лит-ры (далее: ТОДРЛ). М.; Л., 1954, т. 10, с. 212.
- <sup>40</sup> Мыцык Ю. А. Украинские летописи XVII века. Днепропетровск, 1978, с. 25—26. Обе называемые автором рукописи, некогда вхо-  
дившие в собрание гр. Ф. А. Толстого, хранятся в Общем собрании рукописной книги Гос. публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (их шифры соответственно F. IV.214 и F.IV.215). Вторая рукопись по структуре и содержанию ближе к печатному «Синоп-  
исису». Она открывается статьей «Кроника з летописцов стародав-  
них, з святаго Нестора Печерскаго и иных, также з кроник пол-  
ских о Руси». Однако многие важные главы «Синописиса» здесь от-  
сутствуют, да и деление материала выглядит иначе. В то же время в обоих рукописях встречаются сходные статьи. Так, повторяются

(с редакционными различиями) «Кроника о земли полской» (в рукописи № 214, л. 447—495, в рукописи № 215, л. 297—359 об.), о Московском государстве, о Литве и др. Сюжет о двух чигиринских походах, имеющийся в «Синопсисе», в первой из двух рукописей отсутствует. Все это позволяет предположить, что взаимосвязи между обоими рукописями и печатным «Синопсисом» достаточно сложны и нуждаются в особом рассмотрении.

- <sup>41</sup> Павловский дворец-музей, ЦХ-1412-ХIII. В 1970 г. список без атрибуции был упомянут в статье: Толкачева Г. А. Древнерусские рукописи Павловского дворца-музея.— ТОДРЛ, 1970, т. 25, с. 350.
- <sup>42</sup> Здесь и далее приводятся ссылки на листы павловской рукописи.
- <sup>43</sup> Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981, с. 399—400.
- <sup>44</sup> Протасьева Т. Н. Описание рукописей Синодального собрания, не вошедших в описание А. В. Горского и К. И. Невоструева. М., 1970, ч. 1, с. 146, 149.
- <sup>45</sup> Муисеева Г. Н. Древнерусская литература..., с. 21.
- <sup>46</sup> Кудрявцев И. М. «Издательская» деятельность..., с. 230.
- <sup>47</sup> Казакова Н. А. Западная Европа в русской письменности XV—XVI вв. Л., 1980, с. 227.
- <sup>48</sup> Луппов С. П. Книга в России в XVII в. Л., 1970, с. 130.
- <sup>49</sup> Муисеева Г. Н. Ломоносов и польские историки.— В кн.: Русская литература XVIII в. и славянские литературы. М.; Л., 1963, с. 140—157. Подробнее см.: Муисеева Г. Н. Ломоносов и древнерусская литература. Л., 1971. 284 с.
- <sup>50</sup> Отчасти это объяснялось тем, что в трудах ряда польских историков (начиная с Длугоша и Меховского) содержались ссылки на несохранившиеся древнерусские летописи. См.: Лимонов Ю. А. Культурные связи России с европейскими странами в XV—XVII вв. Л., 1978, с. 252.
- <sup>51</sup> ЦГИА СССР, ф. 796, оп. 3, № 859, л. 1 (копия). Ср.: Быкова Т. А., Гуревич М. М. Описание изданий гражданской печати. 1708—янв. 1725 г. М.; Л., 1955, с. 384—385.
- <sup>52</sup> Аллатов М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа XII—XVII вв. М., 1973, с. 389. Авторство Н. Г. Спафария, которому Д. Т. Урсул приписывает это предисловие к задуманной при царе Федоре Алексеевиче истории России, М. А. Аллатов считает не лишенным оснований, но окончательно не доказанным (с. 393).
- <sup>53</sup> Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1955, т. 1, с. 104.
- <sup>54</sup> Булич С. К. Очерки истории языкоznания в России. СПб., 1904, т. 1, с. 151. Во второй половине XVII в. критический подход к источникам широко применял в своих исторических и филологических трудах Ю. Крижанич. Однако своеобразное место, которое он занимает в истории славянских изучений, а также вопрос о степени воздействия его трудов на современные ему представления московских ученых книжников о славянстве, заслуживает особого рассмотрения, выходящего за рамки настоящей статьи (см.: Аллатов М. А. Русская историческая мысль..., с. 398—416). Любопытным аспектом такого рассмотрения мог бы стать вопрос о круге осведомленных о славянских и балканских народах лиц, с которыми Ю. Крижанич во время проживания в России имел контакты. Например, в его общении в Тобольске с Н. Г. Спафарием, хорошо завившим ситуацию в Центральной Европе и на Балканах, см.: Урсул Д. Т. Николай Гаврилович Милеску Спафарий. М., 1980, с. 45—47.
- <sup>55</sup> Многие приемы критики источников, получившие распространение в трудах итальянских и других ученых эпохи Ренессанса, могли быть восприняты в России через польских историков XVI в., тем

- более, что некоторые из них, например Стрыйковский, ввели текстологический анализ используемых ими древнерусских источников. См.: Рогов А. И. Основные особенности развития русско-польских культурных связей в эпоху Возрождения.— В кн.: Культурные связи народов Восточной Европы в XVI в. М., 1976, с. 169; Он же. Русско-польские культурные связи в эпоху Возрождения. (Стрыйковский и его «Хроника»). М., 1966. 309 с.
- <sup>56</sup> Очерки истории исторической науки в СССР, т. 1, с. 174.
- <sup>57</sup> В качестве сравнения сошлемся на распространность подобных разысканий в немецкой науке XVII в. См.: Schröcker A. Die deutsche Genealogie im XVII Jh. zwischen Herrscherlob und Wissenschaft: Unter besonderer Berücksichtigung von G. W. Leibniz.— Archiv für Kulturgeschichte./Hg. F. Wagner. 1977, N 2, S. 426—444.
- <sup>58</sup> Интересным образцом такого рода было «Родословие» Й. Хурелича (латинский оригинал 1673 г.). Подробнее см.: Мыльников А. С. «Родословие» Лаврентия Хурелича.— В кн.: Памятники культуры. Новые открытия. 1976. М., 1977, с. 21—31.
- <sup>59</sup> Мыльников А. С. Русские переводчики в Праге. 1716—1726.— В кн.: XVIII век. Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII в. Л., 1974, сб. 9, с. 279—288.
- <sup>60</sup> Засадкевич Н. Мелетий Смотрицкий как филолог. Одесса, 1883, с. 20.
- <sup>61</sup> Там же, с. 133.
- <sup>62</sup> Сазонова Л. И. Украинские старопечатные предисловия конца XVI—первой половины XVII в. (борьба за национальное единство).— В кн.: Тематика и стилистика предисловий и послесловий. М., 1981, с. 143—144. (Русская старопечатная литература, XVI—первая четверть XVIII в.).
- <sup>63</sup> Очерки по раннему периоду славяноведения в Швеции, с. 91.
- <sup>64</sup> Там же, с. 22.
- <sup>65</sup> Там же, с. 44.
- <sup>66</sup> Мыльников А. С. Свидетельство иностранного наблюдателя о жизни русского государства конца XVII в.— Вопр. истории, 1968, № 1, с. 124.
- <sup>67</sup> Vocabularium Russo-Germanicum, oder Moscovitisch-Teutsches Wörterbuch, in gewisse Capitula abgeschreibt.— Ratsbücherei Stadt Lüneburg. D. 4°. 55.
- <sup>68</sup> Эта проблематика подробно рассмотрена нами в статье: Мыльников А. С. Брауишвейг-Вольфенбютельский культурный центр и становление немецкой славистики (опыт системно-регионального анализа) (в печати).
- <sup>69</sup> Филин Ф. П. Истоки и судьбы русского литературного языка. М., 1981, с. 60, 73.
- <sup>70</sup> Успенский Б. А. Первая русская грамматика на родном языке. Доломоновский период отечественной русистики. М., 1975. 222 с.

**Й. ДОБРОВСКИЙ И РУССКИЕ УЧЕНЫЕ**  
**(из истории русского славяноведения**  
**первой трети XIX в.)**

Успехи славяноведения в первой трети XIX в. в значительной степени связаны с именем замечательного чешского ученого Й. Добровского (1753—1829)<sup>1</sup>. Исследование контактов Добровского с первыми русскими славистами делает более понятным его роль и влияние на русскую славистику, а также показывает взаимную необходимость этих контактов.

К началу XIX в. работы Добровского были известны в Праге и Вене, Варшаве и Кракове, Москве и Петербурге, Берлине, Геттингене и других городах, везде, где возникал и развивался интерес к языку, истории и литературе славян. Уже в 1810 г. Е. Копитар, обращаясь к Й. Добровскому, называет его «патриархом славистов»<sup>2</sup>. В России сообщения о работах Добровского публиковались в различных журналах того времени: «Библиографических листах»<sup>3</sup>, «Вестнике Европы»<sup>4</sup>, «Московском телеграфе»<sup>5</sup>, «Московском вестнике»<sup>6</sup> и др. С 1825 г. стали появляться в переводе на русский язык крупные работы Добровского, такие как «Кирилл и Мефодий, словенские первоучители»<sup>7</sup>, «Грамматика церковнославянского языка», вышедшая в переработке под названием «Грамматика славянского языка, заимствованная преимущественно из Грамматики г. Добровского старшим учителем С. Петербургской гимназии Иваном Пеницким». Она выдержала несколько изданий, прежде чем вышел перевод М. П. Погодина и С. П. Шевырева «Грамматика языка славянского по древнему наречию...» (ч. 1—2, 1833—1834).

Очень много для популяризации трудов Й. Добровского в России и установления контактов между русскими учеными и чешским славистом было сделано собирателем и издателем древних славянских памятников письменности Н. П. Румянцевым (1754—1826)<sup>8</sup> и особенно П. И. Кеппеном (1793—1864), одним из тех русских славистов, чей вклад в славяноведение на первом этапе его развития в России был значительным. В 1821 г. он отправился в длительное путешествие по Западной Европе с научными целями. Ехал он не только как частное лицо, но и как представитель так называемого Румянцевского кружка<sup>9</sup>, объединившего уче-

ных, занимавшихся собиранием и изучением древнеславянских и русских памятников письменности (Н. П. Румянцев, А. Х. Востоков, К. Ф. Калайдович, Е. Болховитинов, И. И. Григорович, П. М. Строев и др.). П. И. Кеппен побывал в Варшаве, Кракове, Братиславе, Праге, Пеште, Новом Саде, Вене, Дрездене, Мюнхене, Берлине и др., где особенное внимание обращал на древнеславянские рукописи и старопечатные книги, составлял их описи, делал выписки, копии; некоторые рукописи и книги он, по поручению Н. П. Румянцева<sup>10</sup>, покупал. Были установлены контакты почти со всеми известными славистами Европы: И. Добровским, Е. Конитаром, П. Й. Шафариком, В. Ганкой, Ф. Палацким, С. Б. Линде, Г. С. Бандтке, Я. Колларом и многими другими, письма которых хранятся в архиве Кеппена<sup>11</sup>.

С И. Добровским Кеппен познакомился во время своей поездки в Прагу в мае 1823 г.<sup>12</sup> В своем дневнике он записал: «Давно уже я желал видеть отца славянской словесности в чужих краях, давно желал побывать в Праге и познакомиться с почтенным аббатом Добровским — столько уважаемым как иностранными, так и нашими отечественными литераторами»<sup>13</sup>. Несколько ранее — в январе 1823 г. — началась переписка Кеппена с Добровским по поводу двух статей Кеппена — «О древностях и художествах в России» (1822 г.) и «Древности северного берега Понта» (1823 г.), опубликованных в венских изданиях, а также о привезенной Кеппеном Добровскому от Н. П. Румянцева древнерусской гривны<sup>14</sup>.

Впечатление от первой встречи с Добровским Кеппен описывает в своем дневнике: «Выходя из дома, я встретил г-на Палацкого, с которым виделся уже в Песте и в Вене и который, узнав от Добровского о моем приезде, тотчас поспешил ко мне. Он привел меня к Добровскому.. Добровского, который не был еще одет, я дождался внизу в саду; он вышел точно таков, каковым я себе его представлял: росту не довольно высокого \*, сухощавый и седой, несколько нагнутый. Я сказал ему, что я приехал в Прагу наиболее для того, чтобы с ним познакомиться. Он этим был доволен и обещался с завтрашнего дня со мною заняться»<sup>15</sup>.

В журнале «Вестник Европы» за 1823 г. В. С. Караджич дал еще более эмоциональный и яркий словесный портрет ученого, относящийся ко времени его пребывания в Вене в 1819—1821 гг., когда Добровский был занят изданием своей церковнославянской грамматики. В. С. Караджич пишет: «Сего патриарха языка славенского и истории видел я в первый раз у Давидовича<sup>16</sup> в минувшую субботу. Весь-

ма обрадовался я, что увидел Добровского, но еще более тому, что вместо дебелого, полнолицего, несколько согбенного монаха, нашел в нем тонкого, ростом высокого\* старца, с бодрою и прямою походкой такого юноши, который в три раза его моложе... Весь тот день и немалую часть ночи провели мы вместе — нас трое и Копитар четвертый. Не нужно говорить тебе, что между нами ни о чем ином разговора не было, кроме как об языке сербском и славенском. Надивиться не можно, как Добровский знает корень славянского; не имев случая говорить с ним, нельзя иметь о том никакого понятия»<sup>17</sup>.

В течение всего своего недолгого пребывания в Праге (1/13 мая — 14/26 мая) Кеппен постоянно виделся с Добровским, который изучал его материалы, как привезенные из России, так и собранные во время путешествия. С некоторых материалов Добровский снял копии<sup>18</sup>. Кеппен записывает: «Поутру пришли ко мне г. Добровский, г. Ганка и профессор Свобода, переведший на немецкий язык Кралеворскую рукопись<sup>19</sup>. К ним присоединился и г. Палацкий и Thom[p]son<sup>20</sup>. Добровский и Ганка с 9 до 12 часов неусыпно рассматривали мои русские памятники, и я должен сознаться, что здесь па опыте обращали больше внимания, нежели в Вене»<sup>21</sup>. И далее: «Я отоспал Добровскому на дом все мое собрание и книги, как-то: Каталог Толстого рукописям<sup>22</sup>, статью Евгения о грамоте<sup>23</sup> (которою Добровский был доволен и надеялся, может быть, еще когда-либо лично познакомиться с митрополитом в Киеве, если бы ему случилось побывать во Львове), статьи Качеповского (ему уже известные)<sup>24</sup>, Востокова о Славянской грамматике, папеч[атанной] в XVII т. Трудов Моск. общества»<sup>25</sup>.

Й. Добровский и Поссельт познакомили Кеппена с библиотекой Пражского университета, где Кеппена интересовали преимущественно рукописи кирилловского письма, особенно те, в которых могли встречаться юсы<sup>26</sup>. При описании библиотеки Кеппен ссылается на важную для славистики работу Добровского «История чешского языка и древнейшей литературы» (1792 г.), причем на 2-е дополненное ее издание 1818 г., неизвестное еще в России<sup>27</sup>. В ней Добровский, кроме описания важнейших памятников чешской письменности, хранящихся в библиотеке, рассматривает вопросы, касающиеся прародины славян, родства славянских языков и их классификации, богослужения на слав-

---

\* Так в письмах.

вянском языке в Чехии, занимавшие как чешских ученых (Г. Добнера, А. Фойгта, К. Унгера, Ф. Дуриха), так и русских славистов — (А. С. Шишкова, М. Т. Качеповского, К. Ф. Калайдовича и др.). Здесь же Добровский продолжает развивать свою теорию происхождения глаголицы, которой он занимался с 1780-х годов. Он отвергает предание об изобретении глаголической азбуки св. Иеронимом, существование глаголической письменности до XIII в. и вообще отнесение ее создания к периоду, предшествующему деятельности Кирилла и Мефодия. Изобретение глаголицы Добровский приписывает далматинским монахам<sup>28</sup>. Вопрос происхождения глаголицы и глаголической письменности не привлекал еще серьезного внимания русских ученых, которые считали ее, как Добровский и большинство западных ученых, поздним изобретением. Об этом писал Н. М. Карамзин в своей «Истории государства российского»<sup>29</sup>. Многие глаголические рукописи раннего периода еще не были найдены, хотя ученым уже было известно Ассеманиево (Ватиканское) евангелие, глаголический памятник XI в., обнаруженный в конце XVIII в. Большинство же глаголических памятников были открыты только во 2-й половине XIX в. (среди них: Зографское евангелие, Мариинское четвероевангелие, Сипайская псалтырь и др.)<sup>30</sup>. Поэтому Кеппен очень бегло упоминает о глаголических рукописях, виденных им в библиотеке Пражского университета, и о работе Добровского «Glagolitica», которую он ранее не знал<sup>31</sup>.

Добровский подарил Кеппену 3 экз. этой своей работы и другие сочинения, в том числе «Историю чешского языка и древнейшей литературы» (1818 г.) и, кроме того, факсимile некоторых отрывков из рукописей и старопечатных книг, заинтересовавших Кеппена, собиравшего образцы для составления палеографической таблицы почерков славянского письма<sup>32</sup>. Составлением подобной таблицы занимались и А. Х. Востоков, и К. Ф. Калайдович, и П. М. Строев, что необходимо было для разработки вопросов славянской палеографии.

Личность Добровского — ученого и человека — произвела большое впечатление на Кеппена. Он пишет в дневнике: «Разлука с Добровским меня попстила трошула. Бог знает, увижу ли я почтеннего 70-летнего ученого. Признаюсь, что при всем и великом уважении моем к почтенному Александру Семеновичу Шишкову я не могу не сказать самому себе, что Добровский лучше всех наших современников знает славянский язык. Ему известна большая часть су-

ществующих ныне наречий и взаимное их между собою отношение. При всем том он довольно скромен в отношении к таким предметам, которые остались им еще не определенными, но от принятого однажды мнения, его уклонить трудно»<sup>33</sup>. Одно время Кеппен даже надеялся издать биографию Добровского, как он это сделал с биографией С.-Б. Линде<sup>34</sup>, но этот план не осуществился.

В дальнейшем Добровский продолжал переписываться с Кеппеном, интересовался его изданием Фрейзингенских фрагментов, с похвалой отзывался о журнале «Библиографические листы» (1825—1826)<sup>35</sup>. Благодаря журналу Кеппена Добровский узнавал о работах русских ученых в области древнеруско-славянского языка, о новых находках рукописей. Кеппен помещал в журнале известия и рецензии на труды Добровского<sup>36</sup> и очень дорожил каждым замечанием или дополнением Добровского к опубликованному в журнале материалу. Он старался использовать в своих «Библиографических листах» все высказывания Добровского по славистическим вопросам, которые затрагивались в их переписке. В апреле 1826 г. Кеппен писал Добровскому: «Из моих Листов следует при сем №№ 38—40. Если они имеют некоторую ценность, то благодаря большей частью собственно Вам. Вы найдете в них многое из Ваших писем...»<sup>37</sup>.

Изо всех русских ученых Добровский наиболее регулярно переписывался с Кеппеном и пользовался перепиской с ним, чтобы поддерживать научные контакты с другими русскими учеными — К. Ф. Калайдовичем, Е. Болховитиновым, М. П. Погодиным. Переписка продолжалась вплоть до смерти И. Добровского в 1829 г. Наиболее постоянными темами переписки ученых были вопросы, касающиеся издания древних рукописей и определения времени их происхождения, кирилло-методиевская проблематика, издание и языковые особенности Фрейзингенских фрагментов, воспоминания о пребывании Добровского в России в августе 1792 — январе 1793 г. Во многих своих письмах из России (1824—1829) Кеппен с глубоким уважением и любовью обращается к Добровскому, как ученику к учителю, советуется с ним о своих планах, издательских и научных делах, с признательностью вспоминает о днях, проведенных рядом с Добровским в Праге, надеется на новую встречу<sup>38</sup>. Добровский ценил в Кеппене широкую осведомленность и отсутствие косности в научных вопросах, искреннюю заинтересованность в успехах развивающегося славяноведения, обязательность и точность, с которой Кеппен исполнял

каждую просьбу Добровского (снимал копии с рукописей, посыпал книги и т. п.).

Об А. Х. Востокове (1781—1864) и его работе по церковнославянскому языку Добровский узнал из письма к нему Е. Копитара от 25.3.1822 г., в котором Копитар сообщал о статье Востокова «Рассуждение о славенском языке»<sup>39</sup> и о делении Востоковым истории церковнославянского языка на 3 периода: древний, средний и новый<sup>40</sup>. Кеппен специально привез статью Востокова в Прагу, чтобы познакомить с ней Добровского, а позднее сообщил Добровскому и замечания Востокова на «Грамматику» Добровского. Не со всеми выводами Востокова Добровский был согласен, однако работы Востокова<sup>41</sup>, опирающиеся на рукописный материал XI—XIII вв., ранее неизвестный Добровскому, побудили его продолжить исследование древнечерковнославянской грамматики<sup>42</sup>.

С большим вниманием относился Добровский к работам К. Ф. Калайдовича (1792—1832)<sup>43</sup>. Одной из первых книг, посланных Н. П. Румянцевым Добровскому, были «Памятники Российской словесности XII в., изданные с объяснением, вариантами и образцами почерков» К. Ф. Калайдовичем (М., 1821 г.). В январе 1823 г. в письме к Румянцеву Добровский высказал несколько мелких замечаний по поводу этого издания, касающихся некоторых лингво-палеографических вопросов<sup>44</sup>. В том же году Добровский познакомился с печатавшимся в Москве каталогом славянских рукописей библиотеки Ф. А. Толстого, который готовили к изданию К. Ф. Калайдович и П. М. Строев<sup>45</sup>. Отдельные листы каталога Кеппен привез в Прагу, и Добровский, как он сам пишет Кеппену, переписал для себя почти все<sup>46</sup>. Обсуждая с Кеппеном вопросы описания и издания рукописей, Добровский высказывает свои требования к работе, подобной каталогу рукописей библиотеки Ф. А. Толстого. Он пишет: «Замечания о судьбе рукописей, о прежних их владельцах, о месте нахождения рукописи должны быть интересны как для русских, так и для иностранцев. Однако я вижу, к сожалению, отсутствие сведений другого рода, но которых можно ожидать только от русских. Я хотел бы знать хотя бы приблизительно, была ли рукопись уже кем-либо опубликована или нет. Подобные замечания встречаются, но очень редко»<sup>47</sup>.

Особую осторожность Добровский советует соблюдать при определении древности рукописи. Читателю каталога должны быть представлены основательные доказательства происхождения и времени написания рукописи, полученные

в результате тщательного и квалифицированного анализа, которому можно доверять. Недостатком каталога Добровский считал также отсутствие единого оглавления<sup>48</sup>. Все замечания Добровского Кеппен сообщил Калайдовичу. Многие недоразумения устранились, когда Добровский получил предисловие к «Описанию», которое было написано позже основной части<sup>49</sup>. Калайдович писал Кеппену: «Благодарю Вас искренне за сообщенные мне замечания знаменитого Добровского: прежде получения опых, я уже изъяснился в предисловии о некоторых недоразумениях...»<sup>50</sup>. Письмом Калайдовича с объяснениями Добровский остался удовлетворен<sup>51</sup>.

Другой важной работой К. Ф. Калайдовича было его исследование об «Иоанне, экзархе болгарском» (1824 г.)<sup>52</sup>. Оно стало первым серьезным вкладом в развитие кирилло-мефодиевской проблематики в России. Сочинения Иоанна Калайдович нашел еще в 1813 г. в Московской Синодальной библиотеке<sup>53</sup> и в течение более 10 лет работал над изучением и подготовкой к печати этих памятников и комментариев к ним. «Труд этот, результат его многолетних разысканий по рукописям Синодальной библиотеки... обогатил тогдашние довольно скромные сведения по церковнославянской письменности древнейшего южнославянского (болгарского) периода таким количеством новых данных, что даже знатоки вроде Добровского пришли в недоумение», — пишет И. В. Ягич<sup>54</sup>. Не все и в России сразу оценили труд Калайдовича<sup>55</sup>. Н. П. Румянцев, на чьи средства было осуществлено издание, хорошо понимал значение этих памятников для дальнейшего изучения древнеславянской письменности. Он высоко ценил исследовательский талант Калайдовича и писал ему: «Я желал бы, чтобы Вы были свидетелем той радости, которую почувствовал я, получа первый экземпляр ученого исследования Вашего о экзархе Болгарском, при письме, коим Вы меня удостоить изволили от 2 сентября. Сей труд, за который я Вам премного благодарен, сделает Вас известным везде и навсегда, определит Вам отличное место между всеми вообще писателями нашего века. С нетерпением буду ожидать других экземпляров Эксарха, дабы первый из них отправить к митрополиту Евгению и ученому Добровскому»<sup>56</sup>.

Добровский отнесся с недоверием к существованию как самого Иоанна, так и памятников кириллического письма, подобных «Шестодневу» или переводу из сочинения византийского писателя VII—XIII в. И. Дамаскина (Богословие), относящихся к эпохе болгарского царя Симеона<sup>57</sup>. Свою

точку зрения па Иоаппа экзарха и его труды Добровский изложил в рецензии. «Об Иоанне, болгарском экзархе, я высказал свое откровенное мнение в рецензии, которая будет опубликована в последнем томе Венского ежегодника», — писал Добровский Кеппену<sup>58</sup>. Список мелких поправок и замечаний, касающихся в основном языка рукописи, Добровский передал Калайдовичу тоже через Кеппена<sup>59</sup>.

На работы Калайдовича Добровский ссылается в «Кирилле и Мефодии» (1823 г.), в «Моравской легенде о Кирилле и Мефодии» (1826 г.), в статье «О племенном имени славян» (1827 г.). Познакомившись в 1823 г. со статьей Калайдовича о древнечерковнославянском языке<sup>60</sup>, он пишет Кеппену, что должен опровергнуть «в нескольких словах» утверждение автора о моравизме языка первых славянских церковных книг<sup>61</sup>. Но Добровский не убедил Калайдовича, и это же свое мнение Калайдович повторяет в 1-й главе кн. «Иоанн, эксарх болгарский. (Начало словенских письмен. Константин и Мефодий. Их труды. Книжный язык словенский)». Он считает, что первый перевод церковных богослужебных книг был сделан для мораван на моравское наречие. Но так как в IX в. еще не было резкого различия между древними славянскими наречиями, он был понятен и мораванам, и болгарам, и русским, и сербам, и другим славянским племенам, жившим на Дунае. Только лишь через 300—400 лет после утверждения книжного языка славянские наречия оформились в отдельные языки<sup>62</sup>.

Вопрос об основе старославянского языка в это время широко обсуждался русскими учеными и учеными других стран. Добровский считал, что в основе древнечерковнославянского языка лежит болгаро-македонский диалект древнесербского языка, относящийся к I разряду языков (сербский, русский, хорватский, словенский, древнечерковнославянский). Моравский, словацкий, чешский, польский языки он относил ко II разряду. Учитывая большую близость языков одного разряда, Добровский приходил к следующему выводу о языке первых переводов богослужебных книг: «И я при обрабатывании Словенской грамматики и при приложении сравнении новых изданий с древнейшими списками беспрестанно убеждался более, что кирилловым языком было древнее, еще не смешанное сербо-болгаро-македонское наречие, при котором убеждении должен оставаться и теперь, даже по прочтении нового рассуждения г. Калайдовича о древнем церковном языке». И далее: «Словенские церковные книги перешли не из Моравии к болгарам, но наоборот через Кирилла и Мефодия из Болгарии в Моравию, а после

также непосредственно из Болгарии и Сербии в Россию»<sup>63</sup>. Об этом же он пишет П. И. Кеппену: «В Македонии обнаружили один диалект, который должен быть в ближайшем родстве к древнеславянскому. На это ссылался уже далматинец Луций, и я имею право приписать древний болгарско-сербско-македонский диалект за церковнославянский. В Моравии его не следует искать, как и в Крайне, потому что Кирилл привез с собой уже готовые книги и он этот язык изучал не в Лайбахе, а в Салониках»<sup>64</sup>.

Добровский считал, что Кирилл, памереваясь переводить богослужебные книги для славян болгарского государства, положил в основу языка переводов язык солунских славян, как наиболее близкий и попятный им<sup>65</sup>. Добровский не совсем удачно назвал этот диалект «древним племешанным сербо-болгаро-македонским наречием», однако правильно указал, к какой именно группе славянских языков относится этот диалект и где его можно локализовать<sup>66</sup>. Ученый не имел еще достаточно определенного понятия о болгарском языке и его истории и относил его к диалектам сербского. Историю болгарского языка и особенности новоболгарского еще только начинали изучать (А. Х. Востоков, В. С. Караджич, Е. Копитар), однако благодаря работам Добровского и Востокова славистика, долго блуждавшая в туманных определениях старославянского языка (древнего словенского, древнепещерконославянского — по терминологии тех лет) как «коренного» славянского наиболее «чистого», «неписорченного» и т. п.<sup>67</sup>, наконец приблизилась к правильному решению вопроса.

С книгой Добровского «Кирилл и Мефодий, словенские первоучители» русские научные круги познакомились в 1826 г. В 1824 г. Н. П. Румянцев поручил М. П. Погодину перевести ее на русский язык<sup>68</sup>. Одновременно с появлением перевода Погодина П. И. Кеппен изложил содержание «Кирилла и Мефодия» и некоторых рецепций на книгу Добровского в «Библиографических листах»<sup>69</sup>. Добровский был доволен изданием книги в России и интересом русских ученых к его труду<sup>70</sup>. С вниманием отнесся он и к статьям Кеппена, поправляя некоторые ошибки в его комментариях и сообщая новые сведения об источниках Моравской легенды и пр.<sup>71</sup> Публикация этих статей доставила Кеппену большие неприятности: он был обвинен в нарушении ряда догматов церкви, и это грозило закрытием журнала<sup>72</sup>. Кеппен обращается к Добровскому с просьбой составить и прислать карту Моравии, Болгарии и Паппопии, где были бы обозначены места, связанные с жизнью и деятельностью Кирилла.

ла и Мефодия<sup>73</sup>, на чем настаивал переводчик М. П. Погодин: «Вчера писал мне из Москвы переводчик Вашего Кирилла и Мефодия (из-за которого меня здесь злые люди хотели объявить почти еретиком) г-н Погодин, что он только сейчас собирается отдавать в печать сочинение. Он призывает меня просить Вас составить карту всего места действия, которая могла бы быть здесь отгравирована. Он прав в этой просьбе, и Вы, конечно, пас всех этим сообщением обязали бы»<sup>74</sup>. Это намерение Погодина и Кеппена не было осуществлено. Слишком многие вопросы жизни и деятельности Кирилла и Мефодия были еще дискуссионными и не были до конца ясны самому Добровскому, на это он неоднократно указывал в своей книге (например, вопрос постоянного местопребывания архиепископа Мефодия, с. 62—64; был ли Мефодий в Богемии, с. 80—81 и др.).

Книга Добровского «Кирилл и Мефодий, словенские первоучители» имела большое значение в формировании кирилло-методиевской проблематики в России. Она познакомила русских ученых с кругом тех вопросов, решение которых было важно для дальнейшей разработки истории славян, их письменности и культуры. А главное — в ней был ясно виден метод работы Добровского с источниками, метод исторической критики текста, отношение к источникам различного типа<sup>75</sup>.

М. П. Погодин дополнил издание книги Добровского приложением. В приложении он дал жития Кирилла и Мефодия (сводный текст) по рукописным Прологам XV—XVI вв., хранившимся в Публичной библиотеке и библиотеке Н. П. Румянцева. В том числе он впервые опубликовал текст азбучной молитвы (произведение еп. Константина Преславского, ученика Кирилла и Мефодия) из Хронографа 1494 г.<sup>76</sup> Кроме того, Погодин опубликовал в приложении замечания рецензента книги Добровского Блумбергера, П. И. Кеппена и свои собственные, изложенные им в письме к Н. П. Румянцеву (26 ноября 1824 г.)<sup>77</sup>. Основным вопросом, вызывавшим недоумение Погодина и других ученых, был: возможна ли официальная миссия Кирилла и Мефодия, греческих подданных, в Моравию — страну, принявшую крещение от римских миссионеров и находящуюся под влиянием папы? Многие ученые отвечали на этот вопрос отрицательно. От его решения зависело решение и ряда других вопросов: по какому обряду (римскому или греческому) совершалось богослужение<sup>78</sup>, для какого славянского народа была изобретена азбука, в какой стране впервые было введено богослужение на славянском языке и др. Все

эти вопросы в первой трети XIX в. еще не были разрешены.

В 1822 г. Добровский написал рецензию на 1—8 тома 2-го издания «Истории государства российского» Н. М. Карамзина<sup>80</sup>. Замечания Добровского относились в основном к 1-му тому, где Карамзин писал о древней истории славян (что касается других томов, то в рецензии просто пересказывалось их содержание)<sup>81</sup>. Особенно высоко ценил Добровский в «Истории» Карамзина многочисленные комментарии, примечания, отрывки из летописей<sup>82</sup>. Кеппен прислал Добровскому свои дополнения к рецензии, которые могли быть ему полезны, например, что такое Каменный пояс, как понимать прозвище черниговского князя Николая — Святоша и пр.<sup>83</sup> Добровский обращался к «Истории» Карамзина и при работе над славянским ономастиконом: «Я занимаюсь и славянским ономастиконом (личные имена), в чем мне очень помогает «История» Карамзина. К сожалению, как раз древнейшие имена так искажены, что едва ли можно отгадать, как они звучали в устах славян», — пишет он Кеппену<sup>84</sup>.

О работах митрополита Евгения (Евфимия Алексеевича Болховитинова, 1767—1837) Добровский мог знать из журнала «Вестник Европы»<sup>85</sup>. В 1824 г. Добровский написал рецензию на «Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-российской церкви» (ч. 1—2, СПб., 1818)<sup>86</sup>. В декабре 1824 г. он сообщает Кеппену: «Митрополит Евгений, которого я уважаю, будет, пожалуй, доволен моей рецензией и извлечениями из его исторического Словаря писателей духовного сословия»<sup>87</sup>. Болховитинов благодарил Добровского и через Кеппена переслал ему одну из своих книг — «Описание Киево-Софийского собора и Киевской иерархии» (Киев, 1825).

Е. Болховитинов известен русской науке как один из первых палеографов и историков-краеведов. Как пишет И. В. Ягич, «он принадлежал бесспорно к передовым деятелям и самым просвещенным людям своего времени в России»<sup>88</sup>. Член Румянцевского кружка, Московского общества истории и древностей, он сам занимался поисками, собиранием и спасением от гибели древнерусских памятников письменности. В новгородском Юрьевском монастыре Болховитинов обнаружил один из древнейших древнерусских юридических документов — грамоту князя Мстислава (XII в.). Статья Болховитинова об этой грамоте, которую Кеппен привез Добровскому в Прагу<sup>89</sup>, — «это цеппейший, передовой для своего времени свод палеографических наблюдений, позволяющий датировать рукописи и надписи

на печатях великих князей и высшего духовенства»<sup>99</sup>. Эту находку Болховитинова использовал в своей «Истории» и Карамзин. Болховитинову принадлежит также заслуга открытия в Юрьевском монастыре отрывка из псалтыря XI в.— так называемой Евгениевской толковой псалтыри, много-кратно изучавшейся учеными<sup>100</sup>.

Одно из первых подробных лингво-палеографических описаний этой рукописи принадлежат Востокову (в письме к Болховитинову от 21.11.1821 г.— опубликовано в 1855 г.)<sup>101</sup>. Сопоставляя рукопись с Остромировым евангелием и некоторыми другими древними славянскими рукописями, Востоков приходит к мнению о ее южнославянском (сербском или болгарском) происхождении и относит ее к XI—XII вв. Востоков отмечает в ней такие важные явления истории языка, как замену *ъ* и *ь* через *о* и *е*, написание *щ* вместо *шт*, употребление *юсов*, замену *a*—*aa* и др. Причем Востоков стремился при определении древности рукописи учитывать и другие, не менее важные обстоятельства: «почерк того времени, буквы, неупотребительные у позднейших писцов, и вообще древнейший склад слов. То, что кажется признаком позднейшего века, могло быть особенностью диалекта в самые древние времена»<sup>102</sup>. Об этой же псалтыри Востоков писал Добровскому: «Из всех старинных рукописей, какие мне случалось видеть, одна только довольно близко подходит к Остромирову евангелию касательно правописания букв *ж*, *иж*, *ѧ*, *ѩ*. Это есть отрывок Псалтыри толковой XI века, принадлежащий митрополиту Евгению Киевскому. Один лист сего отрывка, псалм 103, подарен преосвященным Евгением г-ну Кеппену, который говорит об опом в своем сочинении *Ueber Alterthum und Kunst in Russland*, на стр. 7. Всех листов в сем отрывке 10»<sup>103</sup>.

Кеппена очень интересовала эта рукопись, и он познакомил Добровского, Копитара, Ганку со своим отрывком. Он настойчиво обращался к Добровскому с просьбой определить ее происхождение и древность<sup>104</sup>. В Праге, во время бесед с Кеппеном, Добровский высказал предположение, что эта псалтырь может быть моложе Остромирова евангелия, и Кеппен хотел знать, на чем основано это предположение. Добровский обращает внимание Кеппена на следующее: «В вашем фрагменте, который, пожалуй, весьма древний, окончания отлагольных существительных на -еніе, -аніе встречаются всегда уже в сокращенном виде: -апье, -апъе, а пе-аніе, как во всех древних макускриптах. Тем, что в вашем фрагменте *jakoi* пишется вместо *jako*, можно

пренебречь, хотя это і па копце наречия — полопизм. оспываа вместо основа-a может быть опиской, но которую мог допустить только русский (переписчик.— M. H.), для которого привычна форма -ывати. V.8. основалъ. V.9. положилъ без юсть мне подозрительны. Он имел перед собой явно только *положи* или *положилъ* юсть. Во второй половине этого стиха мне правится супин с генитивом: ми обратиться покрыть землю, как этого требует древний синтаксис. Все остальное выдает глубокую древность, но какую имелло? Это не яспо. Комментарий к этому псалму (103) можно пайти у Афанасия. Основы древнего наречия славяпского языка, с. 68б»<sup>95</sup>.

Востоков в письме у Болховитинову дает более подробное перечисление признаков, определяющих древность и происхождение рукописи, но не обращает должного внимания на синтаксис. Так постепенно в совместной работе ученых разных стран вырабатывались принципы определения древности рукописи, умение видеть за языком переписчика язык протографа.

С А. С. Шишковым (1754—1841) Добровский был знаком лично<sup>96</sup>. Он был невысокого мнения о его научных трудах, особенно разочаровала его система корней Шишкова. Отзываясь в целом с уважением о деятельности «знаменитого президента Академии Российской, А. С. Шишкова», Добровский в своей «Грамматике» показывает всю бесплодность шишковского словоизводства па примере «дерева корня *mr*» с 25 коленами и заключает: «Я всегда думал, что основания этимологии более поколеблются, пежели утвердятся, если мы будем без меры уменьшать число корней, насильно подводя корни, из нескольких букв состоящие, под другие простейшие»<sup>97</sup>. Он ждал от Шишкова деятельности другого рода — своеевременной информации зарубежных учёных о появлении новых русских славистических исследований, помощи в издании памятников письменности, содействия в развитии славистики и др. «От шишковской системы корней нельзя ожидать ничего полезного. Теперь он может наслаждаться радостями супружества и совсем позабыть свои сухие корни. Но он должен нам, как это делал незабвенный Румянцев, сообщать филологические новости. На меня, кажется, он очень рассержен. Это хорошо, что Вы в своих «Листах», где пишете о моей рецензии на Словарь Российской Академии<sup>98</sup>, меня как бы извиняете и мое памерение оправдываете», — писал Добровский Кеппену<sup>99</sup>.

В беседах и переписке с Кеппеном Добровский часто обращался ко времени своего путешествия по России (1792—1793)<sup>100</sup> и работе в библиотеках и архивах Москвы и Петербурга, он приходил даже к мысли о необходимости новой поездки в Россию. В Петербурге он познакомился с П. С. Палласом, И. Г. Стриттером, в Москве — с А. А. Барсовым, Ф. Г. Баузе, митрополитом Платоном. Более всего Добровский сожалел о недоступности для него тех новых рукописных источников, которые были обнаружены в ряде монастырских и библиотечных хранилищ в результате экспедиций К. Ф. Калайдовича и П. М. Строева, работы А. Х. Востокова, И. Н. Лобойко, В. И. Григоровича, Е. А. Болховитинова и др. В одном из писем Кеппену Добровский пишет: «Кто мог бы более меня жаждать таких сокровищ (рукописей). — M. H.), какие стекаются к вам со всех сторон, не для того, чтобы ими владеть, но чтобы их видеть, изучать, использовать»<sup>101</sup>. И если в 1792 г., как Добровский писал Ф. Дуриху, он не мог в течение двух месяцев найти в Петербурге ни одного человека, интересовавшегося славистикой<sup>102</sup>, то уже в первой трети XIX в. в Москве, Петербурге и других городах России появилась целая плеяда филологов и историков, занимавшихся языком, письменностью, историей славян.

Высокий авторитет Добровского-ученого, широкий аспект его славистических исследований привлекали внимание русских ученых к трудам «патриарха славистов». Влияние его идей ощущается на протяжении всей первой трети XIX в. и обнаруживается в работах Н. М. Карамзина, М. Т. Каченовского, Ю. И. Венелина, А. Х. Востокова, К. Ф. Калайдовича и др., хотя и не всеми этими учеными они принимались безоговорочно (например, о расхождениях Добровского и Востокова, Добровского и Калайдовича говорилось выше). Славяноведение этого периода находилось в процессе формирования и становления не только в России, но и в других странах, и каждое новое открытие или достижение в этой области вносило какие-то новые коррективы в науку, заставляло пересматривать ранее принятые положения. Другим важным фактором развивающейся славистики в России было активное и широко поставленное собирание, изучение и издание славянских и древнерусских рукописей и других памятников письменности, которыми были богаты архивы монастырей и библиотек (деятельность Н. П. Румянцева и Румянцевского кружка, Комиссии по печатанию государственных грамот и договоров, отдельных энтузиастов).

Участие в собирании и изучении рукописей таких талантливых палеографов, как А. Х. Востоков, К. Ф. Калайдович, П. М. Строев и др., дало возможность выявить и обработать значительный рукописный материал, ввести его в научный оборот, разработать методы описания и издания рукописей. Поэтому неудивительно внимание и интерес Добровского к работам русских ученых, его желание быть в курсе всех важных открытий в области славистики, что явствует из переписки Добровского с Кеппеном. Знакомство и дружеская переписка Добровского с Кеппеном имели немаловажное значение для русского славяноведения. Это был один из каналов, через который русские ученые могли ближе познакомиться с научным методом Добровского, узнать его мнение о своих трудах, получить совет. Другим важным источником информации был журнал Кеппена «Библиографические листы», который знакомил с достижениями европейских и западнославянских ученых и с их славистическими работами. Не менее важна была и информация в журнале о работах русских ученых. Поэтому журнал был высоко оценен Добровским и другими славистами и в этом смысле его можно назвать «общеславянским органом»<sup>103</sup>.

Дневник путешествия П. И. Кеппена по славянским землям западной Европы, его переписка, публикации памятников наглядно показывают, каких больших усилий, самоотверженности, любви к науке, материальных затрат стоило собирание по крупицам сведений о древних славянских рукописях и книгах, их поиски, копирование, приобретение, паконец, исследование, введение в научный оборот, т. е. создание той базы, которая стала основой для быстрого и плодотворного развития русской славистики в 40—60-е годы XIX в.

<sup>1</sup> Kudělka M. O pojetí slavistiky u Josefa Dobrovského.— Slovanský přehled, 1979, N 2, s. 104—116; Лавров П. А. Труды Добровского по вопросам древнеславянской письменности и их влияние на труды русских ученых в той же области.— In: Josef Dobrovský, 1753—1829. Praha, 1929, s. 193—231.

<sup>2</sup> Ягич И. В. Письма Добровского и Копитара в повременном порядке. СПб., 1885, с. 159.

<sup>3</sup> Библиографические листы. № 1—43. СПб., 1825—1826. См. прим. 36, 37.

<sup>4</sup> Славянин и Словянка.— Вестн. Европы, 1816, № 1 с. 47—49; О древних славянских названиях двенадцати месяцев: (с нем. Из Славянки Добровского. 1814 г.).— Вестн. Европы, 1818, № 4, с. 283—295; Письмо от сербского литератора Вука Стефановича к Дмитрию Фрушичу, доктору медицины.— Вестн. Европы, 1823, № 10,

- с. 99—117; Какое из славянских наречий можно назвать самым чистым преимущественно пред всеми другими: (Из Славянки).— Вестн. Европы, 1829, № 12, с. 249—259 и др.
- <sup>5</sup> Библиографическое обозрение книг по языкоznанию.— Московский телеграф, 1826, № 1, с. 96—99; О книге Добровского «Кирилл и Мефодий, словенские первоучители», 1825 г.— Московский телеграф, 1827, № 1, с. 16; О «Грамматике» Добровского.— Московский телеграф, 1828, № 4, с. 354—359.
- <sup>6</sup> О разделении словенского языка на наречия: (Отрывок из письма Добровского).— Московский вестн., 1827, № 14, с. 177—178; Замечание о словенском языке.— Московский вестн., 1828, № 12, с. 395—404 и др.
- <sup>7</sup> Добровский И. Кирилл и Мефодий, словенские первоучители. М., 1825.
- <sup>8</sup> Францев В. А. Из переписки гр. Н. П. Румянцева:— Материалы для истории славян. филологии. Варшава, 1900. 40 с.
- <sup>9</sup> О Румянцевском кружке см.: Козлов В. П. Колумбы российских древностей. М., 1981. 167 с.
- <sup>10</sup> ЛО ААН, ф. 30, оп. 1, д. 72.
- <sup>11</sup> Там же, д. 137—140.
- <sup>12</sup> Кеппен П. И. Путевые записки. Кн. 5. Поездка в Прагу — ЛО ААН, ф. 30, оп. 1, д. 139, л. 39—80.
- <sup>13</sup> Там же, кн. 5.— ЛО ААН, ф. 30, оп. 1, д. 139, л. 39.
- <sup>14</sup> Кеппен П. И. Письмо И. Добровскому из Вены 19/30 янв. 1823.— В кн.: Ягич И. В. Новые письма Добровского, Копитара и других югоизападных славян. СПб., 1897, с. 132—133. Ответ И. Добровского П. И. Кеппену от 11 апр. 1823 г. См.: Ягич И. В. Письма Добровского и Копитара..., с. LXXXVII, 663—665. Все отрывки из писем даны в переводе с немецкого.
- <sup>15</sup> ЛО ААН, ф. 30, оп. 1, д. 139, л. 44 и 45.
- <sup>16</sup> Давидович Д. (1789—1838) — сербский журналист, издатель журнала „Novine srpske“.
- <sup>17</sup> Караджич В. Письмо от сербского литератора...— Вестн. Европы, 1823, № 10, с. 99—100. Снимок с портрета И. Добровского, написанного О. Кипрецким летом 1823 г. в Мариенбаде (Мариацкие Лазни), помещен И. В. Ягичем в кн. «Письма Добровского и Копитара...»
- <sup>18</sup> ЛО ААН, ф. 30, оп. 1, д. 139, л. 53, 61.
- <sup>19</sup> Первое издание Краледворской рукописи вышло в Праге в 1818 г. В 1819 г. был сделан перевод на немецкий язык проф. В. А. Свободой. Подробнее см.: Лаптева Л. П. Краледворская и Зеленогорская рукописи и их оценка в России XIX и начала XX в.
- <sup>20</sup> ЛО ААН, ф. 30, оп. 1, д. 139, л. 40. Томпсон Томас, ирландец из Белфаста, бакалавр, попутчик Кеппена во время путешествия из Вены в Прагу.
- <sup>21</sup> ЛО ААН, ф. 30, оп. 1, д. 139, л. 49—50. Прага в это время была не только центром научной славистической мысли Чехии, но и местом, где живо ощущалось влияние идей славянского возрождения. Здесь жили и работали такие чешские будители и ученыепатриоты, как В. Ганка (1791—1861), Ф. Палацкий (1798—1876), Й. Юлгманн (1773—1847), Ф. Л. Челаковский (1799—1852), известные своими трудами в области чешской литературы и языка, истории и древнеславянской письменности.
- <sup>22</sup> Обстоятельное описание славяно-российских рукописей, хранящихся в Москве, в библиотеке гр. Ф. А. Толстова/Изд. К. Калайдович и П. Строев. М., 1825. 811 с.

- <sup>23</sup> Болховитинов Е. А. Примечания на граммату великого князя Мстислава Володимировича и сына его Всеволода Мстиславича, удельного князя новгородского, пожалованную новгородскому Юрьеву монастырю.— Вестн. Европы, 1818, № 15/16, с. 201—255; № 20, с. 313.
- <sup>24</sup> Возможно, речь идет о статьях Каченовского: О славянском языке вообще и в особенности о церковном.— Вестн. Европы, 1816, № 19/20, с. 241—263; Исторический взгляд на грамматику славянских наречий.— Вестн. Европы, 1817, № 11, с. 186—208. В «Вестнике Европы» Каченовский печатал также много статей по русской истории.
- <sup>25</sup> ЛО ААН, ф. 30, оп. 1, д. 139, л. 50.
- <sup>26</sup> Там же, л. 58—60.
- <sup>27</sup> Там же, гл. 59. Имеется в виду издание: Dobrowsky I. Geschichte der böhmischen Sprache und ältern Literatur. Prag, 1818. 408 S.
- <sup>28</sup> Снегирев И. И. Добровский: Его жизнь, учено-литературные труды и заслуги для славяноведения. Казань, 1884, с. 123—127.
- <sup>29</sup> Караваев П. М. История государства Российского. СПб., 1818, т. 1, прим. 267, с. 97—100. Караваев доказывает приоритет кириллицы, опираясь на летопись Нестора, работы Шлецера, Добровского, Фойгта. Но он приводит и мнение Г. Добнера о приоритете глаголицы: Dobner G. Aufwerfung einer historischen kritischen Frage, ob das heut zu Tage sogenannte cyrillische Alphabet für eine wahre Erfindung des heiligen Slavischen Apostels zu halten.— Abhandlungen der böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1785, Bd. 1, S. 101—139. См. о статье Добнера: Ягич И. В. История славянской филологии. СПб., 1910, с. 90—91.
- <sup>30</sup> См. например: Кукев К. М. Съдбата на старобългарските ръкописи през вековете. София, 1979. 221.
- <sup>31</sup> ЛО ААН, ф. 30, оп. 1, д. 139, л. 59. „Glagolitica“ — приложение к журналу «Славин», вышедшему в Праге в 1807—1808 гг.
- <sup>32</sup> ЛО ААН, ф. 30, оп. 1, д. 139, л. 66—67.
- <sup>33</sup> Там же, л. 67—68.
- <sup>34</sup> Ягич И. В. Новые письма Добровского..., с. 139, письмо от 27 авг./8 сент. 1823 г.
- <sup>35</sup> Ягич И. В. Письма Добровского и Копитара..., с. 675, письмо от 14 янв. 1826 г.
- <sup>36</sup> См.: Азбучная роспись по именам, упоминаемым в «Библиографических листах». — Библиографические листы, 1826, стб. 661.
- <sup>37</sup> Ягич И. В. Новые письма Добровского..., с. 156—157, письмо от 13/25 апр. 1826 г. Ср., например: Библиографические листы, 1826, № 37, стб. 539, где помещены выдержки из письма Добровского от 14 янв. 1826 г. (Ягич И. В. Письма Добровского и Копитара..., с. 676). Показательно, что в «Азбучной росписи...» (Библиографические листы, 1826, стб. 771) все сведения, касающиеся Добровского, расположены по разделам: 1) сообщенные им известия и замечания; 2) известия о новых его сочинениях; 3) переводы его сочинений на рос. язык; 4) ссылки на его сочинения; 5) другие об нем упоминания. Рядом со всеми другими фамилиями, за исключением Н. П. Румянцева, стоят лишь номера страниц.
- <sup>38</sup> Ягич И. В. Новые письма Добровского..., с. 146—150; 154—156, 163—164; 166.
- <sup>39</sup> Статья Востокова была опубликована в «Трудах Общества любителей российской словесности». М., 1820, т. 17, с. 5—61.
- <sup>40</sup> Ягич И. В. Письма Добровского и Копитара..., с. 446—467.
- <sup>41</sup> Из работ Востокова этого периода И. Добровскому, кроме «Рассуждения о славянском языке», статей и рецензий в «Библиографических

- ских листах», которые выслал ему П. И. Кеппен, стали известны «Грамматические объяснения» к Фрейзингенским фрагментам, изданные Кеппеном в «Собрании словенских памятников, находящихся вне России» (СПб., 1827, кн. 1), и письмо А. Х. Востокова, содержащее подробное лингво-палеографическое описание Остромирова евангелия (оно опубликовано в кн.: Переписка А. Х. Востокова в повременном порядке с объяснительными примечаниями /Изд. И. И. Срезневским. СПб., 1873, с. 100—116).
- <sup>42</sup> Ягич И. В. Письма Добровского и Копитара..., с. 672, письмо от 6 дек. 1824 г. Подробнее см.: Никулина М. В. И. Добровский и А. Х. Востоков.—Сов. славяноведение, 1981, № 6, с. 109—113.
- <sup>43</sup> Ягич И. В. История славянской филологии. СПб., 1910, с. 167—170.
- <sup>44</sup> Францев В. А. Из переписки гр. Н. П. Румянцева, с. 7—8.
- <sup>45</sup> Его точное название см. прим. 22.
- <sup>46</sup> Ягич И. В. Письма Добровского и Копитара..., с. 666, письмо от 9 июня 1823 г. Кеппен посыпал И. Добровскому листы «Описания» и позже, как видно из письма от 6 дек. 1824 г., см. с. 673.
- <sup>47</sup> Там же, с. 668, письмо от 9 июня 1823 г.
- <sup>48</sup> Там же, с. 667—668. Приводим образец описания рукописей в «Каталог...» Калайдовича и Строева (Отд. 2, с. 268, № 77); «Шестоденье, составленное из сочинений Василия Великого, Иоанна Златоустого, Севериана, философа Аристотеля и других, Иоанном Эксархом Болгарским, с посвятительным предисловием сего творения Болгарскому князю Симеону. Полууставная рукопись разных почерков, вероятно, конца XV века, в которой некоторые листы вписаны в XVI столетии, на 285 листах. Некогда была вкладу Козмою Григорьевым в Кириллов Новосезерский монастырь, при строителе Савватии».
- <sup>49</sup> В предисловии Калайдович и Строев изложили свою методику описания рукописей. См.: Козлов В. П. Константин Федорович Калайдович и его труды по славянской литературе, истории и письменности.—*Palaeobulgaria*, 1978, № 4, с. 91.
- <sup>50</sup> Бессонов П. А. Материалы для жизнеописания К. Ф. Калайдовича, и особенно для изображения его ученой деятельности.—Чтения в ОИДР, 1862, кн. 3, с. 127—128, письмо Калайдовича к Кеппену от 14 июля 1824 г.
- <sup>51</sup> Ягич И. В. Письма Добровского и Копитара..., с. 673, письмо от 6 дек. 1824 г.
- <sup>52</sup> Калайдович К. Иоанн, ексарх болгарский: Исследование, объясняющее историю словенского языка и литературы IX и X столетий. М., 1824. 219 с.
- <sup>53</sup> Там же, с. III—V.
- <sup>54</sup> Ягич И. В. История славянской филологии..., с. 169.
- <sup>55</sup> Коцубинский А. А. Начальные годы русского славяноведения: Адмирал Шишков и канцлер гр. Румянцев. Одесса, 1887—1888, с. 127—133.
- <sup>56</sup> Бессонов П. А. Материалы для жизнеописания К. Ф. Калайдовича..., с. 74.
- <sup>57</sup> Ягич И. В. Письма Добровского и Копитара..., с. 513, письмо Добровского Копитару от 22 марта 1825 г. См. также: Добровский И. Кирилл и Мефодий..., с. 31.
- <sup>58</sup> Dobrowsky I. [Bespr.]: Ioann Eksarch bulgarskij. Moskwa, 1824.—In: Wiener Jahrbücher der Literatur, 1825, Bd. 32, S. 65—77; Ягич И. В. Письма Добровского и Копитара... с. 676, письмо от 14 янв. 1826 г. См. также: Ягич И. В. История славянской филологии..., с. 170.

- <sup>59</sup> П. А. Бессонов в «Материалах для жизнеописания К. Ф. Калайдовича» (с. 78—80) приводит эти замечания Добровского, присланые, вероятно, в письме Кеппену от 14 янв. 1826 г. В переписке, опубликованной И. В. Ягичем (*Ягич И. В. Новые письма Добровского..., с. 157, письмо от 13/25 апр. 1826 г.*), этого приложения нет.
- <sup>60</sup> Калайдович К. Ф. О древнем церковном языке славянском.— Тр. О-ва любителей российской словесности. М., 1822, ч. 22, с. 56—71.
- <sup>61</sup> Ягич И. В. Письма Добровского и Копитара..., с. 670, письмо от 15 марта 1824 г.
- <sup>62</sup> Калайдович К. Ф. Иоанн, ексарх болгарский..., с. 3—8. Калайдович повторяет почти дословно слова А. Х. Востокова: «Грамматическая разность диалектов русского, сербского, хорватского, между славянами восточного племени, стала ощутительной уже спустя, может быть, 300 или 400 лет после преложения [перевода.— М. Н.] церковных книг и потом увеличиваясь с течением веков и с политическим разделением народов, дошла, наконец, до той степени, в какой мы видим ее ныне, когда каждый из сих диалектов сделался особенным языком».— См.: Востоков А. Х. Рассуждение о славянском языке.— Труды Общества любителей российской словесности. М., 1820; *Он же*. Филологические наблюдения. СПб., 1865, с. 15.
- <sup>63</sup> Добровский И. Кирилл и Мефодий, с. 100—101.
- <sup>64</sup> Ягич И. В. Письма Добровского и Копитара..., с. 677, письмо от 14 янв. 1826 г. Лайбах — Любляна, Салоники — Солунь.
- <sup>65</sup> Добровский И. Грамматика языка славянского по древнему наречию, на коем россияне, сербы и другие славяне греческого вероисповедания и далматы глаголиты римского исповедания имеют церковные книги. СПб., 1833, ч. 1, с. 1.
- <sup>66</sup> См.: Дуриданов И. Йозеф Добровски и старобългарският език.— Palaebulgarica, 1979, № 3, с. 46—50.
- <sup>67</sup> См.: Булич С. К. Очерк истории языкоznания в России. СПб., 1904, т. 1, с. 726—801.
- <sup>68</sup> О ходе издания книги Кеппен постоянно сообщал Добровскому в письмах. См.: Ягич И. В. Новые письма Добровского..., письма от 5/17 окт. 1824 г.; 4/16 марта, 13/25 мая и 30 окт./24 дек. 1825 г. Н. П. Румянцев (умер 3/15 янв. 1826 г.) не успел увидеть изданную книгу и «на смертном одре граф изъявил желание, чтобы экземпляр, переплетенный для него лично, был послан от него в дар Добровскому» (*Францев В. А. Из переписки гр. Н. П. Румянцева, с. 5*).
- <sup>69</sup> Кеппен П. И. Критическое исследование о Кирилле и Мефодии.— Библиографические листы, 1825, № 8, стб. 101—116; *Он же*. Кирилл и Мефодий.— Библиографические листы, 1825, № 10, стб. 139—146; № 15, стб. 213—214.
- <sup>70</sup> Ягич И. В. Письма Добровского и Копитара..., с. 672, письмо от 6 дек. 1824 г., с. 679—680, письмо от 15 дек. 1826 г.
- <sup>71</sup> Ягич И. В. Письма Добровского и Копитара..., с. 676, письмо от 14 янв. 1826 г., с. 679—680; письмо от 15 дек. 1826 г. Книга Добровского *“Mährische Legende von Cyrill und Method”*, только что вышедшая в Праге, еще не была известна в России. Кеппен получил «Моравскую легенду» Добровского (через Ганку) в конце 1826 г. и собирался ее рецензировать (*Ягич И. В. Новые письма Добровского..., с. 160, письмо от 1/13 дек. 1826 г.*). В это время Кеппен уже жил в Симферополе и работал помощником генерального инспектора по шелководству, виноделию и садоводству.
- <sup>72</sup> См.: Бернштейн С. Б. «Библиографические листы» П. И. Кеппена.— Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1982, т. 41, № 1, с. 57. Ср.: Потег-

- палов С. Г. О роли П. И. Кеппена в истории русско-славянских культурных связей в 20—30-х годах XIX в.— Вопр. славян. языко-знания, 1962, вып. 6, с. 194—197. Об этом же Кеппен пишет Добровскому: Ягич И. В. Новые письма Добровского..., с. 152—153, письма от 13/25 мая и 30 окт. 1825 г.
- <sup>73</sup> Францев В. А. Из переписки гр. Н. П. Румянцева, с. 4.
- <sup>74</sup> Ягич И. В. Новые письма Добровского..., с. 151.
- <sup>75</sup> Ryba B. Josef Dobrovský jako textovy kritik.— In: Josef Dobrovský. 1753—1953. Praha, 1953, s. 197—226.
- <sup>76</sup> Зыков Э. Г. Судьба «Азбучной молитвы» в древнерусской письменности.— В кн.: Древнерусская литература и русская культура XVIII—XX вв. Л., 1971, с. 177—191.
- <sup>77</sup> Добровский И. Кирилл и Мефодий..., с. 121—128.
- <sup>78</sup> Ягич И. В. Письма Добровского и Копитара..., с. 680 от 15 дек. 1826 г.
- <sup>79</sup> Dobrovský I. [Bespr.]: Istorija gosudarstwa rossijskago von Karatsin.— Wiener Jahrbücher der Literatur, 1822, Bd. 20, s. 114—259.
- <sup>80</sup> Снегирев И. И. Добровский, с. 220.
- <sup>81</sup> Ягич И. В. Письма Добровского и Копитара..., с. 488, письмо от 26 янв. 1823 г. Например, текст 1-го тома «Истории» Карамзина содержит 255 с., примечания к нему — 217 с.
- <sup>82</sup> Ягич И. В. Новые письма Добровского..., с. 136—138, письмо от 2/14 авг. 1823.
- <sup>83</sup> Ягич И. В. Письма Добровского и Копитара..., с. 677, письмо от 14 янв. 1826 г.
- <sup>84</sup> Болховитинов Е. Замечания на новогородские грамоты и на толкование их.— Вестн. Европы, 1812, № 15, с. 229—230; *Он же*. О личных собственных именах у славяноруссов.— Вестн. Европы, 1813, № 13, с. 16—28; *Он же*. О разных родах присяг у славяноруссов.— Вестн. Европы, № 13, с. 28—39 и др.
- <sup>85</sup> Рецензия Добровского была опубликована в: Wiener Jahrbücher der Literatur, 1824, Bd. 27, S. 25—54.
- <sup>86</sup> Ягич И. В. Письма Добровского и Копитара..., с. 673, письмо от 6 дек. 1824 г.
- <sup>87</sup> Ягич И. В. История славянской филологии..., с. 163.
- <sup>88</sup> ЛО ААН, ф. 30, оп. 1, д. 139, л. 50. См. также прим. 23.
- <sup>89</sup> Жуковская Л. П. Болховитинов Евфимий Алексеевич.— В кн.: Славяноведение в дореволюционной России. М., 1979, с. 82.
- <sup>90</sup> См.: Грицкова Н. П. Евгениевская псалтырь как памятник русской письменности XI в.— Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности Российской АН, 1924. Л., 1925, т. 29, с. 289—306.
- <sup>91</sup> Переписка А. Х. Востокова..., с. 6—11.
- <sup>92</sup> Там же, с. 10.
- <sup>93</sup> Там же, с. 107.
- <sup>94</sup> Ягич И. В. Новые письма Добровского..., с. 136, письмо от 2/14 авг. 1823 г.; с. 141, письмо от 18 февр./1 марта 1824 г.; с. 142, письмо от 7/19 марта 1824 г.; Ягич И. В. Письма Добровского и Копитара..., с. 666, письмо от 9 июня 1823 г.
- <sup>95</sup> Ягич И. В. Письма Добровского и Конитара..., с. 670, письмо от 15 марта 1824 г.
- <sup>96</sup> Там же, с. XIX, LXXXIV—LXXXV; Ягич И. В. История славянской филологии, с. 173—174.
- <sup>97</sup> Добровский И. Грамматика языка славянского по древнему наречию..., ч. 1, с. 308—312.
- <sup>98</sup> Dobrovský I. [Bespr.]. Slowar akademii rossijskoj. Spb. 1806—1822.— Wiener Jahrbücher der Literatur. 1825, Bd. 29, S. 53—70.

<sup>99</sup> Ягич И. В. Письма Добровского и Копитара..., с. 679, письмо от 15 дек. 1826 г. «В Библиографических листах» (1825, № 32, стб. 470) Кеппен указывает место публикации рецензии и пишет следующее: «Рецензент, наторевший в трудах сего рода, предлагает в оном мысли свои о возможном усовершенствовании помянутого словаря. Свойственная ему скромность в изложении суждений, служит наилучшим доказательством, что одно только усердие к наукам побудило его приняться за перо. Ревнителям российской литературы в таком случае пользы не благодарить почтенного veterana за напечатание статьи, заслуживающей внимание каждого отечественного филолога. В ответ на сей разбор г-на Добровского мы можем уведомить его о том, что желания его отчасти приводятся в исполнение почтеннейшим А. Х. Востоковым, в лексикографическом (изданном и еще недовершенном) труде его...»

<sup>100</sup> Лавров П. А. Ученая деятельность Йосифа Добровского.— Изв. по русскому языку и словесности АН СССР, 1929, т. 2, кн. 2, с. 552—563.

<sup>101</sup> Ягич И. В. Письма Добровского и Копитара..., с. 673, письмо от 6 дек. 1824 г.

<sup>102</sup> Ягич И. В. История славянской филологии, с. 113.

<sup>103</sup> Оценку значения журнала см. в статье: Бернштейн С. Б. «Библиографические листы» П. И. Кеппена, с. 47—58.

---

Г. В. МАКАРОВА

**М. Т. КАЧЕНОВСКИЙ  
И СТАНОВЛЕНИЕ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ В РОССИИ**

Славяноведение как отдельная отрасль знаний стало формироваться в России в конце XVIII — начале XIX в. Это было вызвано целым рядом причин как внутреннего, так и международного характера<sup>1</sup>. Важнейшими среди них являлись изменения, произошедшие в общественно-политической и культурной жизни России, особенно после Отечественной войны 1812 г., и так называемое национальное пробуждение славянских народов, выразившееся в росте их национального самосознания, в усилении интереса к своему прошлому, к собственному языку и его истории. Внимание к славянскому миру, присущее в этот период вообще европейской науке, и прежде всего исследования чешских, немецких, польских ученых, также способствовали возникновению в России науки о славянах. Сам ход развития исторической науки и языкоизучания в России в начале XIX в. требовал обращения к истории и языкам соседних родственных славянских народов.

Для начального периода формирования славяноведения в России характерно было, в частности, накопление сведе-

ний об истории и языках славян, ознакомление с тем, что уже было достигнуто в этой области учеными других стран. Формы пропагандирования этих сведений в Россию были различные: поездки русских путешественников и ученых по славянским землям, приезды в Россию славянских деятелей, их переписка; особая роль в распространении знаний о славянских народах принадлежала журналам.

Успехи, которых достигло славяноведение в России к середине XIX в., были подготовлены предшествовавшей деятельностью большой группы русских ученых, не являвшихся славистами-профессионалами в современном понимании. Среди них следует назвать имена П. И. Кеппена (1793—1864), К. Ф. Калайдовича (1792—1832), М. Т. Каченовского (1775—1842), П. И. Прейса (1810—1846), видное место в истории отечественного славяноведения занимает А. Х. Востоков (1781—1864)<sup>2</sup>.

Имя Михаила Трофимовича Каченовского, создателя известной «скептической» школы в русской исторической науке, вошло также в историю русской журналистики и литературной критики. В данной статье речь пойдет о Каченовском как об одном из тех русских ученых, чья деятельность оказала определенное влияние на становление славяноведения в России как науки. В отношении М. Т. Каченовского к славянской проблематике отразилась свойственная тому времени заинтересованность русской общественности вообще широким кругом вопросов, связанных со славянством. В свою очередь, деятельность Каченовского по популяризации знаний о славянах оказывала значительное влияние на складывание научной и общественной атмосферы, благоприятной для возникновения славяноведения. Труды и деятельность М. Т. Каченовского весьма разноречиво оценивались не только его современниками, нередко являвшимися его научными и литературными противниками, но и учеными, специально занимавшимися историей славяноведения как науки. Оценка ученого, творчество и деятельность которого были многограновыми и многообразными, к тому же и достаточно продолжительными по времени,— дело чрезвычайно сложное, и, как правило, такая оценка не может быть однозначной: в одной области своей деятельности и на одном этапе развития науки (или литературы и т. д.) он мог играть прогрессивную роль, а в другой области, или на другом этапе — оказаться консервативным<sup>3</sup>.

Вполне понятно, что особое внимание привлекали к себе деятельность и труды М. Т. Каченовского в области изу-

чения отечественной истории. Одной из лучших работ о М. Т. Каченовском является очерк, принадлежащий перу видного русского ученого-историка С. М. Соловьева, учившегося в свое время у Каченовского. Его очерк написан на основании тщательного ознакомления со статьями Каченовского, насыщен многочисленными цитатами, что вообще характерно для манеры Соловьева. Впоследствии этот очерк часто использовался в качестве первоисточника теми исследователями, кто интересовался трудами и личностью Каченовского. Поэтому оценки Соловьева, а иногда и допущенные им фактические неточности неоднократно перекочевывали на страницы позднейших монографий. Основное внимание в его очерке было уделено взглядам М. Т. Каченовского на русскую историю, однако отмечалось также, что известность себе он приобрел «трудами по русской и славянской истории». Одной из принципиальных научных заслуг Каченовского С. М. Соловьев считал «стремление сближать явления русской истории с однотипными явлениями у других народов и что важнее всего — у славянских народов»<sup>4</sup>.

Характеристике «скептической» школы М. Т. Каченовского посвящена работа В. С. Иконникова, в целом положительно оценивающая роль критического направления в русской исторической науке<sup>5</sup>.

Поскольку в данной статье рассматриваются вопросы деятельности творчества Каченовского в связи с развитием русского славяноведения, то представляется необходимым привести некоторые оценки и отзывы, отражающие именно эту сторону его деятельности. Наиболее полно роль М. Т. Каченовского в становлении русского славяноведения охарактеризована в работе А. А. Кочубинского, посвященной начальному периоду славяноведения в России<sup>6</sup>.

Кочубинский высоко оценивает заслуги М. Т. Каченовского: «С именем Каченовского,— писал он,— соединяется память об особенно теплом представителе интересов нашего славянства и его изучения в летописях нашей науки и нашего просвещения [...]. Имя знаменитого профессора-аналитика с уважением произносит русский историк, еще с живейшей признательностью это имя памятует славист»<sup>7</sup>. Не со всеми конкретными оценками, высказываемыми Кочубинским относительно деятельности Каченовского, можно согласиться, тем не менее автор справедливо отводит ему почетное место в истории начального периода развития славяноведения в России.

Известный филолог-славист И. В. Ягич в своем фундаментальном труде «История славянской филологии» несколько раз лишь упоминает имя Каченовского, не считая нужным подробно останавливаться на характеристике его взглядов. Выражая несогласие с точкой зрения Кочубинского относительно оценки деятельности ученого, он пишет: «Значение Каченовского для славянской филологии в исследовании Кочубинского, на мой взгляд, значительно преувеличено»<sup>8</sup>.

Различие в позициях этих двух ученых, специально занимавшихся вопросами истории славяноведения, в определенной мере можно объяснить различием тех задач, которые они ставили в своих работах. Кочубинский, исследуя начальный период развития славяноведения в России, показывал этот процесс на довольно широком общественном фоне, и при таком подходе многогранность деятельности Каченовского представлялась в самом благоприятном свете. Кроме того, книга написана в весьма эмоциональной манере, в силу чего положительная оценка деятельности М. Т. Каченовского приобрела оттенок даже некоторой восторженности. Целью труда И. В. Ягича являлось изучение развития славянской филологии как науки, автора больше интересовала история научных идей, мнений, и в этом плане Каченовский выглядит не столь заметной фигурой.

Более подробно и объективно рассматриваются взгляды М. Т. Каченовского и анализируется его вклад в разработку вопросов русского и славянского языкоznания в книге С. К. Булича «Очерк истории языкоznания в России»<sup>9</sup>. По сравнению с оценками Кочубинского и Ягича автор данной работы придерживается средней точки зрения, стремясь показать действительное место и значение работ Каченовского в истории отечественной славистики. Однако книга С. К. Булича не содержит целостной характеристики ученого, материал о нем приводится отдельными фрагментами в контексте изложения научных споров по конкретным вопросам.

В работах советских исследователей, освещающих вопросы истории славяноведения в России, М. Т. Каченовскому уделяется значительное внимание. Наиболее полно и удачно охарактеризована деятельность и заслуги ученого в разработке вопросов славянской филологии в «Очерках истории Академии наук СССР» (автором раздела о славистике является Р. М. Цейтлин). Взгляды Каченовского по отдельным вопросам языкоznания рассматриваются также

в статье М. В. Никулиной. Вкладу ученого в становление преподавания славяноведения в Московском университете посвящены статьи Б. Н. Билунова и Г. К. Венедиктова<sup>10</sup>.

В библиографическом обзоре И. А. Калоевой «Изучение южных славян в конце XVIII — начале XIX в.» отмечается, что «с именем Михаила Трофимовича Каченовского связана память о крупном представителе начального периода русского славяноведения, внесшем огромный вклад в популяризацию и распространение в русском обществе сведений о зарубежных славянских народах»<sup>11</sup>. Здесь явно прослеживается влияние оценки Кочубинского, однако, разумеется, это не простое ее повторение. Автор статьи — библиограф, и его мнение базируется также и на изучении широкого круга журналов рассматриваемого периода, в которых публиковались материалы по славянской проблематике.

Основные биографические сведения о М. Т. Каченовском содержатся в очерке, написанном его сыном — В. М. Каченовским<sup>12</sup>. Родственные отношения наложили вполне понятный отпечаток на характер очерка — в нем отчетливо проявилось стремление подчеркнуть заслуги Каченовского, в частности, в развитии русской исторической науки. В очерке нет сколько-нибудь развернутого анализа деятельности ученого. Однако он содержит наиболее полный перечень работ, написанных Каченовским, что является весьма ценным ввиду отсутствия библиографии трудов ученого. Некоторую помочь в этом отношении может окказать опубликованный в 1981 г. научной библиотекой МГУ систематический указатель изданий ОИДР за 1811—1830 гг.<sup>13</sup>, где приводятся названия работ Каченовского, помещенных в изданиях этого общества.

Некоторые даты и факты биографии М. Т. Каченовского сообщаются в небольшой журнальной публикации Н. П. Барсукова, сделанной на основе его формулярного списка<sup>14</sup>. Упомянутые выше работы В. М. Каченовского и Н. П. Барсукова использовались при написании биографических статей о Каченовском в различных справочных изданиях. На них основывается, в частности, статья в издании «Источники словаря русских писателей» С. А. Венгерова, в которой приводится подробный перечень монографий, статей и воспоминаний, где встречается имя Каченовского, а также статья в «Русском биографическом словаре» (без подписи), в основном правильно оценивающая значение М. Т. Каченовского в развитии русской исторической науки.

Изучение деятельности и творческого наследия М. Т. Каченовского осложняется тем обстоятельством, что личный архив ученого, по всей вероятности, не сохранился, хотя прямых указаний о его гибели в литературе не встречается. Ни в одном из биографических очерков о Каченовском не отмечается, что существуют какие-либо его личные материалы (дневники, мемуары, черновики статей и пр.); нет такого упоминания и в очерке, написанном его сыном. Сохранившиеся документы, вышедшие из-под пера Каченовского (письма и записки), чрезвычайно скучны. Отдельными письмами ученого располагают рукописные отделы Государственной библиотеки им. В. И. Ленина и Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. В Центральном государственном архиве литературы и искусства имеется фонд Каченовского, но по существу он представляет собой очень небольшую коллекцию (всего 5 единиц хранения) писем личного характера. Значительная часть этих архивных материалов, представляющая хотя бы относительный интерес для исследователей, в свое время была опубликована в журналах «Русская старина», «Русский архив» и др.

Каченовский, по-видимому, не вел широкой переписки, косвенным свидетельством чего могут служить следующие строки из письма Евгения Болховитинова к В. Г. Анастасевичу (1819 г.): «С ним [Каченовским] я не переписываюсь без крайней нужды, да и ему некогда»<sup>15</sup>. Причем «виновником» такой вялой переписки, несомненно, был именно Каченовский, ибо сам митрополит Евгений, который жил сначала в Пскове, а затем в Киеве и был оторван от научной жизни Москвы и Петербурга, поддерживал постоянные письменные контакты со многими деятелями русской науки и культуры.

Каченовским не было написано ни одной монографической работы, статьи его не были собраны в едином издании, тексты лекций не публиковались. Таким образом, его научное и литературно-критическое наследие оказалось рассеянным по страницам издававшегося им журнала «Вестник Европы», а также других изданий Московского университета и научных обществ, членом которых он являлся. Уже после его смерти отдельной книгой были изданы лишь два его «рассуждения», написанные в конце 20-х годов: «О Русской правде» и «О кожаных деньгах» (М., 1849).

М. Т. Каченовский родился в Харькове 1 ноября 1775 г. в семье Качиони, грека, переселившегося из Балаклавы и приписавшегося к «мещанскому сословию»<sup>16</sup>. Мать Каченовского была русской. Много лет спустя в граве « происхождение » против фамилии известного профессора стояло — «из греков»<sup>17</sup>. Каченовский рано остался без отца. Ему помогли устроиться в Харьковский коллегиум, где и была изменена его фамилия: Качиони был записан Каченовским. Тринадцатилетним мальчиком он поступил на военную службу, в 1793 г. уволился и нашел себе место в Харьковском губернском магистрате — сначала канцеляриста, позднее он стал провинциальным, затем губернским регистратором. Уже в это время Каченовский начинает пробовать свои силы на литературном поприще, о чем свидетельствует опубликование в 1799 г. в журнале «Иппокрена» его первых сочинений. Однако материальные обстоятельства вынудили Каченовского вновь вернуться на военную службу. В 1801 г. по его личному прошению он был «отставлен от нее, и на этот раз — навсегда». Каченовский получил предложение от графа А. К. Разумовского поступить к нему библиотекарем и с готовностью принял его<sup>18</sup>. С назначением Разумовского попечителем Московского университета Каченовский также переехал в Москву и стал правителем его личной канцелярии. В октябре 1805 г. он получил степень магистра философии и начал свою преподавательскую деятельность в Московском университете — с чтения «римских лекций». В том же году М. Т. Каченовский становится редактором-издателем журнала «Вестник Европы», с небольшими перерывами оставаясь им до 1830 г.<sup>19</sup> Это было основное издание, где Каченовский печатал свои работы.

В задачу «Вестника Европы» входило знакомство читающей части русского общества с лучшими произведениями европейской литературы, а с переходом журнала в ведение Каченовского — и с достижениями в области истории и языкоznания. Со временем начала издательской деятельности совпадает период интенсивного изучения Каченовским иностранных языков, «к усвоению которых,— по свидетельству его сына,— он имел необыкновенную способность». Он изучил древние языки, немецкий, французский, английский, итальянский, испанский, новогреческий, польский, сербский. Знание языков давало ему возможность быть в курсе научных событий в других странах, что положительно сказы-

валось и на содержании издаваемого им «Вестника Европы». Как редактор журнала он мог выписывать необходимые книги и другие печатные издания из-за границы, трудность в получении которых постоянно испытывали русские ученые того времени.

Издание журнала было важным для Каченовского еще в одном отношении — на протяжении многих лет он мог систематически публиковать свои работы, причем не только крупные исследовательские статьи, но и различного рода заметки, комментарии, в которых высказывал свои мнения по отдельным частным вопросам. В соответствии с традициями периодики этих лет журнал практиковал своеобразную форму письменного общения редактора с читателями. Так, программа журнала, объявлявшая о подпiske на очередной год, представляла собой личное обращение его издателя к читателям; в случаях задержки выхода отдельных номеров редактор считал необходимым помещать специальные объяснения причин запозданий и т. д.

Являясь на протяжении длительного времени издателем «Вестника Европы», М. Т. Каченовский сам решал вопросы формирования журнального портфеля. Именно его личные научные и литературные интересы определяли содержание «Вестника Европы». В одном из номеров за 1805 г. Каченовский информировал читателей, откуда он берет материалы для своего издания: «Пьесы политические и известия взяты из разных журналов и газет; некоторые пьесы, относящиеся до наук и словесности, почерпнуты из тех же источников; все прочее или же сочинено или переведено большею частию из книг новейших». Далее он отмечал, что, кроме некоторых статей, имеющих подписи авторов, «все в прозе писано мною» (№ 16, с. 321)\*. Все это позволяет рассматривать журнал как ценный источник для изучения круга интересов и взглядов самого Каченовского.

С первого номера «Вестника Европы», изданного М. Т. Каченовским, славянская тематика являлась неотъемлемой частью содержания журнала. В этом номере было опубликовано письмо, подписанное инициалами «Н. Щ.», автор которого обращался к редактору с различными пожеланиями и, в частности, писал: «Помещайте в Вашем «Вестнике» сочинения польские, в переводе, достойные быть известными российской публике» (1805, № 1, с. 9). Эта просьба вполне соответствовала планам самого изда-

---

\* Здесь и далее в скобках даются ссылки на журнал «Вестник Европы».

теля. Переводы с польского стали появляться почти в каждом номере журнала. Не всегда, разумеется, воззрения авторов, публиковавшихся в «Вестнике Европы», научных статей полностью совпадали со взглядами его редактора, однако сам факт публикации несомненно свидетельствовал об имевшемся у Каченовского интересе к затрагивавшимся в них вопросам<sup>20</sup>.

Издание журнала и преподавательская деятельность Каченовского в Московском университете в течение многих лет шли параллельно. В сентябре 1806 г. он был «возведен» в степень доктора философии и изящных наук, в 1808 г.—утвержден адъюнктом, в мае 1810 г. Каченовский стал экстраординарным, а в 1811 г.—ординарным профессором теории изящных искусств и археологии, на этой кафедре он оставался до 1821 г. Его профессорская карьера была успешной, однако сам он ясно ощущал недостаточность своей научной подготовки. Так, он писал в «Вестнике Европы»: «Замечания сии и недостаточны и слабы; они писаны человеком, которому судьба не дозволила взглянуть на лица достопочтенных матадоров геттингенских, лейпцигских и гальских; не дозволила насладиться поучительною их беседою. Учебные пособия его состоят в малом количестве книг, в которые он заглядывает иногда в свободные часы, от должности остающиеся» (1809, № 21, с. 60). Некоторую помочь в решении «книжной проблемы» могла оказывать библиотека ОИДР при Московском университете. М. Т. Каченовский являлся членом этого общества и исполнял обязанности библиотекаря, помощником его был впоследствии видный археограф и филолог К. Ф. Калайдович. В библиотеке общества хранились старопечатные церковнославянские книги, из книг по славянской тематике, в частности, «История славянских народов» Раича и «Мифология славянская»<sup>21</sup>.

В 1811 г. в Московском университете была создана «славянская кафедра». По мнению А. А. Кочубинского, инициатором создания этой кафедры несомненно являлся Каченовский. «Едва ли можно сомневаться,— писал он,— кто был духовным виновником этого нововведения? И мысль о славянской кафедре и определение ее задач могли принадлежать только одному Каченовскому. Можно только пожалеть, что виновник первой славянской кафедры в первом русском университете не занял ее сам [...] а предоставил ее дряхлому эстетику Гаврилову»<sup>22</sup>. Однако каких-либо документальных обоснований для аргументации выдвинутого им утверждения Кочубинский не приводит. Вероятно, доводом

в пользу такого предположения может быть лишь связь между славянскими интересами Каченовского и названием кафедры. Создание кафедры не было связано с вопросами славяноведения, оно преследовало совсем иную цель:знакомить студентов университета с красотами церковнославянского языка, «с показанием соотношения российского языка к славянскому и происхождения его из славянского»<sup>23</sup>. Так что она справедливо было отдана «эстетику». В формулировке задач кафедры нашли отражение взгляды «шишковской» школы, которые отнюдь не разделялись Каченовским. Еще в 1804 г. в журнале «Северный вестник» была опубликована статья Каченовского в виде «Письма от неизвестного», содержавшая критику взглядов А. С. Шишкова, хотя, как отмечал С. К. Булич, его критические замечания носили не столько лингвистический характер, сколько «исходили из здравого смысла»<sup>24</sup>.

Уже в первый период издания М. Т. Каченовским журнала «Вестник Европы» (до Отечественной войны 1812 г.) в нем было опубликовано довольно значительное количество материалов по славянской тематике<sup>25</sup>. Главным образом это были небольшие заметки и сообщения, привлекшие внимание редактора и перепечатанные им из других изданий. Можно привести несколько примеров, что представляли собой эти материалы. В 1805 г. (№ 7) была опубликована статья «Жители области Монтенегро, или черногорцы» (перепечатана из «Северного архива»). В 1806 г. журнал познакомил своих читателей с лужицкими сербами, поместив заметку «О происхождении и некоторых обычаях вендов, или вандалов лузатских» (перевод с французского), в которой, в частности, говорилось, что «жители Лузации сами себя именуют сербами». В 1808 г. (№ 2) была помещена заметка «О Георгии Петровиче Черном, предводителе сербов», о нем неоднократно публиковались материалы и в последующие годы. В номере 16 журнала за 1811 г. рассказывалось «О жителях провинций илирийских», в том же году была опубликована небольшая статья о жупной организации у славян. Из немногочисленных материалов, касавшихся современной жизни славянских народов, можно отметить, в частности, «Статьи из Уложения Варшавского герцогства» (1807 г., № 18).

Публикуя материалы по славистической тематике, наибольшее внимание в этот период журнал уделяет вопросам, связанным с изучением языков славянских народов. В 1809 г. М. Т. Каченовский помещает сообщение об издании первой части «Словаря польского языка» выдающегося

польского ученого С. Б. Линде (№ 1). Сведения Каченовского о выходе словаря были почерпнуты им из рецензии, появившейся в «одном немецком издании». Понимая важность появления такого словаря, Каченовский сообщил читателям о его выходе, не дожидаясь получения самого словаря и ознакомления с его текстом. В своем сообщении он отмечал: «Наши и чужестранные ученые, в славянском языке и пынешнем русском упражняющиеся, давно уже ощутили недостаток такого словаря, в котором все от славянского произошедшие наречия были бы сравнены с коренным своим языком. Ожидаемая от того польза немаловажна, а особенно для читающих старинные рукописи! Слово, потерянное в одном наречии, без сомнения сохранилось в другом, что в одном употребляется по общему правилу, то в другом найдется исключение из правила». Работа по созданию такого словаря потребовала бы «великой решительности в том, кто предпринял бы совершить сей исполинский подвиг». Каченовский разделяет высокую оценку труда Линде, данную рецензентом: «Хотя опыт [словарь] составлен особенно для поляков, однако же, по уверению рецензента, заключает в себе целое древо славянское, со всеми его отраслями, так что все народы славянского происхождения [...] должны единогласно благодарить сочинителя за сию великую услугу» (с. 57—58).

Знание Каченовским польского языка, польских источников, знакомство с работами польских ученых в области филологии и истории уже в это время нашли прямое выражение в его статьях. Одной из первых статей, где для аргументации своей точки зрения Каченовский привлек данные польского языка и польской истории, явилось «Изложение споров о банном строении, о котором повествует летописец Нестор» (1811, № 22).

Наиболее значительной работой, опубликованной Каченовским в эти годы, была его статья «Об источниках для русской истории» (1809 г., № 3, 5, 6, 15). В ней Каченовский касался некоторых сложных вопросов славянского языкознания<sup>26</sup>, в частности, о соотношении «славянского» языка и современных «славянских наречий». По мнению Каченовского, «некогда он один [славянский язык] был в употреблении. Но кто докажет, когда именно и как он разделился на разные наречия?» Далее он отмечал, что «есть следы, по которым видно, что русский и польский языки прежде имели более сходства между собою, нежели ныне». В той же статье он писал о необходимости проведения исследований в области палеографии: «Дождемся ли

мы, наконец, до того, чтобы в России начали упражняться в славянской палеографии, чтобы по руководству Гаттерера и Шепсмана кто-нибудь собрал славянские буквы, расположил их по хронологическому порядку и показал нам начертания каждого века в сравнительных таблицах!» (№ 6, с. 109, 110).

В 1812 г. М. Т. Каченовский еще раз выступает с критикой точки зрения А. С. Шишкова о тождестве «славянского языка» церковных книг и русского, против признания им русского языка прямым и единственным наследником древнего «коренного» славянского языка. Каченовский отмечает принципиальное различие между языком духовных книг и современным ему русским, которое заключается в «несходстве некоторых слов и разности в спряжениях и даже в правилах синтаксиса». Он пишет о существовании и других самостоятельных славянских языков, не только русского: «Язык, на котором мы говорим и на котором издаются у нас законы и пишутся книги, точно существует, равно как языки польский и богемский, ибо и сии оба состоят из слов славянских: но все они отличны один от другого, каждый имеет свое особливое название, свои правила, свойства, изменения» (№ 6, с. 121, 122). Таким образом, здесь Каченовский не только отстаивает сам факт существования других полноправных славянских языков, но и делает попытку определить критерии их самостоятельности.

Вполне возможно, что на эволюцию взглядов Каченовского по вопросу о взаимоотношениях церковнославянского языка с современными славянскими языками оказало знакомство с трудами славянских ученых — И. Добровского, С. Б. Линде, а также с работой английского ученого XVII в. Г. Лудольфа по русской грамматике<sup>27</sup>.

Отечественная война 1812 г. прервала на некоторое время и занятия в Московском университете, и издание журнала. В конце августа, за день до вступления в Москву Наполеона, профессора и преподаватели университета выехали в Нижний Новгород, среди них был и М. Т. Каченовский. В числе первых он вернулся в Москву, возобновил издание журнала и стал принимать участие в работе созданной в январе 1813 г. временной комиссии «для управления делами учебного округа и приведения в порядок университетских заведений»<sup>28</sup>. Дом Каченовского уцелел от пожара, и у него смог остановиться К. Ф. Калайдович. Этот отдельный факт, на наш взгляд, интересен в том отношении, что, вопреки мнению о Каченовском как о человеке холодном, сдержанном, малообщительном, говорит

о его душевной отзывчивости, о способности в трудный момент прийти на помощь. В своих письмах к родным Калайдович с искренней благодарностью отзывался о Каченовском<sup>29</sup>.

С возобновлением занятий в университете М. Т. Каченовский продолжал читать прежний курс по археологии и изящным искусствам, а в 1814—1817 гг.—также историю и древности российские<sup>30</sup>. В 1814 г. журнал «Вестник Европы» издавался Вл. Измайловым, но с 1815 г. и уже до прекращения его издания беспрерывно находился в руках М. Т. Каченовского. С этого времени научная тематика все прочнее входит в содержание журнала<sup>31</sup>. На его страницах русский читатель встречает имена виднейших представителей отечественной и зарубежной науки. Публикуются статьи, отрывки из работ, заметки и т. д. таких видных ученых, как А. Х. Востоков, Я. Снядецкий, В. Караджич, И. Добровский, С. Б. Линде, Е. С. Бандтке и др.<sup>32</sup>

Начиная с 1815 г., с образованием Королевства Польского, особое место в журнале начинает занимать польская тематика. Включение по решению Венского конгресса Королевства Польского в состав России сказывалось положительно на расширении русско-польских культурных связей: с одной стороны, это способствовало возрастанию интереса русского общества к Польше и польской культуре, а с другой стороны — облегчало взаимное ознакомление с достижениями в области литературы, наук и т. д. У издателя журнала появилась возможность выписывать значительное количество польских изданий, которые служили источником многочисленных сообщений «Вестника Европы» по славянской тематике<sup>33</sup>. Интерес Каченовского к польской истории и литературе, к работам польских ученых, насыщенность журнала переводами с польского вводили современников даже в некоторое заблуждение относительно «польского» происхождения редактора журнала<sup>34</sup>.

Заинтересованность М. Т. Каченовского славянской тематикой вообще отчетливо выразилась в программе журнала на 1816 г.: «Внимание его [редактора] устремлено будет на историю отечественного и родственных ему языков, на деяния и обычаи народов славянского происхождения и на изящные искусства древних веков и новых. К числу выписываемых на значительную сумму журналов и других изданий принадлежат и польские, в которых помещаются сочинения первоклассных литераторов и которые подадут редактору надежное пособие касательно желания его занимать российскую публику исследованиями о племенах

славянских»<sup>35</sup>. Текст этого объявления-программы повторялся из года в год при извещении читателей о начале очередной подписки.

Использование польской периодики сказалось также на появлении в журнале материалов не только научного и литературного характера, но и информационно-политического, касавшегося современных событий. Так, например, из «Газеты варшавской» была перепечатана речь члена временного правительства Королевства Польского «К своим согражданам по случаю произнесения варшавскими жителями обета верности Александру I» (1815, № 13). Значительный интерес представляет перепечатка из «Варшавского журнала» статьи польского автора «О Конституции Польского царства» с изложением содержания польской конституции 1815 г. (официально текст конституции был издан только на польском и французском языках)<sup>36</sup>. Помещая эту статью, Каченовский предварил ее следующим замечанием: «Не быв уполномочены предложить читателям нашим полную конституцию [...], удовольствуемся извлечением из нее некоторых, впрочем, весьма многим известных пунктов» (1816, № 22, с. 138). Речь шла о документе, знакомство с которым сыграло известную роль в развитии русской общественно-политической мысли, в частности, в формировании взглядов декабристов.

Общественный подъем, наблюдавшийся в России после Отечественной войны 1812 г., вопросы социально-экономического характера, находившиеся в центре внимания наиболее передовых кругов, оказались в некоторой степени и на содержании журнала «Вестник Европы». Так, Каченовским были напечатаны переведенные с польского «Замечания на мысли об устройении счастливейшего быту крестьян польских» (1815, № 16). В 1819 г. были опубликованы выдержки из книги Шторха «Взгляд на постепенный упадок рабства и крепостного состояния в Европе и ее колониях», где перечислялись распоряжения правительства европейских стран, касавшиеся освобождения крестьян. Возможно, именно они явились «подстрекательным» материалом для того инцидента, о котором упоминал А. С. Шишков: «Одна взбунтовавшаяся было вотчина представила при всеподданнейшем прошении книжку „Вестник Европы“, в которой говорилось об освобождении крестьян, и оправдывала себя тем, что, поступая по печатному, она полагала, что действует в видах правительства, желающего отнять власть у помещиков»<sup>37</sup>. Но скорее всего это простое недоразумение, а не «революционизирующее воздействие» журнала. В це-

лом, говоря о политической направленности журнала Каченовского, точнее всего будет определить его позицию как «умеренно-лояльную». Вообще статьи, затрагивавшие актуальные политические и социально-экономические вопросы по сравнению с произведениями литературного характера и научными публикациями занимали сравнительно немного места на его страницах.

Один из активнейших популяризаторов польской литературы, убежденный сторонник польско-русского культурного сближения, переводчик и библиограф В. Г. Анастасевич<sup>38</sup> с расширением польской тематики на страницах «Вестника Европы» предпринял попытку вступить в переписку с его издателем и начать сотрудничать в журнале. Он обратился с просьбой к своему влиятельному знакомому — митрополиту Евгению оказать ему в этом помошь. В ответном письме Е. Болховитинов писал Анастасевичу (октябрь 1818 г.): «Я не знаю, как Вас ввести в корреспонденцию с Каченовским, с которым и я редко переписываюсь, ибо он крайне занят»<sup>39</sup>. Однако он нашел возможность помочь Анастасевичу, предложив ему в качестве предлога для установления письменных контактов с Каченовским стать посредником в передаче изданного Е. Болховитиновым «Словаря духовных писателей». Спустя три дня он сообщил Анастасевичу, что сам также написал письмо Каченовскому о предстоящей присылке словаря через Анастасевича и указал его имя, отчество и чин — «на случай ответа»<sup>40</sup>. В результате все-таки состоявшегося знакомства в журнале «Вестник Европы» было опубликовано несколько переводов и заметок В. Г. Анастасевича<sup>41</sup>.

Все большее выдвижение на первый план научной проблематики способствовало складыванию определенного круга постоянных читателей «Вестника Европы», к их числу принадлежал, в частности, и Евгений Болховитинов<sup>42</sup>. В его переписке с Анастасевичем нередко упоминалось о научных статьях, опубликованных в журнале Каченовского.

«Вестник Европы» читали также и учёные румянцевского кружка, причем сам Н. П. Румянцев, доброжелательно относившийся к журналу, оказывал даже некоторую помошь в его издании, предоставляя Каченовскому возможность пользоваться материалами и книгами своего собрания<sup>43</sup>. Возможно, установлению и поддержанию этих контактов содействовал К. Ф. Калайдович, явившийся участником субсидировавшихся Румянцевым археографических экспедиций и сотрудничавший в журнале Каченовского.

Среди публикаций по славистической тематике, с кото-

рыми знакомил в это время «Вестник Европы» своих читателей, центральное место продолжали занимать материалы, касавшиеся вопросов языкоznания. В начале 1816 г. Каченовский поместил сообщение об альманахах чешского ученого Й. Добровского «Славин» и «Слованка» («Славянка»)<sup>44</sup>, основываясь на известиях «Дзенника виленского». Самых книг Каченовский еще не имел, но ему было ясно, какое большое значение имеют работы чешского ученого, и он в своих «редакторских замечаниях» обещал читателям, по получении книг, напечатать из них извлечения. Здесь же Каченовский высказывает свои мысли, вызванные трудами Добровского: «У нас до сих пор еще мало думали о том, сколь близкое имеют родство с нашим российским языком многие другие, употребляемые как внутри отечества, так и вне пределов одного на великом пространстве Европы, и сколь великую пользу приобрело бы отечественное наше слово, когда бы мы обратили внимание на состав разных славянских наречий, на образование их и на взаимные отношения между ними. Можно утвердительно сказать, что труднейшая часть нашей грамматики, приведение глаголов к простым и точным правилам, не может быть обработана без предварительного упражнения в разных наречиях общего славянского языка» (1816, № 1, с. 47). Представляется, что такое понимание задач было вообще присуще русской славистике рассматриваемого периода. Выполняя данное читателям обещание, Каченовский в 1818 г. (№ 4) опубликовал фрагмент из «Славянки» «О древних славянских названиях двенадцати месяцев», причем вниманию читателей предлагался не просто перевод, но и пространные редакторские комментарии к нему. В них Каченовским сопоставлялись объяснения названий месяцев, даваемые Добровским, с объяснениями С. Б. Линде и Н. М. Карапшина.

В январском номере за 1816 г. «Вестника Европы» было опубликовано небольшое сообщение о статье-рецензии польского филолога С. Б. Линде, посвященной разбору «Опыта российской библиографии» В. С. Сопикова. Каченовский, с удовлетворением отмечая факт, что «польские литераторы... занимаются нашею словесностию» (№ 2, с. 154), в последних номерах своего издания подробно изложил содержание самой статьи Линде (№ 22—24). Внимание со стороны русского журнала было встречено Линде с глубокой признательностью<sup>45</sup>. Этот пример еще раз свидетельствует о том взаимном интересе, с которым польские и русские ученые следили за событиями в научной жизни

России и Польши. Значительную роль в поддержании таких контактов играл журнал, издававшийся М. Т. Каченовским.

Возникший в европейской науке интерес к славянскому фольклору также находил отражение в журнале «Вестник Европы». Внимание Каченовского привлекали памятники устного народного творчества, прежде всего песни славян. Считая фольклор ценным источником для изучения обычаем, истории и т. д. народов, в том числе и славянских, Каченовский помещал на страницах «Вестника Европы» славянские народные песни, сопровождая эти публикации редакторскими вступлениями и комментариями. Так, приводя в журнале несколько словацких песен, Каченовский — в традиционной для того времени форме постановки научной задачи — писал: «Простонародные песни суть единственный памятник у племен, не имевших своей собственной литературы, а потому великую оказал бы услугу любителям истории славянского народа тот, кто собрал бы песни разных племен оного, рассеянных на обширной части Европы» (1816, № 7, с. 209—210). В 1818 г. в журнале были напечатаны «Две пародные песни славян Черной Руси» (№ 21).

Высоко оценивалась М. Т. Каченовским деятельность собирателя и издателя сербских народных песен, исследователя сербского языка Вука Стефановича Караджича. «Никто из сербов не оказал таких значительных услуг своим одноземцам, как известный Вук Стефанович. Он издал две (сколько пам известно) части сербских простонародных песен, составил грамматику и словарь сербского языка<sup>46</sup> [...]. Трудам сего здравомыслящего и просвещенного серба ученый свет вообще и в особенности славянские папи однородцы должны благодарить за то удовольствие, которое он доставляет нам вместе с возможностью узнать язык, совершенно для всех нас новый, открывающий любопытные случаи к разным филологическим и даже историческим объяснениями», — отмечал Каченовский в статье «О сербских народных песнях» (№ 14, с. 116). В основу ее были положены работы сербского исследователя (1820, № 14, 15).

Вообще Каченовский передко использовал научные труды зарубежных славянских ученых для подготовки своих журнальных статей. Еще одним примером может служить статья «О Святополке Фиоле, краковском типографщике, первом издателе книг церковнославянских», написанная на материалах исследования Е. С. Бандтке «История Краков-

ских типографий» (1819, № 13). Польский ученый в письме к Н. П. Румянцеву высоко отозвался о статье Каченовского: «Г-н Каченовский сделал прекрасное изложение статьи о Святополке Фиоле, и мне оказались полезными многие его замечания». Румянцев просил своего сотрудника А. Ф. Малиновского довести «сии строки до сведения Мих. Троф.»<sup>47</sup>

Общеславянской тематике были посвящены два «рассуждения» М. Т. Каченовского — «О славянском языке вообще и в особенности о церковном»<sup>48</sup> и «Исторический взгляд на грамматику славянских наречий»<sup>49</sup>, первоначально зачитанные на заседаниях Московского общества любителей российской словесности.

В рассуждении «О славянском языке...» Каченовским были сформулированы положения, касающиеся ряда важных вопросов языкознания. В частности, Каченовский следующим образом определяет термин «язык»: «Язык — есть собрание слов, употребляемых членами одного народа для взаимного сообщения друг другу своих чувств и понятий» (с. 242). Далее он подчеркивает ту связь, которая существует между языком, его развитием и историей народа. Мысль была тогда передовой в языкознании. Говоря о славянских племенах, о языке древних славян, Каченовский отмечал: «При первом появлении народа славянского мы тотчас видим его чрезвычайно многолюдным, рассеянным на великом пространстве Европы, разделенным на многие племена, следственно говорящем не на одном общем коренном, во всех словах и окончаниях однообразном языке, но на разных наречиях, более или менее несходных между собою, и происшедших от коренного. Движения славянских племен продолжались в шестом и в седьмом столетиях [...]. В девятом веке уже были составлены все государства славянские [...]. Славянские наречия в девятом столетии должны были иметь запачительное несходство между собою». Говоря о современных славянских языках, Каченовский писал, что все они «суть диалекты или наречия ныне нам неизвестного коренного первобытного языка славянского, принадлежащего народу еще прежде, нежели он начал распространяться. Следственно, и наш церковный язык, сохраненный первыми переводчиками священных книг в Моравии и Булгарии, сделался книжным или письменным в девятом столетии уже из наречия, а не из коренного, не из первобытного языка славянского, от которого произошли все нынешние его наречия» (с. 247, 248).

Относительно языка церквенных книг Каченовский разделял научные воззрения Добровского и считал, что он представляет собой «старинное сербское наречие» (с. 257). Таким образом, в этой работе Каченовский придерживался мнения, что церковнославянский язык не являлся общим когда-то для всех славянских племен «праславянским» языком. Это рассуждение было с интересом встречено учеными, занимавшимися вопросами славянского языкоизнания. Среди сторонников этой точки зрения — о различии церковнославянского и праславянского языков — был и А. Х. Востоков. Несколько лет спустя, в своем выдающемся труде «Рассуждение о славянском языке» он отмечал: «Сочинитель рассуждения [...] «О славянском и в особенности церковном языке» заключает весьма основательно, что язык, на который предложены священные книги, не мог быть коренным или первобытным языком всего народа славянского, разделенного тогда на многие племена и на великое пространство Европы рассеянного: он был наречием одного какого-нибудь племени»<sup>50</sup>. Однако мнения Каченовского, что церковнославянский язык представлял собой древнесербский, Востоков не разделял. Каченовский, которому как секретарю Московского общества любителей российской словесности в январе 1820 г. Востоков направил рукопись своего рассуждения, оказался в числе тех ученых, кто понял значение труда Востокова и приветствовал его появление. Он писал, что «превосходный труд его [Востокова] прочел с превеликим удовольствием и нашел в нем много для себя поучительного»<sup>51</sup>. И сразу же напечатал значительную часть рассуждения А. Х. Востокова в своем «Вестнике Европы», еще до опубликования его в «Трудах» общества любителей российской словесности<sup>52</sup>.

Во втором рассуждении М. Т. Каченовского — «Исторический взгляд на грамматику славянских наречий» 1817 г. вновь, как и в рассуждении «О славянском языке вообще...», высказывалась точка зрения о тождестве «старинного сербского наречия» и церковного языка с прямой ссылкой на мнение Й. Добровского. Вслед за Добровским перечислялись основные славянские языки («главные славянские диалекты»): «российский, сербский с болгарским, боснийским, славонским, далматским, рагузинским, кроатский с вендинским, богемский с наречиями моравским и словакским», сюда же относился язык «венденский, коего два наречия, именно верхнесорабский и нижнесорабский, употребляются жителями Лузации». Далее в статье шла речь о разработанности грамматики отдельных языков. Здесь впервые

в русской научной литературе подробно и систематически излагались различного рода сведения о славянских языках, их грамматике, содержалось много новых для русского читателя фактов<sup>53</sup>.

Два рассуждения М. Т. Каченовского «О славянском языке вообще и в особенности о церковном» и «Исторический взгляд на грамматику славянских наречий» в основном завершили период его заинтересованности вопросами языкоизучания, в них был как бы подведен итог развитию его взглядов в этой области. Отражением признания русскими учеными кругами заслуг Каченовского в изучении славянских языков явилось его избрание в марте 1819 г. членом Российской академии. В дальнейшем преобладающей в его научных изысканиях становится историческая проблематика.

М. Т. Каченовский неоднократно высказывал мысль о необходимости сравнительного изучения русской истории и истории славянских народов. Так, например, в статье «Нечто для древней русской нумизматики» он подчеркивал, что «для приведения отечественной нашей истории в ясность необходимо нужно справляться с историою и литературой прочих племен славянских» (1817, № 1, с. 48). Сама работа посвящена была объяснению слова «скот», встречающегося в русских летописях. Аргументируя свою точку зрения, Каченовский обращается, в частности, к польскому источнику — «Трактату о монете» Коперника. В статье встречаются имена чешских и польских ученых (упоминаются Фохт, Добнер, Нарушевич, Чапкий), отмечается важность их работ в области нумизматики.

С начала 20-х годов основное внимание Каченовский уделяет изучению отечественной истории. Это совпадает с направлением его преподавательской деятельности в Московском университете. В конце 1821 г. Каченовский перешел на кафедру истории, статистики и географии Российского государства, на которой оставался до 1835 г. В эти годы он читал лекционные курсы: статистику Российского государства, историю государства Российского («по учебной книге Эверса»), в 1827—1828 гг.— соединенный курс истории и статистики Российского государства («по своему конспекту»), в 1831—1832 гг. дополнительно к этим предметам — правила российского языка и слога, в 1832—1833 гг.— русскую историю и всеобщую историю древних и средних веков, в 1833—1835 гг.— русскую историю. В 1835 г. М. Т. Каченовский был переведен на славянскую кафедру, профессором которой оставался до конца жизни. Кроме преподавательских, на Каченовском лежали и административные обя-

занности: в 1831 г. он был избран деканом словесного отделения, в 1837 г.—ректором университета. С 1833 г. он стал членом-корреспондентом, а с 1841 г.—академиком по отделению русского языка и словесности Академии наук<sup>54</sup>.

В 20-е годы Каченовский продолжает издавать свой журнал, однако на его страницах все меньшие места отводится славянской тематике. «Вестник Европы» активно вступает в литературно-критические споры, а к концу десятилетия — и в исторические, по вопросам отечественной истории. Помещаемый в журнале материал по славистической проблематике утрачивает ту характерную окраску личной заинтересованности самого редактора, которая выражалась как в быстром отклике на издававшуюся научную литературу по славистике, так и в кратких редакторских предисловиях, нередко предварявших публикации, комментариях, не говоря уже о статьях самого Каченовского или изложениях им работ других ученых-славистов, что широко практиковалось им прежде. В этот период в основном приводятся лишь небольшие статьи и отрывки из отдельных работ славянских ученых, преимущественно польских<sup>55</sup>, и, как правило, без комментариев. Время и силы М. Т. Каченовского почти целиком поглощаются литературной и научной, как уже отмечалось (в области отечественной истории), борьбой. Среди наиболее интересных материалов журнала, касавшихся славистической тематики, в публикациях 1824—1829 гг. следует отметить записки о путешествиях по славянским землям М. К. Бобровского (1824, № 22; 1825, № 4) и сообщение о поездке А. Кухарского (1829, № 1). Каченовский продолжает использовать труды В. Караджича<sup>56</sup> и Й. Добринского<sup>57</sup>.

В статьях М. Т. Каченовского 20-х годов славянская проблематика затрагивается в «Замечаниях на «Памятники словесности XII века» Калайдовича» и «Исторических справках об Иоанне, эзархе болгарском», вторая статья написана также в связи с работой К. Ф. Калайдовича — «Иоанн, эзарх болгарский» (1826, № 15, 17—24). Каченовский не разделял выдвинутого Калайдовичем мнения относительно жизни Иоанна и соответственно датирования памятника — IX—X в., считая, что его надо «переставить» в «самый конец XII столетия» (№ 23—24, с. 249), однако дальнейшие исследования не подтвердили его предположения, и современная наука датирует этот источник X в.

В 1827 г. Каченовский опубликовал в «Вестнике Европы» одну из своих наиболее значительных работ по отечественной истории — «О старинных названиях в России де-

нег металлических в смысле ходячей монеты», в которой названия старинных русских монет сопоставлялись с названиями монет у других славянских народов (№ 14—16, 18, 20—24). При этом Каченовский пользовался, в частности, работой польского историка И. Лелевеля «Старинные монеты, выкопанные в июне месяце в 1824 году».

В работе «Мой взгляд на „Русскую правду“» (1829, № 13—16), которой по существу завершилось развитие исторических взглядов ученого, Каченовский делает попытку показать, что «Русская правда» — памятник более позднего происхождения. В своей аргументации он применяет сравнительно-исторический метод, сопоставляя историческое развитие России с ходом развития других европейских народов, в том числе славянских. Среди ученых, занимавшихся исследованием «Русской правды», Каченовский называет имена не только русских, но и польских — Линде, Раковецкого, Лелевеля.

К концу 20-х годов авторитет и популярность «Вестника Европы» стали падать. Развернувшаяся на его страницах острыя литературная полемика, в частности выступления Н. И. Надеждина в 1828—1830 гг., окончательно настроили общественное литературное мнение против журнала. Именно к этому периоду относятся слова Н. Г. Чернышевского: «Этот журнал имел самую жалкую репутацию в публике и едва ли имел читателей на белом свете»<sup>58</sup>.

Сотрудничавшие в «Вестнике Европы» видные литераторы, критики, историки с середины 20-х годов один за другим начали отходить от журнала и основывать свои издания. Так, с 1825 г. стал издавать «Московский телеграф» Н. А. Полевой, в 1828—1830 гг. издавал свой журнал «Русский зритель (журнал археологии, истории и словесности)» К. Ф. Калайдович, с 1831 г. предпринял издание журнала «Телескоп» Н. И. Надеждин. Каченовскому и самому было ясно, что «Вестник Европы» придется закрыть. Об этом свидетельствует следующий фрагмент из письма профессора Московского университета И. М. Снегирева В. Г. Анастасьевичу (август 1830 г.): «Каченовский с нынешним годом прекращает, как говорит, свой „Вестник“ за недостатком подписчиков, устремившихся к новизнам»<sup>59</sup>. В статье «Литературные мечтания» (1834 г.) В. Г. Белинский писал о сравнительно недавно прекратившем свое существование журнале Каченовского: «Вестник Европы» пережил несколько поколений, из коих последнее, взлелеянное им, восстало с ожесточением на него же; но он всегда оставался одним и тем же, не изменился и былся до последних сил; это была

борьба благородная и достойная всякого уважения, борьба не из личных, мелочных выгод, но из мнения и верований, задушевных и кровных. Его убило время, а не противники, и потому смерть его была естественная, а не насильственная»<sup>60</sup>.

С закрытием «Вестника Европы» М. Т. Каченовский почти перестает писать, работы его публикуются редко и представляют собой перепечатку прежних статей, иногда слегка переработанных. Несмотря на это, статьи как самого Каченовского, так и его последователей продолжали оставаться в центре внимания научной жизни в 30-е годы. Излагавшиеся в них взгляды вызывали резкие возражения со стороны представителей официальной науки, прежде всего М. П. Погодина.

Как уже отмечалось выше, тексты лекций, читавшихся Каченовским в университете, опубликованы не были. В Рукописном отделе Государственной библиотеки им. В. И. Ленина (в фонде А. Ф. Гамбургера) хранится тетрадь с записями лекций Каченовского, датированная 1828 г. Она носит заглавие: «О народах, в России обитающих. Из лекций г-на Каченовского»<sup>61</sup>. В начале лекций говорилось о народах, населявших Российскую империю: «Жители Российского госуд[арства] разделяются на различные племена: славянские, финнские, латвийские, немецкие, татарские, монгольские, валлакские или молдаванские, неизвестного происхождения, каковы самоеды, остыки и т. д.» Далее шла речь о славянах, среди славянского населения России выделялись «руssы» и «малороссияне».

Каченовский, однако, не ограничивался только славянскими народами, проживавшими на территории Российской империи. Он, ссылаясь на авторитет Добровского, знакомил своих слушателей с общепринятым тогда делением славянских племен «на два порядка»: юго-восточный и северо-западный. Так, в лекциях говорилось: «Порядок юго-восточный — руссы (великоруссы) составляют средоточие Европейской России, обитая в губерн[иях] Московской, Смоленской, Владими[рской], Тверской и т. д. Руснаки, к числу коих принадлежат и малороссияне, а сверх того жители (не все) Южной Польши, Галиции, Буковины. Сербское племя: сербы, монтенегрины или черногорцы, булгары». Затем упоминались «боснийцы», «славоны» и «далматы», «кроаты». Далее Каченовский переходил к северо-западному порядку, упоминая здесь «богемцев», которые сами себя называют «чехами», «моравов», «однородцев», чехов и «словаков». Среди народов этого порядка упоминались «природные поляки,

которые обитают в Великой Польше и населяют большую часть Малой. Их много в Шлезии». Сообщал Каченовский и о «сербах» — жителях «верхней и нижней Лузации». Приводил также данные о численности этих народов, об их государственной принадлежности, о вероисповеданиях.

Следующий раздел лекций посвящался истории славян. «При самом появлении славяне были народ многочисленный. Откуда же они взялись? Вероятно, они обитали в обширных странах, которые известны были прежде под общим именем Сарматии», — записано в конспекте лекций. Затем приводились сведения о расселении славян, о передвижении отдельных славянских народов. Значительная часть лекций была уделена «руссам», затем Каченовский переходил к «полякам», отмечая, что они составляют значительную часть жителей России, а «в Царстве Польском — главную массу народа», кроме южной его части, где много «русняков». В литовских губерниях, Минской, Волынской, Подольской и даже Киевской «дворянство составляют поляки». В лекциях подчеркивалось, что ошибаются те, кто полагает, «что поляки составляют в сих губерниях главную массу жителей». Начальный период истории Польши, так же как России, Каченовский называл «баснословным». Он отмечал, что «Польша, подобно другим государствам, имеет свои баснословные времена», «собственно польская история начинается от Семонета, сына Пястова»; «проясняется польская история со времени принятия христианской веры герцогом Мечиславом. Весь наш Север становится известнее с принятием христианства, от того что вместе с оным является у всех народов грамота и вносится характер европейский».

История Польши подразделялась Каченовским на четыре периода: 1) «от Мечислава до 1133 г.» — период «победоносный»; 2) до 1333 г. — «характер его есть разделение Польши. Тут является Великая Польша, Малая Польша, Мазовия — вот главное разделение. В это же время Польша утратила титул королевства»; 3) до 1588 г., «характер его — Польша процветающая. В это время Польша соединила свои разделенные области»; 4) до 1795 г., «характеристика его — упадок Польши».

Далее в лекциях Каченовский очень кратко излагал историю сербов и болгар. В целом эти лекции дают представление о том, что было известно о родственных славянских народах образованному человеку того времени, окончившему университет. История славянских народов в университетском преподавании только еще начинала «обозначаться», и определенная заслуга в этом принадлежала Каченовскому.

И. А. Гончаров, учившийся в Московском университете в 1831—1834 гг., писал в своих воспоминаниях о лекциях Каченовского: «Он [Каченовский] читал русскую историю и статистику; но у него была масса познаний по всем частям. Он знал древние и новые языки, иностранные литературы, но особенно обширны были его познания в истории и во всем, что входит в ее сферу,— археология [имеются в виду памятники древней письменности.— Г. М.] и проч. Любимая часть в истории была этнография. Особенную симпатию он питал к польским историкам (сам он был родом из Малороссии и выказывал явное расположение к своим землякам) и летописцам. И томил же он нас подробностями происхождения одних народов и племен от других! До сих пор иногда будто слышишь его рассказы о разветвлениях народов [...]; о том, что северные и южные славяне — никак не одно, а два различных племени, сошедшихся с противоположных сторон, с севера и с юга»<sup>62</sup>. Этот отзыв не очень лестно характеризует Каченовского-лектора, однако он все же свидетельствует о силе воздействия его лекций на студентов, которые даже спустя много лет живо помнили его слова».

Новым университетским уставом 1835 г. вводилось преподавание славяноведения в русских университетах. В Московском, Петербургском, Казанском и Харьковском университетах учреждались кафедры истории и литературы славянских наречий, и только в одном из них — Московском — удалось найти подходящую кандидатуру для ее «занятия», это был Михаил Трофимович Каченовский. Хотя перевод Каченовского на кафедру славянских наречий объясняется, по-видимому, не столько признанием его заслуг и познаний в области славяноведения, сколько стремлением отстранить его от преподавания отечественной истории. Критика взглядов Каченовского в научном плане с началом 30-х годов начинает в определенной мере сливаться с концепцией создания «умственных плотин» против Запада, выдвинутой министром народного просвещения С. С. Уваровым и пашедшей выражение в теории «православия, самодержавия, народности». Приверженцем этой теории с самого ее возникновения заявил себя М. Н. Погодин. В одном из писем к нему Сербинович писал, сообщая о желании Уварова, «чтобы в нашем министерском журнале была помещена статья, в которой был бы показан весь вред безверия в наши летописи». «Скептицизм» Каченовского в чисто научной сфере при такой постановке вопроса оказывался не очень приемлемым для официальной науки<sup>63</sup>.

Сохранилось довольно много воспоминаний о славянских лекциях Каченовского в университете. Судя по ним, для большинства слушателей они не представляли значительного интереса. Так, один из них, впоследствии известный филолог-русист Ф. И. Буслаев писал: «Некогда знаменитый ученый и журналист [...] в наше время отживал или, точнее сказать, совсем отжил свой век, и будучи ректором университета [...] читал нам на четвертом курсе вместе с третьим историю литературы славянских наречий по немецкому учебнику Шафарика. Он был тогда уже глухой и почти слепой [...] Всякий раз Каченовский приносил с собою Шафариков учебник, разлагал его на кафедре и старческим дряблым голосом, с передышкою, подстрочно переводил немецкую речь на русские слова. Монотонность такого чтения, с неизбежными паузами [...] наводили на нас томительную скучу»<sup>64</sup>. Сын ученого, В. М. Каченовский, возражал против этого: «Находились господа, уверявшие, что лекции Михаила Трофимовича проходили исключительно в переводе Шлоссера на русский язык, а славянские наречия он читал по немецкому учебнику Шафарика. Были и такие, которые утверждали, что отец мой был глух и слеп и что, пользуясь этим, студенты устраивали во время его лекций целые представления при ходите товарищей. Между тем глухим отец не был никогда, не был и слепым, а лишь близоруким»<sup>65</sup>.

Особняком стоит свидетельство выдающегося русского слависта И. И. Срезневского. Находясь проездом в Москве, в октябре 1839 г., он посетил одну из лекций Каченовского и в письме к матери делился впечатлениями: «Был на лекции Каченовского и после лекции познакомился с ним [...]. Каченовский читает сухо, несвязно, но дельно (читал, о различных мнениях касательно происхождения церковнославянского языка)»<sup>66</sup>. Личное знакомство с Каченовским произвело на Срезневского весьма благоприятное впечатление: «Вечер провел у Каченовского, разговаривая с ним о Македонии, славянщине и т. д. Добрый, умный старик и истинный ученый. И как он внимателен ко мне»<sup>67</sup>. Славянские интересы молодого ученого оказались близкими и понятными Каченовскому, они сразу же вызвали с его стороны доброжелательное отношение.

Отмечая факт открытия славянских кафедр в университетах, А. А. Кочубинский, в частности, писал: «без преувеличений можно сказать, что Московский университет в лице Каченовского, Надеждина, Шевырева, Давыдова не непривычен встретил введенную уставом 1835 г. новую ка-

федру истории и литературы славянских наречий»<sup>68</sup>. Однако в действительности «приготовленность» Московского университета к преподаванию славяноведения была далеко недостаточной. Как и остальные университеты, Московский также должен был найти подходящего кандидата для поездки по славянским землям в целях совершенствования профессиональной подготовки, для изучения славянства «на месте». Таким кандидатом стал О. М. Бодянский, в выборе его кандидатуры существенную роль сыграли положительные отзывы о его знаниях и способностях, данные Каченовским и Погодиным<sup>69</sup>. Бодянский был учеником Каченовского и Погодина. В первое время своего пребывания в Московском университете он находился под сильным влиянием взглядов Каченовского. Кандидатская диссертация Бодянского «О мнениях касательно происхождения „Руси“ была написана «под влиянием главы скептиков»<sup>70</sup>. До отъезда за границу он выдержал у Каченовского первый в России магистерский экзамен по кафедре истории и литературы славянских наречий (1836 г.), а в следующем году защитил диссертацию на тему «О народной поэзии славянских племен». Тема диссертации была предложена ему Каченовским<sup>71</sup>. Сам Бодянский в письме к Погодину отмечал, какую поддержку окказал ему Каченовский: «С самых первых дней студенчества моего он уже полюбил меня и с той поры никогда не выпускал из виду. Подметив во мне стремление не к одной лишь русской старине, но и к славянской вообще, чего ни делал он, чтобы поддержать это стремление! При тогдашней скудости в средствах углубления в нее, с какою теплою готовностью отдал он мне все свои книги на разных славянских наречиях...! Скажу от чистого сердца: не сделай он того, долго бы пришлось мне бороться с этой скудостью, может быть, и не одолеть, как то часто случается с другими в подобном случае [...] Затем, с каким участием следил он за дальнейшими моими шагами [...], всеми мерами облегчая, ободряя, знакомя с могущими уладить путь-дорогу»<sup>72</sup>. О. М. Бодянский вернулся в Москву из заграничного путешествия в сентябре 1842 г., спустя несколько месяцев после смерти Каченовского, и был утвержден экстраординарным профессором по кафедре истории славянских наречий.

М. Т. Каченовский не имел широких контактов с зарубежными учеными, однако имя его было известно — и прежде всего в славянских странах. В Рукописном отделе ГБЛ хранится небольшой листок с надписью: «Его высокоблагородию милостивому государю Михаилу Трофимовичу Ка-

ченовскому в знак особенного уважения от автора (Вука Степановича Караджича). Вышеприведенный текст является, по-видимому, переводом с дарственной надписи на книге<sup>73</sup>. Караджич приезжал в Россию в 1819 г., тогда он и привез с собой несколько экземпляров своего сербского словаря. Быть может, один из них был подарен Каченовскому, труды которого в области истории церковнославянского языка приобрели в то время широкую известность и пользовались успехом и среди ученых румянцевского кружка. А во время этого приезда в Россию именно с Румянцевым Караджич имел непосредственные контакты. Известно также, что Каченовский подарил сербскому ученому книгу с посвящением — один из своих переводов («Береговое право» А. Концебу), что возможно, явилось ответным шагом на подарок Караджича<sup>74</sup>.

По утверждению сына Каченовского, русский ученый вел с Караджичем переписку на сербском языке<sup>75</sup>. Отмечавшееся выше широкое использование трудов сербского ученого в подготовке отдельных номеров «Вестника Европы» несомненно свидетельствует об определенных симпатиях к нему со стороны Каченовского. Контакты между ними в той или иной форме продолжались на протяжении ряда лет. Так, в письме к Ф. П. Аделунгу в декабре 1827 г. Караджич обращается к нему с просьбой передать несколько экземпляров «Карманной книги на 1828 год» своим знакомым в России и среди них называет М. Т. Каченовского<sup>76</sup>.

Имя Каченовского известно было также и польским ученым. Ранее уже упоминалось об оценке, данной одной из польских газет, его журнальной деятельности в развитии русско-польских культурных связей, об отзыве Е. С. Бандтке на статью Каченовского. На одном из заседаний Варшавского общества друзей любителей наук С. Б. Линде познакомил собравшихся с содержанием «Трудов» ОИДР за 1812 г., которые были присланы Варшавскому обществу М. Т. Каченовским<sup>77</sup>. Еще одним свидетельством знакомства польских ученых с трудами и журналом Каченовского, признания его авторитета как ученого, явилось его избрание в период восстания 1830 г., в числе других российских ученых (К. Ф. Калайдович, П. М. Строев, митр. Евгений, Н. А. Полевой), членом Варшавского общества друзей наук.

\* \* \*

Умер М. Т. Каченовский в апреле 1842 г. Я. И. Бередников, один из сотрудников археографической комиссии, узнав о его смерти, писал П. М. Строеву: «Жаль Каченовского:

это последний исчезнувший благородный памятник минувшего времени, представитель ученой и литературной нашей честности, труженик на поприще русской истории, никем не заменимый, предваривший свое время и, по обыкновению, непонятый современниками, забрызганный грязью клеветниками»<sup>78</sup>. Эти слова принадлежат человеку, разделявшему научные взгляды Каченовского, но его честность как ученого, бескорыстное служение науке признавались и научными противниками. В некрологе, написанном М. П. Погодиным, отмечалось, что Каченовский «как человек отличался честностью и бескорыстием, был тверд и смел, не боясь идти против общего мнения и какого бы то ни было лица»; после него, писал Погодин, «остались вдова, два сына и дочь — и никакого состояния»<sup>79</sup>.

Многие конкретные выводы Каченовского по русской истории были опровергнуты дальнейшими научными исследованиями, однако в развитии исторической науки заметную роль сыграл его метод — требование критического подхода к историческому источнику, к историческому факту, применение сравнительно-исторического анализа. Научная принципиальность и честность в изучении исторических явлений, убежденность в своих взглядах и стойкость в их отстаивании, открытая борьба с любыми авторитетами, увлеченность наукой, поддержка молодых исследователей — все это в итоге явилось вкладом в формирование значительного круга русских ученых, русских общественных деятелей, в свое время учившихся в Московском университете.

Говоря о вкладе М. Т. Каченовского в отечественную славистику, следует подчеркнуть, что он включает в себя три направления — это написанные им исследовательские статьи, популяризация работ по славянской тематике как русских, так и зарубежных ученых и преподавательская деятельность в Московском университете. В целом обращение Каченовского к славянской проблематике было во многом обусловлено тем общим интересом к славянским вопросам, характерным для русской науки и русского общества того времени. В свою очередь, научные труды самого М. Т. Каченовского, издание им журнала «Вестник Европы», его лекции в Московском университете способствовали углублению этого интереса, расширению круга знаний в области славистики, оснащенности зарождающейся науки фактическим материалом, ознакомлению с основными научными идеями, содействовали созданию научной базы и благоприятной общественной атмосферы для последующих успехов отечественного славяноведения.

- <sup>1</sup> О развитии славистики в России в начале XIX в. см.: История Академии наук СССР. М., Л., 1964, т. 2, с. 198—208; Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1955, т. 1, с. 495—501; Мыльников А. С. Становление истории славяноведения в России.— В кн.: Исследования по историографии славяноведения и балканстики. М., 1981, с. 113—136.
- <sup>2</sup> Об этом периоде развития славянской филологии в России см.: Булахов М. Г. Основные этапы развития славянского языкоznания в России (до 1917 г.) — В кн.: Методологические проблемы истории славистики. М., 1978, с. 62—65.
- <sup>3</sup> Интересно в этом плане высказывание В. Г. Белинского о Каченовском, относящееся к 1834 г.: «Любопытная вещь. Г-н Каченовский, который восстановил против себя пушкинское поколение и сделался предметом самых жесточайших его преследований и нападков как литературный деятель и судия, в следующем поколении нашел себе ревностных последователей и защитников как ученый, как исследователь отечественной истории» (Белинский В. Г. Собр. соч. М., 1976, т. 1, с. 112).
- <sup>4</sup> Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Московского университета, 1775—1855. М., 1855, ч. 1, с. 383—403.
- <sup>5</sup> Иконников В. С. Скептическая школа в русской историографии и ее противники. Киев, 1871, 106 с. Об этой работе см.: Шевцов В. И. «Скептическая» школа М. Т. Каченовского в оценке В. С. Иконникова.— В кн.: Некоторые проблемы отечественной историографии и источниковедения. Днепропетровск, 1976, с. 80—88.
- <sup>6</sup> Кочубинский А. А. Начальные годы русского славяноведения: Адмирал Шишков и канцлер гр. Румянцев. Одесса, 1887—1888, 492 с.
- <sup>7</sup> Кочубинский А. А. Начальные годы..., с. 40—41.
- <sup>8</sup> Ягич И. В. История славянской филологии. СПб., 1910, с. 164.
- <sup>9</sup> Булич С. К. История славянской филологии. СПб., 1910, с. 164.
- <sup>10</sup> История Академии наук СССР, т. 2, с. 200—201; Никулина М. В. Славянская проблематика в общественно-литературной борьбе первой трети XIX в.: (На материале русских периодических изданий).— В кн.: Исследования по историографии славяноведения и балканстики, с. 136—159; Билунов Б. Н. К истории славяноведения в Московском университете (1811—1835 гг.).— В кн.: Из истории университетского славяноведения в СССР. М., 1983, с. 3—33; Венедиктов Г. К. К начальной истории славистической кафедры в Московском университете.— Сов. славяноведение, 1983, № 1, с. 91—100.
- <sup>11</sup> Труды Библиотеки АН СССР и Фундаментальной библиотеки общественных наук АН СССР, М., 1963, т. 7, с. 180.
- <sup>12</sup> Каченовский В. М. Михаил Трофимович Каченовский (По биографическим трудам Соловьева, Погодина, Давыдова, Кавелина и личным воспоминаниям).— Библиографические записки, 1892, № 4, с. 259—269, № 5, с. 329—337.
- <sup>13</sup> Систематическая распись изданий Общества любителей российской словесности при Московском университете, 1811—1830. М., 1981, 87 с.
- <sup>14</sup> Барсуков И. П. Михаил Трофимович Каченовский, профессор Московского университета.— Русская старина, 1889, № 10, с. 199—202. Автор статьи, известный как исследователь жизни и творчества М. П. Погодина, научного противника Каченовского, говоря о Каченовском, отмечал, что биография «этого замечательного человека [...] потребовала бы труда на несколько книг» (с. 199).
- <sup>15</sup> Русский архив, 1889, № 6, с. 210.

- <sup>16</sup> Биографические сведения о Каченовском приводятся по упоминавшимся выше работам В. М. Каченовского и Н. П. Барсукова, в остальных случаях даются ссылки на соответствующий источник.
- <sup>17</sup> Отчет имп. Московского университета с 1 января 1834 г. по 1 января 1835 г. М., 1835, прилож. А, с. 56.
- <sup>18</sup> О том положении, какое он занимал в доме графа, можно судить по словам «фамильного историографа» Разумовских, писавшего, что Каченовский «пристроился в доме Разумовского и там преобразился в известного литератора, профессора и исторического критика» (*Васильчиков А. Семейство Разумовских. СПб., 1880, т. 2, с. 48.*)
- <sup>19</sup> Журнал «Вестник Европы» начал выходить в 1802 г. До 1805 г. его издателем был Н. М. Карамзин, в 1808—1809 гг. он редактировался В. А. Жуковским, в 1810 г.—Жуковским и Каченовским, в 1814 г.—литератором В. И. Измайловым. Об истории издания журнала см.: *Очерки по истории русской журналистики и критики. Л., 1950, т. 1, с. 170—193.*
- <sup>20</sup> *Францев В. А. Об изучении славянства (По поводу статей проф. К. Я. Грота). Варшава, 1901, 26 с.*
- <sup>21</sup> Записки и труды ОИДР, 1815, ч. 1, с. 157. Точное заглавие книги Иована Раича — «История разных славянских народов, написане болгар, хорватов и сербов...»; выпала в Вене в 1794 г. в 4 частях.
- <sup>22</sup> *Кочубинский А. А. Начальные годы..., с. 50—51.*
- <sup>23</sup> Как отмечал в «Истории имп. Московского университета» (М., 1855, с. 406—407) С. П. Шевырев, кафедра была учреждена согласно представлению попечителя П. И. Голенищева-Кутузова, разделявшего взгляды А. С. Шишкова.
- <sup>24</sup> *Булич С. К. История славянской филологии, с. 694.*
- <sup>25</sup> О характере и содержании журнала дает представление изданный в 1861 г. М. П. Полуденским Указатель к «Вестнику Европы», где, однако, отмечены не все материалы по славянской тематике.
- <sup>26</sup> О взглядах Каченовского по отдельным вопросам славянского языкоznания см.: *Никулина М. В. Славянская проблематика..., с. 147 и др.*
- <sup>27</sup> В работе Г. Лудольфа «Русская грамматика», вышедшей в 1696 г. в Оксфорде, отмечалось различие языка духовных книг и современного русского. Каченовский поместил о ней небольшую заметку в «Вестнике Европы» (1807, № 16, с. 191—195).
- <sup>28</sup> *Шевырев С. П. История..., с. 413, 414, 421.* В 1812 г. погиб архив университета, хранивший все официальные документы со времени его основания. Сгорела также библиотека ОИДР, «но Каченовский спас все монеты и медали, унесши в мешке своем в Новгород» (*Древняя и новая Россия, 1880, сент., с. 360, письмо Евгения Болховитинова*).
- <sup>29</sup> В частности, это обстоятельство также дало возможность Калайдовичу продолжать его научные изыскания, и в сентябре 1813 г. им были обнаружены уникальные славянские рукописи сочинений Иоанна, экзарха болгарского (см.: *Бессонов П. А. Константин Федорович Калайдович: Биографический очерк. М., 1861, с. 16, 18*).
- <sup>30</sup> *Шевырев С. П. История..., с. 448.*
- <sup>31</sup> Очерки по истории русской журналистики и критики, т. 1, с. 172.
- <sup>32</sup> Например, были опубликованы отрывок из «Писем русского офицера» Ф. Глинки, в котором описывалось прибытие Т. Костюшко в Америку (Вест. Европы, 1815, № 14, с. 126—130), статья профессора Виленского университета Я. Снядецкого «О польском языке» (там же, № 15, с. 175—205), статья Е. С. Бандтке «Замечания о

языках богемском, польском и нынешнем российском» (там же, № 21, с. 23—35, № 22, с. 118—124) и др. Краткий обзор материалов по польской проблематике, помещенных в 1815—1822 гг. в журнале «Вестник Европы», см.: Prace polonistyczne. Łódź, 1967, Seria 23, s. 115—132.

<sup>33</sup> В. А. Францев приводит отзыв польской «Газеты литеацкой» (1822, № 30), содержащий высокую оценку деятельности Каченовского как популяризатора польской литературы в русском обществе: «Г-н Каченовский оказывает большую услугу польской и русской литературе тем, что в журнале своем помещает переводы с польского» (Францев В. А. Польское славяноведение конца XVIII — начала XIX ст. Прага Чешская, 1906, с. 40).

<sup>34</sup> См. письмо Евгения Болховитинова к В. Г. Анастасевичу (1819 г.).— Русский архив, 1889, № 6, с. 210.

<sup>35</sup> В своем очерке С. М. Соловьев ошибочно указывает 1818 г., вслед за ним эту дату приводит в своей книге и А. А. Кочубинский (см. с. 42, 46).

<sup>36</sup> П. А. Вяземский не смог опубликовать свой перевод польской конституции 1815 г. по целозурным причинам. См.: Вяземский П. А. Собр. соч. СПб., 1879, т. 2, с. 110—111.

<sup>37</sup> Цит. по: Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. СПб. 1889, т. 2, с. 461.

<sup>38</sup> В. Г. Анастасевич в 1811—1812 гг. сам издавал журнал «Улей», посвященный вопросам польской литературы, в котором публиковалось много переводов, заметок и т. д. Очень высоко оценивается значение деятельности Анастасевича для польско-русского сближения в статье.

<sup>39</sup> Русский архив, 1889, № 5, с. 76.

<sup>40</sup> Там же, с. 77.

<sup>41</sup> В 1819 г. в «Вестнике Европы» (№ 10, с. 121—129) была опубликована анонимная заметка «О некоторых славянских рукописях, находящихся в книгохранилище Вестер-Оской гимназии в Швеции». Авторство Анастасевича устанавливается на основании письма Е. Болховитинова (Русский архив, 1889, № 5, с. 201).

<sup>42</sup> Русский архив, 1889, № 7, с. 346.

<sup>43</sup> Переписка митрополита Киевского Евгения с государственным канцлером Николаем Петровичем Румянцевым и некоторыми другими современниками. Воронеж, 1868, вып. 1, с. 48.

<sup>44</sup> «С Добровским познакомил Россию Каченовский»,— отмечал А. А. Кочубинский в: «Начальные годы русского славяноведения» (с. 45).

<sup>45</sup> Bieliński Z. Królewski Uniwersytet Warszawski (1816—1831). Warszawa, 1911, т. 3, с. 93. Интересно мнение, высказанное Е. Болховитиновым в связи с публикацией статьи Линде: «Сопикуму не стыдно было бы сию умную рецензию припечатать при своей книге. Это хорошее дополнение к ней. Очень яспо, что польским и нашим ученым совокупно должно обрабатывать сию часть литературы» (имеется в виду библиография.— Г. М.) (Древняя и новая Россия, 1880, дек., с. 616, письмо В. Г. Анастасевичу от января 1817 г.)

<sup>46</sup> Ранее, в 1819 г., Каченовский поместил в «Вестнике Европы» (№ 11, с. 238) сообщение об издании Караджичем словаря сербского языка и обещал читателям журнала «в скором времени дать сведения о словаре Вука Стефановича и сообщить некоторые любопытные выписки касательно обычаев сербского народа».

<sup>47</sup> Переписка государственного канцлера графа Н. П. Румянцева с московскими учеными. М., 1882, с. 138.

- <sup>48</sup> Опубликовано в «Вестнике Европы» (1816, № 19—20, с. 241—258, подписано: К.) и в «Трудах общества любителей российской словесности» (1817, ч. 7, с. 5—27).
- <sup>49</sup> Полностью оно было опубликовано в «Трудах...» (1817, ч. 9, с. 16—46); при публикации в «Вестнике Европы» (1817, № 11, с. 186—208) была опущена вступительная часть «рассуждения».
- <sup>50</sup> Вест. Европы, 1820, № 4, с. 169.
- <sup>51</sup> Переписка А. Х. Востокова в повременном порядке. СПб., 1873, с. XXXII—XXXIII; Цейтлин Р. М. А. Х. Востоков — один из первых русских славяноведов: (К 175-летию со дня рождения) — Краткие сообщ./АН СССР. Ин-т славяноведения, 1958, т. 25, с. 8.
- <sup>52</sup> Вест. Европы, 1820, № 4, с. 169—187.
- <sup>53</sup> Булич С. К. История..., с. 1167.
- <sup>54</sup> Шевырев С. П. История..., с. 552; Барсуков Н. П. Михаил Трофимович Каченовский..., с. 202.
- <sup>55</sup> В частности, «О происхождении законов, имевших силу в Польше и Литве» Т. Чацкого (Вест. Европы, 1824, № 10, с. 120—135; № 11, с. 199—223; № 12, с. 272—282; № 13, с. 21—26; № 15, с. 187—196; № 16, с. 261—268; № 18, с. 110—124); «О языческой религии древней Польши (Извлечение из Истории польской г-на Бандтке)» (Вестн. Европы, 1826, № 3, с. 207—213, № 4, 253—261). «Беглый взгляд на историю Литвы. Из истории Бандтке» (Вест. Европы, 1826, № 7, с. 191—213); «О народных песнях славян (из письма г. Бродзиньского к редактору Варшавского журнала)» (Вест. Европы, 1826, № 13, с. 42—55), «Баснословная история Польши» Т. Ваги (Вест. Европы, 1827, № 5, с. 27—38), «Происхождение некоторых пословиц польских» (из «Дзенника виленского») (Вест. Европы, 1827, № 16, с. 309—311, № 20, с. 62—65) и др.
- <sup>56</sup> «Сербские предания и поверья» (Из сербского словаря) (Вест. Европы, 1826, № 4, с. 311—313); «Описание сербского народа. Из сербского алманака на 1827 год» (Вест. Европы, 1827, № 14, с. 134—145, № 15, с. 215—222, № 16, с. 287—309, № 17, с. 56—66, № 18, с. 128—142); «Правительство и судилища в Сербии. Из книги «Милош Обренович, князь Сербии...», соч. Вука Стеф. Караджича. В Буде, 1828» (Вест. Европы, 1829, № 7, с. 220—232; «Босния и Сербия» (Вест. Европы, 1829, № 9, с. 70—72).
- <sup>57</sup> «Которое из славянских наречий можно назвать самым чистым преимущественно пред всеми другими». Из «Слованки» Добровского (Вест. Европы, 1829, № 12, с. 249—259).
- <sup>58</sup> Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М., 1947, т. 3, с. 151.
- <sup>59</sup> Русская старина, 1880, т. 18, с. 558.
- <sup>60</sup> Белинский В. Г. Собр. соч., т. 1, с. 112. Десять лет спустя Белинский отозвался о журнале намного реаче: «Наши обветшалые и заплесневелые журналы того времени и патриарх их «Вестник Европы» начали терять свое влияние и перестали, с своими запоздалыми идеями, быть оракулами читающей публики» (Там же, т. 6, с. 223).
- <sup>61</sup> ОР ГБЛ, ф. А. Ф. Гамбургера, оп. 1, д. 3117.
- <sup>62</sup> Гончаров И. А. Собр. соч. М., 1980, т. 7, с. 240.
- <sup>63</sup> Анонимный автор статьи о Каченовском в «Новом энциклопедическом словаре» Ф. А. Брокгауза и А. И. Ефрана (т. 21, с. 338) прямо отмечал: «Замена научного вопроса вопросом о благонадежности отразилась на положении Каченовского в университете: при введении нового устава министр Уваров перевел К. на кафедру славянских наречий, а кафедру русской истории отдал Погодину».

- <sup>64</sup> Буслаев Ф. И. Мои воспоминания. М., 1897, с. 114—115. Аналогичные воспоминания и других лиц, учившихся в то время в Московском университете и слушавших славянские лекции Каченовского, в том числе одного из его любимых учеников Ю. Ф. Самарина. С. М. Соловьев, в частности, в своих «Записках» отмечал: «В то время, как я был в университете и слушал Каченовского, это был уже старик ветхий, читал он уже не русскую историю, а славянские наречия, предмет, при разработке которого он не мог оказать ученых заслуг ни по летам, ни по приготовлению своему» (Соловьев С. М. Записки. Пг., 1915, с. 42).
- <sup>65</sup> Каченовский В. М. Михаил Трофимович Каченовский..., 1892, № 5, с. 329.
- <sup>66</sup> Путевые письма Измаила Ивановича Срезневского из славянских земель, 1839—1842. СПб., 1895, с. 13.
- <sup>67</sup> Там же.
- <sup>68</sup> Кочубинский А. А. Граф Строганов: Из истории наших университетов 30-х годов.— Вестник Европы, 1896, № 7, с. 179.
- <sup>69</sup> В «Биографическом словаре членов общества» (имп. Московское археологическое общество в первое пятидесятилетие его существования. М., 1915, т. 2, с. 36) отмечается, что Бодянский был отправлен за границу при содействии Каченовского.
- <sup>70</sup> Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1891, кн. 4, с. 425. В биографии Бодянского Н. А. Кондрашов отметил, что эта диссертация «представляла собой наиболее полное выражение взглядов скептической школы на происхождение Руси» (Кондрашов Н. А. Осип Максимович Бодянский. М., 1965, с. 14—15).
- <sup>71</sup> Кочубинский А. Осип Максимович Бодянский.— Славянское обозрение, 1892, т. 3, кн. 11—12, с. 294—295.
- <sup>72</sup> Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 4, с. 425—426.
- <sup>73</sup> ОР ГБЛ. Автографы иностранные. Документ хранится в коллекции иностранных автографов, но не является автографом В. Караджича; кем и когда был сделан этот перевод — неизвестно.
- <sup>74</sup> Добрашиновић Г. Вук и Руси. Београд, 1964, с. 36. Автор, в частности, отмечает заслуги друзей Караджича в России в ознакомлении с трудами сербского ученого и в их числе называет М. Т. Каченовского.
- <sup>75</sup> Каченовский В. М. Михаил Трофимович Каченовский..., 1892, № 5, с. 331.
- <sup>76</sup> Вукова преписка. Београд, 1909, кн. 3, с. 450.
- <sup>77</sup> Krauschar A. Towarzystwo Królewskie przyjaciół nauk. Kraków, 1905, ks. 3, t. 4, s. 66.
- <sup>78</sup> ОР ГБЛ, № 2250, л. 194.
- <sup>79</sup> Москвитянин, 1842, ч. 3, с. 208—209.

В. В. ИШУТИН

СЛАВЯНСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА  
В НАУЧНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ ОБЩЕСТВА ИСТОРИИ  
И ДРЕВНОСТЕЙ РОССИЙСКИХ  
ПРИ МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

(1804—1848 гг.)

Деятельность первого русского профессионального объединения историков — Общества истории и древностей российских (ОИДР), которая продолжалась столетие с четвертью, с 1804 по 1929 г., давно знакома специалистам в области общественных наук как у нас в стране, так и за рубежом главным образом по его серийным и периодическим изданиям «Записки и труды», «Труды и летописи», «Русские достопамятности», «Временник» и, конечно, «Чтения». Однако параллельно с издательской деятельностью в Обществе широкое распространение получило и другое направление научной работы, а именно научные заседания, на которых собиравшиеся члены ОИДР заслушивали и обсуждали различного рода материалы — статьи, доклады, сообщения, знакомились с перепиской Общества, с печатными и рукописными поступлениями в библиотеку ОИДР.

Следует отметить, что работа столь крупного научного учреждения, каким являлось ОИДР, до сих пор не нашло достойного отражения ни в русской, ни в советской историографии. Предпринятая в прошлом веке попытка Н. А. Попова написать историю Общества завершилась выпуском лишь первой части монографии о начальном периоде деятельности ОИДР<sup>1</sup>. В целом библиография по истории Общества представлена небольшими обзорными материалами юбилейного характера к 80-летию и 100-летию ОИДР и статьями, дающими самую общую оценку направлений работы Общества. Наиболее полно библиография по этому вопросу дана в статье И. А. Демидова и В. В. Иштутина, освещавшей главным образом организационно-административные аспекты истории ОИДР<sup>2</sup>. Несколько известно, за последние годы работ, посвященных непосредственно истории ОИДР, не было, за исключением небольшой заметки к 175-летию Общества<sup>3</sup>.

В настоящей статье делается попытка начать изучение славянской проблематики в деятельности ОИДР главным об-

разом на материалах протоколов заседаний членов Общества. Под термином «славянская проблематика» или «славянская тема» здесь понимается комплекс опубликованных и архивных материалов, который позволяет судить об интересе членов ОИДР к жизни западных и южных славянских народов, об их научном вкладе в историю отечественного славяноведения. Сюда относятся публикации в изданиях Общества научных трудов отечественных и зарубежных ученых по истории, религии, культуре зарубежных славян, издание источников по этим проблемам, международные научные связи Общества как с отдельными зарубежными славистами, так и с научными организациями и учреждениями в славянских землях. Достаточно четко интерес ОИДР к славянским сюжетам обнаруживается и при изучении протоколов научных заседаний, которые также относятся к этому комплексу материалов. Представляется, что такое исследование в дальнейшем поможет провести сопоставительный источниковедческий и историографический анализ опубликованных Обществом материалов по славистике и определить место и вклад Общества в развитие отечественного славяноведения.

Протоколы заседаний членов ОИДР представляют собой достаточно большую группу источников: всего за 125 лет существования общества было проведено 790 заседаний, при этом опубликованы протоколы почти за столетний период деятельности — с 1815 по 1912 г. Часть протоколов (1913—1917 гг., 1920—1929 гг.) сохранилась в архиве ОИДР (ОР ГБЛ, ф. 203), остальная часть считается утраченной.

Работа с опубликованными протоколами требует непрерывного использования материалов архивного фонда, поскольку протокольные записи чаще всего содержат лишь короткую информацию о различных событиях в жизни Общества, о переписке и книжных поступлениях в библиотеку.

В данной работе исследуется славянская проблематика, рассматривавшаяся в ходе научных заседаний ОИДР с момента возникновения Общества до конца 1848 г., когда в Обществе произошли серьезные административные преобразования, в значительной степени отразившиеся и на направлении научной работы Общества. За столь длительный, почти полувековой период работы ОИДР в его деятельности можно проследить несколько этапов. Славянская тема в этот период также подвергалась определенным изменениям.

Первый этап начинается с организационного собрания членов-учредителей 18 марта 1804 г., среди которых были

Н. М. Карамзин, Н. Н. Бантыш-Каменский, А. И. Мусин-Пушкин, А. Ф. Малиновский и др. Уже тогда Общество, поставившее своей задачей издание русских летописей, приняло решение, что «для большей полноты, обстоятельности и ясности поручено будет гг. членам, искусным в греческом и латинском языках, отыскивать и переводить все места, касающиеся до славянских народов у древнейших историков»<sup>4</sup>. Однако в продолжении семи лет работы по изданию Лаврентьевской летописи, которая была признана первым памятником, достойным публикации, проходила крайне медленно — было отпечатано всего 10 листов<sup>5</sup>. Причины этого явления сейчас определить трудно, поскольку архив Общества за этот период погиб, однако, думается, что главное заключается в неверии учредителей Общества в эффективность коллективных методов работы в исторической науке. В связи с этим характерно мнение Н. М. Карамзина по этому вопросу: «Десять обществ не сделают того, что сделает один человек, совершивший посвятивший себя историческим предметам»<sup>6</sup>.

В декабре 1810 г. Общество как не выполнившее своей задачи было формально закрыто, а 22 декабря того же года «для составления нового Общества» попечитель Московского учебного округа П. И. Голенищев-Кутузов пригласил несколько новых ученых<sup>7</sup>. И снова в заседании прозвучал «славянский мотив»: Я. И. Бардовскому как знатоку польского языка было поручено «разведывание древних манускриптов по монастырям Москвы» и сопоставление «польских рукописей с русскими»<sup>8</sup>. Сказать, однако, что-либо конкретное об этой работе в настоящее время нельзя. До Отечественной войны 1812 г. ОИДР так и не смогло развернуть активную деятельность. Для интересующего нас сюжета можно лишь отметить, что на январском заседании 1812 г. кандидат словесных наук П. Ф. Калайдович, брат известного историка и археографа К. Ф. Калайдовича, представил свою рукопись «Историческое обозрение всех славянских народов, обитающих в Европе, Азии и Америке»<sup>9</sup>, а в марте того же года бароном Б. М. фон Фитинггофом была предложена историческая задача «О славянском языке», за разработку которой учреждалась золотая медаль<sup>10</sup>.

В связи с последним фактом уместно будет отметить, что интерес русского общества к культуре и в первую очередь к языку славянских народов в первой четверти XIX в., на который обратил внимание еще в начале нашего века С. К. Булич<sup>11</sup>, подтверждается и материалами Общества истории и древностей российских. Так, в 1813 г. писатель

и педагог И. С. Орлай прислал в дар библиотеке ОИДР «латинскую книжечку, содержащую некоторые законы си-лезских славян»<sup>12</sup>, а в сопроводительном письме он отмечал, что «законы славян содержат в себе много изящного, ибо даже самые германцы заимствовали из них полезное, как из бытописаний их явствует»<sup>13</sup>.

Интересным корреспондентом Общества был майор П. Ф. Горенкин. В 1816 г. он прислал «Карту королевства прусского и бывшего герцогства Варшавского», шесть печатных книг и одну рукописную. Его письмо привлекает внимание тем, что в нем говорится о необходимости создания словарей не только «всех славянских наречий», но и «провинциальных слов, употребляемых в разных местах России между простым народом». Он высказывает свои соображения по поводу перевода некоторых фрагментов «Слова о полку Игореве» и «Правды Русской» издания 1799 г., прибегая к лексике украинских говоров и польского языка<sup>14</sup>. В 1818 г. тот же П. Ф. Горенкин послал на суд Общества уже самостоятельное исследование «О древности письма славянского», которое было отдано на рецензию К. Ф. Калайдовичу<sup>15</sup>. В нем П. Ф. Горенкин, в частности, выдвигает следующие положения, которые члены ОИДР сочли возможным даже опубликовать в приложении к протоколам: в договорах Олега и Игоря с Византией отражены коренные славянские законы; венды писали древними славянскими буквами; Кирилл и Мефодий не создали новый алфавит, а лишь «исправили бывший у славян в употреблении»; современный болгарский язык близок к церковнославянскому; «глаголическая азбука несравненно древнее Кирилловой»<sup>16</sup>. Для нас эти положения интересны в первую очередь тем, что высказаны они были в первой четверти прошлого века и некоторые из них подтверждаются данными современной науки. Вполне возможно, что фигура майора П. Ф. Горенкина заслуживает определенного внимания со стороны историков-славистов.

В начале 20-х годов в Обществе наметился интерес к работам зарубежных славистов. Так, в 1823 г. кандидаты университета А. М. Кубарев и М. П. Погодин предложили «возложить на них перевод Славянской грамматики знаменитого Добровского»<sup>17</sup>, однако руководство ОИДР отклонило их предложение и определило передать их отношение в Общество любителей российской словесности. В феврале 1824 г. члены ОИДР заслушали письмо уже упоминавшегося И. С. Орлай «о написи одпородцах *карпатогорсах*, говорящих киевским русским наречием». К письму были приложены:

«Проект князя Сапеги об уничтожении греко-российского исповедания» 1717 г. на польском языке с переводом и «Образчик чермно-русского галичского наречия»<sup>13</sup>. Последний принадлежал перу А. Чарноцкого (З. Доленги-Ходаковского) и был написан в 1820 г.<sup>19</sup> Конечно, на основании столь незначительных и немногочисленных фактов делать вывод о появлении в ОИДР «интереса к проблемам зарубежной славистики» было бы большим преувеличением, однако зафиксировать эту тенденцию стоит, тем более, если учесть, что во второй четверти XIX в. она получит дальнейшее развитие.

К сожалению, протокольные записи не передают атмосферу обсуждения докладов и сообщений, и потому приходится ограничиваться лишь названием темы. Однако даже такой, почти статистический подход позволяет сделать вывод о том, что славянская проблематика в деятельности ОИДР, и в частности на научных заседаниях в первой четверти XIX в., была представлена достаточно широко. Такой вывод будет тем более справедлив, если учесть, что Общество длительное время не могло стабилизировать свою деятельность. Достаточно сказать, что два тома своих серийных трудов ОИДР издало лишь в 1815 г., а следующий только в 1824 г. Причин для этого было много: и уже упоминавшееся недоверие к новым формам работы, и Отечественная война 1812 г., и отсутствие постоянной материальной базы, и, наконец, еще один немаловажный фактор — недостаточная профессиональная подготовка многих членов ОИДР и его руководства. В качестве примера можно сказать, что председателем ОИДР с 1810 по 1821 г. был отставной майор П. П. Бекетов, а секретарем — должность едва ли не более значимая, чем председатель, — ничем не зарекомендовавший себя в исторической науке И. А. Двигубский. Сменивший П. П. Бекетова профессор минералогии и садового домоводства А. А. Прокофьевич-Антонский занимал председательское кресло до 1823 г., а затем уступил его генерал-майору в отставке А. А. Писареву, который председательствовал до 1830 г. Все это, безусловно, накладывало отпечаток на деятельность ОИДР, в том числе и на такую форму работы, как научные заседания. Можно отметить, что в первой четверти XIX в. в отдельные годы собрания не созывались совсем (1818, 1819, 1822 гг.) или же собирались крайне перегулярно и главным образом для решения административно-хозяйственных вопросов<sup>20</sup>.

Определенные перемены наступают в жизни Общества во второй четверти XIX в. Свое отражение они нашли и в

интересующем нас вопросе. Именно в это время Общество начинает устанавливать прямые контакты с известными зарубежными славистами. И первым среди них стал патриарх славяноведения Й. Добровский. По предложению нового секретаря, профессора латинского языка и римских древностей, известного этнографа и собирателя фольклора И. М. Снегирева Й. Добровский, а также сербский славист Вук Караджич и профессор Виленского университета М. Н. Бобровский, также сделавший определенный вклад в развитие отечественной славистики<sup>21</sup>, в апреле 1827 г. были избраны в действительные члены ОИДР<sup>22</sup>.

По уставу Общества каждому вновь избранному члену руководство ОИДР высыпало специальный диплом. Многие члены в связи с избранием присыпали в Общество благодарственные письма, а порой и свои сочинения. В архиве ОИДР сохранилось довольно много таких писем, в том числе и от известных славистов из-за границы. Можно предположить, что аналогичное письмо поступило в Общество и от И. Добровского: на заседании 23 ноября 1829 г. члены ОИДР «изъявили признательность» киевскому митрополиту Евгению (Е. А. Болховитинову), почетному члену Общества с 1816 г., за доставленное «латинское письмо из Вены от аббата Добровского»<sup>23</sup>. Однако самого письма Добровского в архиве обнаружить не удалось. На том же заседании было прочитано письмо из Вены от Караджича. Он прислал его вместе с I томом «Сербской революции» Ранке, изданным в Гамбурге в 1829 г.<sup>24</sup> В письме, сохранившемся в копии, Караджич обещал «с величайшей радостию» употребить «всякий случай, которым бы мог показать себя достойным сей чести». Одновременно Караджич просил сообщить, каких изданных им книг нет в библиотеке Общества и обещал прислать их<sup>25</sup>. В связи с избранием Караджича в действительные члены ОИДР нужно отметить, что единодушного отношения к нему и к проводимой им реформе у членов Общества не было. Еще за год до его избрания в майском заседании 1826 г. члены ОИДР заслушали и постановили опубликовать письмо серба Афанасия Стойковича «о переводе на сербский язык Нового Завета». В этом письме, в частности, нашла отражение и борьба между Вуком Караджичем и сербским духовенством, смотревшим на проводимую реформу сербского литературного языка «как на некоторый род ереси». Сам Стойкович писал, что он новый алфавит «ересью не считает», но «уверен в душе, что [он] ведет к оной, приближая сербский православный народ к образу писания тех сербов, которые приняли католический закон

и оставили самое название сербов, именуя себя *крестьянами*, нас же *христианами*». Вероятно, именно стремление получить поддержку своей позиции в вопросе об отношении к реформе Вука Караджича и вызвало это обращение Стойковича к научным кругам России. Стойкович выражал надежду, что «может быть ... перевод сей даст г-ну Калайдовичу повод к соображениям»<sup>26</sup>.

В середине 30-х годов негативное отношение к реформе Караджича было высказано М. А. Оболенским, полагавшим, что сербский ученый якобы стремится «изгладить из памяти» славяпских народов «даже существование славяпских букв». В одном из черновых писем Ю. И. Вепелин даже в 1837 г. резко отрицательно отзывался о языковой реформе Вука Караджича, называя предложенную им систему написания «кривописанием»<sup>27</sup>. Тем не менее факт избрания великого сербского слависта в члены ОИДР свидетельствует, вероятно, о достаточно высоком — или возросшем — научном уровне членов ОИДР, сумевшим оценить заслуги Караджича.

В октябре 1827 г., по предложению И. М. Снегирева, действительным членом ОИДР был избран польский историк Иоахим Лелевель<sup>28</sup>. История знакомства секретаря ОИДР с работами Лелевеля, обстоятельства его избрания в члены Общества достаточно подробно изложены в книге Б. С. Попкова<sup>29</sup>. К этому лишь можно добавить, что от Лелевеля также было получено письмо с выражением благодарности за избрание, которое было зачитано на заседании 8 марта 1829 г. Вместе с письмом историк прислал в дар Обществу две свои работы, изданные в 1828 г.<sup>30</sup> Письмо И. Лелевеля хранится в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина<sup>31</sup> и до сих пор в печати не появлялось.

На одном заседании с Лелевелем действительным членом Общества стали и профессор Берлинского университета, историк права, исследователь номоканонов Болгарии и России Фридрих Август Бинер, который также откликнулся на это избрание письмом, сохранившимся в архиве Общества<sup>32</sup>.

Таким образом, приведенные факты свидетельствуют о стремлении Общества установить научные связи с ведущими зарубежными славистами, и объяснение этому, вероятно, можно видеть в том, что со второй четверти XIX в. в руководстве ОИДР появляются профессиональные ученые, в том числе и те, кто занимался проблемами славистики. К этим ученым принадлежали И. М. Снегирев, исполнявший обязанности секретаря до марта 1833 г., и известный историк-архивист А. Ф. Малиновский, бывший председателем ОИДР с 1830 по февраль 1836 г.

В сравнении с первой четвертью XIX в. во второй четверти заседания стали проводиться чаще, регулярнее, и славянская проблематика заняла в них более прочное место. В первую очередь следует сказать, что ОИДР довольно активно отреагировало на события 1830—1831 гг. в Польше. Сам председатель А. Ф. Малиновский в течеие восьми заседаний 1832—1833 гг. читал свою работу «Исторические доказательства о давнем желании польского народа присоединиться к России»<sup>33</sup>. Тенденциозная направленность этого сочинения очевидна хотя бы и потому, что и сами «чтения Малиновского», и быстрый выход из печати этого труда были осуществлены вскоре после подавления польского восстания. Император Николай I повелел выразить Обществу «свое благоволение» в связи с публикацией этой работы<sup>34</sup>, однако сам он прекрасно понимал предвзятый характер сочинения Малиновского<sup>35</sup>.

В начале 30-х годов «польский вопрос» на общем фоне славистической проблематики в заседаниях ОИДР выступает достаточно выпукло и односторонне. В 1832 г. Д. Н. Бантыш-Каменский выступил с разбором сочинения М. Я. Диева «О лютеранах и реформатах под властию Польши в XVIII веке»<sup>36</sup>; в 1834 г. московский митрополит Филарет прислал письмо, в котором высоко оценил труд Малиновского: «С особым любопытством прочитал я исторические доказательства о давнем назначении Польши к соединению с Россиею — назначении, которое, к удивлению, варшавское общество менее понимало в девятнадцатом столетии, нежели как Польша в прежние времена»<sup>37</sup>. В этой характеристике, вероятно, следует обратить внимание на то, как используемый историком термин «давнее желание» трансформируется под пером митрополита в директивное «давнее назначение». В том же, 1834 г. по предложению Малиновского в почетные члены ОИДР был избран «его светлость князь Варшавский» И. Ф. Паскевич<sup>38</sup>, который, кстати, также откликнулся на это избрание благодарственным письмом<sup>39</sup>.

В целом же Общество в большую политику не вмешивалось. Славянские материалы, обсуждавшиеся на заседаниях, касались главным образом начального периода истории славян, вопросов религии, издания летописей и т. п. Так, штабс-капитан П. А. Должиков прислал из Варшавы в 1832 г. письмо о «памятнике язычества и каменосечного искусства славян висленских, с приложением бронзовой медали мизийского города Марцианополита... близ крепости Варна»<sup>40</sup>. Несколько ранее он же прислал из Варны описание грамот черниговского Свято-Троицкого монастыря<sup>41</sup>.

В ноябре 1832 г. С. П. Шевырев прочитал «записку о месте погребения в Риме св. Кирилла, первоучителя славянской грамоты, и о находящемся там Славянском переулке»<sup>42</sup>. А. Ф. Вельтман в ноябре 1834 г. ознакомил собравшихся с работой «О язычестве славяно-руссов» и при этом «обещал продолжение сего ученого и любопытнейшего исследования»<sup>43</sup>. Дважды — в декабре 1834 г. и в январе следующего — со своими соображениями относительно издания летописей на заседаниях выступал М. А. Оболенский. В первом сообщении он высказывал свое мнение об издании Киевской летописи после сличения ее с изданной И. Н. Даниловичем Литовской летописью<sup>44</sup>. Через месяц его выступление было посвящено изданию Супрасльской рукописи<sup>45</sup>, которую Оболенский предполагал напечатать церковнославянским алфавитом, с тем, чтобы она обрела как можно более читателей среди славянского населения «в разных местах Австрийской империи, особенно в Галиции, в Польше, в некоторых частях Пруссии, в Архипелаге»<sup>46</sup>.

Свидетельством нарастающего интереса членов ОИДР к славистической проблематике, и в частности к истории южных славян, является и избрание 5 ноября 1832 г. в действительные члены Общества Ю. И. Венелина<sup>47</sup>. А. Ф. Малиновский в письме к нему отмечал, что именно «путешествия... в Болгарию, Валахию и Молдавию приобрели... право на уважение Общества истории и древностей российских» и выражал «надежду на содействие» ученого в трудах ОИДР<sup>48</sup>.

В середине 1830-х годов в жизни Общества произошли серьезные перемены. Председателем был избран попечитель Московского учебного округа гр. С. Г. Строганов, наиболее влиятельный из всех предшествовавших председателей ОИДР. В том же, 1836 г. И. М. Снегирева на посту секретаря сменил профессор русской истории Московского университета М. П. Погодин, побывавший в 1835 г. в Праге и установивший дружеские отношения с чешскими учеными-славистами. В 1837 г. Общество стало получать государственную субсидию в размере 1450 руб. 50 коп. серебром. В связи с этим заметно улучшились издательские дела: семь томов в двадцати двух книгах «Русского исторического сборника» за 1837—1844 гг., два тома «Русских достопамятностей» в 1843—1844 гг., «Чтения» с 1846 г. Налицо, таким образом, явные признаки начала нового этапа в деятельности ОИДР. Тем не менее для развития славистического направления в работе Общества, думается, более значительными были все-таки 1825—1827 гг., когда четко определился курс на

установление прямых контактов с крупнейшими зарубежными славистами. Последующие же годы были лишь успешным продолжением этого курса.

В отчете Общества за 1837 г. отмечается работа Ю. И. Венелина по изучению болгар и других славянских народов<sup>49</sup>. В 1837—1838 гг. дважды на заседаниях выступает М. П. Погодин: рассказывает «о части бумаг незабвенного исследователя славянских древностей» З. Доленги-Ходаковского<sup>50</sup> и зачитывает перевод статьи «из польского журнала 1830 г.» о медали, найденной в Сандомирском воеводстве<sup>51</sup>. Будущий председатель Общества, археолог А. Д. Чертков, несколько своих выступлений посвятил так называемой летописи Манассии<sup>52</sup>. Кстати, как указывает сам Чертков, на существование перевода этой летописи в Патриаршей библиотеке ему указал в 1839 г. Франц Палацкий. До этого считалось, что единственный перевод летописи на церковнославянский язык хранится в Ватиканской библиотеке под названием Болгарского списка<sup>53</sup>. Кроме того, А. Д. Чертков зачитывал «примечания к описанию похода великого князя Святослава на болгар и греков»<sup>54</sup> и «рассуждение о жительстве предков славян до рождества Христова в Задунайских странах»<sup>55</sup>.

В эти же годы на одном из заседаний обсуждалась брошюра действительного члена ОИДР Ф. Л. Морошкина «об имени Руси и славян»<sup>56</sup>, а А. Ф. Вельтман читал доклад «о первобытной религии славян»<sup>57</sup>. Четырежды в 1840—1841 гг. на заседаниях выступал избранный в члены общества И. Н. Данилович. Одн раз он излагал свои соображения по поводу «описания современного рисунка, представляющего вступления князя Радзивилла в Киев в 1651 г.»<sup>58</sup>, а три доклада посвятил исследованию «городов славянских, преимущественно польских, до XIII столетия»<sup>59</sup>.

Таким образом, в конце 30-х — первой половине 40-х годов тематика выступлений по славянским сюжетам в основном касалась вопросов глубокой древности и опиралась на летописные и археологические источники. Вместе с общей тенденцией растущего интереса русского общества к прошлому зарубежных соплеменных народов, о чем свидетельствует хотя бы факт создания в четырех университетах кафедр истории литературы славянских народов, для ОИДР не последнюю роль в определении славянской проблематики сыграли и научные интересы секретаря М. П. Погодина.

В эти же годы стала значительно активнее комплектоваться библиотека Общества литературой по славянским проблемам, причем среди корреспондентов были наряду с отечественными и зарубежными членами ОИДР частные

лица, что свидетельствует об определенной известности Общества. Не прерывает связи с ОИДР Вук Караджич: в 1837 г. от него поступила книга о Черногории и черногорцах, изданная в том же году<sup>60</sup>; в 1841 г. обсуждался вопрос о получении из Радзивилловской таможни славянских книг, отправленных из Праги П. Шафариком<sup>61</sup>; в апреле 1840 г. священник из Белграда Павел Тврткович вместе с письмом послал в ОИДР книгу «Споменицы Србскія», которую сам с великим трудом по различным архивам собирая, а после издал в свет<sup>62</sup> и решил послать в подарок «славному императорскому Обществу истории и древностей российских» «в знак взаимной любви и склонности сербов к россиянам»<sup>63</sup>. Общество постановило избрать издателя этой книги в корреспонденты ОИДР, отметив, что оно «принимает живейшее участие в возникающей литературной деятельности у сродственных с нами сербов». Решено было также отправить Твртковичу и все издания Общества<sup>64</sup>.

В 1842 г. В. Е. Априлов послал в ОИДР свои издания «Болгарские книжники» и «Денница новоболгарского образования»<sup>65</sup>. От учителя Варшавской гимназии П. П. Дубровского в 1841 г. была получена рукопись перевода работы В. Мацеевского «Очерк истории письменности и просвещения славянских народов», а также самостоятельное исследование на польском языке «Обзор русской литературы за 1838, 1839 и 1840 гг.», изданное в Варшаве в 1841 г.<sup>66</sup> Д. И. Зубрицкий из Львова в 1840 г. прислал «свое сочинение о Руси Галицкой»<sup>67</sup>. «Богатое собрание книг, рукописей, выписок и замечаний», сделанных профессором И. Н. Лобойко в течение двадцати лет «для истории русской, польской, литовской и северной», поступало в библиотеку ОИДР в 1840—1841 гг.<sup>68</sup> Двоюродный брат первого исследователя Болгарии Ю. И. Венелина И. И. Молнар<sup>69</sup> передал в Общество пять его сочинений<sup>70</sup>. Думается, что приведенных фактов достаточно для того, чтобы сказать: к середине 40-х годов славянская тема прочно вошла в круг научных интересов ОИДР, а его деятельность приобрела известность не только в России, но и за рубежом.

Последние три года рассматриваемого периода деятельности Общества можно смело называть «периодом Бодянского», поскольку именно ему принадлежит ведущая роль в Обществе в 1845—1848 гг., а славянская тема в эти годы достигла своего расцвета.

Действительным членом ОИДР Осип Максимович Бодянский стал 12 июня 1837 г.<sup>71</sup> В том же году он успешно защитил диссертацию «О народной поэзии славянских пле-

мен», после чего был отправлен в научную командировку по славянским землям. Во время этой поездки Общество опубликовало в «Русском историческом сборнике» его перевод статьи П. Шафарика «Славянские племена в нынешней России»<sup>72</sup>, а М. П. Погодин приступил к публикации одной из важнейших работ чешского слависта «Славянские древности» в переводе Бодянского.

Командировка ученого из-за болезни продлилась до сентября 1842 г. Вскоре после возвращения Бодянский активно включился в работу Общества: в ноябре 1842 г. он делает сообщение «о некоторых важнейших актах, относящихся к русской и польской истории» из библиотеки гр. Рачинского в Познани<sup>73</sup>, приступает к работе по подготовке к печати рукописей Юрия Крижаница, предлагая запросить их из Московской духовной типографии и Синодальной библиотеки<sup>74</sup>. Вероятно, в то же время он предложил издание «новой серии трудов Общества», так как именно ему на заседании 9 января 1843 г. было поручено составить план этого издания<sup>75</sup>. Идея о специализированном печатном органе по вопросам славяноведения зародилась у Бодянского еще во время командировки, но недостаток средств мешал осуществить это предприятие<sup>76</sup>. Теперь же он, вероятно, решил использовать для этой цели издательскую базу Общества. В феврале 1845 г. в ОИДР проводились выборы нового секретаря. На эту должность вместе с Бодянским претендовал П. М. Строев и А. Ф. Вельтман. Один из участников выборов А. М. Кубарев в письме от 15 февраля 1845 г. писал своему товарищу: «В первый еще раз, сколько я помню, приступлено к выбору законным образом, т. е. баллами. Строев получил шесть черных и два белых, Вельтман пять черных и три белых, Бодянский шесть белых и два черных, и утвержден»<sup>77</sup>. Не последнюю роль в этом избрании сыграло, вероятно, активное участие первого слависта-профессионала Московского университета в работе ОИДР.

Деятельность О. М. Бодянского на посту секретаря ОИДР разделяется на два периода: 1845—1848 гг. и 1857—1877 гг. Второй период, во многом отличающийся от первого, заслуживает специального исследования и здесь рассматриваться не будет.

С марта 1845 г. по ноябрь 1848 г. Бодянским было проведено двадцать восемь заседаний. Они проводились ежемесячно за исключением трех летних вакационных месяцев. Такой интенсивности ОИДР не знало ни при одном предшественнике Бодянского. Возросла и активность посещения собраний: в среднем в эти годы на заседаниях присутствова-

ло по двенадцать членов Общества. Определенную роль в этом, по-видимому, сыграл тот факт, что новый секретарь сумел таким образом наладить издательскую работу, что на каждом собрании члены Общества получали только что вышедшую из печати книгу «Чтений» — нового периодического издания ОИДР, которое стало выходить с 1846 г.

Круг вопросов, обсуждавшихся на научных заседаниях, был разнообразным, однако можно сказать, что при О. М. Бодянском славянское направление в работе ОИДР обозначилось совершенно определенно. За три с половиной года и сам секретарь и другие члены Общества выносили на обсуждение целый ряд статей и других материалов по вопросам славистики. В декабре 1845 г. Бодянский выступил с сообщением «О поисках в библиотеке Московской духовной типографии» о язычестве древних славян<sup>78</sup>; тогда же В. М. Ундорльский представил «план издания сочинений св. Климента, епископа словенского»<sup>79</sup>. Директор Московского архива Министерства иностранных дел М. А. Оболенский в 1846 г. читал «Ответ Иоанна IV проповеднику чешского братства»<sup>80</sup>, в том же году была заслушана статья Я. И. де Санглена «Мифология древних славян»<sup>81</sup>. В 1847 г. В. М. Ундорльский читал свою работу «Константин, епископ Болгарский, ученик Мефодия»<sup>82</sup>. Часть материалов поступала к секретарю от лиц, не являвшихся членами Общества. Такие материалы предварительно рассматривались Бодянским. Так было с переводом С. Н. Палаузовым трактата Константина Багрянородного «Об областях греческой империи»<sup>83</sup>, работой Филарета (Гумилевского) «Кирилл и Мефодий, славянские просветители»<sup>84</sup>, двумя статьями Ю. И. Венелина «Леты» и «Славяне», присланными И. И. Молнаром<sup>85</sup>. Приносил на заседания ОИДР О. М. Бодянский и работы своих учеников: перевод работы Д. И. Зубрицкого «Царствование короля Сигизмунда III», сделанный А. А. Майковым с польского языка<sup>86</sup>, известную работу В. А. Елагина «Об «Истории Чехии» Франца Палацкого»<sup>87</sup>.

Общий анализ славистической проблематики, обсуждавшейся во время научных заседаний Общества, показывает, что интересы членов были сосредоточены главным образом на истории славянских народов до принятия христианства или же на первых веках после него, на сборе и изучении источников, непременно связанных с историей России. Впрочем, О. М. Бодянский не отказывался и от работ, посвященных только проблемам истории зарубежных славян.

1845—1846 годы стали для Общества годами оживленной связи с зарубежными славянскими учеными и политически-

ми деятелями. 27 октября 1845 г. собравшимся на заседание членам был предложен список кандидатов в почетные и действительные члены Общества. В этот список вошли: «князь Сербии Александр Георгиевич», «Петр Петрович, митрополит Черногорский», «историк и поэт сербский» Сима Милутинович, «сочинитель многих исторических творений о Червоной Руси» Д. И. Зубрицкий, «собиратель червоноп-русских песен» Я. Головацкий, «библиотекарь Чешского музея, напечатавший Краалеворскую рукопись» В. Ганка, «известный чешский лексикограф» И. Юнгман, «чешский историограф» Ф. Палацкий, «архиварий и издатель Дипломатория Моравского» А. Бочек, «известный поэт и ученый критик» Я. Коллар, «профессор славянских языков в Братиславе и ученый филолог» Ф. Л. Челаковский, «известный профессор-физиолог и филолог» Я. Пуркине, В. Мацеёвский — «известный сочинитель «Истории славянских законодательств»<sup>88</sup>.

На этом же заседании почетными членами ОИДР стали Александр Карагеоргиевич и Петр Негош<sup>89</sup>, через месяц — В. Ганка, Д. И. Зубрицкий, Я. Коллар, Ф. Палацкий, И. Юнгман<sup>90</sup>, в конце 1846 г. дипломы почетных членов были посланы Ф. Л. Челаковскому и В. Мацеёвскому<sup>91</sup>. Можно предположить, что О. М. Бодянский планировал поэтапное избрание в почетные члены Общества зарубежных славянских деятелей науки и культуры, и вошедшие в этот список С. Милутинович, А. Бочек и Я. Пуркине не получили своих дипломов лишь потому, что в 1848 г. Бодянский был вынужден оставить должность секретаря ОИДР.

От вновь избранных членов ОИДР были получены благодарственные письма, часть которых — от И. Юнгмана<sup>92</sup>, В. Ганки<sup>93</sup>, Ф. Л. Челаковского<sup>94</sup> — хранится в архиве, а письмо Петра Негоша как свидетельство любви сербского народа к России и преданности идеи славянской взаимности было даже напечатано в «Чтениях»<sup>95</sup>. Избрание в почетные члены Общества двух иностранных политических деятелей было в истории ОИДР едва ли не единственным случаем, и его можно рассматривать как демонстрацию симпатий русской научной общественности югославянским народам, борющимся за национальное освобождение.

Связь со своими зарубежными членами ОИДР поддерживало бесплатной высылкой им изданий Общества. Сохранившийся в архиве список бесплатной рассылки «Чтений» на 1859 г. показывает, что В. Мацеевский, П. Й. Шафарик, В. Ганка, Д. Зубрицкий, В. Караджич, К. Я. Эрбен получали в то время издания Общества<sup>96</sup>. Можно предположить, что такой порядок, установленный уставом Общества, поддержи-

вался и в первый период секретарства Бодянского. Подтверждает это и письмо В. Ганки к О. М. Бодянскому от 7 мая 1851 г.: «С тех пор, что вы не состоите секретарем Московского Общества истории и древностей, я ничего не получал; кто тут причиной?»<sup>97</sup> Думается, что речь шла в первую очередь о высылке «Чтений».

Со своей стороны зарубежные ученые посыпали Обществу свои публикации. В 1845—1848 гг. посылки с книгами поступали от П. И. Шафарика, В. Караджича, В. Ганки, П. Атанцковича, Ф. Л. Челаковского и др. Вук Караджич даже использовал Общество как посредника при продаже своих изданий в России: в 1845 г. через Одесскую контору транспорта в ОИДР был отправлен ящик с сорока шестью комплектами 1 и 2 томов «Сербских народных песен», изданных им<sup>98</sup>. П. И. Шафарик в тот же период оказывал помошь в отправке в Общество всех изданий Чешского музея<sup>99</sup>.

Таким образом, деятельность Бодянского на посту секретаря ОИДР в 1845—1848 гг. способствовала активному сотрудничеству с зарубежными учеными славистами, что в свою очередь благотворно сказалось и на развитии отечественной славистики.

Первый этап секретарства Бодянского закончился довольно быстро и печально: в конце 1848 г. ему было предписано оставить должность секретаря ОИДР и профессору в университете и отправиться в Казань на место В. И. Григоровича, который должен был заменить Бодянского в Московском университете. Поводом к «погрому» в Обществе — председатель гр. С. Г. Строганов также оставлял свое кресло — послужило, как известно, появление на страницах «Чтений» записок английского посла Дж. Флетчера в России «О Московском государстве XVI в.», в которых негативно освещались некоторые стороны жизни русского общества в XVI столетии. Однако придавать большое, тем более политическое, значение этой акции, как это делает, например, Л. Н. Алексашкина, не стоит. Исследовательница считает, что события 1848 г. в Обществе истории и древностей российских «стали одним из звеньев правительственной политики, направленной против общественных и научных объединений. Смещение неугомонного секретаря было попыткой свернуть деятельность Общества истории и древностей российских, и надо признать, что попытка удалась. Общество почти прекратило свою издательскую работу, а также прервало связи со своими заграничными членами»<sup>100</sup>. На наш взгляд, такие выводы выглядят намного значительнее самих событий, их подоплеки и последствий.

Судя по воспоминаниям Ф. И. Буслаева, дело заключалось в следующем: С. Г. Строганов, попечитель Московского учебного округа и председатель ОИДР, в письме к императору Николаю I обстоятельно изложил свои возражения на проект Устава университетов, разосланного министром народного просвещения С. С. Уваровым, и проект провалился<sup>101</sup>. А «флетчеровским делом» министр возвратил «графский должок». О том, что события 1848 г. в ОИДР носили личный, а не общественный характер свидетельствует и запись Бодянского в своем дневнике от 23 декабря 1852 г., передающая рассказ С. Г. Строганова о беседе с императором. Граф убедил Николая I прежде всего в научной ценности публикации записок Флетчера, и император «обещал уладить все как только Уваров перестанет быть министром. 23 октября 1849 г. Уваров оставил министерство»<sup>102</sup>.

О. М. Бодянский стал лишь жертвой графских распрай. Никаких серьезных репрессий он на себе не испытал, кроме фиктивной высылки в Казанский университет, куда он, кстати, и ехать-то отказался, а остался в Москве и очень быстро восстановился в профессорской должности в Московском университете. К этому можно еще добавить, что «Флетчера подлинник и перевод путешествия в Россию» поступил вместе с предложением о публикации в «Чтениях» от директора МАМИД М. А. Оболенского в сентябре 1847 г.<sup>103</sup>, однако последний никаких репрессий на себе не испытал. И, наконец, сочинение Флетчера не было вновь открытым историческим памятником даже для России, поскольку оно использовалось еще Н. М. Карамзиным в его «Истории».

Нельзя также категорично утверждать, что ОИДР «почти полностью прекратило издательскую деятельность» и сношения со своими заграничными членами. Славянское направление в деятельности Общества действительно серьезно пострадало, но очевидного упадка в работе, особенно в первые годы после смены руководства, не наблюдалось: заседания созывались по 6—7 раз в год, а книги «Временника», заменившие «Чтения», хотя и выпускались по 3—4 тома ежегодно (копечно, не девять, как «Чтения»), все же заслужили высокую оценку Н. Г. Чернышевского<sup>104</sup>. Что же касается зарубежных контактов ОИДР, то они в 1850-е годы начали приобретать новые формы; в частности, появляются связи с зарубежными славянскими научными обществами и организациями, однако этот сюжет не является темой данной работы.

Заканчивая обзор славистической проблематики на научных заседаниях ОИДР за почти полувековой период его

существования, отметим, что интерес к славянским проблемам наметился в Обществе истории и древностей российских при Московском университете буквально с первого заседания, хотя развитие свое он получил гораздо позднее, выделившись в конкретное направление лишь к концу первой четверти XIX в. В середине 20-х годов, когда руководящие должности в ОИДР заняли профессиональные ученые-историки, славянская тема в заседаниях зазвучала громче, разнообразнее; определилось стремление к установлению творческих связей с зарубежными учеными-славистами. Наиболее ярко славянская тема в научных заседаниях ОИДР рассматриваемого периода получила свое развитие в годы секретарства Осипа Максимовича Бодянского.

- <sup>1</sup> Попов Н. А. История имп. Московского общества истории и древностей российских, 1804—1812. М., 1884, ч. 1, с. 350—380.
- <sup>2</sup> Демидов И. А., Ишутин В. В. Общество истории и древностей российских при Московском университете.— В кн.: История и историки. Историограф. ежегодник. 1975. М., 1978, с. 250—280.
- <sup>3</sup> Тодійчук О. В. Московське товариство історії та старожитностей російських (до 175-річчя заснування).— Український історичний журнал, 1979, № 3, с. 92—94.
- <sup>4</sup> Попов Н. А. История..., с. 70.
- <sup>5</sup> Демидов И. А., Ишутин В. В. Общество истории..., с. 251—252.
- <sup>6</sup> Попов Н. А. История..., с. 14.
- <sup>7</sup> Чтения в Обществе истории и древностей российских (далее: ЧОИДР), 1890, кн. 2. Состав ОИДР, с. 4.
- <sup>8</sup> Попов Н. А. История..., с. 212.
- <sup>9</sup> Записки и труды ОИДР. М., 1815, ч. I, с. СХХ.
- <sup>10</sup> Там же, с. СХІХ; ЧОИДР, 1877, кн. 3, протокол, с. 4.
- <sup>11</sup> Булич С. К. Очерки истории языкоznания в России. СПб., 1904, с. 708.
- <sup>12</sup> Записки и труды ОИДР. М., 1824, ч. II, с. 19.
- <sup>13</sup> ОР ГБЛ, ф. 203, кн. 1, л. 48.
- <sup>14</sup> Там же, л. 164—165.
- <sup>15</sup> Труды и летописи ОИДР. М., 1826, ч. III, кн. 2, летописи, с. 42. Статью П. Ф. Горенкина см.: ОР ГБЛ, ф. 203, кн. 2, л. 91—104.
- <sup>16</sup> Труды и летописи ОИДР. М., 1826, ч. III, кн. 2, летописи, с. 47.
- <sup>17</sup> Там же, с. 27—28.
- <sup>18</sup> Там же, с. 55.
- <sup>19</sup> Там же, с. 60—62.
- <sup>20</sup> Демидов И. А., Ишутин В. В. Общество истории..., с. 254.
- <sup>21</sup> Славяноведение в дореволюционной России. Библиографический словарь. М., 1979, с. 73—74.
- <sup>22</sup> Труды и летописи ОИДР. М., 1828, ч. IV, кн. 2, с. 40.
- <sup>23</sup> Труды и летописи ОИДР, М., 1837, ч. VIII, с. 145—146.
- <sup>24</sup> Там же, с. 144.
- <sup>25</sup> ОР ГБЛ, ф. 203, кн. 4, л. 117. Копия.
- <sup>26</sup> Труды и летописи ОИДР, М., 1826, ч. III, кн. 2, летописи, с. 180—181.
- <sup>27</sup> Труды и летописи ОИДР, М., 1837, ч. VIII, с. 337—338; ОР ГБЛ, ф. 203, п. 197, д. 5, л. 15 об.

- <sup>28</sup> Труды и летописи ОИДР, М., 1828, ч. IV, кн. 2, с. 51.
- <sup>29</sup> Попков Б. С. Польский ученый и революционер Иоахим Лелевель. М., 1974, с. 47—48.
- <sup>30</sup> Труды и летописи ОИДР. М., 1837, ч. VIII, с. 27.
- <sup>31</sup> ОР ГБЛ, ф. 203, кн. 4, л. 187—188. На франц. яз.
- <sup>32</sup> Труды и летописи ОИДР. М., 1837, ч. VIII, с. 144; ОР ГБЛ, ф. 203, кн. 4, л. 250—258. На нем. яз.
- <sup>33</sup> Труды и летописи ОИДР. М., 1837, ч. VIII, с. 161, 165, 169, 171, 191, 199, 203, 212.
- <sup>34</sup> Там же, с. 226.
- <sup>35</sup> В одном из устных выступлений Н. Я. Эйдельман, ссылаясь на архив П. И. Бартенева, рассказал о резко отрицательной оценке Николаем I этого сочинения.
- <sup>36</sup> Труды и летописи ОИДР. М., 1837, ч. VIII, с. 187.
- <sup>37</sup> Там же, с. 253.
- <sup>38</sup> Там же, с. 216.
- <sup>39</sup> Там же, с. 231.
- <sup>40</sup> Там же, с. 174—175.
- <sup>41</sup> Там же, с. 131.
- <sup>42</sup> Там же, с. 191.
- <sup>43</sup> Там же, с. 296.
- <sup>44</sup> Там же, с. 297—299, 304—306.
- <sup>45</sup> Там же, с. 310—311.
- <sup>46</sup> Там же, с. 337—338.
- <sup>47</sup> Там же, с. 197.
- <sup>48</sup> ОПИ ГИМ, ф. 33 (А. Ф. Малиновский), 70, л. 65.
- <sup>49</sup> Русский исторический сборник (далее: РИС). М., 1837, т. I, кн. 2, с. 128.
- <sup>50</sup> РИС. М., 1840, т. III, кн. 4, с. 399.
- <sup>51</sup> Там же, с. 410.
- <sup>52</sup> РИС. М., 1843, т. VI, кн. 3—4, протоколы, сс. 4, 15, 27, 29.
- <sup>53</sup> РИС. М., 1843, т. VI, кн. 1—2, протоколы, с. 1—2.
- <sup>54</sup> РИС. М., 1843, т. VI, кн. 3—4, протоколы, с. 15.
- <sup>55</sup> Там же, с. 41.
- <sup>56</sup> Там же, с. 3.
- <sup>57</sup> Там же, с. 39.
- <sup>58</sup> Там же, с. 4.
- <sup>59</sup> Там же, с. 12, 18, 20.
- <sup>60</sup> РИС. М., 1840, т. III, кн. 4, с. 407.
- <sup>61</sup> РИС. М., 1843, т. VI, кн. 3—4, протоколы, с. 18.
- <sup>62</sup> РИС. М., 1840, т. III, кн. 4, с. 403.
- <sup>63</sup> ОР ГБЛ, ф. 203, кн. 7, л. 59.
- <sup>64</sup> РИС. М., 1843, т. VI, кн. III—IV, протоколы, с. 8.
- <sup>65</sup> Там же, с. 38, 45. В том же 1842 г. В. Е. Априлов был избран корреспондентом ОИДР (см.: ЧОИДР, 1890, кн. 2. Состав ОИДР, с. 33).
- <sup>66</sup> Там же, с. 26. П. П. Дубровский носил звание корреспондента ОИДР с декабря 1840 г. (см.: ЧОИДР, 1890, кн. 2. Состав ОИДР, с. 33).
- <sup>67</sup> Там же, с. 8.
- <sup>68</sup> И. Н. Лобойко был избран в действительные члены ОИДР в 1825 г., через месяц после того, как секретарем ОИДР стал И. М. Снегирев (см.: ЧОИДР, 1890, кн. 2. Состав ОИДР, с. 21).
- <sup>69</sup> РИС. М., 1843, т. VI, кн. III—IV, протоколы, с. 9, 19.
- <sup>70</sup> ЧОИДР. М., 1846, кн. I, протоколы, с. VIII.
- <sup>71</sup> ЧОИДР, 1890, кн. 2. Состав, с. 15.

- <sup>72</sup> РИС. М., 1838, т. I, кн. 4, с. 39—97.
- <sup>73</sup> РИС. М., 1843, т. VI, кн. 3—4, протоколы, с. 48.
- <sup>74</sup> Там же, с. 49—50.
- <sup>75</sup> Там же, с. 50.
- <sup>76</sup> Минкова Л. Осип Максимович Бодянски и Българското Възраждане. София, 1978, с. 82.
- <sup>77</sup> Барсуков Н. П. Жизнь и труды П. М. Строева. СПб., 1878, с. 417.
- <sup>78</sup> ЧОИДР, 1846, кн. 1, протоколы, с. XVIII.
- <sup>79</sup> Там же, с. XIX.
- <sup>80</sup> ЧОИДР, 1846, кн. 2, протоколы, с. I.
- <sup>81</sup> ЧОИДР, 1846, кн. 3, протоколы, с. I.
- <sup>82</sup> ЧОИДР, 1846, кн. 2, протоколы, с. I.
- <sup>83</sup> ЧОИДР, 1846, кн. 2, протоколы, с. I.
- <sup>84</sup> ЧОИДР, 1847, кн. 5, протоколы, с. I.
- <sup>85</sup> ЧОИДР, 1846, кн. 4, протоколы, с. I.
- <sup>86</sup> ЧОИДР, 1847, кн. 4, протоколы, с. I.
- <sup>87</sup> ЧОИДР, 1848, кн. 6, протоколы, с. I.
- <sup>88</sup> ОР ГБЛ, ф. 203, кн. 8, л. 163.
- <sup>89</sup> ЧОИДР, 1846, кн. 1, протоколы, с. XIV.
- <sup>90</sup> Там же.
- <sup>91</sup> ЧОИДР, 1847, кн. 6, протоколы, с. II.
- <sup>92</sup> ОР ГБЛ, ф. 203, кн. 8, л. 347.
- <sup>93</sup> Там же, л. 348.
- <sup>94</sup> ОР ГБЛ, ф. 203, кн. 9, л. 190.
- <sup>95</sup> ЧОИДР, 1847, кн. 7, протоколы, с. 31—32. Оригинал: ОР ГБЛ, ф. 203, кн. 9, л. 29—30.
- <sup>96</sup> ОР ГБЛ, ф. 203, кн. 14, л. 600.
- <sup>97</sup> Письма Вячеслава Ганки к О. М. Бодянскому.—ЧОИДР, 1887, кн. 2, разд. II, с. 28—29.
- <sup>98</sup> ОР ГБЛ, ф. 203, кн. 8, л. 145; ЧОИДР, 1846, г. I, кн. I, протоколы, с. XV.
- <sup>99</sup> ЧОИДР, 1848, кн. 7, протоколы, с. III.
- <sup>100</sup> Алексашкина Л. Н. О. М. Бодянский. Из истории славяноведения в России.—В кн.: Проблемы всеобщей истории. М., 1973, с. 206—207.
- <sup>101</sup> Буслаев Ф. И. Мои воспоминания. М., 1897, с. 306—307.
- <sup>102</sup> Кочубинский А. А. О. М. Бодянский в его дневнике.—Исторический вестник, 1887, № 12, с. 517.
- <sup>103</sup> ЧОИДР, 1847, кн. 3, протоколы, с. I.
- <sup>104</sup> Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М., 1949, т. 2, с. 318—319.

В. И. ДУРНОВЦЕВ

ПРОБЛЕМА

«РОССИЯ, СЛАВЯНСКИЙ МИР И ЗАПАД»

В ОСВЕЩЕНИИ К. Д. КАВЕЛИНА,

С. М. СОЛОВЬЕВА, Б. Н. ЧИЧЕРИНА

Имманентные свойства исторического познания — определять место той или иной общности людей среди других, выяснять черты сходства и различий между ними, подводить на этой основе итоги прошлому и намечать перспективы национального будущего — стали важными факторами возникновения в русской исторической мысли проблемы «Россия и Запад». При этом понятие «Россия» передко прочно связывалось с представлениями об истории и культуре славянских народов в целом.

Углубляющийся кризис самодержавно-крепостнического режима в России, развитие буржуазных революций и национально-освободительных движений на Западе и Востоке, падение абсолютных монархий в некоторых странах европейского континента обусловили особый социально-классовый и политический подтекст проблемы «Россия и Запад». В дальнейшем она выросла в важную культурно-историческую антиномию, над разрешением которой трудились лучшие умы страны, «властители дум» русского общества. В представленной ими многослойной картине причудливо переплетались признание абсолютного тождества исторического прошлого России с Западной Европой с утверждением о противоположности между ними, призыв к полному растворению России в западном мире с мыслью о превосходстве исконно отечественной культуры над европейской, оценка многовековой истории русской мысли с точки зрения славянофильства или западничества с решительным отрицанием этих «старых идеологий». Потребности борьбы с революцией, пролетарской идеологией, демократией обусловили непоследовательность решения проблемы «Россия и Запад» буржуазной философско-социологической и исторической мыслью. Прозападная ориентация, естественная для буржуазного миропонимания, связанная с представлениями об отсталости русского экономического строя и архаичности политических институтов, сочеталась с антизападническими настроениями, обвинением Запада в экспорте революционных идей, отрицанием плодотворности взаимодействия западноевропейской и отечественной культур.

Вопрос об исторических судьбах России и стран Запада нередко становился составной частью одной из крупнейших в мировой философии и историографии проблемы «Запад — Восток». Являясь формально географическими, понятия «Восток» и «Запад» на деле служили обозначением определенных социально-исторических явлений с меняющимся содержанием, значением и отношением друг к другу. Колониальная политика европейских держав сопровождалась созданием европоцентристских схем всемирной истории, в которых народам Востока была уготована роль «неисторических», неспособных к прогрессу, развитию, а европейской цивилизации предназначалась высокая миссия проводника общечеловеческой культуры. «Европоцентризм» дал первую, внешне убедительную, а исторически несостоятельную оценку «Запада» и «Востока» как явлений решительно противоположных на всех уровнях культуры. С ним столкнулся, а в смысле антитезы «Запада» «Востоку» сомкнулся шедший за ним «востокоцентризм». Девиз «ex Oriente lux!» (с Востока свет!) означал, что единственным и неизменным источником мировой культуры может быть только Восток. Вопрос о взаимодействии «Запада» и «Востока» включал в себя как суммарную характеристику данных культурно-исторических комплексов, так и отдельных их компонентов (экономическое развитие, политический строй, религия, психология и т. п.), нередко отождествлялся с более определенными географическими понятиями «Азия» и «Европа». Из «Запада» и «Востока» могли искусственно выводиться целые государства и народы; в понятие «Запад» («Европа») не включались южные и западные славяне, малые страны. Но всегда эти категории выступали не как отвлеченные, умственные конструкции, но как отражение объективной исторической реальности.

Исследование проблемы «Запад и Восток» в русской общественной и исторической мысли было связано с попытками то определить общее, то абсолютизировать особенное в странах Запада и Востока, то преодолеть западноевропейский изоляционизм в историческом мышлении, то подкрепить антитезу «Запада» «Востоку» идеей противостояния России странам Западной Европы. Пограничное положение России вело к тому, что она становилась в центре борьбы европоцентристской, востокоцентристской и утверждавшейся всемирно-исторической точек зрения. Оно же позволяло либо относить к «Востоку» Россию и территории, расположенные восточнее нее, либо под «Западом» понимать все государства европейского континента, и, естественно, нашу страну, все

славянские народы. Сочетание в русском прошлом специфических черт, свойственных и «Западу» и «Востоку», порождало, если не идею об особом предназначении России, ее мессианской роли, то во всяком случае осознание грандиозности проблемы взаимосвязи русской истории с исторической действительностью стран Запада и Востока. Ее решение связывалось с возможностью беспристрастной оценки «Востока» и особенно «Запада» именно русскими. «...Оценить как следует европейские события можно лишь с того расстояния, на котором мы от них находимся. Мы стоим по отношению к Европе на исторической точке зрения или, если угодно, мы — публика, а там актеры, нам и принадлежит право судить пьесу»<sup>1</sup>, — писал П. Я. Чаадаев А. И. Тургеневу в 1835 г. Эта мысль была близка и А. И. Герцену: «Нет положения объективнее относительно западной истории, как положение русского»<sup>2</sup>.

Но в понятия «Восток» и «Запад» вкладывался и иной смысл. С точки зрения славянофилов, «Восток» — это «не Китай, не исламизм, не татары, а мир славяно-православный, нам единоплеменный и единоверный... В отличие от него Запад значит мир романо-германский или католико-протестантский»<sup>3</sup>. Точно так же считали и деятели официально-охранительного направления, например, М. П. Погодин. В его исторической схеме политическая подоплека антitezы России Западу нашла наиболее яркое выражение. Теория «завоевания», заимствованная у О. Тьери и Ф. Гизо, была механически соединена с норманской теорией. «Европу можно разделить исторически на две главные половины: западную и восточную. Первою возобладали племена немецкие, во второй остались словенские. Первая завоевана, вторая — занята. В первой — феодализм, во второй — уделы. Первая получила христианскую веру из Рима, вторая — из Константина. По разделении церквей первая осталась за папой, вторая — за патриархом. Государства западные основаны на развалинах Западной Римской империи, восточные составились из областей восточной и стран, прилежавших к ней»<sup>4</sup>. Мысль об «исключительности» русского пути развития дополнялась представлением о мессианской роли России и славянского мира в целом. «...Будущее,— писал М. П. Погодин в отчете о поездке за границу в 1839 г.,— принадлежит славянам... Есть в истории череда для народов, кои один за другими выходят стоять как будто на часы и служить свою службу человечеству; до сих пор одних славян свет не видел еще на этой славной чреде, следовательно, они должны вы-

ступить теперь на поприще, начать высшую работу для человечества и проявить благороднейшие его силы...»<sup>5</sup>.

Антитеза России Западу нередко была тождественна идее противоположности между славянским и романо-германскими мирами. Ее развитие и распространение было стимулировано немецкой идеалистической философией, учениями Шеллинга и Гегеля. Идея развития «мирового духа» в человечестве предполагала обнаружение его в самобытном «народном духе», глубоко скрытом в каждом народе. Наиболее полно «мировой дух», с точки зрения русских мыслителей, отстаивавших мысль о противоположности между Востоком и Западом Европы, выразился в русском народе, признанном лидере славянских народов, что и определяет его всемирно-историческое предназначение вообще и верного хранителя и продолжателя общеславянских традиций, в частности.

Противопоставление России Западу далеко не всегда имело охранительное, как у М. П. Погодина, содержание. Оно было следствием развития русского национального самосознания, крепнувшей идеи всеславянского единства и своего рода этапом в последующем утверждении принципа единства истории народов европейского континента и всего человечества. Выяснение «самобытных начал» стало предварительным условием применения «органического взгляда» на явления национальной истории. «...Один из величайших умственных успехов нашего времени,— писал В. Г. Белинский,— в том и состоит, что мы, наконец, поняли, что у России была своя история, несколько не похожая на историю ни одного европейского государства, и что ее должно изучать и о ней должно судить на основании ее же самой, а не на основании историй, ничего не имеющих с нею общего европейских народов»<sup>6</sup>.

В. Г. Белинский придерживался мнения о противоположности русской и западноевропейской истории, но оно совмещалось у него с убеждением о единстве всемирной истории, высокой оценкой достижений западной цивилизации, категорическим неприятием идеализированных представлений о прошлом России. Поляризация общественных группировок и направлений шла не по линии ответа на вопрос о соответствии русской истории западноевропейской, хотя в дореволюционной историографии все развитие русской общественной мысли, как правило, выводилось из разногласий между славянофильством и западничеством. Мнение о полном своеобразии русского исторического развития в первой трети XIX в. было господствующим. Его придерживались В. Г. Бе-

линский и А. И. Герцен, хотя самое смелое воображение, конечно же, не допустит их сближения с М. П. Погодиным, писавшим об «особливом мире» России и славянства в целом.

Исследователи давно обратили внимание на это примечательное «единство» во взглядах на Россию и Запад. «Глубокое различие между историческим развитием России и Запада для большинства русских историков — положение, не требующее доказательств», — такими словами начинал Н. П. Павлов-Сильванский свою книгу «Феодализм в древней Руси» (1907)<sup>7</sup>. «Похожа ли история России на историю Западной Европы? — задавался риторическим вопросом Г. В. Плеханов. — Начиная с 30-х годов прошлого века и, пожалуй, уже с конца 20-х, вопрос этот не переставал интересовать всех тех русских людей, которые не были совершенно беззаботны насчет судьб своего отечества. О нем очень много спорили и писали... Спорившие стороны, расходясь между собою в очень многом, почти во всем были, однако, согласны в том, что история России совершенно не похожа на историю Запада. На этот счет такой крайний западник, каким был В. Г. Белинский, вполне соглашался с таким крайним славянофилом, каким сделался И. В. Киреевский»<sup>8</sup>.

Но, сходясь во мнении о противоположности истории России и стран Запада, представители различных направлений и общественной и исторической мысли решительно расходились в определении перспектив русского будущего, необходимо включавшего оценку прошлого и современной действительности. Можно было сколько угодно толковать об уникальности отечественной истории, ее непохожести ни на какую другую, но как только былое в славянофильской интерпретации становилось идеалом для будущего, все вставало на свои места. Точно так же теряли всякое значение заверения в уважении к западноевропейской культуре, исходившие от защитников существующего порядка вещей, которые видели в его сохранении и укреплении единственное условие могущества России. Тезис о полном своеобразии России в прошлом противоречиво сочетался у западников с убеждением, что в дальнейшем страна должна развиваться по общевероятному образцу, хотя далеко не все в буржуазном Западе представлялось им идеальным и имело общечеловеческое значение.

У славянофилов же антитеза России Западу служила основанием для отрицательного заключения о европейской будущности страны. Их аргументация была по-своему более последовательной. Они отрицали самую возможность

движения России по западноевропейскому пути, вследствие решительного несходства их исторического прошлого. В то же время тезис о полном своеобразии русской истории, разделявшийся западничеством, ослаблял его позиции и входил в противоречие с бесспорным теоретическим достижением буржуазной историографии, заключающимся в признании всеобщности законов исторического развития. Так или иначе, но аптизма России Западу становилась сдерживающим фактором в распространении западнических, буржуазных представлений о будущем России. Необходимость ее преодоления становилась очевидной. Начало выполнения этой задачи и связано с деятельностью так называемой государственной школы в русской историографии. Работы государственников оказали огромное воздействие на судьбы отечественной историографии. Стремление к доказательству на конкретном материале русской истории идеи единства закономерностей исторического развития, внутренней обусловленности, органичности явлений прошлого выгодно отличали их работы от официально-охранных и славянофильских представлений, от всего предшествовавшего этапа развития дворянской буржуазной историографии.

История государственной школы открывается статьей К. Д. Кавелина (1818—1883) «Взгляд на юридический быт древней России», появившейся в первой книжке «Современника» за 1847 год, и, конечно же, работами С. М. Соловьева (1820—1879), статьей «О родовых отношениях между князьями древней Руси» (1846), магистерской (1845) и докторской (1847) диссертациями. Эти работы были оценены современниками, несмотря на различия во взглядах Кавелина и Соловьева на многие явления русской истории, как факт, знаменующий рождение «новой исторической школы» (Н. Г. Чернышевский), «натуральной школы» (Ю. Ф. Самарин), «нового взгляда» на русскую историю (М. П. Погодин). Кавелина и Соловьева считали родоначальниками «школы родового быта» (Д. А. Корсаков), «юридической школы» (П. Н. Милюков), наконец, «государственной школы» (Н. Л. Рубинштейн). Во второй половине 50-х годов, когда основные принципы государственной школы были уже сформулированы и подкреплены конкретно-историческими исследованиями, в том числе первыми томами фундаментальной «Истории России с древнейших времен» Соловьева и обширными рецензиями-статьями Кавелина, к ней присоединился Б. Н. Чичерин (1828—1904). Его магистерская диссертация «Областные учреждения Рос-

сии в XVII веке» (1856), цикл статей, объединенных позднее в «Опыты по истории русского права» (1858), развивали коренные положения школы, связанные прежде всего с фетишизацией государства в истории, и в то же время вносили значительные коррективы в «родовую теорию», периодизацию исторического процесса, характеристику истории, природы и роли сельской общины и т. п.

Кавелин, Соловьев и Чичерин проявляли неизменный интерес к славяноведческой проблематике. Больше всего в этом направлении сделал Соловьев. История зарубежных славян освещалась им в «Истории России с древнейших времен», статьях и монографиях «Начало Русской земли», «Исторические письма», «Восточный вопрос», лекционных курсах. Ниже остановимся на тех моментах решения государственниками проблемы «Россия и Запад», когда они или непосредственно включали в нее вопрос о славянском мире или подразумевали его, говоря о России как выразителе общеславянских интересов. В этой связи представляется существенным обратить внимание на неоднозначность суждений исследователей об идейных и научных влияниях на деятелей государственной школы в период оформления славянофильской и западнической идеологии.

Известно, что мировоззрение Кавелина складывалось под воздействием споров в московских литературных салонах А. А. и А. П. Елагиных и Д. Н. и Е. А. Свербеевых о путях исторического развития России, об отношении к «европейской цивилизации» и допетровской старине. Но салоны охотно посещали и противники славянофилов. Молодой Кавелин встречался в них с П. Я. Чаадаевым, А. И. Герценом, Т. Н. Грановским. Весной 1842 г. Кавелин уехал в Петербург и поступил на службу в министерство юстиции. Его письма к Д. А. Валуеву с 25 мая по 1 октября 1842 г. дали основания их публикатору полагать, что корреспондент был в этот период «всецело славянофилом»<sup>9</sup>.

Эти ранние образцы эпистолярного наследия Кавелина действительно свидетельствуют о его юношески пылкой увлеченности славянофильскими идеями. Он писал о пре-восходстве греко-восточной церкви перед западной, славянского православного мира перед немецко-католическим, отмечал «отсутствие противоположности в народе русском», признавал определяющими в отечественной истории «общинное и княжеское единовластительное начала». Настойчиво звучала тема противопоставления «заморского» Петербурга «православной» Москве. Особенную тревогу Кавелина вызывала возможность распространения в России

идей западноевропейских революций и атеистического мировоззрения. Некоторые высказывания несли отпечаток крайних славянофильских догматов националистического содержания, от которых откращивались сами вожди славянофильства. «Каждый день я убеждаюсь сильнее в истине, что судьба славянских народов и приверженность их к православию так тесно, неразрывно связаны между собою... величайшее назначение наше, условливающееся нашей историей и характером, есть очищение святой, вечной истины... от сору и гнили, которыми затемнили ее наши западные братья, менее нас одаренные богом и менее счастливые условиями исторического образования и развития»<sup>10</sup>.

Но вместе с тем в письмах Кавелина к Д. А. Валуеву явственно проявилась его внутренняя неуверенность в правильности избранного пути, душевное смятение, стремление сжечь все мосты и укрепиться в вере в исторической правоте славянофильского учения. Эта вера постоянно подвергалась испытанию. Он просил наставлять его в письмах «на истинный, московский путь», искренно бранить, если в его статьях обнаружится какое-либо отклонение от этого пути. Болезненно переживалось им отсутствие «наставника на путь истинный» — А. С. Хомякова<sup>11</sup>. В письмах Кавелина содержится беглое замечание о том, что до принятия стороны славянофилов он имел «старые, гнилые убеждения», которые затем сменились новыми. Очевидно, «гнилыми» убеждениями были идеи западнического толка, как представляется, стоявшими по времени первыми в ряду источников мировоззрения ученого.

Бросаясь из одной крайности в другую, Кавелин в начале 40-х годов еще не определил окончательно своего места среди спорящих сторон, разногласия между которыми к тому же в то время были не столь непримиримыми, как впоследствии.

Перелом в умонастроении наступил осенью 1842 г., когда Кавелин вновь сблизился с главой петербургских западников Белинским (в свое время Белинский готовил юного Кавелина к поступлению в университет). С этого времени западнические представления о будущем России глубоко пускают корни в мировоззрении Кавелина.

Славянофильским увлечениям отдал дань и Соловьев. Столкнувшись с низкопоклонством перед Западом части русского дворянства, «безобразной крайностью в образовании русской знати», он, по его словам, ударился «в крайность противоположную, в славянофилизм, или, лучше сказать, русофилизм»<sup>12</sup>. Характерно, что изучение русского

прошлого способствовало изживанию славянофильских иллюзий. «...В университете и за границею я был действительно жаркий славянофил и только пристальное занятие русскою историою спасло меня от славянофильства и ввело мой патриотизм в должные пределы»<sup>13</sup>. Умеренность общественно-политической позиции, которую историк декларировал в цитируемых «Записках», побуждали его отмежевываться как от «крайних западников», к которым он относил даже Кавелина, так и от славянофильской доктрины<sup>14</sup>. Тем более чуждыми ученому были «казенные» взгляды на русскую и всемирную историю. Он пренебрежительно писал, например, о лекциях С. П. Шевырева, содержавших «бесконечные фразы о гниении Запада, о превосходстве Востока, русского православного мира»<sup>15</sup>.

Б. Н. Чичерин избежал какого бы то ни было влияния идей славянофильства. Убежденный западник, он не особенно затруднял себя вопросом о направленности русского исторического процесса; преимущества западноевропейской культуры как воспреемницы греко-римского мира казались ему очевидными. Задача заключалась лишь в том, чтобы получить из рук Запада плоды европейской цивилизации.

Деятели государственной школы широко оперировали понятиями «Восток» (Азия) и «Запад» (Европа), раскрывая их содержание в социально-политическом и культурно-историческом смыслах. Россия и славянский мир включались в число европейских государств прежде всего вследствие одинакового с ними характера исторического развития. «Наша история представляет постепенное изменение форм, а не повторение их; следовательно, в ней было развитие, не так, как на Востоке, где с самого начала до сих пор повторяется одно и то же... В этом смысле мы народ европейский, способный к совершенствованию, к развитию, который не любит повторяться и бесчисленное число веков стоять на одной точке». В то же время в само понятие «Европа», которое Кавелин предпочитал понятию «Запад», Россия не включалась, как, впрочем, и славянский мир, так как большая часть его была лишена национальной независимости. Под «Европой» подразумевалась «семья романских и германских народов»<sup>16</sup>. На том же, что и Кавелин, основании противопоставлял Запад и Россию Востоку Чичерин. Восток ассоциировался с «полудикими народами Азии и Африки», якобы неспособными к историческому развитию<sup>17</sup>.

Более развернутой была в этом плане аргументация Соловьева. В соответствии с известным положением Гегеля

он делил народы на «исторические» и «неисторические». Однако в гегелевскую схему всемирной истории, которая произвела на него «сильное впечатление» еще в студенческие годы, была внесена существенная поправка; к «историческим» народам были отнесены славяне, проявившие очевидную способность к развитию, заимствованию передового опыта, преодолению замкнутости и обособленности. За пределы «исторических» народов Соловьев вывел Китай, Индию, Египет.<sup>18</sup>

В работе «Наблюдения над исторической жизнью народов» Соловьев развил тему извечной борьбы между Востоком и Западом, Европой и Азией. Россия и славянский мир в этой борьбе стоят на стороне Запада. Чем дальше друг от друга разведены Восток и Запад, Европа и Азия, тем больше оснований для включения России в семью европейских народов, тем существеннее аргументы против славяно-фильской антитезы России Западу. Но во имя ее развенчания была выдвинута антитеза Европы Азии. Правильная мысль о единстве исторического процесса и общих закономерностях исторического развития народов входила в противоречие с европоцентристской схемой.

В статье «Восточный вопрос», посвященной международным отношениям в конце XVIII—XIX в. в связи с паметившимся распадом Османской империи, Соловьев проводил широкие исторические параллели, стремясь доказать, что восточный вопрос как проявление антитезы Запада Востоку составляет едва ли не основное содержание истории человечества и ведет свое начало с греко-персидских войн. Исключительную роль в победе Европы над Азией сыграли две страны, находящиеся на окраине европейского континента — Испания на юго-западе, победившая арабов, и Россия — на северо-востоке. Пограничное положение Русского государства предопределило его борьбу с Азией во имя защиты европейских идеалов. Русь была «передовым отрядом европейско-христианских народов», принесшим себя в жертву на алтарь европейской цивилизации. Основными этапами борьбы Руси за европейские интересы были первая половина IX — 40-е годы XIII в., когда силы воюющих сторон были примерно равны, 40-е годы XIII в.— конец XIV в., знаменующий перевес Азии, наконец, период, начавшийся в конце XIV в., когда «пересиливает Европа в лице России»<sup>19</sup>. В конце XVI в. Русское государство подчиняет Азию Европе. Покорение Крыма в 1783 г. означало «окончательное очищение европейской почвы от азиатцев...»<sup>20</sup>.

Важнейшим доводом в пользу отнесения славянских народов к европейской цивилизации государственники считали христианство. По их мнению, именно христианская культура, мораль, этика роднят славян со всей остальной Европой и одновременно отделяют их от Востока. В христианстве рождены и сформулированы идеалы человеческой личности. «...Для всех народов нового, христианского мира — одна цель: безусловное признание достоинства человека, лица и всестороннее его развитие. Только все идут к ней разными путями, бесконечно разнообразными, как сама природа и исторические условия народов»<sup>21</sup>. Христианство являлось в глазах Соловьева главным источником нравственной силы европейских народов, определившим раз и навсегда их «духовный образ». Он настойчиво подчеркивал благодетельность принятия христианства на Руси и не случайно, а во имя доказательства внутреннего единства славянского и германского миров затушевывал вероисповедные различия в христианской религии, «вышней», по его убеждению, среди мировых религий. Принадлежность славянского и германского миров к «великому арийскому племени», «европейско-христианский образ» народов запада и востока Европы стояли в ряду главных аргументов в доказательстве общности исторических судеб России, всех славян и западноевропейских государств и антитезы Запада (Европы) Востоку (Азии), противостоящей антитезе России Западу, славянского православного мира романо-германскому, римско-католическому.

На этом основании «государственники» выступили в защиту плодотворности для русского будущего западного исторического опыта. Они сошлись в отрицательной характеристике культурного развития допетровской России и «бедного прошедшего славянского мира» вообще: «...С недавнего времени в нашей литературе начали раздаваться странные голоса... — писал Кавелин в рецензии на славяно-фильский сборник Д. А. Валуева. — С восторгом превозносится все славянское, особливо древнее, возвещая несуществующую славянскую науку, многие с большим или меньшим предубеждением отзываются обо всем европейском. Блестящая история Европы, ее великое настоящее, ее высокая цивилизация, ее наука, созданная веками, — для них как будто не существуют... Они произносят тяжкий приговор романо-германским народам и всеми возможными средствами хотели бы предохранить славянский мир от всякого прикосновения с Западом...»<sup>22</sup>. Восхищение Чичерина плодами европейской цивилизации соседствовало с отрицатель-

ной характеристикой русского настоящего как однообразного, убогого, погруженного в мрак невежества, что должно было подвести читателей его работ к необходимости усвоения «высшей» культуры.

Критический пересмотр концепции, противопоставляющей Россию странам Западной Европы, ориентация на западноевропейский опыт, апология буржуазного пути развития были невозможны без широкого применения сравнительно-исторического метода с целью доказательства, что пути развития «исторических» народов принципиально схожи между собою. Наименее последовательными в этом отношении были взгляды Кавелина, отразившие переходный этап в представлениях русской историографии о России и Западе. В знаменитой статье «Взгляд на юридический быт древней России» содержалось пространное заявление о полном своеобразии русской истории с точки зрения образования государственности, сословного устройства, взаимоотношений церкви и государства, общинного быта и т. п. Оно приводило в смущение исследователей. «В признании коренного различия между развитием русским и западным сошелся со славянофилами западник Кавелин»<sup>23</sup>, — писал Н. П. Павлов-Сильванский. Современный исследователь А. Н. Цамутали полагал, что Кавелин в данном случае высказал суждения, которые «расходились с западническими взглядами» и «на них лежит отпечаток славянофильских настроений»<sup>24</sup>. На деле же Кавелин привел расхожие примеры противопоставления (или сопоставления) явлений и фактов отечественной и западноевропейской истории, отрицая самую возможность их сравнительного изучения вплоть до конца XVII в. Именно славянофилы и охранительная историография с готовностью шли на самые широкие сравнения отечественных и западноевропейских явлений и событий, чтобы доказать во что бы то ни стало и без каких-либо оговорок их противопоставление, а значит, в конечном итоге, невозможность в России социальных катаклизмов, подобных тем, которые произошли в Европе.

К. Д. Кавелин, хотя и отличался умеренностью взглядов, тем не менее противостоял стремлению деятелей типа Погодина сделать историю «охранительницею и блюстительницею общественного спокойствия». «Глубокое и совершенное различие» между русской и западноевропейской историей, замечал он, не дает оснований забывать о том, что существует «человеческое единство всех племен и народов». Их начало бывает различным, сравнивать его с другим нередко бессмысленно, но цель (а, следовательно, и будущее,

каким бы оно ни было отдаленным) одна. «От одного конца земли до другого все народы стремятся к одному идеалу, только многоразличными путями... Стремление человека к полному, всестороннему нравственному и физическому развитию есть движущее начало истории, главная причина изменений, реформ и переворотов»<sup>25</sup>.

На первый план в объяснении смысла всеобщей (и отечественной) истории была поставлена проблема личности, а ее развитие как фактор, предопределяющий единство и закономерность всемирно-исторического процесса. Антигегезии России Западу распространялась лишь на период до конца XVII в., т. е. лишалась непосредственного социально-политического значения в отличие от ее поборников из официально-охранительного и славянофильского лагерей, становилась фактом прошлого, исследуемым сквозь призму развития личности в России и странах Западной Европы.

Если Кавелин отрицал значение сравнительно-исторического изучения прошлого России и Запада до конца XVII в., то Соловьев и Чичерин видели в сравнительном методе важное средство научного познания всемирной истории на всех ее этапах. «История,— подчеркивал Соловьев,— первоначально есть *наука народного самопознания*. Но самый лучший способ для народа познать себя — это познать другие народы и сравнить себя с ними; познать же другие народы можно только посредством познания их истории»<sup>26</sup>. Ученый писал о могуществе «средства сравнения, а, следовательно, и уяснения». Одним из очевидных следствий высокой оценки им сравнительного метода было выдвижение им известного положения об основных факторах общественного развития не только европейского континента, но и всего человеческого общества — «природы страны», «природы племени» и «хода внешних событий», которые он последовательно и взаимосвязанно исследовал, привлекая данные исторической науки, географии, этнографии. Блестящее развитие европейских народов он в значительной мере обусловливал благоприятными природно-климатическими условиями Европы, выгодно отличающей ее от других частей света. Но все это относилось только к Западной Европе, для ее народов «природа... была мать», а для «Восточной, для народов, которым суждено было здесь действовать,— мачеха»<sup>27</sup>.

Если Гегель полагал, что «всемирная история направляется с Востока на Запад, так как Европа есть безусловно конец всемирной истории, а Азия — ее начало»<sup>28</sup>, то Соловьев, развивая его мысль, приходил к заключению, что

на самом европейском континенте происходил обратный процесс, движение с запада на восток, содержанием которого являлось распространение европейской цивилизации сначала на южную и западную части континента, затем на среднюю и северо-западную и, наконец, на Восточную Европу. Русь, проводник европейского влияния, продвигалась с запада на восток вплоть до конца XVII в., а затем повернула с востока на запад.

Скрытая полемика с исторической концепцией Гегеля проявилась в высказываниях Соловьева о взаимоотношениях германского и славянского миров, поставленных с самого начала в неравные природно-географические условия. «...Греция и Рим передали свою деятельность новым, молодым народам, германцам на западе и славянам — на востоке...»<sup>29</sup>. Поделив между собой Европу, эти «племенабратья одного индоевропейского происхождения» двинулись в разные стороны: одни с северо-востока на юго-запад, другие — с юго-запада на северо-восток, «в девственные и обделенные природою пространства,— в этом противоположном движении лежит различие всей последующей истории обоих племен»<sup>30</sup>.

Особенности русского исторического развития объяснялись неблагоприятными природно-климатическими условиями. Пограничный характер Руси, «посредствующий между Европой и Азией», «обширность и редкость населения», необходимость борьбы «оседлости» с кочевниками, «леса со степью», «отсутствие моря» обусловили «задержку» России в историческом движении по сравнению с Западной Европой. При этом Соловьев подчеркнул неприемлемость термина «отставание» при сравнительной характеристике истории России и Запада. По его мнению, в ходе исторического развития народы проходят «период господства чувства и период господства мысли». В первый период решающую роль играют явления внутренней жизни народа, второй наступает, когда «народ встречается с другим народом, более развитым, образованным... между ними, естественно, образуется отношение учителя к ученику: закон, которого обойти нельзя»<sup>31</sup>. Переход народов Западной Европы из одного возраста в другой был совершен в XV—XVI вв., когда они усвоили плоды греко-римской цивилизации, а в России — в конце XVII — начале XVIII в.

Стремление Соловьева к широким сравнительно-историческим обобщениям далеко не всегда достаточно корректное, с точки зрения современной науки, в полной мере проявилось при описании и анализе отдельных сторон европей-

ского прошлого. Его исторические полотна, посвященные русской истории, почти всегда имеют более или менее выразительный второй план. Часто им становилась история других славянских народов. Период «господства чувства», в его глазах, по-видимому, был классическим именно в русском варианте. «Русское государство образовалось на девственной почве, на которой история, цивилизация другого народа не оставила никаких следов, никаких преданий, никаких учреждений не досталось в наследство юному обществу». В таком же положении находились вначале и другие славянские народы; однако они не избежали «чуждых влияний» и подчинились германскому миру, который, в свою очередь, действовал «с помощью римских начал, усвоенных им на основе империи». В конечном итоге «из всех славянских народов одному русскому суждено было самостоятельное существование в Европе»<sup>32</sup>.

Высказывания Б. Н. Чичерина не оставляют сомнений в том, какое место он отводил России и всему славянскому миру во всемирной истории. «Ход русской истории представляет весьма замечательную параллель с историей Запада... Это сродное, параллельное течение жизни, которое не повторяется ни у каких других народов древнего и нового мира, доказывает яснее дня, что Россия — страна европейская, которая не вырабатывает неведомых миру начал, а развивается, как и другие, под влиянием сил, владычествующих в новом человечестве»<sup>33</sup>, — такими словами начинается известная глава о земских соборах в России в книге «О народном представительстве», между двумя изданиями которой в 1866 и 1899 гг. прошли более трех десятилетий активной творческой и общественной деятельности Чичерина. Но и в предреформенные годы он отстаивал мнение о единстве истории стран и народов европейского континента, противопоставленное как официально-охранительной историографии, так и славянофильским представлениям. «Славянский мир и западный, при поверхностном различии явлений, представляют глубокое тождество основных начал своего быта»,<sup>34</sup> — писал Чичерин в середине 50-х годов в магистерской диссертации, расходясь в данном случае с Кавелиным, который находил «невозможным сравнение средневековой Европы с современной Россией».

Доказательство единства исторического развития России и стран Запада имело отчетливо выраженную цель: представить буржуазную Европу идеалом, к которому должна стремиться Россия. Если в западноевропейской историогра-

фии европоцентризм был оправданием и благословением политики колониальных захватов, то для русского буржуазного либерала он становился орудием для достижения экономического и политического господства буржуазии, утверждения основ буржуазного правопорядка. При этом решительно отвергалась идея «самобытных начал» русской истории, так как она, с одной стороны, ставила под сомнение перспективность дальнейшей европеизации страны, а с другой — нередко совмещалась с убедительной критикой «язв капитализма». Но в одном пункте Чичерин, как и все государственники, солидаризировался с официальной и славяно-фильской доктриналиями, именно в отрицании возможности революционных потрясений в России. Буржуазный либерализм в лице его яркого представителя, каким был Чичерин, в этом случае вновь апеллировал к истории. Как и при обосновании буржуазного пути русского развития, в фокусе его рассуждений оказывался вопрос о России и Западе, на этот раз рассматриваемый с точки зрения особенностей русского прошлого. По убеждению историка, особенное в русской истории обусловливает постепенное и мирное преобразование общественных отношений по образцу и подобию западноевропейских.

В конечном итоге приходится признать, что в лице деятелей государственной школы буржуазная историческая мысль встала на путь преодоления антитезы России Западу. Выступления государственников по проблемам соотношения хода истории на западе и востоке Европы выражали поступательное развитие отечественной исторической мысли и противостояли отживающим представлениям о феноменальности и уникальности русского прошлого.

Вместе с тем государственная школа поставила вопрос о допустимых границах использования нерасчлененного понятия «славянский мир». С. М. Соловьев и Б. Н. Чичерин неоднократно останавливались на таких чертах русского исторического развития, которые, по их убеждению, решительно отделяют Россию от остальных славянских народов. «Мысль русского человека, мысль славянина,— говорил Соловьев,— должна была остановиться прежде всего на том явлении, что из всех славянских народов народ русский один образовал государство, не только не утратившее своей самостоятельности, как другие, но громадное, могущественное, с решительным влиянием на исторические судьбы мира»<sup>35</sup>.

Б. Н. Чичерин, приняв, как известно, активное участие в полемике по проблемам русской сельской общины, реши-

тельно выступил против славянофилов и А. Гакстгаузена, увидевших в ее судьбах свидетельство «самобытного» пути исторического развития страны. Гакстгаузен считал русскую общину социальной опорой самодержавия, отождествлял ее с общинами западных славян, подчеркивал патриархальный характер общинного устройства в славянском мире вообще. Чичерин выдвинул положение, которое теоретически было более правильным,— универсальности данной формы социальной организации. Участвуя в историческом движении, она естественно меняла свой облик. Патриархальная или родовая община заключена в хронологические пределы существования «союза кровного». Ее участь была решена в «дружины период», когда она превратилась во владельческую по принадлежности вотчиннику или «поземельную», «тяглую», созданную вотчинной властью в целях тяглого обложения. «Прежняя родовая связь исчезла; община не была уже союзом лиц, соединенных естественным происхождением и общими патриархальными интересами; это был союз лиц, соединенных общими повинностями в пользу землевладельца»<sup>36</sup>. Период существования владельческой общины совпадает с «союзом гражданским». «Гражданский быт средних веков основан был на частном праве, на котором утверждалась и общинная жизнь того времени. Как частное право заключает в себе две формы — собственность и свободный договор, так и общины были одни владельческие, другие — договорные»<sup>37</sup>. С созданием государства в его целях и при его непосредственном участии общины получают государственное значение и подчиняются интересам фиска<sup>38</sup>. В дальнейшем сельская община в России развивалась под непосредственным контролем государства. Отсюда следовал вывод, направленный против одного из основных положений книги Гакстгаузена: сельская община в России «не похожа ни на общины некоторых западных славян, ни на другие патриархальные общины полудиких народов Азии и Африки... Учреждения наших общин суть произведения нового времени, и сравнивать их с патриархальными общинами других народов, значит — отрицать в нас историческое развитие...»<sup>39</sup>.

Если зерна истины трудно отыскать и отделить от плювей, то еще труднее вырастить богатый урожай. Система буржуазного исторического мировоззрения оказалась подвижной и легко приспосабливающейся к меняющимся общественным и политическим условиям действительности. Буржуазная наука, прияя к идее единства закономерностей общественного развития, нерасторжимости судеб человече-

ства, поставила ее на службу класса, интересы которого она выражала и защищала. Обосновывая буржуазный путь переустройства России, государственники одновременно проводили его коррекцию, суть которой заключалась в пропаганде мирных, конституционных преобразований «сверху», государственной властью, якобы единственной творческой силой русской истории. Положение о единстве России и Запада сопровождалось порой такими оговорками, которые придавали ему лишь теоретическое значение, лишали конкретно-исторического содержания. Во имя идеи государства как творца истории государственники были готовы противопоставить историю России прошлому других славянских народов.

- <sup>1</sup> Сочинения и письма П. Я. Чаадаева. М., 1914, т. I, с. 197—198.
- <sup>2</sup> Герцен А. И. Собр. соч. В 30-ти томах, т. 2, М., 1954, с. 114.
- <sup>3</sup> Валуев Д. А. Предисловие.— В кн.: Сборник исторических и статистических сведений о России и народах, ей единоверных и единоплеменных. М., 1845, т. I; Самарин Ю. Ф. Сочинения. М., т. I, 1877, с. 98.
- <sup>4</sup> Погодин М. П. Исторические афоризмы. М., 1836, с. 29—30.
- <sup>5</sup> ЦГИА СССР, ф. 1108, оп. 1, д. 328, л. 13.
- <sup>6</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1956, т. X, с. 18.
- <sup>7</sup> Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в древней Руси. Пг., 1924.
- <sup>8</sup> Плеханов Г. В. Сочинения. М.; Л., 1925, т. XX, с. 9.
- <sup>9</sup> Письма К. Д. Кавелина к Д. А. Валуеву.— Русский архив, 1900, № 4, с. 567.
- <sup>10</sup> Там же, с. 580.
- <sup>11</sup> Там же, с. 570, 584.
- <sup>12</sup> Соловьев С. М. Мои записки для детей моих и, если можно, для других. Пг., б. г., с. 36.
- <sup>13</sup> Там же, с. 86.
- <sup>14</sup> Преувеличивать расхождения между Соловьевым и Кавелиным в период складывания государственной школы нет оснований. Ни атеистические, ни, тем более, «коммунистические» убеждения Кавелина, о которых Соловьев писал («Мои записки...», с. 102), стремясь подчеркнуть свое особое положение в «западной» партии, не подкрепляются имеющимися в нашем распоряжении фактами, наоборот, противоречат им. Куда вернее замечание Соловьева, что в 40-е годы он и Кавелин «упивались развитием... сходных научных взглядов» (там же).
- <sup>15</sup> Соловьев С. М. Мои записки..., с. 47.
- <sup>16</sup> Кавелин К. Д. Собр. соч. СПб., б. г., т. I, стлб. 587.
- <sup>17</sup> Чичерин Б. Н. Опыты по истории русского права. М., 1858, с. 58; Он же. Областные учреждения в России в XVII веке. М., 1856, с. 21; Он же. О народном представительстве. М., 1899, с. 605, 609.
- <sup>18</sup> Соловьев С. М. Собр. соч. СПб., б. г., стлб. 854, 1135, 1142.
- <sup>19</sup> Соловьев С. М. Собр. соч., стлб. 838; Он же. История России с древнейших времен. М., 1962, т. 1, кн. I, с. 61.
- <sup>20</sup> Соловьев С. М. История России... М., 1962, т. 13, кн. VII, с. 8—9.
- <sup>21</sup> Кавелин К. Д. Собр. соч., т. I, стлб. 16.
- <sup>22</sup> Там же, стлб. 704.

- <sup>23</sup> Павлов-Сильвинский Н. П. Феодализм..., с. 10.
- <sup>24</sup> Цамутали А. Н. Борьба течений в русской историографии во второй половине XIX в. Л., 1977, с. 41.
- <sup>25</sup> Кавелин К. Д. Собр. соч., т. I, стлб. 220—221.
- <sup>26</sup> Соловьев С. М. Собр. соч., стлб. 1216—1217.
- <sup>27</sup> Соловьев С. М. История России..., т. 13, кн. VII, с. 8.
- <sup>28</sup> Гегель. Сочинения. М., 1935, т. 8, с. 98.
- <sup>29</sup> Соловьев С. М. Собр. соч., стлб. 793.
- <sup>30</sup> Соловьев С. М. История России..., т. 13, кн. VII, с. 9.
- <sup>31</sup> Соловьев С. М. Собр. соч., стлб. 978—979.
- <sup>32</sup> Соловьев С. М. История России..., т. 1, кн. I, с. 270—272.
- <sup>33</sup> Чичерин Б. Н. О народном представительстве, с. 524.
- <sup>34</sup> Чичерин Б. Н. Областные учреждения в России в XVII веке, с. 28.
- <sup>35</sup> Московские университетские известия 1866—1867, № 3, с. 179.
- <sup>36</sup> Чичерин Б. Н. Опыты по истории русского права, с. 24.
- <sup>37</sup> Чичерин Б. Н. Областные учреждения России в XVII веке, с. 570—571.
- <sup>38</sup> Маркс писал по поводу полемики между Б. Н. Чичериным и И. Д. Беляевым: «...Все аналогии говорят против Чичерина. Как могло случиться, что в России этот институт был введен просто как фискальная мера... естественным путем» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 32, с. 158).
- <sup>39</sup> Чичерин Б. Н. Опыты по истории русского права, с. 57—58.
- 

Е. П. АКСЕНОВА

ИСТОРИЯ НАРОДОВ АВСТРИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ 1848 г. В ОСВЕЩЕНИИ  
РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ  
ПОДЦЕНЗУРНОЙ ПЕРИОДИКИ  
50—60-х ГОДОВ XIX в.

Русская революционно-демократическая периодика в 50—60-х годах XIX в. уделяла немало внимания освещению истории и современного положения славянских и неславянских народов, подвластных Габсбургской монархии. На страницах передовых русских журналов и газет — «Современника», «Русского слова», «Искры», «Будильника», «Очерков», «Современного слова» и др.— в первую очередь находили отражение вопросы национального возрождения и национально-освободительной борьбы, революции 1848 г., социально-экономического и политического положения народов Австрийской империи. Однако революционно-демократическое направление в изучении истории угнетенных народов Австрийской империи еще недостаточно исследовано в историографии<sup>1</sup>. Данная статья ставит своей задачей

восполнить отчасти этот пробел и проанализировать позицию русской революционно-демократической печати по отношению к политическим событиям в Австрийской империи конца 40-х — середины 60-х годов.

В период подготовки и проведения реформ в России особенно актуально звучали материалы революционно-демократической периодики, посвященные оценке австрийских конституционных актов. Российские либералы, боявшиеся революции и призывающие к легальным методам борьбы в рамках законности, акцентировали внимание на «либеральной» деятельности австрийского правительства. Борьба с либеральными, конституционными иллюзиями, распространявшимися в России, за революционные, а не реформистские методы борьбы была одной из важных заслуг революционно-демократической периодики. В частности, она осуществлялась путем использования материалов, разоблачавших «либеральную» сущность австрийских конституций, а также нерешительные действия и соглашательскую позицию деятелей либеральных партий.

Революция 1848 г. в Австрии завершилась принятием австрийским правительством конституции 4 марта 1849 г. Прогрессивный историк и публицист С. Н. Палаузов писал десять лет спустя в «Русском слове», что она не оправдала надежд славян. Он называл конституцию явлением, «чуждым духу народностей Австрии», не отражающей их интересов, а представляющей лишь «общие места из конституционных учреждений других европейских держав» («Австрия со времени революции 1848 г.» — «Русское слово» — далее: РС, 1859, 11, 398—399). Но даже в таком виде конституция, как известно, не вступила в силу и была формально отменена 31 декабря 1851 г.<sup>2</sup>

С. Н. Палаузов подробно останавливается на административных реформах, проводимых австрийским правительством после подавления революции, которые свидетельствовали об усилении централизаторской политики Австрии (РС, 1859, 12, 498, 500—512). Опыт прошедшего с тех пор десятилетия дает автору возможность сделать вывод о непригодности для Австрии системы централизации, которая предполагает «единство народов и обычаев, единство духовных и материальных нужд народов». Усилия австрийской политики в этом направлении не достигли цели, и «далеко не видать еще времени,— писал Палаузов,— когда славянин, мадьяр, румын и итальянец станут сознательно называть себя австрийцами» (там же, 514). В статье «Венгрия в современных ее отношениях к Австрии» Палаузов

еще раз возвращается к вопросу о централизации на конкретном примере судьбы венгерского народа, к которому он относится с большой симпатией (РС, 1861, 2, 30). Автор подвергает критике централизаторскую политику Франца-Иосифа, которая предполагала «соединить все области в одну» Австрийскую империю. Определенные шаги к осуществлению этого замысла в отношении Венгрии автор видит в пунктах конституции 1849 г. (о разделе Венгрии), по которым (по его мнению) «Венгрия должна была слиться с остальной частию Австрийской империи, а не составлять отдельное королевство» (там же, 29). Однако усилия австрийского правительства, направленные на осуществление централизации и германизации, как показывает публицист «Русского слова», не заглушили национальных чувств венгров, и через десять лет после революции они так же готовы отстаивать свои права и угрожают императору «внутреннею войной» (там же, 33, 34).

Позиция «Русского слова» в этом вопросе перекликается с позицией «Современника». Отрицательно оценивая политику германизации и централизации, проводимую австрийским правительством, Н. Г. Чернышевский неоднократно указывал на готовность угнетенных народов оказать противодействие этой политике (чему способствовала и итalo-австрийская война). В период нового подъема освободительных движений народов Австрийской империи (1859 г.) в одном из политических обзоров он писал: «Нам нечего распространяться о глубоком, страшном негодовании на австрийские притеснения во всех славянских областях империи: они все ждут только первой возможности, чтобы своими восстаниями разрушить весь состав нынешней Австрийской империи и создать на ее месте нечто совершенно новое, непохожее на Австрию, которая Праге и Загребу столь же ненавистна, как Милану» («Современник» — далее: Совр., 1859, 7, 200). В другом обзоре Н. Г. Чернышевский приводит конкретный пример боевой готовности народов, населяющих Венгрию, борясь за свои права. 15 марта 1860 г. в годовщину революции была организована демонстрация с участием не только венгров, но и валахов, пемцев, словаков. Полиция с оружием в руках помешала демонстрации, пытаясь спровоцировать народ на восстание. По этому поводу Н. Г. Чернышевский писал: венское правительство напрасно думает, что залить кровью восстание в Пеште значило бы задушить национальное чувство по всей Венгрии (Совр., 1860, 4, 556).

С осени 1860 г. события в Венгрии становятся основной темой политических обзоров Чернышевского. Зачастую эти материалы носили откровенно агитационный характер, который, впрочем, не влиял на их правдивость и глубину анализа. Политические обзоры Чернышевского помогали лучше понять сложную борьбу в Венгрии в конце 50-х — начале 60-х годов<sup>3</sup>.

Возобновленный после приостановки издания «Современник» продолжал освещать на своих страницах национальный вопрос в Австрийской империи. Этому посвящены, в частности, три статьи А. Н. Пыпина под общим названием «Процессы о печати в Австрии». Они звучали очень актуально в период подготовки цензурной реформы, так как освещали события в Австрии, в которых легко было усмотреть прямую связь с положением дел в России. Автор останавливался на законе о печати от 27 мая 1852 г., уничтожившем превентивную цензуру (реформа 1865 г. в России также заменила предупредительную цензуру карательной). Разгул реакции после поражения революции 1848 г. сказался и на славянских органах печати. В связи с этим А. Н. Пыпин писал: «...славянские журналы были только официальные, и, конечно, лишены были всякого общественного интереса» (Собр., 1863, 1/2, 415). Газета «Современное слово» характеризовала закон о печати 1852 г. как не соответствующий конституции, весь смысл которого в том, «чтобы лишить Австрию свободы печати» («Современное слово» — далее: СС, 1862, № 17, 20 июня).

«Современник» неоднократно отмечал как централизаторские тенденции австрийского правительства, так и политику, направленную на разъединение народов, населяющих империю. А. Н. Пыпин приводит выдержку из чешской газеты «Народни листы», характеризующую эту политику: «Министерство выслушивает народы, здесь словаков, там сербов, здесь румынов, уничтожает Воеводину, хотя (а, может быть, именно потому?) сербы этого не желают, прибавляет к Венгрии Междумурье [Меджимурье.—Е. А.], хотя (или, пожалуй, именно потому?) его желают хорваты; провозглашает единство далматско-хорватско-славонского королевства и оставляет в нем два сейма, хорватский и далматский, которые враждуют между собой... Риека (Фиуме) до сих пор не принадлежит ни к Венгрии, ни к Хорватской земле, чехи вместе и не вместе с Моравой» и т. д. (Собр., 1863, 4, 597—598).

В связи с углублением кризиса, переживаемого империей в начале 60-х годов, и ростом национально-освободитель-

пого движения подвластных ей народов австрийские правящие круги попытались завуалировать проводимую ими политику проведением некоторых реформ. Первым шагом в этом направлении было учреждение так называемого «усиленного рейхсрата» (имперского совета), который «Искра» сравнивала «с мыльным пузырем». Журнал не скрывал своей уверенности, что вскоре «все-таки пузырь лопнет!» (Искра, 1860, 29, 309). Недовольство всех слоев населения этой мерой, вводившей ничтожное ограничение абсолютной власти, вынудило правительство принять «федералистскую конституцию» — Октябрьский диплом 1860 г., который вскоре был заменен Февральским патентом 1861 г.

Официальная пресса в России и органы печати консервативного, либерального и славянофильского направлений, касаясь законодательной деятельности австрийского правительства, высказывали некоторые критические замечания. «Московские ведомости» писали, что австрийское правительство «с непростительным высокомерием и ребяческим легкомыслием оскорбило и нисправергло все, что существовало в Венгрии», уничтожило «все древние национальные учреждения разных народов, подвластных скипетру Австрии...» («Московские ведомости» — далее: МВ, 1860, № 23, 29 янв.). «Библиотека для чтения» призывала Австрию сделать уступки Венгрии. Однако характерно, что журнал обратил внимание на основное программное требование венгерского дворянства и буржуазии — восстановление конституции 1848 г. (Библиотека для чтения — далее: БДЧ, 1860, 8, 23), но не отметил существование крайне левых сил в стране и революционной венгерской эмиграции, выдвигавших лозунги борьбы за национальную независимость.

Русская революционно-демократическая периодика, не отрицая прогрессивности реформ, способствующих уничтожению остатков феодального строя, всемерно поддерживая стремления народов к достижению возможно более широких прав и свобод, в то же время прежде всего акцентировала внимание читателей на недостаточности, узости и ограниченности преобразований, проводимых сверху, на продажности либералов. Анализ австрийских конституционных актов давал возможность революционным демократам на страницах своих журналов и газет показать классовую сущность реформизма и обосновать необходимость революционной борьбы народов Австрийской империи и народов России за социальное и национальное освобождение.

«Современник», характеризуя Октябрьский диплом 1860 г., замечал, что еще в период его подготовки Венгрия

стремилась добиться от правительства как можно больших национальных и политических свобод. Боясь нового революционного взрыва, власти выработали такой проект, по которому, как отмечает в политическом обзоре Н. Г. Чернышевский, «только Венгрии делается действительная уступка восстановлением сейма с прежними правами и восстановлением венгерского языка в правительственном значении», в то время как в других областях империи по проекту конституции положение ухудшалось тем, что «к борократическим учреждениям присоединяются феодальные» (Собр., 1860, 10, 446)<sup>4</sup>.

В журнале «Русское слово» было обращено внимание на отношение к Октябрьскому диплому в Венгрии. Жак Лефрепь (М. Э. Реклю) в цикле внешнеполитических обзоров («Письма из Парижа»), публиковавшихся в журнале в конце 1860 — начале 1861 г., показал, что венгры, получившие по названному диплому наибольшие преимущества, отнеслись к этому законодательному акту «не только без всякого сочувствия, но с общим равнодушием» (РС, 1860, 12, 7), они не верят в либерально-конституционные обещания императора, которые он дает под давлением общественного недовольства; они «подумывают о действительных правах и возвращении их...» (РС, 1860, 11, 7; 1861, 1, 19), имея в виду права и свободы, завоеванные венгерским народом в период революции 1848 г., а также исконное право на независимое существование. Газета «Современное слово» также утверждает, что «примирение Австрии с Венгрией может последовать только на основаниях законов 1848 года» (СС, 1862, № 37, 13 июля).

Совсем иную оценку положениям Октябрьского диплома давал либеральный журнал «Библиотека для чтения», усиленно подчеркивая «либерализм» этого законодательного акта. «Нельзя не заметить, — говорилось в журнале, — что многие из них [положений Октябрьского диплома. — Е. А.] проникнуты либеральным направлением; в особенности все, что касается Венгрии, дышит уступчивостью», которой, однако, «Венгрия не вполне довольна и не доверяет искреннему расположению правительства к либерализму» (БДЧ, 1860, 11, 17—18).

Газета «Московские ведомости», отмечая недовольство народов Австрийской империи Октябрьским дипломом, пыталась объяснить это непониманием законодательного акта, затушевывая при этом классовые противоречия. Так, крестьянские волнения, по мнению газеты, происходят оттого, что крестьянам не объяснили как следует новых законов,

и они «уже почитают себя свободными от учреждений, которые кажутся им самим ненавистными...» (МВ, 1861, № 5, 6 янв.).

Журнал «Отечественные записки» приветствовал вступление Австрии в разряд конституционных государств и оценивал Октябрьский диплом как «доброе дело», от которого можно ждать «самых благоприятных плодов». Действия венгров, не признавших диплом и отказавшихся послать своих депутатов в рейхсрят, журнал не одобряет, считая, что нужно пользоваться «дарованным» правом и с помощью «законных средств» предъявлять свои требования, чтобы избежать «новых несчастий», т. е. новой революции («Отечественные записки — далее: ОЗ, 1860, 11, 27, 32, 34). Впоследствии «Отечественные записки» вынуждены были констатировать, что попытка «либерального компромисса между государственными интересами Австрийской империи и стремлениями ее народов» не удалась. Основную причину неудачи журнал видит не в экономических, социальных, национальных, политических противоречиях в стране, а «в том обстоятельстве, что все благие начинания австрийского правительства являются не вовремя» (ОЗ, 1861, 1, 21, 29).

В противоположность либеральным органам печати «Современник» обращал внимание читателей на показной характер либерализма австрийских законодательных актов. Н. Г. Чернышевский с полным основанием предполагал, что «либерализм ограничится одним заглавием обещанных патентов, а содержание их будет реакционно, так что под именем дарования конституционных прав будет предложено народам Австрийской империи восстановление каких-нибудь феодальных учреждений, соединенное с уменьшением даже тех прав, которыми пользовались австрийские подданные ныне» (Собр., 1860, 2, 322).

Характеризуя новую австрийскую конституцию, «Современник» как бы между прочим замечает: «Теперь в Венгрии, Трансильвании и проч. находится 80 000 человек войска; такая сила может охранить спокойствие...» (Собр., 1861, 3, 180). Н. Г. Чернышевский показал, что опасения венского правительства относительно возможности революционного взрыва были вполне реальны, так как, по его словам, венгры считали, что «новыми документами начинается второй период реакции против Венгрии» и что «подобные реформы просто комедия, насмешка» (там же; 1859, 10, 453). А «Искра» в начале марта 1861 г. заявляла, что «в Венгрии готовится восстание...» («Искра», 1861, 9, 132). И в дальнейшем целый ряд сатирических публикаций и карикатур «Искры»

был посвящен политике австрийского правительства в отношении угнетенных народов, методам борьбы с национально-освободительным движением (Искра, 1863, 12, 166; 29, 391; 34, 454 и др.). Так, одна из карикатур 1862 г. изображала тележку с порохом. Под рисунком была надпись: «Порошок для истребления духа национальности» (Искра, 1862, 34, 445). Тема другой карикатуры — содержание армии для подавления все возрастающего недовольства в различных частях империи. На рисунке в виде детей представлены Венгрия и Венеция, за ними стоят солдаты с винтовками и штыками, а Австрия жалуется Европе: «...уж одно содержание этих молодцов для моих шалунов чего мне стоит...» (Искра, 1862, 47, 642). (Заметим, что еще в 1858 г. Н. Н. Обручев в статье «О вооруженной силе и ее устройстве», помещенной на страницах «Военного сборника», редактируемого в то время Чернышевским, отмечал: «В Австрии земли венгерские, польские и итальянские берут более войск, чем немецкие и славянские» (См.: Военный сборник, 1858, 1, 22, 23). Намек на действия австрийского правительства с позиции силы по отношению к подвластным народам содержится и в карикатуре «Гудка» (Гудок, 1862, 13, 100).

Газета «Современное слово» в «Политических обозрениях» характеризовала «унитарную политику государственного министра Шмерлинга» как не отвечающую интересам большинства населения империи, особенно угнетенных народов. По словам газеты, эту политику «поддерживают в Австрии только семь миллионов немцев, а протестуют против нее двадцать шесть миллионов жителей, принадлежащих к прочим национальностям». Газета осуждает централизаторские стремления правительства, готового «осуществить насильственное единство» различных народов в рамках Габсбургской монархии, что на деле приводит лишь к усилению движений, направленных на завоевание национальной независимости (СС, 1862, № 42, 19 июля). Кроме того, «Современное слово» обращает внимание на продолжение Австрией и после принятия конституции политики натравливания одной нации на другую и разжигания национальной розни. В одном из «Политических обозрений» газеты говорится о намерении правительства вбить клин между Венгрией и Трансильванией (путем созыва отдельного трансильванского государственного собрания) (СС, 1862, № 18, 21 июня). В другом номере высказывается мысль о том, что отделением от Венгрии земель, населенных другими народами, австрийское правительство стремится ослабить сопротивление Венгрии, а на самом деле «раздробляет Габсбургскую монархию» (СС, 1862, № 42,

19 июля), так как каждый народ будет стремиться к своей национальной самостоятельности. Та же газета, подчеркивая, что венгры не признают февральскую конституцию, высказывала мнение о том, что венгерская автономия, «обеспеченная» Октябрьским дипломом и Февральским патентом, «будет ни более ни менее, как только великолепная иллюзия» (СС, 1862, № 24, 28 июня).

Демократическая периодика убедительно показала, что новая избирательная система в Австрии преследовала политику национального неравенства, во всех избирательных округах давая «перевес германскому элементу над всеми прочими славянскими округами...» (СС, 1862, № 166, 22 дек.). Так, в «Современнике» Н. Г. Чернышевский отмечал незначительное число чешских депутатов в рейхсрате (Собр., 1861, 4, 496). На это обстоятельство обращает внимание и газета «Очерки», указывая, что немецкие города с населением до 1 тыс. жителей могут посыпать в чешский сейм одного представителя, в то время как чешские города имеют право на одного представителя от 12 тыс. человек (Очерки, 1863, № 38, 8 февр.).

На решение конституцией 1861 г. национального вопроса в Австрийской империи обращали внимание и периодические издания других направлений, но оценивалось оно по-иному. Так, «Библиотека для чтения» отмечала вынужденный характер реформ и конституции, обусловленный ростом национально-освободительного движения. Журнал подчеркивал, как и в отношении Октябрьского диплома, либеральный характер Февральского патента, направленного против «революционных стремлений» Венгрии, весьма «вредных», по мнению редакции, «для единства и для спокойствия Габсбургской монархии». В то же время журнал останавливался и на некоторых нарушениях буржуазных прав и свобод (БДЧ, 1861, 3, 24, 26, 31). Ряд критических замечаний, касающихся конституции, был сделан и журналом «Отечественные записки», который, в частности, показал, что законы исходят не из интересов подвластных народов. Однако, по мнению этого журнала, недостатки нового законодательного акта легко исправить. В целом «Отечественные записки» оценивают конституцию как «благодеяние для австрийских народов» и как «смелую и решительную попытку австрийского правительства в борьбе с внутренними опасностями и затруднениями, постоянно растущими и усиливающимися». Журнал возлагает особые надежды в разрешении национального вопроса в Австрийской империи на созданные «в духе времени» «либеральные учреждения», однако не закрывает

глаза на то, что, прикрывшись либеральными принципами, австрийское правительство продолжает проводить политику централизации и угнетения национальностей (03, 1861, 3, 32—33, 35—38, 41).

Коренное отличие революционно-демократической периодики состояло в определении ею классового характера проводимых реформ. Газета «Современное слово» открыто заявляла, что новая избирательная система была составлена в интересах крупных земельных собственников (СС, 1862, № 166, 22 дек.).

Немало материалов «Русского слова» посвящено австрийской конституции, принятой в феврале 1861 г. Об этом писали в политических обзорах Жак Лефрень и Г. Е. Благосветлов. Лейтмотивом в их заметках звучит критика конституции и конституционных надежд. Один из «Обзоров современных событий» Благосветлова начинается рассуждением об «идее прогресса», которая включает в себя и отрицание и созидание и «проводится в общественную жизнь не иначе, как среди постоянной борьбы новых начал с старыми верованиями и преданиями...». Однако идея прогресса, говорит автор, не всеми признается. Так, Австрия вела борьбу с прогрессивным движением входящих в нее наций и сама стала центром революции (РС, 1861, 5, 4, 5, 13, 14).

Говоря о конституции 1861 г., публицисты «Русского слова» прежде всего подчеркивают ее неудовлетворительность, непригодность для Венгрии, которая требует «парламентского самоуправления» от Австрии (там же, 14), хотя и согласна «в силу акта соединения» сохранить «территориальное и политическое единство мадьярской земли с империей» (РС, 1861, 8, 7). Даже по прошествии нескольких лет правительству Австрии, «программою которого была германизация Венгрии», не удалось добиться от нее признания конституции. Венгрия, писал в 1865 г. Ж. Лефрень, «обнаруживает очень мало желания подчиниться февральскому статуту» (РС, 1865, 6, 17).

Характеризуя прежние конституционные основы и представительную систему правления в Венгрии как более прогрессивную по сравнению с бюрократической системой в Австрии, Г. Е. Благосветлов все же указывал на недостатки венгерского законодательства, дающего преимущества в управлении олигархической верхушке, притесняющей «de facto... тот же народ, который de jure имел равное с нею участие в самоуправлении» (РС, 1861, 7, 19). С позиций революционного демократизма он ставит вопрос о том, что в конституционной пакции «демократия возможна только при

совершенном экономическом равенстве ее членов» (там же), таким образом выдвигая на первый план проблему коренных социально-политических изменений.

Социальный аспект борьбы Венгрии за свои права нашел отражение и в политических обозрениях Ж. Лефрена. Он показал, как по-разному отнеслись к Октябрьскому диплому и Февральскому патенту представители различных классов венгерского общества. Венгерские магнаты, представители аристократических фамилий, были вполне удовлетворены австрийской конституционной программой, «но она показалась недостаточною» буржуазии, для которой «роль умеренной конституционной оппозиции везде и всегда была... последним идеалом». Развенчивая либеральный реформизм буржуазных деятелей, автор противопоставляет ему позицию массы народа, которая «отвечала единодушным отказом принять» конституционные акты, хотя, как с сожалением отмечает Ж. Лефрен, венгерский народ, измученный засухой и голодом, разоренный непосильными налогами, представляет собой в основном пассивную и безгласную силу (РС, 1865, 7, 80, 82, 83).

Политику Австрии по отношению к Венгрии после 1861 г. «Русское слово» характеризует как двуличную: «Одну она открыто признает — и это политика конституционная и миролюбивая; другую она скрывает — и это политика деспотическая и военная» (РС, 1862, 3, 27). Ж. Лефрен, говоря о введении военных судов в Венгрии, о роспуске собраний, о налогах, собираемых с помощью военной силы, с горькой иронией замечает, что все эти меры направлены на то, чтобы «устранить препятствия, мешающие развитию тех великих принципов благонамеренной свободы, которые управляют возобновленною Австриею...» (РС, 1861, 11, 18).

Газета «Современное слово» в одном из «Политических обозрений» назвала действия правительства Шмерлинга, принявшего конституцию 1861 г., «псевдолиберальной политикой», в результате которой, например, оппозиционная «пресса в Богемии, Венгрии, Галиции, Кроации и даже в Нижней Австрии, уничтожается самыми крутыми мерами. Политических обществ в Австрии не существует... Местные сеймы, за исключением двух, были созваны только раз, собственно для производства выбора в рейхсрят, и потом тотчас были закрыты. Оба сейма, созданные для политических совещаний — венгерский и кroatский — распущены правительством, которое не хотело уважить их требований» (СС, 1862, № 3, 3 июня). О реальном отсутствии конституционных свобод говорится в сообщении газеты: деятельность «военных

судов, обязанность коих состоит в должном направлении политических идей Венгрии, расширяется с каждым днем» (СС, 1862, № 109, 14 окт.).

Газета «Очерки» также писала о непризнании Венгрией конституции 1861 г. и требовании «восстановления той конституции, какую она сама составила для себя в 1848 г.», т. е. законы, установленные революцией. В газете верно отмечалось, что австрийское правительство отказывается от удовлетворения требований Венгрии из опасения «дурного примера для других провинций», которые могут начать более решительно добиваться от династии Габсбургов своих национальных прав и свобод (Очерки, 1863, № 22, 23 янв.).

Та же газета останавливалась внимание читателей на отсутствии реальных конституционных свобод в Австрийской империи, в частности свободы слова. По мнению газеты, австрийское правительство видит действенный способ «к усмирению пробудившихся народностей... в подавлении периодической литературы», в конфискации газет, арестах редакторов и т. д. (Очерки, 1863, № 24, 25 янв.). В «Очерках» (статья «Письма о чехах»)<sup>5</sup> не только констатировалось отсутствие отдельных свобод буржуазного общества, но открыто высмеивался весь конституционный строй австрийского государства «с апостольским величеством» во главе; «с народными собраниями, в которых председательствует полновластный президент, назначаемый императором; с конституциею без суда присяжных и без ответственности министров» (Очерки, 1863, № 41, 12 февр.).

Через несколько лет после принятия конституции 1861 г. революционно-демократическая периодика вновь возвращается к анализу результатов, достигнутых в общественно-политической жизни народами империи в результате введения Февральского патента. В обзорах внешней политики «Современника» Э. К. Ватсон в 1863 г. метко определяет политику австрийского правительства за последние годы: «Уверить Европу и своих собственных подданных в том, что она вступила на новый, благотворный путь реформ, и в то же время вести у себя все на старый лад,— вот как можно в двух словах характеризовать историю Австрии за последние два года» (Совр., 1863, 6, 355). Ватсон приводит сведения о трех политических партиях в Венгрии, каждая из которых считала себя либеральной и имела свою программу: одна выдвинула лозунг равноправия венгров с другими национальностями, другая выступала за централизацию и подчинение всех народов немцам, третья — занимала промежуточную позицию, не желая ни равноправия венгров с румынами и слав-

внами, ни подчинения немецкому влиянию (там же, 358—359). Он отрицательно относится к надеждам либералов на решение национального вопроса в империи конституционным путем, показывая, что отношения «Венгрии к центральному правительству оставались очень натянутыми» и через несколько лет после принятия конституции, так как «вся хваленая либерально-конституционная система есть не что иное, как комедия» (Собр., 1865, 7, 131). Хотя в обзорах Ватсона нет той четкости революционной позиции, которая присутствует в обзорах Чернышевского, но сам материал, приведенный Ватсоном, свидетельствует о том, что австрийское правительство, вынужденное пойти на некоторые реформы, ставшие шагом на пути к Соглашению 1867 г., старалось проводить их прежде всего в интересах господствующих классов, чему способствовала и нерешительность позиции либералов, готовых в любую минуту пойти на компромисс с властью (там же, 145—146, 148).

Законодательных мероприятий и последствий конституционной политики австрийского правительства касалась и статья Э. К. Ватсона в № 5 «Современника» за 1866 г., который не дошел до читателей, так как был запрещен цензурой<sup>6</sup>. Эта публикация должна была открыть серию статей под общим названием «Австрия после 1859 года». В первой статье автор обращает внимание на глубокий кризис, который переживала Габсбургская монархия на рубеже 50—60-х годов. Он пишет, что события 1859 г. доказали австрийскому правительству пагубность той системы, которая «лишила Австрию всякой внутренней силы и привела ее на край погибели» (Собр., 1866, 5, 1). Ватсон отмечает наличие двух тенденций в Австрийской империи в отношении политического устройства: к централизму и федерализму. Правительство Австрии, пишет он, «стремится к созданию единства, а предания и желания народов направлены главным образом к ослаблению государственных уз» (там же, 3).

Разбирая положения Октябрьского диплома 1860 г., Ватсон замечает, в частности, что «чехи, поляки, кроаты, словаки и т. д. были довольны» этим законодательным актом, «по крайней мере насколько можно судить по журналистике их и по речам, произносившимся на сеймах». Такое положение он объясняет неясным представлением, в чем заключается «восстановление национальной своей самостоятельности», к которой так стремятся эти народы. В связи с этим рассуждением Ватсон ставит, продолжая традиции Чернышевского, очень важную проблему о социальной основе решения национального вопроса. Немногие лидеры освободительного

движения, пишет он, понимают, «что национальная политика должна в то же время быть политикою народною, и что стремление к восстановлению национальной самостоятельности есть просто погоня за призраками, если при этом не имеются в виду действительные народные интересы». В отличие от Чернышевского, всегда видевшего в народе основную силу революционных и национально-освободительных движений, Ватсон не высказывает столь определенных суждений, считая, что народные массы, подвергающиеся всяческому угнетению, вряд ли имеют представление «о важной роли и об истинном значении национальной самостоятельности» (там же, 8). Он подчеркивал, что Октябрьский диплом устраивал аристократию и крупную буржуазию славянских земель, в то время как Венгрию жалкие уступки не могли удовлетворить, и все венгерские сословия, хотя и по разным причинам, были недовольны дипломом (там же, 9—10).

Февральский патент 1861 г. и политику правительства Шмерлинга, который «считался либералом», Ватсон рассматривал как шаг на пути к немецкому централизму. Он справедливо отмечал, что либеральные реформы (свобода вероисповеданий, печати и др.) остались только на бумаге. В подтверждение своих слов Ватсон приводит следующее наблюдение: «Печатное слово объявлено было свободным (а между тем в течение первых же двух лет после издания нового закона о печати почти все редакторы независимых газет перебывали в тюрьме, и процессы по делам печати происходили чуть ли не каждый день)» (там же, 12, 13).

Ватсон обратил внимание также на причины недовольства славян, румын и венгров национальной политикой австрийского правительства, что привело к отставке кабинета Шмерлинга и фактическому уничтожению февральской конституции (там же, 15—17, 19—21).

Ватсон не разделяет надежд славянских народов империи на «возрождение любезной им системы федерализма» (в связи с обнародованием сентябрьского манифеста 1865 г., означавшего конец февральной конституции). Он отмечает, что либеральная печать Венгрии выступает за конституционные учреждения для всей империи, пытаясь доказать, что «венгры вовсе не желают привилегированного места перед остальными народами». Однако, видя дальнейшие меры по сближению Австрии и Венгрии, Ватсон считает, что либеральная венгерская пресса своими заявлениями стремится лишь «успокоить» остальные части монархии (там же, 21, 23, 24).

Следует отметить, что с изменением общественно-политической обстановки в Австрийской империи к 1866 г. по

сравнению с рубежом 50—60-х годов, по-иному стал рассматриваться вопрос о возможностях совместной борьбы венгерского, румынского и славянских народов за свою национальную независимость. Габсбургская политика разжигания национальной розни в значительной степени способствовала тому, что в преддверии заключения Соглашения 1867 г. можно было говорить, по мнению Ватсона, о «несовместности требований и желаний различных народностей, из которых составлена австрийская монархия» (там же, 27).

«Либеральные» конституционные акты Габсбургской монархии, отношение к ним либеральных кругов в Австрийской и Российской империях требовали разоблачения революционной демократией конституционных иллюзий и либерально-реформистских методов борьбы. Рассматривая материалы революционно-демократической периодики конца 50-х — начала 60-х годов, когда в связи с революционной ситуацией в России особенно остро стоял вопрос о методах борьбы за коренные преобразования в экономике и политике, следует отметить особое внимание передовых русских органов печати к проблеме соотношения *реформы* и *революции*, которая нашла отражение и в материалах о национально-освободительных движениях подвластных народов Австрийской империи.

В политических обозрениях и других материалах «Современника» не раз показывалась необоснованность надежд, возлагаемых либералами на реформы, на конституцию монархического многонационального государства, существующую только на бумаге и не дающую реального национального освобождения, политических прав и свобод угнетенным народам; журнал писал также о страхе либералов перед революционными настроениями народных масс. Н. Г. Чернышевский четко показал, что представители либеральных течений, которые стояли во главе освободительных движений, предъявляли слишком умеренные требования и не связывали освобождение угнетенных народов со свержением Габсбургской династии, т. е. уничтожением феодально-крепостнической и военно-бюрократической системы в стране. «Чего хотят чехи? Быть отдельным королевством, находящимся в федеративном отношении к другим австрийским областям, имея только то общее с ними, что король чешский в то же время будет королем венгерским, эрцгерцогом австрийским, королем далматским и прочее. Того же хочет и Венгрия». Но венгры и славяне должны понять, что правительство не согласится на федеративное и конституционное устройство, удовлетворяющее всех, и, следовательно, добиться этого

можно, как считает Чернышевский, только изменив отношение к династии, т. е. революционным путем (Собр., 1859, 12, 353—354).

Н. Г. Чернышевский неоднократно подчеркивал также, что нации неоднородны, и при решении национальных вопросов необходимо учитывать классовые интересы, которые проявляются в позиции тех или иных партий и группировок внутри нации. Так, умеренно-либеральная партия Венгрии, как показал Чернышевский в одном из политических обзоров, сдерживая национальное движение, «чрезвычайно желает сохранить соединение Венгрии с Австриею» (Собр., 1861, 2, 427), а чешские депутаты-либералы в 1848 г., писал он в статье «Предисловие к нынешним австрийским делам», «в решительную минуту спасли австрийское правительство на венском сейме» (Собр., 1861, 2, 588), выражив ему свои верноподданныческие чувства.

Касаясь в «Современнике» положения периодических изданий в славянских провинциях Австрийской империи, и в частности либеральных органов печати, отражавших позиции либеральных партий, А. Н. Пыпин отмечал, что главным вопросом с 1861 г. был вопрос о федерации и гражданской свободе. Печать прежде всего выражала национальные интересы каждого народа: «Для южных славян шло дело о распределении национальных территорий, у русинов — об отношениях с поляками, у чехов — с немцами...». Вместе с тем Пыпин подчеркивал различие социальных основ при подходе к решению национального вопроса представителями разных направлений общественно-политической мысли. Так, «для всех более развитых людей общества», т. е. демократических кругов, пишет Пыпин, «шел в особенности вопрос о внутреннем положении общества, о действительности обещанной гражданской свободы, о последовательном проведении конституции и т. д.» Наряду с этим он критикует чешскую либеральную журналистику, которая «довольствуется ближайшими вопросами», не ставит более обширных задач, выходящих за узконациональные рамки, не доискивается до корней социальных процессов. В такой журналистике, как верно заключает автор, трудно найти «какие-нибудь наклонности к ниспровержению законного порядка» (Собр., 1863, 1/2, 416, 420). Бросая упрек либеральным органам, одобряющим конституцию, Пыпин справедливо замечает, что славянские и другие народы Австрии «останутся в том же положении», «как бы ни были назначены официальные границы земель, как бы ни была даже расширена национальная равноправность», если «политическая литература» и

общественные деятели не оставят конституционных иллюзий и не будут «искать более широких основ для устройства народов», для решения «вопроса о национальной свободе и гражданской свободе» (Собр., 1863, 4, 624—625). Из этого следует, что наряду с национальным освобождением Пыпин ставит вопрос о более важном, социальном переустройстве общества.

Данную Пыпиным в «Современнике» характеристику либеральной журналистики в Австрии подтверждает и газета «Современное слово», которая в 1863 г. писала, что газета чешских либералов «Народни листы» утратила «значительную часть твердости и ясности взглядов», перепевает «старые мотивы» и опасается народных «беспорядков» (СС, 1863, прибавление к № 66, 18 апр.).

«Русское слово» занимало аналогичную позицию в оценке политики либерализма. В 1865 г., оглядываясь назад, Ж. Лефрень с сожалением замечал, что Венгрия упустила момент, «чтобы нанести решительный удар Австрии», а венгерские либерально-буржуазные деятели, вроде Ф. Деака, уже готовы были «смастерить сближение между обоими врагами» (РС, 1865, 4, 20). И хотя он пока еще выражает сомнение по поводу возможности соглашения между Австрией и Венгрией, по объективно показывает те условия, которые могут способствовать этому сближению. Австрия готова «восстановить дуализм в монархии», но ей хочется «сохранить в то же время унитарную централизацию». Австрия опасается войны с Пруссиею, поэтому, как верно замечает обозреватель, ей необходимо было «примириться с Венгриею» (РС, 1865, 7, 84, 81). Венгрия со своей стороны, с упреком отмечает Лефрень, никак не хочет отказаться от притязаний на господство над населяющими ее невенгерскими народами. Автор обозрения высказывает твердое убеждение, что либерально-буржуазные «патриоты, как Деак, не разрешат этой задачи...». Вообще, считает Лефрень, «примирение между племенами мадьярским и немадьярским» или «разделение этих племен» уже невозможно произвести «каким бы то ни было проектом». Венгрия же, по мнению Лефрена, должна проникнуться убеждением, «что нет великой политики без правосудия» (РС, 1865, 4, 21).

Критика пассивности либералов отчетливо звучит и в сатирическом стихотворении П. Вейнберга, напечатанном в «Искре» в 1865 г. Вся деятельность либералов, по словам автора, заключалась в том, что они «и день и ночь сидели» на заседаниях сейма.

И с беспристрастной прямотой  
Смотря на край родимый свой,  
Мечтали, думая о нем  
С патриотическим огнем.  
(Искра, 1865, 38, 508)

В постоянной рубрике журнала «Будильник» — «Телеграммы «Будильника» — в августе 1865 г. появилось сообщение о достижении соглашения между государственным министром Австрии Р. Белькреди и канцлером Венгрии Г. Майлатом в духе дуализма и в интересах аристократии. Окончательное решение этого дела зависит, по мнению журнала, лишь от признания условий соглашения венгерской либеральной партией (Ф. Деака), «имеющей решительное влияние на дела» (Будильник, 1865, 59, 235). В конце сообщения «Будильник» с иронией отмечает, что соглашение вырабатывается мирным путем, без конфликтов: «Все спокойно и дышит редким доверием, так что надобность в патрулях, пробегавших до сих пор через каждые полчаса, отложена до более благоприятного времени» (там же).

Рассматривая отношение революционно-демократической периодики к буржуазному либерализму, необходимо отметить близость ее характеристики к оценкам Ф. Энгельса и В. И. Ленина. Ф. Энгельс писал о бессилии и неспособности австрийской либеральной буржуазии<sup>7</sup>. В. И. Ленин также подчеркивал трусость либеральной буржуазии и ее склонность к изменениям<sup>8</sup>.

Передовые органы печати в России не только осуждали либеральные формы и методы борьбы, но и утверждали свои, революционно-демократические взгляды по этому вопросу. Они заключались в признании необходимости решительной революционной борьбы с абсолютизмом, феодализмом, за социальное и национальное освобождение. Мысли о революции и революционной войне труднее всего было высказывать в подцензурной печати, но именно эти мысли, порой завуалированные или выраженные намеками, коренным образом отличали позицию революционно-демократических органов от изданий других направлений общественной мысли.

Все официальные, консервативные, славянофильские, либеральные издания выступали против революционных методов борьбы угнетенных народов Австрийской империи. В «Русском вестнике» М. Н. Каткова была помещена статья «Венгрия и вопрос о национальностях», в которой ясно высказывалось отрицательно отношение к революции 1848 г. Автор считал, что национальное движение потерпело пора-

жение потому, что формы и методы борьбы были революционными («неумеренно демократическими») и с удовлетворением высказывался об «истинно либеральной» струе в политических и национальных программах освободительных движений угнетенных народов Австрийской империи (Русский вестник, 1860, т. 27, с. 264). Подобные рассуждения встречаются и на страницах аксаковского «Дня» (День, 1861, № 1, 15 окт.). Успехи Венгрии «на законном и мирном пути преобразований» отмечала газета «Московские ведомости» (МВ, 1860, № 173, 9 авг.). «Библиотека для чтения» подчеркивала, что либеральная партия Венгрии «ненавидела всякую революцию» и стремилась к «законным» действиям, совместно с короной (БДЧ, 1860, 7, 8). Высказывалось и вполне определенное желание русских либералов, «чтобы австрийское правительство не вызывало революции», а пошло на уступки Венгрии мирным путем (там же, 23).

«Отечественные записки» стояли на защите идеального, по мнению либералов, реформистского пути развития общества и отрицательно отзывались о революционной борьбе народов Габсбургской монархии. «Не от крутых и насильственных переворотов,— писалось в журнале,— ожидает современный человек успехов гражданственности и улучшения своего положения», а от развития «либеральных политических учреждений» (ОЗ, 1859, 12, 53). В журнале высказывались мысли о вреде событий 1848 г. в Венгрии (там же, 52), о случайном характере революции, не обусловленной, якобы, социально-экономическими и политическими предпосылками. Результатом подобных рассуждений был вывод о возможности мирного решения венгерского вопроса (ОЗ, 1860, 4, 72, 73). Испытывая страх перед возможностью начала революционной войны, русские либералы высказывались против введения в Венгрии военного положения, которое, по их мнению, могло бы привести к решительной борьбе и положить конец «начинающемуся делу реформ...» (ОЗ, 1861, 1, 27). В конституционных актах, «благоразумно задуманных и честно выполненных реформах» австрийского правительства либеральная пресса усматривала «возможность для обширной империи мирно и спокойно выпутаться из ее сильных внутренних затруднений», т. е. избежать революции (ОЗ, 1860, 11, 30—31).

В отличие от взглядов либеральных публицистов революционные демократы в своих периодических органах неизменно выступали за революционный путь борьбы. С особой силой звучит со страниц «Современника» призыв к революционной борьбе. Никакие реформы, утверждает Н. Г. Чер-

нышевский в политических обзорах, не приведут к расширению свобод, если власть основана на военном деспотизме (Собр., 1859, 12, 335). А так как Австрия «не захочет отказаться от господства над Венгрией без борьбы», то «едва ли можно избежнуть военной развязки венгерского вопроса» (Собр., 1861, 6, 503). Чернышевский, признававший прогрессивность освободительных, революционных войн, видел в них единственную действенную силу, способную разрушить старый режим: «Без войны,— писал он,— ... не может и Венгрия достичь осуществления своего стремления к самостоятельности; не могут южные славяне и румуны достичь национальной организации» (Собр., 1859, 6, 464). В статье «Возвращение князя Милоша Обреновича в Сербию», помещенной в «Современнике», Н. Г. Чернышевский и В. А. Обручев высказывают твердое убеждение, что стремление австрийских сербов к воссоединению с турецкими «не исполнится иначе, как при сильном потрясении Австрии событиями вроде происшествий 1848 года» (Собр., 1859, 3, 104).

Журнал «Русское слово» не сразу занял столь решительные позиции — в признании революционной борьбы единственным способом действительного освобождения угнетенных народов Австрийской империи. Показательны в этом отношении те изменения, которые с течением времени претерпели взгляды редактора журнала Г. Е. Благосветлова по вопросу о положении народов Австрийской империи. В 1860 г. его воззрения выразились в высказывании о том, что вопрос о существовании многонациональной империи не стоял бы так остро, «если б правительство Австрии стало дружественною связью всех народонаселений Дуная; если б оно просвещало, а не утесняло их; если б оно употребляло двигателем не войско, не полицию, не бюрократию; если б оно перестало возбуждать между племенами скрытую неприязнь, забывая, что эти же племена в дни примирения обратятся на нее» (РС, 1860, 8, 2).

Через год, когда усилилось революционно-демократическое направление журнала и революционизировались взгляды самого Благосветлова, в рецензии на воспоминания И. И. Срезневского и П. Дубровского о В. Ганке он писал: «Доселе никто не сомневался в том, что стремления Австрии диаметрально противоположны стремлениям славянского мира» (РС, 1861, 8, 77). Не соглашаясь со славянофилами и некоторыми деятелями славянского возрождения в Австрийской империи — приверженцами старины и народных преданий, Благосветлов решительно заявлял, что для возрождения Чехии «необходимо оторвать ее от мертвого тела Ав-

стрии...» (там же, 78). Несомненно, это высказывание можно распространить и на другие народы Австро-Венгерской империи.

Как бы перекликается с этим мнением и высказывание С. Н. Палаузова в статье «Венгрия в современных ее отношениях к Австро-Венгрии». Автор связывает успехи венгров в борьбе за свою независимость не с надеждами на либеральные реформы, а видит их «в окончательном разрыве с Австро-Венгрией, гнет которой в последнее время сделался решительно невыносим» (РС, 1861, 2, 41).

Рассмотрев в политических обзорах «Русского слова» положение, созданное в Венгрии в 1861 г., Благосветлов и Лефрен пришли к выводу, что если Австро-Венгрия не уступит требованиям Венгрии, то спор между ними «разрешится оружием» (РС, 1861, 8, 8 и др.), т. е. не исключена возможность революционной войны. При этом Благосветлов высказывает за решительные методы борьбы: «Вынимая меч для борьбы, надо быть готовым не только для отражения, но и для победы...» (там же, 9).

Журнал «Русское слово», критикуя с позиций революционной демократии либеральный реформизм, не раз проводил, насколько это было возможно в подцензурном издании, мысль о необходимости решительной революционной борьбы. Так, Н. В. Шелгунов неоднократно подчеркивал бесполезность надежд на либеральные реформы, проводимые из-за страха перед революцией «сверху». Это стало особенно ясно после принятия в Австро-Венгрии конституции 1861 г. Бросая общий взгляд на реформы в Австро-Венгрии и в других странах, Шелгунов в статье «Исторические очерки» высказывает мысль, что необходимые преобразования могли совершиться только с помощью принуждения, т. е. революционным путем. Недаром он приводит в пример Францию, где преобразования проходили «в республиканской форме и революционным путем» (РС, 1864, 11, 70, 52).

Из всех подвластных Австро-Венгрии земель наибольшее внимание «Русское слово» уделяло Венгрии, в которой революционные традиции и настроения были сильнее развиты. Поэтому особенно актуальным в период подготовки и проведения реформ в Австро-Венгрии было напоминание «Русского слова» о славном революционном прошлом Венгрии и о деятельности народного поэта и революционера Шандора Петефи. О нем пишет в «Литературной корреспонденции» (РС, 1861, 2, 30—36) Э. Реклю<sup>9</sup>. Намекая на то, что русские не знают о революционной деятельности поэта, он особенно подчеркивал его близость к народу и служение народу, от которо-

го он не отрекался: «Во время пародных бедствий он честно служил своей стране и в совете и на поле битвы — всегда и везде...» (там же, 33). Жизни, борьбе, поэзии Петёфи посвящена статья С. Н. Палаузова «Александр Петёфи, венгерский поэт». Автор также прежде всего показывает демократизм Петёфи, певца и участника революции, уже первые произведения которого, написанные простым, понятным языком, верно передающие характер народа и страны, нашли отклик в сердцах венгров (РС, 1861, 3, 12). Он сравнивает активную позицию поэта с бездейственной выжидательной позицией тех, кто вел «политические споры в разных народных собраниях», кто боялся развития революции (там же, 17, 18).

Свое отношение к вопросу о необходимости решительной борьбы угнетенных народов с Габсбургской монархией за независимое существование выразила сатирическими средствами «Искра»: на одной из карикатур 1863 г. было условное изображение кровеносного сосуда («вены») с двумя наростами («Венгрия» и «Венеция»); «больной» в военном мундире (Австрия) жалуется врачу на боль в сердце, на что врач отвечает: «Да, это от наростов около вены, их не мешало бы срезать» (Искра, 1863, 27, 362).

Газета «Современное слово» открыто высказывалась в пользу решительной борьбы венгерского народа с оружием в руках против Габсбургской монархии. Она приводит в пример вооруженную борьбу Ломбардии, добившейся освобождения, и восклицает: «Какой поучительный для народов Австрии урок!» (СС, 1862, № 50, 29 июля).

Революционно-демократическая периодика показала социальную сущность конституций Австрийской империи и реформ правительства, направленных против интересов простого народа; разносторонне проанализировала и убедительно доказала их неспособность решить национальную проблему и удовлетворить стремления подвластных Австрии народов к самостоятельному развитию. В период революционной ситуации и проведения крестьянской реформы в России постановка вопроса о прогрессе, о реформах и революции была очень актуальной. Революционно-демократическая периодика в условиях строжайшего цензурного контроля и в борьбе с дворянско-буржуазной печатью критиковала либеральный реформизм и пассивность либеральных деятелей и партий угнетенных народов Австрийской империи.

Журналы и газеты революционной демократии призывали эти народы к решительной революционной борьбе. Поскольку монархия Габсбургов часто использовалась в подцен-

зурной печати для сравнения с царской Россией, то представляется вполне вероятным, что несколько преувеличенная характеристика революционно-демократической периодикой революционных возможностей народов Австрийской империи на рубеже 50-х и 60-х годов, когда начался новый этап освободительной и революционной борьбы (который совпал по времени с первой революционной ситуацией в России), не являлась следствием недостаточного знания истинного положения дел, а была вызвана осознанным желанием сконцентрировать внимание русских читателей, прежде всего демократических кругов общества, на необходимости революционных методов борьбы с абсолютизмом. Для правильного решения национальной проблемы, стоящей перед народами и правительством Австрийской империи, революционно-демократическая периодика настоятельно требовала учета классовых интересов и различий, проявляющихся и в национально-освободительных и революционных движениях.

<sup>1</sup> Частично затрагивают эту тему работы: *Авербух Р. А.* Национальный вопрос в Австрийской империи шакануне соглашения 1867 года в оценке А. И. Гердена и Н. Г. Чернышевского.— Новая и новейшая история, 1969, № 1, с. 93—97; *Штернберг Я. И.* Общественные и культурные связи между Россией и Венгрией во второй половине XIX — первые годы XX в.— Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Л., 1970. 45 с.; *Москаленко Е. А.* Национальная борьба чехов в 60-е годы XIX в. в русской дореволюционной литературе.— Вестн. Моск. ун-та, сер. 8. История, 1979, № 2, с. 51—62; *Аксенова Е. П.* Вопросы истории народов Центральной и Юго-Восточной Европы на страницах «Современника» (1854—1862).— Соб. славяноведение, 1980, № 4, с. 43—56; *Она же.* История народов Центральной и Юго-Восточной Европы в журнале «Современник» (1863—1866 г.).— В кн.: Исследования по историографии славяноведения и балканистики. М., 1981, с. 237—260; Освободительные движения народов Австрийской империи: Период утверждения капитализма. М., 1981, с. 27—31.

<sup>2</sup> Освободительные движения народов Австрийской империи..., с. 14.

<sup>3</sup> *Штернберг Я. И.* Общественные и культурные связи..., с. 21.

<sup>4</sup> В тех положениях Октябрьского диплома, на которые обратил внимание Чернышевский, советские исследователи видят начало тенденций к будущему дуалистическому устройству государства. См.: Освободительные движения народов Австрийской империи..., с. 25.

<sup>5</sup> В. Г. Карасев высказал предположение, что автором статьи был П. А. Ровинский.— *Карасев В. Г.* Сербский демократ Живоин Жуёвич. М., 1974, с. 98.

<sup>6</sup> Экземпляр этого номера «Современника» хранится в библиотеке ИРЛИ (Пушкинского дома).

<sup>7</sup> *Энгельс Ф.* Предисловие ко второму изданию «Крестьянской войны в Германии».— *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 16, с. 414.

<sup>8</sup> *Ленин В. И.* Реформизм в русской социал-демократии.— Полн. собр. соч., т. 20, с. 312.

<sup>9</sup> Вероятно, Жан Жак Элизе Реклю, брат Мишеля Эли Реклю (Жака Лифреня), так как в объявлении редакции об издании журнала в 1861 г. говорилось, что из иностранных корреспондентов согласились участвовать братья Реклю.

---

В. А. ДЬЯКОВ, Е. К. ЖИГУНОВ

НАРОДНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
В РУССКОЙ  
СЛАВЯНОВЕДЧЕСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  
И П. Л. ЛАВРОВ

Славяноведение является, как известно, комплексом научных дисциплин, изучающих языки, историю и культуру славянских народов. Обладая определенным внутренним единством, славистика сохраняет тесные взаимосвязи с указанными областями знания, пользуется накапливаемым в каждой из них методологическим опытом, конкретным фактическим материалом, источниками. Из этого следует, что историографические исследования в славяноведении не могут и не должны осуществляться в отрыве от истории входящих в славистический комплекс научных дисциплин, в частности исторической науки. Учет сказанного особенно необходим, когда речь идет о славянских странах, где славяноведение всегда развивалось и развивается не только рядом, но зачастую и вместе с отдельными науками о языке, культуре и историческом прошлом данного народа.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.  
И ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

Рассматривая развитие исторической науки дореволюционной России во второй половине XIX в., специалисты выделяют в изучении отечественной проблематики три направления: дворянско-буржуазное, революционно-демократическое и народническое, особо отмечая применительно к последним десятилетиям прошлого века распространение марксизма и начало применения его теоретических положений в исторических исследованиях<sup>4</sup>. Деление это основывается на оценке общественно-политических позиций и идеино-научных взглядов крупных ученых, получивших то или иное отражение в тематике, конкретном содержании и

общих выводах их трудов. Всеобщая история, изучение зарубежных славян, Византии и стран Востока выделены авторским коллективом «Очерков истории исторической науки» в самостоятельные главы, но знакомство с ними не оставляет сомнений в том, что принципы подхода к историографическим явлениям остаются в них теми же, хотя общая классификация направлений, принятая для русской истории, иногда применяется лишь отчасти.

В разделе «Славяноведение», написанном С. А. Никитиным, названные выше историографические направления не выделяются, а говорится о том, что «самой многочисленной в русском славяноведении 50—70-х годов XIX в. была реакционная школа, примыкавшая к философско-политической доктрине славянофильства и панславизма»<sup>2</sup>. Помимо этого, отмечает С. А. Никитин, «вопросами славяноведения параллельно с учеными славянофильского лагеря занимались историки либерально-буржуазного направления»<sup>3</sup>. Представляется, что общественно-политические и идеино-научные позиции этих ученых, как и представителей «реакционной школы», к которой отнесены почти все известные историки-слависты тех лет<sup>4</sup>, можно в совокупности считать тождественными с выделяемым в «Очерках» дворянско-буржуазным направлением среди специалистов по отечественной истории<sup>5</sup>. Революционно-демократическое и народническое направления у С. А. Никитина не фигурируют, однако в его тексте нет прямого утверждения о том, что их не было вообще.

Довольно близка к подходу С. А. Никитина позиция Л. П. Лаптевой, которая в своих многочисленных работах по истории славяноведения в дореволюционной России также не пользуется той классификацией историографических направлений, которая принята специалистами по отечественной истории. Что же касается собственной классификационной схемы Л. П. Лаптевой, то ее главным звеном примерно до середины 60-х годов XIX в., провозглашается «славянофильское направление в изучении истории славян» (хотя Л. П. Лаптева признает, что к нему принадлежали не все русские слависты)<sup>6</sup>, тогда как в последующие десятилетия «господствующим в исследовании славянской истории становится позитивистское направление»<sup>7</sup>. В отличие от С. А. Никитина Л. П. Лаптева отмечает определенное воздействие русских революционных демократов на отечественные славистические исследования, но заявляет: «В русском славяноведении революционно-демократическая идеология, к сожалению, широкого распространения не получила»<sup>8</sup>. Не

отрицает Л. П. Лаптева и влияния на славистику иных идеино-политических течений, связывая его скорее с общественными, чем с научными позициями специалистов: «Что же касается политических взглядов причастных к славяноведению ученых,— пишет она,— то среди них можно встретить представителей самых различных направлений — от монархического до левобуржуазного, либерального, народнического. Крупным славистом был, например, землеволец П. А. Ровинский. Большой вклад в развитие русского славяноведения внесли левый либерал А. Н. Пыпин, ученый народнического направления С. А. Венгеров и др.»<sup>9</sup>

Не входя в подробный анализ двух изложенных точек зрения, подчеркнем, что ни С. А. Никитин, ни Л. П. Лаптева не пользуются при рассмотрении истории славяноведения второй половины XIX в. классификационным термином «дворянско-буржуазное направление», но фактически относят к нему подавляющее большинство профессиональных историков-славистов, пытаясь разделить их по тем или иным признакам на более мелкие классификационные группы. Что же касается революционно-демократического и народнического направлений, то С. А. Никитин о них не упоминает, а Л. П. Лаптева фиксирует наличие этих направлений в общественной жизни, практически не говоря ни о специфике их научных концепций, ни о конкретной роли в развитии славяноведения. Думается, что вызвано это главным образом недостаточной изученностью истории дореволюционного славяноведения вообще, особенно же той его части, которая связана с революционно-демократическим и народническим направлениями в историографии. Существенное значение имеет и то, что специалисты по истории славистики иногда слишком ограничивают свой объект исследования узкопрофессиональной сферой, официальной академической и университетской наукой, забывая, что значительная, иногда самая важная и перспективная, часть науки развивается вне этих пределов.

Убедиться в том, какую большую роль играет в данном случае изученность проблематики, можно путем сравнения «Очерков истории исторической науки в СССР» с вышедшей перед самой войной «Русской историографией» Н. Л. Рубинштейна. Последняя содержит главу, посвященную историческим взглядам Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, А. П. Щапова<sup>10</sup>, но, для того чтобы собранный в ней исходный материал превратился в главу «Очерков» о революционно-демократическом направлении в историографии, понадобилось немало коллективных трудов и индивидуальных

исследований, в том числе работ В. Е. Иллерицкого, внесшего существенный вклад в изучение данной проблематики. В последние годы аналогичный процесс происходит в славистической историографии, и сейчас мы уже близки к обоснованному конкретным материалом признанию того, что революционно-демократическое направление существовало и в изучении истории зарубежных славян.

Демократическая традиция русской славистической историографии восходит к концу XVIII и первым десятилетиям XIX в., т. е. ко времени пробуждения и быстрого роста интереса русской общественности к историческим судьбам и современному положению зарубежных славянских народов; эта традиция была закреплена сочинениями декабристов и ряда авторов, находившихся под влиянием их идеологии<sup>11</sup>. Эта традиция получила дальнейшее развитие сначала во взглядах В. Г. Белинского и Т. Н. Грановского, А. И. Герцена и Н. П. Огарева, затем в произведениях Н. Г. Чернышевского, его учеников и последователей<sup>12</sup>. Несмотря на то что большинство из них не являлось профессиональными историками, в их сочинениях (преимущественно публицистического характера) была сформулирована теоретическая концепция и высказаны конкретные оценки по многим узловым вопросам истории южных и западных славян.

Как известно, везде, где это было возможно, Н. Г. Чернышевский настойчиво проводил мысль о том, что решающую роль в общественном развитии играют не национальные, а классовые отношения. Весьма ярко это проявилось, в статьях для «Современника», опубликованных в 1861 г. Например, в статье «Предисловие к нынешним австрийским делам», говоря о событиях 1848 г., Чернышевский указывал, что «стеснение [...] пародностей было лишь внешним притяжком дела», тогда как сутью его являлось «упрочение феодальных повинностей»<sup>13</sup>. Не только приведенное, но и многие другие высказывания Чернышевского неопровергимо свидетельствуют о том, что в его взглядах не могло быть и не было места для какого-либо обособления славянских народов, для теоретического противопоставления их прошлого и настоящего западноевропейскому историческому процессу. Наблюдая за спорами западников со славянофилами, Чернышевский критически относился и к тем и к другим. Первых он спрашивал: «Зачем оставаться в фантастической уверенности, будто Западная Европа — земной рай, когда на самом деле положение народов ее вовсе не таково?» (т. 4, с. 724). О вторых же писал: «Славянофилам вредят не то, что они славянофилы; есть другие причины предубеждения

против них. Придавая слишком большую важность отвлеченным понятиям о всеобъемлющем характере русской народности, о так называемой односторонности и несостоительности западной науки и жизни, они слишком готовы без разбора восхищаться всяkim суждением, лишь бы только оно было в пользу народности против европеизма» (т. 4, с. 693).

Осуждая социально-политическое ретроградство, религиозность и шовинизм славянофилов, Чернышевский заявлял, что у славянофильства есть «другая сторона, которая ставит славянофилов выше многих самых серьезных западников»; при этом имелось в виду то, что славянофилы говорили о роли русской и вообще — славянской общине (т. 4, с. 738). «Мы видим,— писал Чернышевский,— какие печальные следствия породила на Западе утрата общинной земельной собственности и как тяжело возвратить западным народам свою утрату. Пример Запада не должен быть потерян для нас» (т. 4, с. 743). При этом Чернышевский трактовал общину как зародыш будущих социалистических преобразований, тогда как славянофилы видели в ней оплот милой их сердцу патриархальной старины.

Допуская, что общинные отношения могут сыграть положительную роль для социалистического преобразования России, Чернышевский горячо возражал против убеждения, будто община столь же необходима и для народов Западной Европы. В 1861 г. в статье «О причинах падения Рима», он критиковал за излишнюю идеализацию общинных отношений не только славянофилов, но и А. И. Герцена (речь шла о его статье «Русский народ и социализм»). «Кроме общинного землевладения,— писал Чернышевский,— невозможно было самым усердным мечтателям открыть в нашем общественном и частном быте ни одного учреждения или хотя бы зародыша учреждения для предсказываемого ими обновления ветхой Европы нашему свежему помощью [...] Нечего нам и хлопотать об этом: никаких оживителей не нужно ей. Она и своим умом умеет рассуждать и своими силами умеет делать, что ей угодно, и своих сил довольно ей на все, что ей нужно сделать» (т. 7, с. 663—664). Критика Чернышевским славянофильства не была направлена против сочувствия к угнетенным славянским народам. Если бы дело сводилось только к сочувствию славянам, говорил он, то все «образованные люди» (т. е. сторонники прогресса, революционеры) могли бы называться славянофилами. Реальные же славянофилы, спекулируя на идее славянской вза-

имности, вольно или невольно ставили ее на службу внешней и внутренней политике русского царизма<sup>14</sup>.

Проблема воздействия революционно-демократической мысли на появившиеся во второй половине XIX в. конкретные исследования по истории зарубежных славян освещена пока далеко не исчерпывающе. Но достигнутые результаты уже позволяют сделать вывод о том, что теоретические концепции революционных демократов нашли применение в научно-исследовательской практике. Наиболее убедительно это подтверждается знакомством с подцензурной революционно-демократической периодикой 50—60-х годов XIX в., на страницах которой наряду с публицистическими произведениями о современном положении южных и западных славян появлялось немало научных статей, публикаций, рецензий, посвященных их историческому прошлому.

Работы Е. П. Аксеновой, серьезно проанализировавшей с этой точки зрения содержание «Современника» за 1854—1866 гг.<sup>15</sup>, показывают, в частности, что указанный ведущий орган русской революционной демократии так или иначе затрагивал довольно широкий круг славистических проблем как исторического, так и филологического характера. Общие теоретико-методологические вопросы рассматривались сначала главным образом Н. Г. Чернышевским и Н. А. Добролюбовым, а после июля 1862 г. — преимущественно Д. И. Писаревым и М. А. Антоновичем. Среди авторов, выступавших в журнале по конкретным темам современного положения и истории зарубежных славянских народов, могут быть названы такие идеино близкие «Современнику», как Г. З. Елисеев, А. Н. Пыпин, З. Сераковский, а также либерально и даже демократически настроенные деятели: А. С. Афанасьев-Чужбинский, Е. П. Ковалевский, Н. И. Костомаров, К. Д. Ушинский. «Современник» часто привлекал и авторов умеренных идеино-политических направлений, в том числе видных историков И. Н. Березина, Е. П. Карновича, В. И. Ламапского, С. М. Соловьева. Что касается исторической проблематики публиковавшихся материалов, то она так или иначе охватывала практически все славянские земли территориально, имела хронологические рамки, включавшие их современное положение, древнюю, средневековую и новую историю. Публиковалось также значительное число материалов по другим славистическим дисциплинам.

Разумеется, степень проникновения революционно-демократической идеологии в те работы по истории зарубежных славян, которые публиковались в «Современнике», во

многом зависела от мировоззрения их авторов. Однако совершенно очевидно, что редакторы журнала определяли тематику публикуемого материала и оказывали некоторое, иногда довольно заметное воздействие на отбор фактов и их освещение даже в тех случаях, когда речь шла об авторах с совершенно иными идеино-политическими позициями, не говоря уже о деятелях прогрессивного склада и либеральных «попутчиках». Кроме того, рядом с четко ориентированными статьями и критическими рецензиями редакторов «Современника» и их ближайших единомышленников материалы иной ориентации, в том числе работы называвшихся выше профессиональных историков, могли восприниматься читателем не так, как в других периодических изданиях. Что же касается богатых конкретным содержанием, отличавшихся антиславянофильской направленностью и написанных с прогрессивных позиций работ А. Н. Пыпина, то они почти всегда звучали в унисон с принципиальными высказываниями редакторов журнала. В целом же материалы по истории зарубежных славян, опубликованные в «Современнике» и примыкавших к нему периодических изданиях конца 50-х — первой половины 60-х годов, обладают, хотя и не абсолютным, но настолько значительным внутренним единством и так сильно отличаются от всей остальной специальной литературы, что представляется правомерным говорить о наличии революционно-демократического направления в русском славяноведении, по крайней мере в его исторической части. Именно к такому вполне обоснованному, на наш взгляд, выводу и пришла Е. П. Аксенова на основе своих богато документированных исследований<sup>16</sup>.

### СЛАВЯНСКИЙ ВОПРОС В ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТАХ РЕВОЛЮЦИОННОГО НАРОДНИЧЕСТВА И В МИРОВОЗЗРЕНИИ ЕГО ВИДНЕЙШИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ

Революционное народничество, продолжавшее дело, которое было начато «революционерами 1861 года», многое унаследовало от них в подходе к славянскому вопросу. Это обусловлено не только сходством идеино-политических установок, но и личной преемственностью, которая выразилась в том, что среди крупнейших теоретиков народничества видное место заняли деятели предшествующего этапа освободительного движения. Находясь в ссылке, Н. Г. Чернышевский был оторван от общественной жизни страны, но немалая часть народников считала себя его последователями во всем, не исключая и изложенных выше взглядов на славяно-

вянский вопрос. Значительное идеологическое воздействие на народничество оказывал в этой области А. И. Герцен.

Мировоззрение Герцена складывалось, с одной стороны, под воздействием патриотических традиций Отечественной войны 1812 г., идей декабризма, вольнолюбивых произведений А. С. Пушкина и его современников, с другой — под влиянием философии Гегеля, Фейербаха и западноевропейского утопического социализма. Приближаясь к материализму в понимании явлений природы и общества, он, по словам В. И. Ленина, «вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед — историческим материализмом»<sup>17</sup>. Герцен преувеличивал роль идей в развитии человечества, но закономерности исторического прогресса он искал в объективных условиях общественного развития, в том числе в борьбе между привилегированными и угнетенными классами (видя, однако, их отличие друг от друга лишь в имущественном положении, но не в отношениях к средствам производства). Не соглашаясь с Б. Н. Чичериным, С. М. Соловьевым и другими представителями государственной школы русской историографии, отводившими ведущую роль государству, Герцен главной движущей силой истории считал народ, а роль выдающихся личностей связывал прежде всего с тем, насколько они понимают народные потребности. Он дал собственную периодизацию истории России, был первым историком движения декабристов и русской общественно-политической мысли 30—60-х годов XIX в.

С точки зрения изучения зарубежных славян особый интерес представляют теоретические высказывания Герцена по поводу споров западников со славянофилами, связанные с разработанной им политической интерпретацией идей славянской взаимности. Как в первой, так и во второй области, позиции его претерпели существенные изменения, которые нельзя не учитывать. В 40-е годы он, по собственному признанию, не знал еще Запада и любил его «всю пенавистью к николаевскому самодержавию и петербургским порядкам»<sup>18</sup>. Признавая особенности развития отдельных народов, в частности славянских, Герцен выдвигал на первый план не эту сторону исторического процесса, а «великое единство развития рода человеческого»<sup>19</sup>. Соответственно в его ранних работах славянофильские доктрины выступали главным образом отрицательными сторонами и подвергались сугубо критическому рассмотрению.

Полное разочарование в возможностях и перспективах буржуазной демократии, пережитое в 1848—1849 гг., заставило Герцена искать новые идеалы общественного прогресса;

он обратился к русской и славянской общинам, в которых он увидел зародыши «социального» (т. е. социалистического) развития не только для России, но и для всей Европы. Именно поэтому славянофилы, много писавшие об общине и впервые привлекшие к ней внимание русской общественности, предстали теперь перед Герценом в роли идейных союзников. Явно заблуждаясь, он предполагал, что сможет сблизиться со славянофилами на основе веры в общинные идеалы и даже писал: «...Социализм [...], разве не признан он славянофилами так же, как нами? Это мост, на котором мы можем подать друг другу руку»<sup>20</sup>. Своими союзниками Герцен считал славянофилов и в годы подготовки крестьянской реформы, будучи уверенным, что их панегирики сельской общине помогут освобождению крестьян с земельным наделом. Лишь после 1862 г., когда обстоятельства полностью выявили консервативность славянофильских доктрин, Герцен окончательно отказался от идеализации своих «друзей-противников». Хотя он всегда подвергал критике религиозный обскурантизм славянофилов и их призывы к возврату патриархальных порядков, их взгляды остались определенный отпечаток на основных положениях его социальной философии, которая окончательно сложилась во второй половине 50-х годов. Излагая в 1866 г. главную суть этой философии, Герцен писал: «Мы русским социализмом называем тот социализм, который идет от земли и от крестьянского быта, от фактического надела и существующего передела полей, от общинного владения и общественного управления»<sup>21</sup>. По определению В. И. Ленина, в утопическом социализме Герцена фактически не было «ни грана социализма»; это была лишь «такая же прекраснодушная фраза, такое же добре мечтание, облекающее революционность буржуазной крестьянской демократии в России, как и разные формы „социализма 48-го года“ на Западе»<sup>22</sup>.

Середина 60-х годов ознаменовалась существенными сдвигами во взглядах Герцена. Продолжая верить в «русский социализм», он перестал считать его единственным правильным путем общественного прогресса, возможным для России, стал называть рядом с ним и «западный социализм», приверженцами которого были, по его мнению, Н. Г. Чернышевский и его последователи. Во внутренней связи с этими сдвигами стоит неприятие анархизма и разрыв с М. А. Бакуниным, а также нарастающий интерес Герцена к рабочему движению. Оценивая происшедший поворот, В. И. Ленин писал: «...разрывая с Бакуниным, Герцен обратил свои

взоры не к либерализму, а к *Интернационалу*, к тому Интернационалу, которым руководил Маркс»<sup>23</sup>.

Говоря о России, Герцен постоянно связывал ее исторические пути с судьбой всех славянских народов; он отмечал, что идея славянской взаимности у западных славян, главным образом у чехов, получила распространение «в печальную эпоху Венского конгресса»; что австрийское правительство сразу же попыталось использовать ее в консервативных целях, оказывая покровительство «апатическим или слабым народностям», но прибегая к репрессиям там, где национальные чувства не ограничивались «учено-археографическими занятиями и этимологическими спорами»; что «чешский панславизм подзадорил славянские сочувствия в России»; что для московских славянофилов роковую роль сыграла их «встреча» (т. е. сближение) со славянофильством Николая I, который «бежал в народность и православие от революционных идей»<sup>24</sup>. Следуя убеждению, что свободное развитие русской и славянской общины совпадает со стремлениями западного социализма, Герцен будущее славянского мира видел в свободной федерации, ядром которой станет Россия, освободившаяся от крепостничества и самодержавия. «Только сгруппировавшись в союз свободных и самобытных народов,— писал он,— славянский мир вступит, наконец, в истинно историческое существование»<sup>25</sup>. Столицей славянской федерации, уверял Герцен, может стать Константинополь — «Рим восточной церкви, центр притяжения всех славянонгров, город, окруженный славяно-эллинским населением»<sup>26</sup>.

Прогрессивная направленность «славянских» планов Герцена, исходящих из неизбежности краха Австрийской и Османской империй, из необходимости коренных социальных преобразований в России, из единства революционных задач Запада и Востока, совершенно очевидна. Однако ошибочность некоторых суждений, противоречащих самой сути развиваемой им концепции, и постоянное подчеркивание своего духовного родства со славянофилами сослужили Герцену плохую службу; отзвуки панславистских идей и двусмысленная характеристика возможностей царизма в решении славянского вопроса вызвали недоверие многих деятелей международного революционного движения, резкую критику его публицистических выступлений со стороны К. Маркса и Ф. Энгельса<sup>27</sup>.

Герцен был тесно связан со многими участниками польского освободительного движения, которое привлекало его внимание и сочувствие еще в студенческие годы. Резко

осуждая участие России в разделах Польши, он видел пользу присоединения польских земель к России только в том, что таким образом был воздвигнут «громадный мост для торжественного шествия революционных идей»<sup>28</sup>. Общим врагом России и Польши является царизм, говорил Герцен и провозглашал лозунг: «Да здравствует независимая Польша и свободная Россия!»<sup>29</sup>. Считая освобождение Польши «половиной освобождения России», Герцен подчеркивал, что «вопрос польский прежде всего [...] вопрос национальный»<sup>30</sup>; в то же время он частойчиво призывал участников польского освободительного движения к радикальному решению крестьянского вопроса, к отказу от националистических претензий на территории Украины, Белоруссии и Литвы. Освобождение русского и польского народов Герцен рассматривал как начало освобождения всего славянства, а свободный союз Польши и России «как начало вольного соединения всех славян в единое и раздельное Земское дело»<sup>31</sup>. В период польского восстания 1863—1864 гг. «Колокол» и другие герценовские издания неизменно поддерживали борьбу польского народа за независимость, боролись с захлестнувшими страну шовинистическими настроениями. Отмечая это, В. И. Ленин впоследствии писал: «Герцен спас честь русской демократии»<sup>32</sup>.

Славянский вопрос занимал видное место в мировоззрении и политической программе такого крупного идеолога народничества и активного деятеля дворянского этапа истории освободительного движения в России, как М. А. Бакунин. Еще в 1846 г. Бакунин решил сделать целью своей деятельности русскую революцию и республиканскую федерацию всех славянских земель и на этой основе стал добиваться сотрудничества между русскими и польскими революционерами<sup>33</sup>. Развернутая концепция решения славянского вопроса сложилась у М. А. Бакунина под влиянием революции 1848 г., в событиях которой он принимал активное участие. К этому времени относятся такие его тексты, как «Воззвание к славянам», «Основы новой славянской политики», «Основы славянской федерации», «Внутреннее устройство славянских народов»<sup>34</sup>. В них Бакунин призывал к разрушению российской, прусской, турецкой и австрийской монархий, на развалинах которых должна была, по его убеждению, сложиться «великая вольная славянская федерация», основанная на принципах общего равенства, свободы и братской любви, на уничтожении крепостного права и сословного неравенства, на предоставлении каждому желающему земельного участка в пределах любой из славянских

земель. Мир, рассуждал он, разделен на два лагеря — революционный и контрреволюционный, славяне в своих собственных интересах должны в союзе с немцами и венграми добиваться всеобщей федерации европейских республик; обращаясь к славянам, М. А. Бакунин заявлял, что им следует быть друзьями и союзниками всех народов и партий, сражающихся за революцию; в то же время он предостерегал их от подогреваемых славянофилами необоснованных надежд на помощь со стороны царского правительства, говоря, что настоящую поддержку они смогут получить только от революционной России.

К славянофильской пропаганде, дающей пищу реакционному панславизму, Бакунин относился резко отрицательно. При всем том он, подобно славянофилам, верил в особый исторический путь славянских народов, хотя их интересы не противопоставлял интересам народов Западной Европы, заявляя: «...Последние пришельцы в развитии европейского образования, славяне чувствуют себя призванными к осуществлению того, что другие народы Европы подготовили через свое развитие, т. е. к осуществлению [...] гуманности, свободы и счастья всех»<sup>35</sup>.

Вскоре после побега из Сибири и возвращения к политической деятельности Бакунин опубликовал в «Колоколе» за 1862 г. оставшееся незаконченным воззвание «Русским, польским и всем славянским друзьям», в котором снова провозгласил свое намерение потратить оставшиеся годы на борьбу за русскую волю, за польскую волю, за свободу и независимость всех славян, практически без изменения повторив при этом «славянскую программу», провозглашенную им в период революции 1848 г. По словам А. И. Герцена, в это время «Бакунин сгруппировал около себя целый круг славян. Тут были чехи, от литератора Фрича до музыканта, называвшегося Наперстком, сербы, которые просто величались по батюшке — Иоанович, Дапилович, Петрович, были валахи, состоявшие на должности славян [...] ; наконец, был болгарин, лекарь турецкой армии, и поляки всех спархий... бонапартовской, мерославской, чарторижской... демократы без социальных идей, но с офицерским оттенком; социалисты — католики, анархисты, аристократы и просто солдаты, хотевшие где-нибудь подраться, в Северной или Южной Америке... и преимущественно в Польше»<sup>36</sup>.

После подавления восстания 1863—1864 гг., во время которого Бакунин тесно сотрудничал с польскими революционерами, славянский вопрос не занимал столь значительного места в его мировоззрении и политических взглядах, как,

впрочем, и весь национальный аспект общественного развития. В 1867 г. в речи на конгрессе Лиги мира и свободы Бакунин, например, заявил: «Мы должны поставить человеческую, всемирную справедливость выше всех национальных интересов. Мы должны раз и навсегда покинуть ложный принцип национальности, изобретенный в последнее время деспотами Франции, России и Пруссии для вернейшего подавления верховного принципа свободы. Национальность не принцип; это законный факт, как индивидуальность. Всякая национальность, большая или малая, имеет несомненное право быть сама собою, жить по своей собственной натуре. Это право есть лишь вывод из общего принципа свободы»<sup>37</sup>. Политический идеал Бакунина воплотился в совершенно нереальную, анархистско-реакционную утопию создания Соединенных Штатов Европы. «Всеобщий мир,— доказывал он,— будет невозможен, пока существуют нынешние централизованные государства. Мы должны, стало быть, желать их разложения, чтобы на развалинах этих единст�, организованных сверху вниз деспотизмом и завоеванием, могли развиться единства свободные, организованные снизу вверх, свободной федерации общин в провинцию, провинций в нацию, нацию в Соединенные Штаты Европы»<sup>38</sup>.

Свое отношение к царской России Бакунин изложил в речи на конгрессе Лиги мира и свободы 1868 г., где говорил: «...Мы хотим совершенного разрушения российской империи, полного уничтожения ее могущества и ее существования. Мы хотим этого столько же во имя человеческой справедливости, как и во имя патриотизма»<sup>39</sup>. Что же касается не государственного, а народного или национального патриотизма, то он его не отвергал, заявляя в той же речи: «...Славянские народы вообще, великорусский в особенности, наименее завоевательный народ в мире. Единственная вещь, которую он страстно желает — это свободное и коллективное пользование землей, которую он обрабатывает; все остальное ему чуждо и вызывает в нем страх»<sup>40</sup>. Бакунин считал, что «патриотизм, стремящийся к единству, помимо свободы, является дурным патриотизмом». Национальный принцип, заявлял он, «не выражает ничего другого, кроме пресловутых исторических прав и властолюбия государств [...]». Права национальностей будут всегда рассматриваться Лигой лишь как естественное следствие, вытекающее из высшего принципа свободы, и национальное право будет переставать считаться таковым, как только оно ставит себя против свободы или даже только вне свободы»<sup>41</sup>.

В 1872 г. Бакунин подготовил «Программу славянской секции Интернационала в Цюрихе», которая создавалась, по его словам, со специальной целью пропаганды принципов революционного социализма и организации народных сил в славянских странах<sup>42</sup>. В «Программе» говорилось: «Славянская секция, стремясь к освобождению славянских народов, вовсе не предполагает организовывать особый славянский мир, враждебный из чувства национального, народам других рас. Напротив, она будет стремиться, чтобы славянские народы также вошли в общую семью человечества, которую Международное общество рабочих призвано осуществить на началах свободы, равенства и всеобщего братства»<sup>43</sup>. В другом месте, характеризуя задачи славянской секции, Бакунин заявлял: «Она будет бороться с одинаковой энергией против стремлений и проявлений как панславизма, т. е. освобождения славянских народов при помощи русской империи, так и пангерманизма, т. е. при помощи буржуазной цивилизации немцев, стремящихся теперь организоваться в огромное мнимо-народное государство [...] ; исповедуя материализм и атеизм, будет бороться против всех родов богослужения»<sup>44</sup>.

Наряду с этими положениями, соответствующими программе и уставу Международного товарищества рабочих, в тексте Бакунина содержались пункты, которые вступали в прямое противоречие с ними. Открытым вызовом против руководящих органов МТР являлся следующий пункт: «Славянская секция не признает ни официальной истины, ни однообразной политической программы, предписанной Главным советом или общим Конгрессом»<sup>45</sup>. Ряд тезисов бакунистской «Программы» провозглашал анархистские идеи, изображая их единственными спасительными для всех народов Европы, и прежде всего для славянства. Доказывая необходимость уничтожения всех и всяческих государств, Бакунин заявлял: «Для славянских народов в особенности это уничтожение есть вопрос жизни или смерти, и в то же время единственный способ примирения с народами чуждых рас, например, турецкой, мадьярской или немецкой»<sup>46</sup>.

Как явствует из сказанного, во второй половине 60-х и в 70-е годы мировоззрение и деятельность Бакунина развивались целиком в рамках анархизма, а славянский вопрос он зачастую использовал для спекуляций и интриг, направленных против своих политических противников, для нападок на возглавляемый К. Марксом Генеральный совет Первого Интернационала<sup>47</sup>. Что касается закономерностей общественного развития и общего хода исторического про-

цесса, то понимание их Бакуниным было эклектическим. История человечества представлялась Бакунину эволюцией от «царства животности» к «царству свободы», причем последнее должно было, по его мнению, иметь форму безгосударственной («свободной») федерации земледельческих, фабрично-ремесленных и иных ассоциаций. Говоря о сути исторического процесса, Бакунин не раз высказывался за материалистический подход к его анализу и даже ссылался на К. Маркса; однако фактически он склонялся к позитивизму О. Конта, а марксизм истолковывал в духе «экономического материализма».

Следующее требующее нашего рассмотрения идеально-политическое течение русского народничества связано с именем П. Н. Ткачева. Он был значительно моложе Н. Г. Чернышевского, А. И. Герцена, М. А. Бакунина; его мировоззрение и деятельность целиком связаны с разночинским этапом освободительного движения в России. Характеризуя мировоззрение П. Н. Ткачева, известный знаток эпохи Б. П. Козьмин, во-первых, называл его главой паправления, «занимавшего крайний левый фланг революционного фронта», а, во-вторых, подчеркивал коренное отличие его взглядов от бакунизма и заявлял: «...большую ошибку делают те, кто считает, что во многом, если не во всем, Ткачев исходит из идей Бакунина, или рассматривает взгляды Ткачева как одну из «ипостасей» русского анархизма»<sup>48</sup>. Сам Ткачев резко противопоставлял себя как апартистским теориям Бакунина, так и концепциям возглавляемых Лавровым «поклонников мирного прогресса». «Русские якобинцы, представители реализма в революции, враги всяких утопий и метафизических фантазий», — так называл он то течение, идеологом которого являлся<sup>49</sup>.

Решающее воздействие на генезис взглядов Ткачева оказалось, с одной стороны, его личное участие в освободительном движении начала 60-х годов, с другой — раннее знакомство с произведениями Чернышевского. Ткачев отвергал характерную для многих последователей «русского социализма» веру в «самобытность» социально-экономического строя России, доказывая, что развитие капиталистических отношений в стране можно приостановить только заменой буржуазного экономического принципа социалистическим. Другое существенное отличие взглядов Ткачева от взглядов большинства народников заключалось в том, что он не верил в способность крестьянства осуществить социальную революцию и считал необходимым начинать ее как можно скорее и не с просвещения народа, а с политического переворота,

совершаемого сознательным меньшинством, которое, создав новое централизованное государство, осуществит с его помощью все необходимые социальные реформы. Вслед за Чернышевским, а отчасти под влиянием отстаиваемого Марксом материалистического понимания истории, Ткачев придавал большое значение «экономическому фактору», однако источник общественного развития видел в действиях руководимых «свободой волей» исторических личностей.

Славянскому вопросу Ткачев уделял гораздо меньше внимания, чем Герцен или Бакунин. Свою позицию он более или менее развернуто изложил в статье «Революция и принцип национальности», которая была опубликована в 1878 г. на страницах его «Набата»<sup>50</sup>. Статья является критическим разбором анонимных «Записок южнорусского социалиста», опубликованных в «украинофильском» журнале «Громада», который издавался в Швейцарии при самом активном участии М. П. Драгоманова. Автором «Записок» был будущий литературовед и лингвист, в то время студент, Д. Н. Овсянико-Куликовский, выступивший с чем-то вроде идеально-политического кредо от имени якобы существующей организации «социалистов-федералистов Южной России». Фактически в «Записках» излагалась концепция Драгоманова, выдвинувшего национальный аспект на первый план общественного развития и пытавшегося доказать, что организационная структура освободительного движения в России должна основываться прежде всего на национальном принципе. Как явствует из воспоминаний Овсянико-Куликовского, он гордился своим идейным родством с Драгомановым и охотно признавал, что в его «брошюрке» (т. е. в «Записках») «были некоторые полемические выпады по адресу журнала «Вперед» и программы «лавристов»<sup>51</sup>.

Весьма критично оценивая «Записки» в целом, Ткачев называл их автора «псевдоюжно-русским социалистом или психореволюционером», которого приняли «под свой милый патронаж заграничные украинофилы», а об изложенной в «Записках» точке зрения писал как о «составленной из жалких обрывков поразительного недомыслия и круглого невежества»<sup>52</sup>.

Автор «Записок» обнаружил силы, заинтересованные в революции не только среди великорусов, малорусов и белорусов, но и среди «общерусов», которые выступают за революцию не в национальном, а в общероссийском масштабе. «Записки» упрекают «общерусов» за то, что «они водрузили сразу знамя социального переворота для всей России и даже всего человечества», их автор призывает: «перестанем

быть общерусами и превратимся в великорусов, малорусов и т. п.»<sup>53</sup> Эти упреки и призывы не были безадресными, они относились к революционным организациям и группам общероссийской ориентации, в том числе к «русским якобинцам» и редакции «Набата», как их печатного органа.

Отвечая Овсянико-Куликовскому, Ткачев писал: «В своей философской наивности он до сих пор, по-видимому, и не подозревал, что в каждой стране или, лучше сказать, в каждом государстве, как бы ни был разнообразен его национальный племенной состав, всегда есть и всегда должен быть класс людей, у которых национальные, племенные особенности почти совершенно изгладились и которых в этом смысле можно назвать общерусами, общефранцузами, общепемцами, общетальянцами, общеамериканцами и т. п.»<sup>54</sup>. К указанному «классу людей» Ткачевым отнесены: «служилое сословие», «бюрократия», а также интеллигенция, ибо, по его мнению, «интеллектуальный прогресс стремится уничтожить господство над человеком бессознательных чувств, привычек, традиционных идей, унаследованных предрасположений, следовательно, он стремится уничтожить национальные особенности...» Аналогичным представляется Ткачеву положение рабочих: «Тип фабричного, тип пролетария имеет настолько же общенациональный характер, как и тип «интеллигентного человека». Совершенно по-иному он оценивает позиции крестьянства: «...Нигде так долго и так упорно не сохраняются местные, национальные особенности, традиционные привычки и чувства, как в деревенской глупши...» В целом, по убеждению Ткачева, «...буржуазный прогресс, нивелируя людей, уничтожая разделяющие их племенные и национальные перегородки, подготовляет почву для торжества наших идеалов [...], осуществления идей братства и равенства»<sup>55</sup>.

Подкрепляя свою аргументацию цитатами из сочинений Драгоманова, Овсянико-Куликовский упрекает «набатовцев» в игнорировании интересов украинской и других национальностей России. «Напротив,— возражает Ткачев,— мы всегда относимся к ним с самым искренним сочувствием, лучшим доказательством чего служит тот факт, что мы, во-первых, никогда не отделяли *своего* дела, *своих* интересов от *их* дела, от *их* интересов, и, во-вторых, в ряды нашей партии [«набатовской»].— В. Д. и Е. К.] всегда имели и всегда будут иметь свободный доступ все социалисты-революционеры без различия национальностей».

На поставленный в общей форме вопрос об отношении истинного социалиста к существованию национальностей,

Ткачев отвечает следующим образом: «Он признает этот факт как факт существования неравенства между людьми [...] Но вполне признавая реальное значение этих фактов, он не признает их за нечто вечное, непреложное, долженствующее существовать до скончания веков. Напротив, он глубоко убежден, что с повсеместным торжеством принципов социальной революции всякие индивидуальные и в особенности и прежде всего всякие племенные и национальные различия между людьми должны неминуемо исчезнуть [...]. Принцип национальности несовместим с принципом социальной революции, и он должен быть принесен в жертву последнему»<sup>56</sup>.

Автор «Записок» и Драгоманов, по убеждению Ткачева, то ли не осознают, то ли делают вид, что не осознают всего этого. Не без основания склоняясь к подозрению своих идеиных противников в двуличии, глава «русских якобинцев» заявляет: «Социализм должен быть принесен в жертву национальности [...] Такова сокровенная задняя мысль малорусских социалистов». Такое обвинение подтверждается призывом Овсянико-Куликовского: «Малорусы должны сделать энергичный почин в деле национализирования социалистических тенденций». Саркастически сравнивая этот призыв с требованием «национализировать математические теории», Ткачев пишет: «Социализм есть социалистическая формула социальных отношений, формула, выведенная из тщательного научного изучения и критического анализа явлений общественной жизни, и эта формула настолько же всеобща и обязательна, как и любая математическая теория»<sup>57</sup>.

Чувашского, татарского, малороссийского национального социализма, заявляет далее Ткачев, нет и быть не может, хотя «никто из русских революционеров никогда не воображал, что для осуществления социалистической формулы повсюду должны быть употребляемы одни и те же способы [...] Однако проводить социализм при помощи различных средств, сообразных с требованием местных условий, совсем еще не значит „национализировать“ его». Формула социализма, по мнению Ткачева, универсальна, «под ее влиянием неминуемо и неизбежно должны ослабиться и исчезнуть все племенные особенности, все национальности должны слиться в одну общечеловеческую семью». В заключение статьи Ткачев еще раз повторяет свою основную мысль: «Между принципом социализма, повторяем снова, и принципом национальности существует непримиримый антагонизм. Или социализм должен быть принесен в жерт-

ву национализма, или национализм в жертву социализма». А затем заявляет, что «украинофилам» необходимо сделать выбор, ибо пока они «ни пава, ни ворона»<sup>58</sup>.

«Набатовской» партии, «русским якобинцам» было свойственно, как видно из сказанного, настолько однозначное и безоговорочное утверждение определяющего значения социальных факторов в историческом процессе, что оно граничило с национальным нигилизмом, с недооценкой реального значения фактов национальных. Идейно-политические воззрения того народнического течения, позиции которого формулировались журналом «Вперед!», обладали определенным сходством с линией «набатовцев», но имели и существенные отличия, которые сводились к несравненно большему вниманию к национальному аспекту общественного развития, к довольно тщательной разработке славянского вопроса.

Первый том продолжающегося издания «Вперед!» вышел 1 августа 1873 г. В предисловии, содержавшем развернутое изложение программы данного течения пародничества, его руководители и идеологи заявляли: «Социальный вопрос есть для нас вопрос первостепенный. Мы видим в нем самую важную задачу настоящего, единственную возможность лучшего будущего. В союзе большинства рабочих в свободную ассоциацию, в организации этого союза для совокупного и могучего действия, в торжестве этой организации и в установлении нового общественного строя на руинах промышленных государств и сословий настоящего мы видим единственное средство осуществить это будущее»<sup>59</sup>. «Вопрос национальный,— говорилось несколько ниже,— по нашему мнению, должен совершенно исчезнуть перед важнейшими задачами социальной борьбы»<sup>60</sup>.

Однако дальнейшие разъяснения в значительной меренейтрализуют одностороннюю категоричность этих деклараций. «Национальности,— читаем мы вслед за последней из процитированных фраз,— представляют совершенно реальную и неизбежную почву для каждого общественного процесса. Приходится действовать в *данной* местности на общество, говорящее данным языком, выработавшееся до *данной* культуры. Если это не взять в соображение, то цель общественной деятельности получит совершенно отвлеченное значение и никогда не осуществится. В разных местностях, для разных национальностей задачи данного мгновения могут быть различны, но каждая нация должна делать свое дело, сходясь в общем стремлении к общечеловеческим целям. Борьба против религиозного элемента,

отрицание всякого союза с церковною и сектаторскою организациею, распространение организации международной ассоциации рабочих, стремление к федерации самоуправляющихся общин или свободных союзов — в этом все национальности могут и должны работать сообща, и в этой общей работе нет препятствий [...]. Эти принципы неизбежно требуют самой решительной борьбы противу той национальной раздельности, противуоположности, враждебности, которые еще слишком часто отзываются в привычках даже мыслящих людей. Всякое возбуждение к соперничеству рас или наций есть прямое отрицание международности социального вопроса и единства борьбы подавленных классов общества противу их притеснителей»<sup>61</sup>.

Приведенные положения относятся к той части предисловия, которую авторы называют «наша программа для внутренних вопросов России». «Но для нас,— пишут они,— существуют и вопросы внешние. Это прежде всего вопрос славянский, и относительно его мы ставим совершенно определенную программу»<sup>62</sup>. И далее подробно излагаются отношения «впередовцев» к истории и современному положению зарубежных славян, оцениваются пути и возможности их освобождения от социального и национального гнета. Эта часть предисловия представляется настолько важной для рассматриваемой темы, что мы приводим большой фрагмент без сколько-нибудь существенных сокращений.

«Мы верим, что славянские народы могут настолько же, как народы германские, романские, англосаксонские, быть орудием для развития социальной будущности человечества [...] Мы верим даже, что в столкновении славян с немцами в пределах двух немецких империй, с турками в пределах Османской Порты менее политической рутины, менее буржуазной традиции находится на стороне славян, чем на стороне их врагов, что образование вполне независимых славянских государств там, где теперь суверенная власть принадлежит немцам и туркам, будет шагом вперед к осуществлению социальных идеалов человечества; поэтому мы сочувствуем глубоко борьбе всех наших братьев славян против господства обветшалой культуры Турции или буржуазных политических типов Германии. Но мы сочувствуем этой борьбе настолько, насколько в ней проявляется стремление к лучшему общечеловеческому будущему, к ограждению личности, к свободе мысли и слова.

Живыми партиями в среде славян мы признаем лишь те, которые пишут на своем знамени, рядом с девизом независимой национальности, девиз социальной борьбы против м-

ннополии частных собственников и капиталистов, научной борьбы против религиозного элемента. Для нас бессмысленна и достойна сожаления борьба национальности, которая сковывает с своими идеалами независимости мертвые и вредные идеалы православия и католицизма, безнравственные предания феодализма, боярства или шляхетства. Социальные партии Сербии, Кроации, Чехии, Польши, Галичины суть наши братья по делу и по крови; их передовым кружкам мы с радостью откроем страницы нашего журнала; мы будем рукоплескать их победам; мы надеемся, что им и только им удастся восстановить независимость их родины, что они вступят равноправными членами в будущий строй федеративной Европы. Славянский вопрос имеет для нас значение как одна из отраслей общечеловеческого вопроса. Мы вполне уверены, что все наши единомышленники в России в этом смысле видят *свой* вопрос в вопросе славянском и хотели бы вместе с нами, чтобы «Вперед!», написанное в заголовке нашего издания, служило призывом всех славян к социальному возрождению, к господству в их среде труда над монополией, науки над богословскими иллюзиями, чтобы наше «Вперед» сделалось программой славянской Федерации, органом всех славян, дошедших до сознания, что будущее для славянства, как и для всего человечества, заключается в девизе: наука и общество, истина и труд, война идолам и монополии!

Это разрешает и самый трудный, по-видимому, для русского вопрос — вопрос польский. Кто поставил интересы хлопов выше интересов шляхты, кто бьется за идеал европейской Федерации свободных общин, тот наш брат и союзник. В будущей Федерации Европе границы между федеративными единицами будут иметь крайне мало значения. Если бы нашим единомышленникам пришлось говорить во всероссийском земстве о вопросе между Польшей и Россиею, они предложили бы, конечно, чтобы каждая община решила самостоятельно, независимо от предыдущей истории, к какой национальности, к какому государственному или социальному центру она потянет. При дальнейшем же самодержавии общин различие национальностей становится лишь бледным преданием истории, без практического смысла. Защитники преобладания шляхты и союзники католицизма — наши врачи, потому что они прежде всего врачи народа польского.

Отсюда следует и наше отношение к народам других племен. Мы будем на стороне всех тех, кто стоит с нами на одной социальной и политической почве. Мы будем всюду на стороне партий и народов, стоящих за науку против

религиозных догматов, за подчинение политических вопросов экономическим или даже, в более тесной области, за ограждение личности против произвола администрации, за свободу мысли, слова, ассоциаций, против стеснительных государственных мер. Мы оставляем в стороне как чуждые общечеловеческим целям и русским интересам все частные и местные вопросы, лежащие вне этой области»<sup>63</sup>.

Аналогичный подход характерен и для других материалов по славянскому вопросу, которые время от времени печатал «Вперед!» Так, в 1874 г., касаясь приобщения славянства к социализму, П. Л. Лавров на страницах этого печатного органа писал: «Славяне не только не находятся [...] в исключительном положении, отклоняющем их от социализма, но есть полная вероятность допустить их восприимчивость относительно его как вследствие исторического развития поземельного владения во многих славянских племенах, так и вследствие социалистической традиции, связанной со всеми национальными славянскими религиозными движениями (богомилов, тaborитов, раскола)»<sup>64</sup>.

Отношение русского народничества к национальному вопросу вообще и к славянскому в частности запечатлено не только в упоминавшихся сочинениях его теоретиков, но и в ряде программных документов народнических («социально-революционных») организаций. Конспиративные условия деятельности накладывали на эти документы свой отпечаток. Как правило, они были максимально лаконичными и могли затрагивать лишь наиболее существенные вопросы практического характера. Несмотря на это, в программных документах имеются более или менее четко выраженные положения об отношении народников к национальному вопросу в целом, а также отдельные высказывания об их отношении к славянству и «славянской» идее. Соответствующий круг вопросов не получил пока сколько-нибудь полного освещения в специальной литературе, но в ряде работ он так или иначе затрагивался.

Одними из первых эти вопросы пытались осветить в начале 30-х годов XX в. оставшиеся в живых участники народнического движения — члены Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. В перечне тем докладов и работ о партии «Народная воля», составленном Обществом, среди других значились: 7. Партия «Народной воли» и Национальные вопросы (Желябов и Драгоманов). 8. «Народная воля» и «Пролетариат»<sup>65</sup>. Однако с прекращением в 1935 г. деятельности Общества эти темы остались неразработанными.

Постепенно, с углублением и расширением тематики

исследований революционного движения 70—80-х годов XIX в., все большее внимание стало уделяться национальному вопросу<sup>66</sup>. Довольно наглядно в новейших работах советских историков прослеживается стремление не только статично констатировать зафиксированное в документах революционного движения отношение к национальному вопросу, но и показать определенную эволюцию теоретических воззрений революционеров, их ошибки и заблуждения в поисках возможно оптимальных решений.

Первая программа «Земли и воли» (конец 1876 — начало 1877 г.) национальному вопросу посвящает следующее место: «В состав теперешней Российской империи входят такие местности и даже национальности, которые тяготятся этим объединением и при первой возможности готовы отделиться, каковы, например, Малороссия, Польша, Кавказ и пр. Следовательно, паша обязанность — содействовать разделению теперешней Российской империи на части соответственно местным желаниям»<sup>67</sup>.

Написанная Г. В. Плехановым передовая статья первого номера «Черного передела», вышедшая 15 января 1880 г., касалась национального вопроса мимоходом, лишь в одном месте. В большом эккурсе в русскую историю, опровергающем мнение о том, что русский народ добровольно признавал князей и охотно подчинялся государственным порядкам, говорилось: «Это подчинение было настолько же добровольно, как и подчинение малорусского народа польскому или подчинение индийцев англичанам»<sup>68</sup>.

В чернопередельской «Программе Народной партии» (7 апреля 1881 г.) предполагалось усиленно пропагандировать следующие принципы будущего общественного порядка: «а) независимость национальностей, механически связанных в настоящее время в единую всероссийскую империю; б) автономия общин; в) свободная федерация общин». Программа Донского общества «Земля и воля» (1882 г.) провозглашала «свободное поступление в казачество лиц, без различия национальностей и вероисповедания» и высказывалась за федерацию «с другими национальностями русской империи». Программа рабочих, членов партии «Народной воли» призывала добиваться следующих перемен в государственном строе и народной жизни: «...3. Народы, насправедливо присоединенные к русскому царству, вольны отделяться или остаться в Общерусском союзе [...] 9. Все русские люди вправе держаться и переходить в какое угодно вероучение (религиозная свобода)». В изложении «Программы социалистического союза рабочих города N» (начало 1880 г., авторство не установлено) называются будущие

реформы, заключающиеся, кроме прочего, «д) в равноправии всех национальностей империи; е) в свободе всех вероисповеданий»...<sup>69</sup>.

«Письмо Исполнительного комитета „Народной воли“ заграничным товарищам» (конец 1881 г., автор Л. А. Тихомиров) содержит развернутую декларацию по национальному вопросу применительно к тогдашней России: «Мы, собственно говоря, не федералисты. Нам кажется, что большие государственные союзы выгоднее малых [...] Область, составляющая один экономический район, поступила бы очень глупо, разделившись на несколько государств по национальностям [...] Со временем весь земной шар составит один экономический район, и поэтому наши идеалы вовсе не рисуют нам раздробление, например, России. Тем не менее излишне прибавлять, что определение своей принадлежности к тому или другому государству зависит всецело от самого народа. Принцип „Народной воли“ несовместим с насильственным подавлением национальностей, особенно таких, как, например, Польша, которых историческое прошлое заставляет стремиться к независимости. Итак, мы не препятствуем кому бы то ни было отделяться, но нельзя не заметить, что вопрос этот до такой степени неразрешимый (кроме Польши), до такой степени сочиненный, что и говорить о нем не стоит в сущности»<sup>70</sup>.

В августе 1883 г. «Вестник Народной воли» опубликовал обращение к польским социалистам, основным автором которого был П. Л. Лавров. В обращении говорилось: «...Мы враждебно выступаем единственно против „реакционного национализма“, т. е. такого, который под видом освобождения и развития нации притесняет истинный народ, что, к сожалению, всегда бывает между националистами. Требуя свободы мысли, слова и прессы, мы оставляем этим самым полную свободу для развития каждого языка [...] Мы не стараемся непременно достичь политической независимости каждого племени, но естественное право всякой общественной группы на самоуправление служит для нас основным принципом, благодаря которому всякое племя, действитель но стремящееся к единению, имеет возможность соединиться и обособиться [...] Народ, т. е. масса трудящаяся и эксплуатируемая капиталом, по нашим убеждениям, один и тот же на всем земном шаре. Что же касается народов в смысле наций, то никакой из них при настоящих социальных условиях не составляет целого, а распадается всегда и всюду на совершенно отдельные слои, из которых каждый имеет прямо противные и враждебные друг другу интересы. Таким

образом, мы в каждом народе защищаем интересы только той части, которая, по нашему определению, действительный народ, и не обращаемся ни к какому народу как к целому. Этот строго социально-политический характер нашей программы свидетельствует ясно, что мы — интернационалисты; наша цель осуществить права человека и гражданина, нераздельно связанные с обязанностями, которые определяет организация общественного союза производителей»<sup>71</sup>.

Так выглядят, судя по имеющимся у нас сведениям, национальная программа революционных народников и их отношение к славянскому вопросу. Мы не считаем эти сведения исчерпывающими, но нам кажется, что они достаточны для некоторых общих выводов. Попытаемся их сформулировать, опираясь на изложенный выше материал и привлекая в отдельных случаях специальную литературу.

После всего сказанного едва ли можно сомневаться в том, что на протяжении 60—70-х годов прошлого века в программных документах революционного народничества и в произведениях его крупнейших идеологов сложилась, хотя и не монолитная, но в основе своей единая теоретико-методологическая концепция славянского вопроса, коренным образом отличающаяся от концепций, которые господствовали в тогдашней дворянско-буржуазной историографии. Используя в качестве исходного рубежа некоторые теоретические положения революционно-демократической историографии, делая попытки применить марксизм к изучению общественного развития, идеологи народничества создали определенную теоретическую базу для своего собственного истолкования всемирно-исторического процесса и его специфики в славянских странах.

Народники в большинстве своем были разночинцами, но объективно их идеология выражала крестьянский протест как против крепостничества, так и против капитализма. С точки зрения общефилософской, наиболее сильное воздействие на народническую историографию оказывал позитивизм<sup>72</sup>. Именно с ним, а также с неокантинианством во многом связана субъективная социология, с помощью которой идеологи народничества создавали свои «теории прогресса», на которой они основывали свою оценку исторического развития отдельных стран и всего человечества. Народнические теоретики, проявляя склонность к материалистическому истолкованию позитивизма, в той или иной мере учитывали экономический фактор в истории, уделяли внимание социально-классовым противоречиям, однако их понимание исторического процесса в конечном счете было идеалистическим.

Конечно, народническая социология не являлась «последним словом науки» наряду с распространяющейся в России марксистской теорией общественного развития. Однако совершенно правильным представляется вывод В. А. Малинина, который пишет: «Подходя к революционным народникам с критериями конкретного историзма [...] мы обнаруживаем прогрессивный характер их убеждений, стремление к строгой научности, немало творческого в постановке проблем философского мировоззрения — сравнительно с официозной идеалистической философией, а также с предшественниками в области просветительско-материалистической традиции»<sup>73</sup>.

Отрицая наличие объективных закономерностей в истории, последователи пароднической социологии отводили центральное место в процессе общественного развития конфликтам между свободой личности и слепой исторической необходимостью, между человеческими идеалами и действительностью, между нравственностью и законом. В революционной ломке тогдашнего общественно-политического строя пароднические теоретики считали главным социальный аспект. Они были уверены, что коренная перестройка может быть осуществлена либо в результате широкого идеино-воспитательного воздействия их единомышленников на членов общества и активных дезорганизаторских действий «критически мыслящих личностей» против государственной системы, либо путем массовых антиправительственных выступлений, в ходе которых «толпы» взбунтовавшихся крестьян будут возглавлены «героями» из революционного подполья. Предполагалось, что основой будущего общественного устройства станут производственные ассоциации в форме крестьянских общин и рабочих артелей, а также различного масштаба самоуправляющиеся федерации из этих ассоциаций, которые и придут на смену существовавшим ранее государственным организмам.

Исходя из этого, субъективная социология отодвигала национальные проблемы на второй план. По убеждению идеологов народничества, путь к решению любого национального вопроса лежал через социальное переустройство общества в соответствии с выдвигаемыми ими принципами; как правило, национальные движения получали их признание и поддержку лишь постольку, поскольку они служили подготовке и осуществлению социальной революции. Народнические теоретики, как и программные документы революционного народничества, провозглашали право наций на самостоятельное существование, и признавали необходимость учета «местных», в том числе национальных условий. Неко-

торые из идеологов народничества уделяли более или менее значительное внимание славянскому вопросу. Они заявляли, что славянские народы внесли немалый вклад в историю человечества своей общинной организацией, являющейся зачатком будущего идеального общества, что они сыграли важную роль в выработке человеческой мыслью социалистического идеала и могут еще многое сделать для его осуществления.

Из сказанного следует, что в рассматриваемый период сложились социально-политические и идеино-теоретические предпосылки не только для становления и развития народнического направления в русской историографии вообще, но также возникла возможность возникновения его и в славяноведческой историографии в России. Осуществилась ли эта возможность, реализовались ли теоретические концепции идеологов народничества в каких-либо конкретных работах по истории зарубежных славян, имевших не только общественно-политическое, но и научное значение? Думается, что ответ на этот вопрос должен быть положительным. Это в определенной степени подтверждается работами С. М. Степняка-Кравчинского по русско-польским связям и многочисленными вполне профессиональными исследованиями П. А. Ровинского, которые вышли в свет на протяжении 60—80-х годов и охватили широкий круг чисто славистических проблем, включая, между прочим, историю богословия и таборитов<sup>74</sup>. В немалой мере сказанное относится и к отдельным трудам известного теоретика народничества П. Л. Лаврова, который, как это будет показано ниже, оставил заметный след и в разработке методологических вопросов славяноведения и в исследовании отдельных вопросов истории славянства.

#### **П. Л. ЛАВРОВ КАК ОДИН ИЗ ВИДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАРОДНИЧЕСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ**

Петр Лаврович Лавров, будучи преподавателем математики в военно-учебных заведениях Петербурга, с конца 50-х годов публиковал статьи по педагогике, естествознанию, философии, истории физико-математических наук. В 1861 г. он произнес речь на студенческой сходке в Петербургском университете, подписал публичные протесты против ареста М. Л. Михайлова, против реакционного проекта университетского устава и травли студентов в печати. В 1862 г. сблизился с Н. Г. Чернышевским и вступил в тайное революционное общество «Земля и воля». В 1866 г. после покуше-

ния Д. В. Каракозова на Александра II был арестован, предан военному суду и в 1867 г. сослан в Вологодскую губернию. Там написал «Исторические письма» (1868—1869), ставшие на многие годы программным трудом для революционеров России и многих других стран Европы. В феврале 1870 г. при содействии Г. А. Лопатина Лавров бежал из ссылки и в марте прибыл в Париж. Осенью того же года, по рекомендации Л. Варлена, вступил в Первый Интернационал, участвовал в Парижской Коммуне 1871 г. По поручению Коммуны в мае 1871 г. выехал в Лондон, где сблизился с К. Марксом и Ф. Энгельсом. В 1873—1876 гг. редактировал «непериодическое» (продолжающееся), а затем двухнедельное издание «Вперед!» (Цюрих, Лондон), ставшее не только органом русского революционного движения, но и трибуной международного рабочего и социалистического движения. В 1877 г. из Лондона переехал в Париж. Позже организовал (1878) русско-польский революционный кружок, установил связь с варшавским социалистическим подпольем, с общероссийскими революционными организациями «Черный передел» и «Народная воля». Был одним из организаторов народовольческой «Русской социально-революционной библиотеки» (1880—1882), заграничного Красного Креста «Народной воли» (1882), редакции «Вестника «Народной воли» (1883—1886), участником создания «Социалистической библиотеки Цюрихского литературно-социалистического фонда» (1889), «Группы старых народовольцев» (1892) и ее издания «Материалы для истории русского социально-революционного движения» (1893—1896). Умер П. Л. Лавров в 1900 г. в Париже и был похоронен с почестями как активный участник международного социалистического и рабочего движения<sup>75</sup>.

В своих славистических трудах Лавров выступал с критикой утверждений об особом пути исторического развития России и зарубежных славянских народов. В противоположность славянофилам, следовавшим идеалистическим представлениям романтической историографии о мирном и патриархальном общественном строе славян, он стремился вскрыть социальные противоречия, внутренние потрясения и антагонизмы славянских государственных образований, выявить классовую сущность движения богомилов и гуситов, связывал эти движения с общеевропейским историческим развитием, отмечал их воздействие на процесс формирования европейской культуры. Ниже мы подробно рассмотрим взгляды Лаврова на славянский вопрос и его конкретные славистические работы, а сейчас остановимся на его фило-

софско-социологических воззрениях, так как без этого дальнейшее изложение стало бы довольно затруднительным.

Философские взгляды и идеальные позиции Лаврова отличаются большой сложностью и противоречивостью. Именно этим объясняется, наверное, тот разнобой в оценках, который при внимательном чтении обнаруживается в новейшей философской литературе, специально посвященной Лаврову или серьезно затрагивающей его мировоззрение<sup>76</sup>. Не полемизируя с тем или иным из авторов по существу, познакомимся вкратце с содержащимися в их работах оценочными суждениями, постараемся сопоставить их друг с другом и выделить то, что представляется нам наиболее объективным и обоснованным.

Начнем с генезиса мировоззрения Лаврова, в частности, с вопроса о влиянии на него позитивизма. Наличие позитивистских воздействий на свое мировоззрение не отрицал сам Лавров, так или иначе отмечают их едва ли не все исследователи. В. А. Малинин, например, признавал, что Лаврову присущ «материалистический взгляд на вещи, который он предпочитал называть принципом реалистической философии», но отмечал наличие в его теории познания позитивистских тенденций<sup>77</sup>. Тремя главными составными частями философской системы Лаврова в монографии В. В. Богатова называются материализм, позитивизм и эволюционизм, или трансформизм. «Позитивизм в истолковании Лаврова,— заявляет Богатов,— есть верность науке, стремление извлечь из науки теоретические выводы, связать с ней метафизическую (философскую) тенденцию»<sup>78</sup>. «С конца шестидесятых годов,— писал задолго до этого Н. И. Кареев,— Лавров вступает в круг вопросов и идей, выдвинутых позитивизмом Огюста Конта и эволюционизмом Дарвина и Спенсера»...<sup>79</sup>.

Естественно, что наиболее полно рассмотрен данный вопрос в книге П. С. Шкуринова о российском позитивизме. Этот автор заявляет, что на рубеже 50-х и 60-х годов «Лавров искал свой философский идеал, не склоняясь к позитивизму», и присоединяется к мнению дореволюционного исследователя А. А. Гизетти, который писал: «Позитивизм никогда не был для Лаврова философией, а только указанием некоторых путей развития будущей философии». По мнению П. С. Шкуринова, Лавров не был позитивистом «в общепринятом значении этого слова», для него позитивизм — это «принцип сближения естествознания и философии», «апология права ученого ставить и решать философские вопросы, понимая самостоятельность средств и сил философской

епархии, признавая науку не основанием, а «руководящим элементом своего построения». Признавая, что «влияние позитивистских принципов деформировало содержание многих идейно-теоретических выводов» Лаврова, П. С. Шкуринов отмечает, что Лавров неоднократно вступал в дискуссии «против позитивистов старых и новых», причем методологической основой высказываемых им критических соображений «являлись принципы его собственной социологии»<sup>80</sup>.

Важен и вопрос об отношении Лаврова к марксизму и прежде всего к материалистическому пониманию истории. Как известно из автобиографии Лаврова, написанной в 1885 г., он признавал себя «учеником Маркса с тех пор, как познакомился с его теорией»<sup>81</sup> (т. е. с 1872 г.) П. С. Шкуринов убежден, что взгляды Лаврова, «хотя и эволюционировали по направлению к марксизму, но явно отставали от теоретических запросов нового этапа освободительного движения, борьбы пролетарских масс, сил социал-демократии»<sup>82</sup>. В. А. Малинин пишет: «Учению Лаврова о государстве в большей мере, чем взглядам на этот предмет других теоретиков народничества, присущи и известная глубина воззрения и историзм, связанные во многом с влиянием на него идеей Маркса»<sup>83</sup>.

Наиболее тщательно вопрос о воздействии марксизма на мировоззрение Лаврова разобран в книге В. В. Богатова, который это воздействие сопоставляет, в частности, с влиянием позитивизма. «Лавров,— заявляет он,— не подменяет марксизм позитивизмом, а, стоя на страже научности, движется в своем развитии не к донаучным принципам контовского позитивизма, а к научным принципам Маркса и Энгельса. Этим объясняется защита им социального учения Маркса и Энгельса от насоков позитивистов»<sup>84</sup>: О влиянии марксизма на существование философской системы изучаемого им идеолога народничества Богатов пишет следующее: «Лавров не был сторонником исторического материализма, не стал и не мог стать марксистом. Узко и односторонне он воспринимал и экономическое учение Маркса, трактуя его как „экономический материализм“»<sup>85</sup>.

Перейдем к общей оценке специалистами философских взглядов и идейно-политических позиций Лаврова. В. А. Малинин заявляет: «...Можно сказать, что Лавров — материалист», но делает оговорки, во-первых, о том, что Лавров «не может провести четкой разграничительной линии между философским материализмом [...] и материализмом механистическим и даже вульгарным», во-вторых, о том, что в «Исторических письмах» он однозначно высказался за

идеалистическое решение основного вопроса в философии, заявив об определяющей роли «форм сознания» в общественном развитии<sup>86</sup>. Еще более двойственна оценка В. А. Малининым отношения Лаврова к детерминизму в науке о человеческом обществе: «Налицо как будто признание исторической закономерности. Но категория закона трактуется субъективистски. Исторический закон — это лишь способ группировки исторических фактов на основе нравственного идеала личности». Теории прогресса Лаврова и других семидесятников, по мнению В. А. Малинича, «не были консервативными» и оказывали «стимулирующее воздействие на революционную интеллигенцию»<sup>87</sup>. Что же касается «субъективного метода в социологии», то его В. А. Малинин характеризует словами В. И. Ленина: «Решительно ничего, кроме хорошего желания и плохого понимания»<sup>88</sup>.

В. В. Богатов, подчеркивая сложность данного вопроса, пишет, что одни ученые безоговорочно причисляют Лаврова к идеалистам, другие готовы видеть в нем материалиста, а остальные говорят о его дуализме, триализме, эклектизме и т. д. Сам Богатов считает, что во взглядах на природу Лавров стоял на материалистических позициях, тогда как во взглядах на общество «был субъективным идеалистом». Вообще для этого автора характерны довольно позитивные оценки лавровского материализма. «К концу жизни Лавров,— читаем в одном месте книги Богатова,— настолько проникся убеждением в силе материализма, что в 1899 г. приходит к выводу о том, что механическая теория мира (которую он отождествлял с материализмом) — единственная надежда науки». В другом месте Богатов пишет следующее: «Лавров не отрицал объективной реальности, данной нам в ощущении, и не только признавал ее, но положил в основу своей гносеологии. Как ученый и историк науки, он смотрел на природу как на объективно существующее независимо от человека, первичное, сущее, что является базой, необходимым основанием и содержанием нашего познания».

Отмечены у Богатова и слабые стороны лавровского материализма. «Лавров,— пишет он,— подходил к понятию материи весьма ограниченно, не отличал онтологического и гносеологического аспектов изучения этой категории, путал их, подходил к ней передко как эмпирик. Он не понял диалектики онтологического и гносеологического, объективного и субъективного моментов в определении материи»<sup>89</sup>. Именно в этом Богатов видит причину того, что Лавров уклонялся от решения основного вопроса философии.

Философская система Лаврова в книге Богатова именуется «рациональным реализмом», в котором центральным пунктом является антропологизм, а проблема «философии развития» играет роль «методологического обруча, скрепляющего три его части» (материализм, позитивизм, эволюционизм)<sup>90</sup>. Антропологический материализм, характерный для мировоззрения русских революционных демократов и народников, оценивается Богатовым очень высоко. По его определению, это было «высочайшее явление философии XIX в.», от которого «до диалектического материализма значительно ближе, чем от материализма механического или метафизического»<sup>91</sup>. Воссоздавая историческую перспективу, Богатов пишет: «Если мы взглянем на систему взглядов Лаврова с точки зрения исторических судеб антропологического материализма, а точнее — реализма, то она представляется одним из пиков развития этой формы материализма. Но если вспомнить, что во второй половине XIX в. бурно развивается диалектический материализм, то степень научности антропологической системы Лаврова приобретает иной вид. В этом плане она может претендовать лишь на роль временного союзника и попутчика диалектического материализма»<sup>92</sup>.

Мнение В. В. Богатова о месте детерминизма в философской системе Лаврова существенно отличается от приводившейся выше оценки В. А. Малинина. «Взгляды Лаврова на природу социального детерминизма,— пишет Богатов,— претерпели серьезную эволюцию от фактического его отрицания до его полного признания. Подход Лаврова к постановке и решению этой проблемы можно охарактеризовать кратко — *поиск научного решения*». Богатов считает, что Лавров отвергал объективный характер законов истории потому, что опасался обвинений в механическом переносе законов природы на общественное развитие. Лавров, говорится в книге Богатова, делает детерминизм орудием социальной активности людей, стимулом для большей их решимости, большей энергии в осуществлении индивидуальных идеалов и построений будущего общества. Кратко суть позиции Лаврова формулируется Богатовым следующим образом: «Во-первых, все человеческие цели и действия, идеалы и планы детерминированы, во-вторых, они детерминированы исключительно социальной средой и воспитанием»<sup>93</sup>. В то же время Богатов признает, что, распространив детерминизм на социальные явления, Лавров оказался бессильным решить проблему свободы воли и приводит слова В. И. Ленина о том, что российские субъективисты Михайловский и Мильтов

(Лавров) «не сумели разобраться даже в столь элементарном вопросе»<sup>94</sup>.

В. А. Малинин находит «агностические тенденции» в теории познания Лаврова, видит в ней «оправдание агностической оценки познавательных возможностей человека»<sup>95</sup>. В. В. Богатов, напротив, отрицает мнение о Лаврове как кантианце и агностике, высказывает убеждение, что он «глубоко материалистически разобрался в проблемах гносеологии [...] реалистически подходил [...] к проблемам жизненной, реальной основы происхождения научных знаний»<sup>96</sup>. Анализируя высказывания Лаврова, касающиеся данного вопроса<sup>97</sup>, Богатов заявляет: «Лавров учил видеть в фактах то, что они реально представляют из себя, а не то, что хочется видеть в них исследователям»<sup>98</sup>. Констатируя, что Лавров различал в естествознании законы «реальные» и «научные», Богатов комментирует это следующим образом: «Отличие объективных законов природы от их отражения в человеческом сознании он видел в том, что первые законы всегда остаются объективными, а вторые — «пределом, к которому стремится наука в своем последовательном развитии»<sup>99</sup>. Богатов высоко оценивает мысли Лаврова о диалектике детерминизма и фатализма, о природе случайности, называя их исключительно глубокими; в то же время он отмечает, что «Лавров иногда упрощенно, механистически трактует соотношение науки и жизни, теории и практики»<sup>100</sup>.

При рассмотрении Богатовым философского метода Лаврова ставится вопрос о том, был ли он диалектиком или метафизиком. Богатов оспаривает мнение Г. В. Плеханова и некоторых советских историков общественной мысли, отрицающих наличие в мировоззрении Лаврова идей диалектики. Взглядам этого теоретика народничества, заявляет Богатов, присущи не только эволюционизм (трансформизм), но и признание более широкого принципа развития. Лавров, говорится в книге Богатова, считал принцип развития универсальным принципом всего сущего: от микромира до макромира, от человека до космоса<sup>101</sup>. Богатов признает, что Лавров специально не изучал законы диалектики, даже неставил вопроса о них, хотя и приближался к выводу о громадном значении принципа противоречия и борьбы нового со старым. Подводя итог своим рассуждениям по данному кругу вопросов, Богатов пишет: «Лавров [...] не был сторонником диалектического метода Маркса и Энгельса, хотя в ряде случаев высказывал глубокие диалектические догадки. Он оставался на позициях эволюционизма, обогащенного идеями диалектики»<sup>102</sup>.

Общую характеристику конкретно-исторических изысканий Лаврова, связанных с национальными движениями и национальным вопросом, необходимо начать с отсылки к упоминавшимся выше программным текстам народнического печатного органа «Вперед!», создателем, редактором и основным автором которого был Лавров. Цитированные нами статьи отражали идеино-политические позиции целого направления народничества, но подготовлены они были прежде всего, а в некоторых случаях исключительно Лавровым, т. е. отражали и его личное мнение по затрагиваемому кругу вопросов. Это подтверждается прямыми свидетельствами, сохранившимися в различных источниках. Но если бы таких свидетельств не существовало, то полную идентичность программы «Вперед!» со взглядами Лаврова без труда можно было бы доказать путем сопоставления материалов данного издания с сочинениями его редактора, публиковавшимися за его подписью или под твердо установленными псевдонимами.

Для уяснения подхода Лаврова к важнейшим теоретическим вопросам философско-социологического характера обратимся прежде всего к «Историческим письмам», написанным в 1868—1869 гг. Рассматривая в этом труде общественное развитие в целом, Лавров заявлял, что преимущественное воздействие на генезис исторических событий оказывают человеческие потребности. Они разделяются, по его мнению, на «...группу так называемых экономических потребностей и на потребность в безопасности. Первая создает экономический строй, его различные функции и органы; вторая — политические отношения». Лавров считал, что на потребности и влечения определяющее влияние оказывают три группы факторов. Во-первых, они зарождаются бессознательно из психического и физического устройства человека; во-вторых, подвергаются изменению или обновляются под действием общественной среды и культурных форм; в-третьих, вырабатываются сознательно. Общественные формы представлялись Лаврову «реальностью культуры», а фактором, оказывающим определяющее воздействие на культуру, он считал мысль. Отсюда его вывод о том, что задача истории «показать, как критическая мысль [...] перерабатывала культуру обществ, стремясь внести в цивилизацию их более истины и справедливости»<sup>103</sup>.

Оттолкнувшись от материальных потребностей человека, рассуждения Лаврова все дальше отходили от них в подчеркивании значимости нематериальных факторов. «...Приближение исторических фактов к реальному или идеальному

лучшему,— писал он,— развитие нашего нравственного идеала в минувшей жизни человечества составляет' для каждого единственный смысл истории, единственный закон исторической группировки событий»<sup>104</sup>. В другом месте есть высказывания, еще более однозначно переносящие исторические закономерности из сферы объективной реальности в область человеческого восприятия и познания: «Общий естествознательный интерес, возбуждаемый отысканием закона теории в ее целом, есть не что иное, как интерес осуществления пашего нравственного идеала в прогрессивном ходе истории [...]. Нравственный идеал истории есть единственный светоч, способный придать перспективу истории...»<sup>105</sup>. Конечно, такой подход ставит под удар принцип детерминизма в истории, и, почувствовав это, Лавров пытается «подстраховаться» заявлением о том, что речь идет о нравственном идеале не отдельного «Я», а группы личностей<sup>106</sup>. Получается нечто вроде того «социально организованного опыта», за который В. И. Ленин весьма резко критиковал А. Богданова в «Материализме и эмпириокритицизме»<sup>107</sup>.

В «Исторических письмах» на основе приведенных идеино-теоретических рассуждений Лавров дает несколько сходных по существу вариантов формулы исторического прогресса: 1) «развитие личности в физическом, умственном и нравственном отношении, воплощение в общественных формах истины и справедливости...»; 2) «...возможное направление исторического течения событий к лучшему, как мы его понимаем, за тот период, который мы можем охватить умственным взглядом»; 3) «рост общественного сознания, насколько оно ведет к усилению и расширению общественной солидарности»<sup>108</sup>. Единственным «деятелем», «органом», «двигателем», «орудием» прогресса Лавров называет критически мыслящие личности, через которые реализуются идеи, преобразующие общественные формы. «Борьба личности против общественных форм и борьба партий в обществе,— писал он,— так же древни, как и первая историческая общественная организация»<sup>109</sup>. По убеждению Лаврова, критически мыслящие личности, которые не обеспечены «хлебом насущным», составляют возможность, а обеспеченные таким — действительность прогресса. «Если бы первых не было,— заявляет он,— то последние никогда бы не могли осуществить ни одного своего начинания»<sup>110</sup>.

Теория критически мыслящих личностей безусловно содействовала вовлечению в освободительную борьбу разночинной интеллигенции России, но содействовала чисто эмоциональными средствами, своей морализаторской сущностью;

в научно-теоретическом плане она была беспомощной и бесплодной. Как известно, критикуя аналогичную субъективно-социологическую теорию Н. К. Михайловского о «героях» и «толпе», опровергая его рассуждения о «фаталистических тенденциях» в марксизме, Ленин писал, что детерминизм отнимает почву у мещанской морали, отвергает вздорную побасенку о свободе воли, но никак не уничтожает ни разума, ни совести человека, ни оценки его действий. «Напротив,— говорится в ленинской работе „Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов“,— только при детерминистическом взгляде и возможна строгая и правильная оценка, а не сваливание чего угодно на свободную волю. Равным образом и идея исторической необходимости ничуть не подрывает роли личности в истории: история вся слагается из действий личностей, представляющих из себя несомненно деятелей»<sup>111</sup>.

«Исторические письма» стали идеино-теоретической базой для политической программы, которая пропагандировалась в изданиях «Вперед!». В свою очередь эта программа послужила исходным рубежом при разработке Лавровым после 1873 г. ряда опубликованных и оставшихся в рукописи программных текстов, которые уточняли, дополняли, конкретизировали высказанные ранее положения.

В 1876 г. лондонская типография «Вперед» выпустила брошюру «Славянский вопрос» (на ее титульном листе из конспиративных соображений указана «типография Императорской академии наук в Петербурге»). Вышедшая анонимно брошюра (ее автором не были ни П. Л. Лавров, ни кто-либо из сотрудников редакции «Вперед») являлась откликом на тот шовинистический угар, который охватил русское общество в связи с восточным кризисом накануне русско-турецкой войны 1877—1878 гг., и призывала очистить «пресловутый энтузиазм... от того квасно-патриотического угара, который навеян на него нашей (т. е. Российской официозной.— В. Д. и Е. Ж.) печатью»<sup>112</sup>. Энтузиазм, говорится в брошюре, нужен царскому правительству «для отвода общественной мысли от внутренних дел и для поднятия его кредита внутри страны»<sup>113</sup>.

Наряду с рассуждениями, относящимися к данному сюжету, в брошюре содержится ряд публицистически заостренных положений общетеоретического характера. «Единоплеменность,— пишет ее автор,— имеет значение и интерес только в науке и в учебниках; в действительной жизни народы сходятся и расходятся, помогают друг другу или враждуют во имя других интересов»<sup>114</sup>. Тем самым на первый план

идейно-политической борьбы выдвигаются в брошюре не национальные, а социально-экономические аспекты исторического процесса. Обращаясь к русским социалистам, автор брошюры заявляет, что так называемое образованное общество прикрывает славянской идеей своекорыстные стремления к власти над балканскими народами. «...Идея славян,— говорится в брошюре,— не есть наша, русская идея. Идея русского народа не есть идея освобождения из-под чужеземного ига; с этим делом он уже покончил; его идея идет дальше и есть освобождение себя из-под гнета невыносимых более условий своего житья-бытья»<sup>115</sup>.

Аналогичной позиции придерживался П. Л. Лавров в датируемых 1878 г. и адресованных югославянским социалистам «Письмах о рабочем социализме». «Громкие слова о братстве славян слишком часто служили русским шовинистам лишь только [...] для стремления подчинить другие славянские народы тому гнету императорского самодержавия и той безжизненной рутине православия, которые так тяжело легли на прошлое и на настоящее русского народа и так гибельно действовали на его внутреннюю жизнь»<sup>116</sup>. Защищая идеи пролетарского интернационализма, выраженные К. Марксом и Ф. Энгельсом в «Манифесте Коммунистической партии», П. Л. Лавров предостерегал от национального нигилизма и недооценки влияния национальных моментов на историю. Классовое единство «рабочего пролетариата», пишет он, составляет «реальные основы социалистического братства. Но в среде этого основного союза интересов и убеждений историческая культура дает почву более тесных сближений, обусловливающих большее удобство взаимодействия, лучшее понимание друг друга [...] Тут, конечно, на первом месте стоит единство национальное, единство языка и культурных привычек»<sup>117</sup>. Конкретизируя это общее положение применительно к русским социалистам, П. Л. Лавров заявлял, что принадлежность к славянскому племени создает возможность для их более тесного сближения «с южнославянскими [...] товарищами, чем с большинством товарищей иных племен и наций»<sup>118</sup>.

В «Письмах» П. Л. Лавров высоко оценивал взгляды и деятельность Светозара Марковича, его соратников и преемников, подчеркивал, что именно по отношению к ним он считает уместным «говорить о нашем братстве не в туманном или неискреннем смысле представителей русского шовинизма, но в смысле совершенно реальном и совместимом с началами рабочего социализма»<sup>119</sup>. О соотношении общих

закономерностей и местной специфики в данной сфере П. Л. Лавров писал следующее: «... Под [...] частностями практической программы действия, неизбежно различными для различных местностей, лежат общие, научные основы рабочего социализма, независящие от местных условий, выработанные общим ходом истории человечества...»<sup>120</sup>. И в науке и в политической программе П. Л. Лавров придавал большое значение осознанию решающей роли экономики, призываю «по возможности прочнее установить преобладание экономических вопросов над всеми остальными задачами современного общества, так как эта мысль, высказанная и развитая, в особенности Карлом Марксом, до сих пор еще вовсе не такочно вошла в плоть и кровь социалистов...»<sup>121</sup>.

Осенью 1878 г. Лавров выработал «Проект Федерации славянских социалистических групп», где говорилось: «Социалистические группы разных славянских национальностей соединяются между собой с целью способствовать развитию социализма вообще во всех территориях, на которых они живут, а также с целью помочь друг другу в случае преследований со стороны правительства той или другой страны, но в отношении внутренней политики каждой страны остаются совершенно независимыми одни от других»<sup>122</sup>. В датируемой концом 1879 г. неопубликованной статье «Письма из Парижа» (конец 1879) Лавров писал: «...Единственная почва истинного братства между поляками и русскими, [это] почва, на которой исчезают все старые политические традиции хищничества, национального преобладания, государственной гегемонии, почва социалистических принципов и социальной борьбы против всемирных врагов рабочего»<sup>123</sup>. Интересно отметить, что идеи Лаврова оказали определенное влияние на вариант программыпольской социально-революционной партии, подготовленный Л. Варынским в 1879 г., в котором говорилось: «Признавая полное достижение наших целей в Польше возможным только при интернациональной солидарности стремлений и усилий социалистов, мы требуем федеративных союзов с социалистами соседних национальностей — немецкой, литовской, белорусской, украинской, русской и вообще других славянских национальностей»<sup>124</sup>.

Сохранился текст лекции П. Л. Лаврова «Национальность и социализм», прочитанный им в «Обществе русских рабочих в Париже» 16 октября 1886 г.<sup>125</sup> В XVIII столетии, говорил он, национальному вопросу не придавали большого значения; энциклопедисты, например, «хотели

быть гражданами мира» (л. 3). XIX век ознаменовался подъемом национальных движений; в эпоху романтизма «возрождение подавленных народностей было общим явлением во всех углах Европы» (л. 4). Национализм обострялся, но «над миром грянул призыв «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Это было, прежде всего, провозглашение великой, непримиримой борьбы классов в капиталистическом обществе; но в то же время это было провозглашение нового интернационализма взамен прежнего космополитизма» (л. 5—6).

Прямо связывая возникновение и развитие интернационализма с деятельностью возглавляемого К. Марксом Первого Интернационала, П. Л. Лавров подробно изложил свой взгляд на взаимодействие национального и социального факторов в революционном движении. «...Каждый человек,— заявлял он,— рождается членом определенной нации; но каждый рождается и подданным определенного государства. Как член нации он унаследовал язык, обычаи, привычки мысли и жизни, отличающие его от людей других наций [...] Как подданный государства, он окружен особенностями юридическими условиями...» (л. 9). Учет национальной специфики обязателен для социалиста, ибо форма его деятельности, «удобная и целесообразная в одной местности, может сделаться совершенно неуместной, а, пожалуй, и вредной в другой» (л. 10). Что же касается государства, то «современный социалист во всякой стране есть враг существующего [...] политического строя [...] Целость нынешних государств, их границы, их политическая гегемония над другими суть для него вопросы, которые вовсе не имеют цены в его планах общественного переустройства» (л. 11). По мнению П. Л. Лаврова, революционные организации при определенных условиях целесообразно строить либо по государственному, либо по национальному принципу. «Понятно,— говорится в лекции,— что украинцы, живущие в Австрии и в России, поляки Варшавы, Львова и Познани при одинаковости социалистических убеждений ставят себе иную политическую задачу, группируются в явные и тайные союзы иного характера, тогда как француз, немец и итальянец Швейцарии, чех, венгерец и саксонец Австрии могут входить в одинаковые или даже в общую организацию, могут преследовать одну и ту же политику, отождествлять свою революционную деятельность» (л. 12).

Наряду с вопросами организационно-тактического характера в лекции П. Л. Лаврова затронуты и некоторые теоретические вопросы. Изложено, в частности, его понимание эт-

национальной истории человечества и генезиса современных наций. П. Л. Лавров считал, что нации существовали еще в древнем мире, но затем почти все они распались, и новые нации буржуазной эпохи образовались из обломков прежних. «Среди первобытных племен,— читаем в лекции,— нации выработались как победительницы дикости, как возможная почва для исторической жизни. Ни одно племя не могло вступить в последнюю, не войдя в состав сплоченной нации с обособленным языком, обособленными обычаями и верованиями<sup>126</sup>. В продолжении всей истории события разлагали старые нации, сближали и заставляли сживаться их обломки, первоначально различные, вырабатывая новый общий язык, новый общий обычай, создавая таким образом новые нации и скрепляя их единство сплошью исторического предания. Все руководящие нации современного мира представляют самый сложный комплекс элементов и ни одна из них не существовала тому 2000 лет [...] Процесс переработки национальностей все продолжается. Более 18 миллионов людей живет в настоящее время вне своей родной территории»... (л. 13—14).

Подводя итог своим рассуждениям о месте национального вопроса в общественной жизни, Лавров заявлял: «Национальность — не враг социализма, как современное государство; это не более как случайное пособие или случайная помеха деятельности социалиста. Лишь тогда, когда национальная связь хочет подавить борьбу классов и сделать рабочего союзником капиталиста-соотечественника против рабочего другой нации, это [...] является противодействием социализма и должно быть побеждено [...] Следовательно, вопрос о деятельности социалиста по отношению к его национальности, как мне кажется, совершенно обусловливается не социалистическими принципами, а обстоятельствами, в которые социалист поставлен» (л. 14—15).

Таковы основные положения специальных работ П. Л. Лаврова, посвященных национальному вопросу. Однако этот вопрос не раз рассматривался им и в трудах общего характера.

Вся система общетеоретических положений, разработанных Лавровым, и многие более частные обобщения, сделанные на основе длительного изучения истории мысли, сведены в его итоговой работе «Задачи понимания истории», изданной под псевдонимом С. С. Арнольди. Не претендую ни в коей мере на пересказ содержания этого труда, весьма на-

сыщенного мыслями и фактическим материалом, приведем из него лишь места, которые представляются нам наиболее важными и характерными.

Определяя цели изучения истории, Лавров выделяет три основные задачи: 1) установить с возможно большей точностью исторические факты; 2) подобно художнику, воссоздать изучаемую эпоху с такой же цельностью впечатления и точностью красок; 3) достичь научно-философского понимания истории как в частностях, так и в целом. В первой задаче главное — достоверность, во второй — единство, цельность и живость образа. Третью задачу Лавров конкретизировал следующим образом: «Понимание истории имеет точкою исхода — как и всякое научное и философское понимание — уяснение отдельных исторических подробностей, отдельной группы событий и общественных форм. Но затем эти попутные группы постепенно расширяются. Уясняется их связь [...] Выдвигаются обобщающие гипотезы [...] Лишь как окончательный результат всех подготовительных работ в области истории образуется в воображении историка-мыслителя общее и объединенное историческое миросозерцание, попытка понять историю совершившегося уже процесса, доставляющая подкладку для решения социологических вопросов, позволяющая до некоторой степени угадывать и ход будущих событий»<sup>127</sup>.

В итоговом труде Лавров несколько скорректировал и развил свое понимание движущих сил исторического процесса. Двигают историю, писал он, личности и «коллективные организмы (общества)», а их действия определяются разного рода человеческими потребностями. Среди основных потребностей первую группу, по мнению Лаврова, составляют «удовольствие, получаемое от общежития, инстинкт полового общения и родительская привязанность», а вторую — «потребность питания, безопасности и первого возбуждения». Первая группа потребностей отнесена Лавровым в основном к физиологической сфере; отнесенные ко второй группе потребности определяют по порядку их перечисления экономическую, политическую и идеально-нравственную жизнь общества. Подводя итоги специальной главы о взаимодействии второй группы потребностей, Лавров сначала признает «преобладание экономических мотивов над всеми прочими при создании общественных форм, идеальных течений и вообще при установлении хода исторических событий», но затем делает ряд оговорок, которые в значительной мере сводят на нет это признание, в основе своейозвучное материалистическому пониманию истории<sup>128</sup>.

Одной из важнейших потребностей человека и общественных групп Лавров объявлял вырастающую «из областей нервного возбуждения потребность развития». Именно она, по его словам, «выделяет интеллигенцию исторических периодов из пародов, классов и многочисленных отдельных особей, остающихся вне истории, и устанавливает грани между жизнью пеисторической и жизнью исторической». Потребность развития, по убеждению Лаврова, появляется в человеческом обществе весьма поздно и охватывает в нем лишь интеллектуальное меньшинство. Интеллигенция, заявляет он, «выступает как двигатель сознательных изменений культуры в противоположность непреднамеренным ее изменениям [...] Ее дело — переработка культуры мыслью». В другом месте итогового труда Лаврова говорится: «Потребность развития выработалась в интеллигенции в самостоятельную силу и сделалась, в сущности, главным двигателем истории»<sup>129</sup>.

Специальная глава труда, посвященная соотношению объективных и субъективных элементов в общественном развитии, показывает, что «поздний» Лавров проявлял не мало доброй воли для решения этого вопроса в духе материалистического понимания истории, но все-таки оставался дуалистом как в онтологической, так и в гносеологической сфере. Об этом свидетельствуют заключительные абзацы главы, в которых читаем: «Таким образом, при рассмотрении спорного вопроса об объективных и субъективных приемах мышления в научном изучении социологии и истории едва ли не всего правильнее допустить, что всюду, где достаточно знания и добросовестности, чтобы понять исторические явления или воспринять их цельную картину, субъективные приемы не только излишни, но и ненаучны. Но во многих случаях изучение эволюции неповторяющихся явлений не дает объективного средства для решения [...] вопросов [...] Решить их возможно большей частью лишь путем заботы историка о своем общем развитии, позволяющем [использовать] все более правильные субъективные приемы этого решения»<sup>130</sup>.

Областью «научного понимания» в исторических исследованиях Лавров считал отдельные явления, процессы, целые эпохи. Более высокий уровень обобщения он относил к задачам «мысли философской, объединяющей». «Ее построения,— заявлял Лавров,— не имеют права отрицать результаты научной критики, но позволяют себе [...] расширять область научных гипотез всеми элементами научно-возможного, желательного и допускающего элемент верования...»

Важнейшей в философии истории Лаврову представлялась проблема соотношения между объективными закономерностями исторического процесса и воздействием на этот процесс отдельных личностей. Он приводит доводы как в подтверждение того, что «в истории мы непосредственно наблюдаем лишь человеческие личности, как волевые аппараты», так и в обоснование применимости к истории тезиса о том, что «детерминизм составляет необходимую точку исхода для всякого научного мышления»<sup>131</sup>.

По убеждению Лаврова, это противоречие может разрешиться только в формуле прогресса, которая свела бы воедино «процесс, объективно обусловленный мировым детерминизмом, и в то же самое время осуществляющийся лишь при помощи субъективно автопомной деятельности ряда волевых аппаратов». Предлагаемая на этот раз формула прогресса объединяет и дополняет те варианты, которые были выдвинуты Лавровым в «Исторических письмах». Она звучит следующим образом: «...Прогресс, как смысл истории, осуществляется в росте и в скреплении солидарности, поскольку она не мешает развитию сознательных процессов и мотивов действия, точно так же, как и в расширении и в уяснении сознательных процессов и мотивов действия в личностях, поскольку это не препятствует росту и скреплению солидарности между возможно большим числом личностей»<sup>132</sup>. Едва ли стоит доказывать, что и этот вариант формулы прогресса, разработанный Лавровым, дуалистичен с точки зрения ответа на основной вопрос философии и не приближает нас к разрешению противоречия между объективными и субъективными факторами исторического процесса. Противоречие это находит свое научное решение лишь на основе теории научного социализма, освоить которую Лаврову так и не удалось.

Другой итоговый труд Лаврова, посвященный важнейшим моментам истории мысли и опубликованный под псевдонимом А. Доленга, позволяет сделать некоторые дополнения к тому, что говорилось выше по поводу его отношения к национальному фактору в истории. Чувство национальной общности, «национальное единство» является, по мнению Лаврова, «промежуточным фазисом между аффектом родовым и позднейшим идеальным». В то же время он был убежден, что существование национальностей и наций не связано с каким-либо определенным этапом исторического развития общества, что они «сохраниют особенности повторяющегося социологического процесса», т. е. вновь и вновь появляются, видоизменяются и исчезают. «Вообще,— за-

являл Лавров,— на национальный союз едва ли не всего правильнее смотреть как на союз, приводящий к *повторяющимся*, а не к *эволюционным* существенным явлениям»<sup>133</sup>.

Ссылаясь на изученные им конкретные факты, Лавров делает следующее обобщение: «...В продолжении всего хода истории мы видим, с одной стороны, ослабление национального чувства и национальной солидарности в эпохи и в странах, где возникают более прогрессивные политические течения или сильные проповеди религиозные или социальные; с другой — неожиданное возрождение национального чувства и национальной враждебности в другие эпохи и в других странах, когда ни политические идеалы, ни религиозные убеждения, ни социальные задачи не заслоняли доисторической традиции обособленности наций и их враждебности»<sup>134</sup>.

Как видно из этого последнего и приводившихся перед ним высказываний Лаврова, он не понимал различия между чисто этническими и этносоциальными категориями, не видел органической связи национального и социального развития, особенно в период перехода от феодализма, а замыкал национальную проблему в чисто идеологическую сферу. Это особенно отчетливо проявляется там, где дается конкретная привязка фактов к ходу исторического процесса. Лавров многократно повторял, что «роль образования и распадения национальности была гораздо самостоятельнее и значительнее в доисторический период». Желая подчеркнуть повторяемость явлений и не видя существенных различий в их сущности, он заявлял, что представление о национальной обособленности «было совершенно логично» в древности, «по это самое представление можно проследить, как переживание [т. е. пережиток.— В. Д. и Е. Ж.] через всю средневековую и новую историю, начиная с наивного взвеличения франков во вступлении к салическому закону, до русских славянофилов, польских мессианистов, французских и немецких современных шовинистов»<sup>135</sup>. Вполне очевидно, что понятие нации (национальности) у Лаврова при всех внешних признаках историчности по существу совершенно неисторично и ненаучно.

#### ВКЛАД П. Л. ЛАВРОВА В РАЗРАБОТКУ ИСТОРИИ ЮЖНЫХ И ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН

Творческое наследие Лаврова включает не только общетеоретические положения, оказавшие определяющее воздействие на народническое направление, не только многие от-

носящиеся к славяноведению частные высказывания методологического и конкретно-исторического характера, но и специальные исследования, посвященные философии истории славян и роли славянских народов в истории мысли. Они основаны на довольно широком круге источников и вносят немало нового в освещение событий и истолкование рассматриваемого фактического материала.

Первая работа была написана в ссылке и опубликована в 1870 г. в «Отечественных записках»<sup>136</sup>. «Философия истории славян» состоит из двух статей, являющихся откликом на вышедшие к 1868 г. сочинения А. Ф. Гильфердинга, а точнее — развернутым опровержением его теоретической концепции, которая по существу своему едва ли не целиком совпадает с соответствующими построениями предреформенных идеологов славянофильства. Способ изложения у Лаврова, как всегда, обстоятелен и академичен: он комментирует попытку «философия истории» (вообще и в применении к славянам), доказывает, что ослабший, было, интерес к этой области вступает в период «прилива», дает обзор известных ему высказываний славянских и неславянских авторов о месте славян в истории человечества. «Славян,— пишет Лавров,— не могли совсем миновать в своих построениях и прежние деятели в философии истории, но, конечно, едва упоминали об них и давали им самую жалкую роль. Из среды самих славян должны были выйти заявления об их роли в истории, и в последнее время славяне начинают достаточно надоедать государственным людям в своих претензиях на историческую роль, чтобы и теоретики истории дали им место в своих построениях» (6,351).

Еще на подходе к основному объекту критики — А. Ф. Гильфердингу — встречаемся с принципиально важным высказыванием Лаврова о русских славянофилах: «...Поражает факт, что племениой славянский элемент у них отступал на второй план перед элементом церковным» (6,352). Эту свою оценку Лавров основательно подкрепляет цитатами из произведений И. В. Киреевского и А. С. Хомякова. Затем он заявляет, что «справедливость требует сопоставить с построением истории славян русскими патриотами построения ее патриотами польскими» (6,368), и со сдержанным осуждением излагает взгляды А. Мицкевича, который подходил к данному вопросу с позиций польского мессианизма. Впервые упомянув А. Ф. Гильфердинга, Лавров выходит за рамки академичности и язвительно замечает, что он не захотел «ограничиться трудом историка», а «пожелал пожать и лавры политика». По ходу дальней-

шего изложения Лавров не пропускает, кажется, ни одного случая для далеко не положительных отзывов о Гильфердинге, употребляя, в частности, следующие выражения: «перазвитость и узость мысли», «сильная склонность к провиденциализму», «незнание» (6, 394, 396, 399).

Рассмотрение существа концепций Гильфердинга начинается с воспроизведения его формулы, которая противопоставляет одни народы другим по их физическим и умственным качествам, способностям к различным сферам деятельности, характерным психическим чертам и т. д. Разобрав противопоставления, не касающиеся славянских народов (римлян — грекам, индийцев — иранцам и т. п.), Лавров приходит к выводу об их необоснованности. Затем дело доходит до славян, которых Гильфердинг противопоставляет главным образом германской расе.

Оценка Лавровым аргументации и приемов Гильфердинга может быть охарактеризована следующими, например, цитатами: «...Славяне вовсе не нуждаются для своего исторического возвеличения в том, чтобы в их пользу отнимали у германских племен заслуженную последними честь политических строителей нового мира» (7,78); «если славянофилам 30-х и 40-х годов, вследствие условий времени можно извинить их увлечения, то в историке 60-х годов возвеличение московской эпохи [речь идет об истории России.— В. Д. и Е. Ж.] принуждает допустить весьма низкую степень развития» (7, 89).

Что касается сути и истоков концепции Гильфердинга, то она характеризуется у Лаврова так: «Основной недостаток построения г. Гильфердинга и причина его ложных оценок лежит в крайней узости его политических и нравственных взглядов. Для него государство — огромная территория, и чем огромнее, тем государство совершеннее. Все его громкие слова о государственности и общественном строительстве заключают весьма простой политический идеал, однажды доступный антропофагу доисторического периода, вавилонянину времени Навуходоносора, монголу времен Чингиса, воеводе времен Грозного, современному повелителю пегров в Ашаготи, Наполеону III и Ванье Каину: захватить побольше земли, получить с нее побольше поборов, прожить в свое удовольствие таким образом подолее, а там трава не расти» (7, 95). С не меньшей горячностью Лавров оспаривает и взгляд Гильфердинга на будущность славян, которая чуть ли не однозначно связывается им с превращением России из всероссийского государства во всеславянское. Лавров об этом пишет: «Какой

он наивный! Изучение истории даже не развило в нем того понятия, что личные и местные силы не развиваются по щучьему велению и моему хотению; что для развития личных и местных сил нужна подготовка, всего менее доступная в государствах, которые приносят в жертву тому, чтобы стать побольше, все умственные потребности и все человеческие стремления...» (7; 96—97). Несколько ниже Лавров отмечает, что «Гильфердинг, воображающий, вероятно, что он очень высоко ставит своих [...] соотечественников, в сущности поставил их всего ниже», а затем пишет: «Читая построения г. Гильфердинга невольно повторишь стариинное изречение: «Заштити меня от моих друзей; от врагов я сам защищусь» (7,98).

Позитивную часть своей статьи Лавров начал с заявления: «Я даже не знаю ни одного славянского языка, кроме русского, и сознаюсь, что очень недостаточно знаком со славянским миром. Но тем не менее [...] я берусь доказать положительными историческими фактами, что [...] в истории европейской мысли славяне уже три раза занимали место в рядах передовых деятелей» (7,100). И далее он с большим жаром старается доказать: во-первых (7; 100—104), что «...проповедь богоизбрания и катаризма была совершенно национальной для южных славян и должна быть заявлена в истории мысли, как их национальное влияние на европейскую мысль»; во-вторых (7; 104—108), что чехи эпохи реформации с их гуситизмом «могут с еще большей гордостью сказать, что они вернее своих последователей, немцев, попяли сущность религиозного движения; что они не отделили умственных интересов меньшинства от практических интересов массы; что они были *единственные* в Европе, завещавшие будущему мысль, которую впоследствии подтвердило глубокое изучение истории»; в-третьих (7; 108—113), что поляки, своей «социнианской ересью» XVI—XVII вв. также внесли аналогичный вклад в историю европейской мысли и оказали воздействие на ее последующее развитие.

На базе сказанного Лавров снова возвратился к выводам Гильфердинга и заявил: «...Я считаю себя вправе заключить прямо противоположно антитезе г. Гильфердинга: история славянских народов выказывает в них, сравнительно с германскими, в слабой степени стремление к политическому строительству; в области же развития мысли они доказали фактически, что не только не ниже других европейских племен, но, *при удобных обстоятельствах*, цельнее и полнее понимают вопросы этой области, чем их соседи, и, следо-

вательно, могут давать на эти вопросы более истинные и передовые решения, чем другие племена» (7, 113—114). «...В славянском уме,— читаем несколько ниже,— заключается возможность сильного и оригинального творчества мысли, цельного и всестороннего усвоения вопросов и безбоязненного ответа на них во всем их значении для современности» (7, 118).

Завершая часть текста, Лавров постепенно переводит данную мысль из отвлеченно-научной сферы в область практической политики и решения вопроса о задачах славянских революционеров. По убеждению Лаврова, славяне суждено и в четвертый раз внести большой вклад в историю человечества. В подцепзурном журнале он определяет предстоящее дело как «проповедь мысли теоретической и практической в ее новейшем фазисе», несомненно имея в виду воплощение в жизнь тех идеалов утопического социализма, с которыми несколько позже начали «хождение в народ» революционные разночинцы 70-х годов. Поставив вопрос о том, кто же из славян возглавит новый этап движения к прогрессу, Лавров указывает на русский народ, обосновывая свое пожелание тем, что «ни одно славянское племя в наше время не пользуется даже приблизительно тем внешним политическим значением, как русские» (7, 123). Заканчивает Лавров еще одним риторическим вопросом: хотят ли русские революционеры и русский народ взять на себя руководящую роль? «Ответ на это,— заявляет он,— даст будущее. Оно не вырастет фатально и бессознательно. Народ создает его сам, своей мыслью, своей деятельностью, но как сознательный орган истории» (7, 126).

Второе славистическое исследование Лаврова является продолжением только что охарактеризованной работы; в нем практически отсутствует критика чужих концепций, зато собственная концепция автора излагается более подробно и аргументированно, а кое-где в нее вносятся, хотя и не принципиальные, но довольно существенные изменения. «Роль славян в истории мысли» Лавров подготовил после побега за границу в форме лекции, прочитанной им находившимся в Швейцарии политическим эмигрантам из славянских стран. Текст лекции, к сожалению, не был напечатан, но он полностью сохранился и публикуется ниже в разделе «Публикации»<sup>137</sup>.

Прямое обращение Лаврова к истории славян было обусловлено рядом объективных и субъективных причин. К объективным причинам относится то, что после побед Пруссии под Садовой (1866 г.) и под Седаном (1870 г.)

серьезно возросла угроза германской экспансии против славянства, а также усилились споры вокруг славянского вопроса в различных кругах, в том числе и в демократических организациях, так или иначе связанных с Первым Интернационалом. Что касается субъективных причин, то здесь следует указать прежде всего на относящееся к 60-м годам существенное расширение контактов Лаврова с участниками польского освободительного движения, с революционерами и общественными деятелями других славянских народов.

«Роль славян» начинается с теоретических положений, характеризующих общий подход автора к национальному вопросу. «Национальности,— заявлял Лавров,— представляют результаты процесса, который зависит частью от исторических обстоятельств. Можно сказать, что они суть результаты природных явлений, видоизменяемых исторической культурой». В последующем тексте имеется развернутый комментарий к приведенному тезису, отчасти перекликающийся с теми положениями, которые содержатся и в других произведениях Лаврова: «Нации не имеют особенного неизменного предназначения, о котором толкуют историки-прорицатели. Они не суть воплощения некоторых метафизических или нравственных идей, как предполагали историки-идеалисты. Народы никем и ни к чему не предназначены [...] Под этими устаревшими и псевдоученными формами речи скрывается лишь простой научный факт: природа и история обособили национальности, развив в них склонность и способность действовать самостоятельно и влиять на соседние нации в одном направлении, воспринимать влияние соседних наций в другом» (с. 310—311).

С самого начала Лавров определяет свои идеино-политические позиции, противопоставляя цель и содержание лекций любой националистической пропаганде. «Если я позволяю себе говорить здесь о роли славян в истории мысли,— заявляет он,— то, конечно, не для того, чтобы проповедовать вражду к какому-либо другому племени, не для того, чтобы толковать о превосходстве того или другого племени, о кровавых традициях борьбы между нациями или о тех пыльных документах давно минувшего, на которых иные патриоты мечтают основать какое-либо живое будущее» (с. 311). Лавров не только резко осуждал любую националистическую традицию, но и противопоставлял ей интернационалистическую позицию Международного товарищества рабочих. Он говорил: «...Традиция национального самовосхваления и национального препирательства о превосходстве составляет для

нашей эпохи весьма печальное направление духа. В то время как вопросы научные объединяют все стремления в области мысли, в то время как вопросы социальные группируют всех работников мира в международное общество для борьбы со столь же космополитическим капиталом, в это время национальное самосознание раздувается в национальную вражду политическими эксплуататорами народов или искренними, но слепыми патриотами» (с. 310—311).

К своей лекции Лавров подходил с определенной утилитарной меркой, хотя все посылки для своих практических выводов старался обеспечить максимально возможной научной аргументацией. «Задача наших бесед,— говорится в тексте лекции,— заключается в том, чтобы указать на некоторые особенности, характеризующие участие славян в истории мысли, выводя эти особенности индуктивно из сравнения уже известных фактов минувшего, а затем показать отношение этих особенностей к современным задачам цивилизации; именно — указать, каким образом, при данной борьбе идей и направлений, славяне, сообразно естественной склонности своей мысли, могут наиболее положительно и полезно участвовать в общечеловеческой истории» (с. 312). Обосновывая правомерность такого подхода, Лавров утверждает, что место того или иного народа в истории связано преимущественно с его ролью в истории мысли, и заявляет: «...Из прошедшего данной науки дозволительно с некоторым основанием заключить о возможности для нее более успешной деятельности в том или другом направлении. Возможности — не более. Как личность, так и нация может упустить самые лучшие минуты для своего общечеловеческого влияния и обратиться, вследствие исторических обстоятельств, к деятельности ей вовсе не свойственной» (с. 317). Что касается славян, то они, по мнению Лаврова, уже трижды «явились в истории европейской мысли заметными деятелями», а в ближайшее время им представляется еще один случай, когда они «могут выступить влиятельными двигателями в истории общечеловеческой мысли» (с. 318).

Первый вклад славян в историю мысли Лавров связывал, как известно, с распространившейся в X в. в Болгарии ересью богомилов, которую он оценивает не только как борьбу за изменение главных догматов христианства, но и как национальный протест славянской нации против проповедей греческого и римского духовенства, интриговавших за подчинение Болгарии константинопольскому патриаршеству или римскому папству. «...Дуалистическая проповедь

богомилов,— утверждает он,— была явлением вполне национальным между южными славянами и сделалась явлением общечеловеческим, т. е. может служить бесспорным фактом самостоятельного и влиятельного вмешательства славян в общечеловеческую историю мысли» (с. 334). Развивая этот последний тезис, Лавров особенно подчеркивает, что проповеди богомилов и катаров обнажали противоречия средневекового христианского миросозерцания, что те и другие стремились последовательно осуществить в жизни собственный, гораздо более цельный христианский идеал. «Славянских дуалистов» постигла неудача. «Но нам важны,— заявлял Лавров,— лишь характеристические черты, подмеченные в рассмотренном нами движении мысли: стремление кциальному миросозерцанию, устраниению из него всяких противоречий; стремление к единству мысли и жизни, к отсутствию отдельности вопросов теоретических и практических, религиозных и социальных» (с. 335).

Переходя к гусизму как второму вкладу славян в историю мысли, Лавров начинает с характеристики перемен, произошедших в европейской жизни к концу XIII в.: «Национальные языки начали играть роль более значительную, и общенациональная латинская республика ученых и знающих всей Европы стала понемногу уступать национальному движению. Верования склонялись к обособлению национальных церквей, связанных с политической жизнью отдельных стран, к уменьшению разницы между духовными и светскими в церкви. Рядом с этим стоял социальный вопрос возрастающих волнений в низших классах»... Первое время социальное и религиозно-догматические движения существовали отдельно. В XV в. славяне сделали попытку «разрешить в их совокупности, в их связи многочисленные вопросы, лежавшие в самом историческом развитии европейской мысли. Это была проповедь Яна Гуса, обратившаяся в народное движение гуситов и в социалистический строй тaborитов» (с. 336).

Сопоставляя идейную сущность и историческое значение гусизма и лютеранства, Лавров вполне однозначно давал предпочтение первому из них. Указывая на то, что лютеранство оказалось исторической силой, соединив два издавна подготовленных оппозиционных стремления — догматически-религиозное и социальное, Лавров отказывал ему в приоритете и заявлял, что протестантизм имел предшественника: «Между догматиком Виклефом и немецким реформатором Лютером стоит [...] чешкий реформатор Иоанн Гус. Он *первый* слил догматическую оппозицию с нацио-

нальной; чехи *первые* бросили в Европу мысль о национальной реформе на основании Библии» (с. 344). Различны, по мнению Лаврова, и исторические судьбы двух общественно-религиозных движений. «Лютеранизм», отвергнув интересы народа, «неизбежно выродился в скучнейшую и тяжелейшую схоластику»... (с. 345). «Гуситизм пал совсем, но он до конца сохранил цельность религиозного значения, как движения, связанного с социальными вопросами, единственными, которые важны для простонародья» (с. 346).

Высоко оценивая богомильство и гусицизм, Лавров указывал и на их слабости, отмечал малую жизнеспособность концепций христианского социализма, связывая это явление с тем, что религия противостоит развитию «критической мысли». В лекциях признается, что «...социалистические идеалы богомилов и тaborитов, вследствие своей тесной связи со сверхъестественными учениями, с догматическими вопросами, не имели возможности утвердиться прочно и в случае своего временного торжества стали бы помехой теоретического и практического развития человечества» (с. 349). При всем том Лавров не устает повторять, что история богомильства и гусицизма сохраняла «для будущего социалистическое предание в самых привлекательных чертах, и таким образом их трагическая судьба более служила прогрессу человечества, чем могло бы, при самых выгодных обстоятельствах, служить ему их торжество» (с. 350).

Третий вклад славянства в историю мысли определяется в цюрихских лекциях по-иному, нежели в статье о философии истории славян. Лавров по-прежнему относит его к заслугам поляков, но связывает не столько с социнианством, сколько с доведением до высшей точки развития идей равенства внутри правящего слоя польской феодальной республики, т. е. среди дворянства средневековой Речи Посполитой. По мнению Лаврова, на Руси отделение «управляющих классов от управляемых» проходило «крайне наглядно» и завершилось при Петре I. «В Польше это произошло несравненно ранее и не по распоряжению правительства, а вследствие самого рода развития политической жизни»... В Речи Посполитой «шляхта захватила все политические права, сделалась единственным и вполне полноправным легальным народом польским [...]. Именно здесь воплощается тайный политический идеал всей Европы: полнейшее политическое равенство всех личностей одного класса, господствующих над бесправной массой». В этом факте Лавров склонен видеть не только негативную, но и позитивную сторону: «Единственное из славянских племен, кото-

рое в этот момент истории поставлено так, что могло войти в развитие человеческой мысли видным деятелем, было племя польское. Там индивидуалистическое начало Европы нашло себе [...] самое полное осуществление [...] Государственная власть обратилась почти в ничто пред политическим правом свободного шляхтича...» (с. 355—356).

Завершается «Роль славян в истории мысли» уже знакомым нам логическим приемом — переходом от научно-теоретических рассуждений к вопросам практической политики, к очередным задачам борцов за общественный прогресс в славянских странах. Как и в «Философии истории славян», Лавров начинает с риторического вопроса, могут ли славяне внести еще четвертый вклад в историю человечества? Ответ дается следующий: «На основании предыдущего я позволяю себе ответить на этот вопрос, не колеблясь, утвердительно: могут. Их отличительная черта была цельность взгляда, малая способность к частным решепиям, к уступкам и соглашениям, решимость идти до конца в мысли и осуществить эту мысль без оглядки в жизни [...]. Нужен именно цельный взгляд, нужна именно решимость отречься от старого, от блестящей традиции прежнего периода. Эта традиция всего менее дорога славянам, потому что их недавнее прошлое не блестящее, их история не привлекательна. К тому же в их быте мы находим некоторые элементы, которые, принадлежа к самым трудным вопросам западного мира, облегчают это решение для славян или, по крайней мере, для части их. У них сохранилось общинное владение землею, тогда как на западе история вызвала форму мелкой собственности [...]. Правда, это старая община патриархальных семей [...] тем не менее, от этой первобытной формы легче перейти к общине рациональной, чем от мелких частных владений» (с. 367).

Интересно, что, стараясь обосновать право славянских народов, и прежде всего русского, на ведущее положение в движении к прогрессу, Лавров ссылается, в частности, на то, что в России быстрее идет эманципация женщин, что именно в России вышел первый перевод «Капитала» К. Маркса на иностранный язык. Оценивая возможности «четвертого вклада» и шансы на главенствующую роль русских, Лавров ссылается на историю, которая одна сможет окончательно ответить на все вопросы. Истинные патриоты, по его убеждению, должны не только стремиться и надеяться, но и учитывать, что на пути они встретят многие враждебные силы, не исключая и национальных предубеждений. Вот как говорится об этом в последнем

абзаце авторского текста лекции: «Пред [...] великим целям общины верующих в лучшее социальное будущее и решившихся содействовать его осуществлению должны побледнеть все различия полов, племен и рас, всякие национальные особенности, всякое национальное недоверие и самохвальство. Лишь как борцы в общем деле славяне могут быть чем-нибудь, или они ничем не будут. Их роль в будущей истории мысли может быть полной преданностью общечеловеческим стремлениям, или у них вовсе нет никакой роли. Их дело — остановиться и умереть со старым разрушающимся миром или идти вперед, сознав задачу мира нового» (с. 370).

\* \* \*

Имеющейся специальной литературой вполне убедительно подтверждается наличие в русской историографии последних десятилетий XIX в. народнического направления, располагавшего своими собственными идеино-теоретическими концепциями исторического развития. Методологической основой исследований, которые были подготовлены в рамках этого направления, послужили разработанные П. Л. Лавровым, Н. К. Михайловским, другими идеологами народничества принципы «субъективной социологии» и различные варианты «теории прогресса». Оказывали воздействие и те высказывания по теоретическим вопросам, которые содержались в программных документах народнических организаций. Народническая историография в целом, несомненно, сыграла немалую роль в развитии науки. Однако, оценивая ее значение, следует помнить о том, что в идеино-политических столкновениях тех лет это направление не только боролось с приобретавшим все более реакционные черты дворянско-буржуазным направлением, но и противостояло делавшей свои первые шаги марксистской историографии.

Народниками была разработана собственная система теоретико-методологических установок, распространявшихся и на решение славянского вопроса. Имеется немало основанных на этих установках конкретных работ об историческом прошлом славянских народов (в том числе зарубежных), что дает основание говорить о существовании во второй половине XIX в. народнического направления не только в русской исторической науке, но также и в славяноведческом комплексе научных дисциплин.

Едва ли не наиболее ярким подтверждением этого служит научное наследие П. Л. Лаврова. Будучи одним из соз-

дателей специфически народнической концепции общественного развития, он активнейшим образом внедрял эту концепцию в изучение истории и современного положения восточных, южных и западных славян, пытался прогнозировать их будущее, причем отводил славянским народам особое место в осуществлении социалистических идеалов революционного народничества. С высоты сегодняшнего дня не составляет большого труда доказать, что славистические исследования П. Л. Лаврова, как одного из представителей народнической историографии, были несовершены в научном и уточченны в идеально-политическом смысле. Однако в свое время эти исследования оказывали положительное воздействие на развитие науки.

Мировоззрение авторов, которых можно отнести к народническому направлению в историографии, было эклектичным. Поэтому вполне обоснована и правомерна критика свойственных им идеалистических ошибок в объяснении исторического процесса, непризнания ими объективной обусловленности всех явлений общественной жизни, непонимания диалектической взаимосвязи между свободой и необходимостью в человеческих поступках, а также недостатков в освещении ряда конкретных вопросов, в том числе относящихся к славяноведению. Но необходимо подчеркнуть и то, что пародническая историография, именно в силу своей эклектичности, содействовала внедрению в сознание специалистов ряда положений, так или иначе связанных с материалистическим пониманием истории, с признанием объективной детерминированности исторического развития общества<sup>138</sup>. В частности, антропологизм, который в той или иной форме проповедывали все пароднические теоретики, конечно же, был существенным шагом вперед по сравнению с методологией, господствовавшей среди профессиональных историков дореволюционной России.

Анализ научной деятельности представителей народнического направления не оставляет сомнения в том, что оно четко отделяло себя как от дворянско-буржуазной историографии в лице славянофила А. Ф. Гильфердинга и ему подобных, так и от либерального направления; представляемого «украинским мещанином» М. П. Драгомановым вместе с его «оруженосцем» Д. Н. Овсянико-Куликовским. Не менее четко ощущали деятели народнического направления и разграничительную линию с «экспоматическим материализмом» (куда они отоспили и марксизм), хотя здесь признавались и определенные точки соприкосновения, которые довольно охотно отмечали не только П. Л. Лавров, П. Н. Тка-

чев, но и М. А. Бакунин. С другой стороны, можно отметить явные признаки внутренней солидарности народнического направления, которое выражалось, например, в том, что П. Н. Ткачев отстаивал взгляды П. Л. Лаврова в полемике против «драгомановщины», а П. Л. Лавров в споре с А. Ф. Гильфердингом использовал аргументы своего единомышленника П. А. Ровинского.

Приведенные выше факты и соображения, а также публикуемый в конце настоящего сборника текст лекции П. Л. Лаврова «Роль славян в истории мысли» представляются нам достаточными для выделения народнического направления в славяноведческой историографии, хотя, разумеется, не дают исчерпывающей характеристики его конкретного вклада в науку. Необходима еще большая работа по выявлению авторов, изучавших славянские народы с соответствующими идеино-теоретическими позициями, по определению их роли в развитии славяноведения; нужно продолжать и исследование теоретико-методологической основы народнической историографии в данной сфере. Все это — дело будущего, требующее значительных коллективных усилий.

<sup>1</sup> Очерки истории исторической науки в СССР/Под ред. М. В. Нечиной и др. М., 1960, т. 2, с. 7—291.

<sup>2</sup> Там же, с. 484.

<sup>3</sup> Там же, с. 501.

<sup>4</sup> Кстати сказать, термин «школа» не выглядит в данном случае достаточно уместным, так как речь идет о специалистах настолько разных, что их никак невозможно отнести к одной школе.

<sup>5</sup> Это подтверждается, в частности, тем, что многие из упоминаемых у С. А. Никитина ученых рассматриваются его соавторами по «Очеркам» в главе о дворянско-буржуазной историографии русской истории.

<sup>6</sup> Лаптева Л. П. Основные линии развития научного славяноведения в России в XIX — начале XX в.— Вестн. Моск. ун-та, сер. 9. История, 1977, № 2, с. 57.

<sup>7</sup> Там же, с. 62.

<sup>8</sup> Там же.

<sup>9</sup> Там же, с. 60—66.

<sup>10</sup> Рубинштейн Н. Л. Русская историография. М., 1941, с. 367—388.

<sup>11</sup> Достян И. С. Русская общественная мысль и балканские народы: От Радищева до декабристов. М., 1980. 328 с.

<sup>12</sup> Подробнее см.: Славяноведение в дореволюционной России: Библиографический словарь. М., 1979, с. 28, 63—65, 116—120, 129—131, 360—362 и др.

<sup>13</sup> Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч. М., 1950, т. 8, с. 449—450. Далее ссылки на это издание даются непосредственно в тексте.

<sup>14</sup> Подробнее см.: Дьяков В. А. «Славянский вопрос» и политическая программа Н. Г. Чернышевского.— В кн.: Проблемы истории общественной мысли и историографии. М., 1976, с. 127—135.

- <sup>15</sup> Аксенова Е. П. Вопросы истории народов Центральной и Юго-Восточной Европы на страницах «Современника» (1854—1862).— Сов. славяноведение, 1980, № 4, с. 43—56; *Она же. История славянских и балканских народов на страницах «Современника» (1863—1866)*.— В кн.: Исследования по историографии славяноведения и балканистики. М., 1981, с. 237—260.
- <sup>16</sup> Сов. славяноведение, 1980, № 4, с. 56.
- <sup>17</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 256.
- <sup>18</sup> Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1954, т. 1, с. 278.
- <sup>19</sup> Там же, т. 2, с. 112.
- <sup>20</sup> Там же, т. 7, с. 248.
- <sup>21</sup> Там же, с. 193.
- <sup>22</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 258.
- <sup>23</sup> Там же, с. 257.
- <sup>24</sup> Герцен А. И. Собр. соч., т. 9, с. 135, 137.
- <sup>25</sup> Там же, т. 7, с. 315.
- <sup>26</sup> Там же, т. 12, с. 199.
- <sup>27</sup> Подробнее см.: Волгин В. П. Социализм Герцена.— В кн.: Проблемы изучения Герцена. М., 1963, с. 63—64.
- <sup>28</sup> Герцен А. И. Собр. соч., т. 7, с. 257.
- <sup>29</sup> Там же, т. 12, с. 132.
- <sup>30</sup> Там же, т. 11, с. 127.
- <sup>31</sup> Там же, т. 13, с. 205.
- <sup>32</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 260.
- <sup>33</sup> Бакунин М. А. Речи и воззвания. Издание И. Г. Балашова. Б. м., 1906, с. 113—123.
- <sup>34</sup> Бакунин М. А. Избр. соч.: В 4-х т. Лондон, 1915, т. 1, с. 13—46.
- <sup>35</sup> Там же, с. 40.
- <sup>36</sup> Герцен А. И. Собр. соч., т. 11. М., 1957, с. 360.
- <sup>37</sup> Бакунин М. А. Избр. соч., т. 1, с. 54.
- <sup>38</sup> Там же, с. 55.
- <sup>39</sup> Там же, с. 74—75.
- <sup>40</sup> Там же, с. 64.
- <sup>41</sup> Там же, с. 91—92.
- <sup>42</sup> Там же, с. 47.
- <sup>43</sup> Там же, с. 49.
- <sup>44</sup> Там же, с. 47, 48.
- <sup>45</sup> Там же, с. 49.
- <sup>46</sup> Там же, с. 48.
- <sup>47</sup> Подробнее см.: Колпинский Ю. Н., Твардовская В. А. Бакунин в русском и международном освободительном движении.— Вопр. истории, 1964, № 10, с. 88—93.
- <sup>48</sup> Козьмин Б. П. П. Н. Ткачев.— В кн.: Козьмин Б. П. Из истории революционной мысли в России. Избр. труды. М., 1961, с. 349, 402.
- <sup>49</sup> Ткачев П. Н. Соч.: В 2-х т. М., 1976, т. 2, с. 318.
- <sup>50</sup> Там же, с. 302—323.
- <sup>51</sup> Лавров П. Л. Сборник статей. Иг., 1922, с. 440. Что касается взгляда Драгоманова по национальному вопросу, то о них подробнее см.: Дьяков В. А. В. И. Ленин об освободительном движении в Польше и его оценке М. П. Драгомановым.— В кн.: Ленин и Польша. Проблемы, контакты, отклики. М., 1970, с. 67—114.
- <sup>52</sup> Ткачев П. Н. Соч., т. 2, с. 308—309, 312.
- <sup>53</sup> Там же, с. 316—317.
- <sup>54</sup> Там же, с. 312.
- <sup>55</sup> Там же, с. 314—315.
- <sup>56</sup> Там же, с. 319—320.

- <sup>57</sup> Там же, с. 321.
- <sup>58</sup> Там же, с. 322—323. Анализируя аналогичные дискуссии, которые вел Н. К. Михайловский против того же Драгоманова и его единомышленников, специалисты по философии народничества следующим образом определяют суть расхождения: «В этом пункте — один из водоразделов революционного и либерального народничества. Драгоманов, Изогоев и другие провозглашали: «Все для пации, через нацию»; их противники заявляли: «Все для блага народа и носредством народа» (*Малинин В. А. Философия революционного народничества*. М., 1972, с. 133).
- <sup>59</sup> Революционное народничество 70-х годов XIX века. 1870—1875 гг. М.; Л., 1964, т. I, с. 23.
- <sup>60</sup> Там же, с. 26.
- <sup>61</sup> Там же, с. 26—27.
- <sup>62</sup> Там же, с. 36.
- <sup>63</sup> Там же, с. 36—38.
- <sup>64</sup> «Вперед!» Непериодическое издание. 1874, т. 3, отд. III, с. 110.
- <sup>65</sup> Государственный Исторический музей. Отдел письменных источников, ф. 486, д. 278, л. 1.
- <sup>66</sup> См.: *Волк С. С. Программные документы «Народной воли» (1879—1882)*.— В кн.: Вопросы историографии и источниковедения истории СССР. М.; Л., 1963, с. 375—473; *Он же. Народная воля. 1879—1882*. М.; Л., 1966; *Жигунов Е. К., Рацковский Е. Б. Из истории русско-польских революционных связей 1878—1880 гг.* (П. Л. Лавров и польские социалисты).— В кн.: Общественное движение в пореформенной России. М., 1965, с. 275—299; *Они же. Ранние программы социалистического движения в Польше. (К истории становления мировоззрения партии «Пролетариат»)*.— Сов. славяноведение, 1965, № 6, с. 12—24; *Твардовская В. А. Социалистическая мысль в России на рубеже 1870—1880-х годов*. М., 1969; *Сынкто Т. Г. Русское народничество и польское общественное движение 1865—1881 гг.* М., 1969. 478 с.; *Жигунов Е. К. П. Л. Лавров и его связи с польским революционным движением 70—90-х годов XIX в.*— В кн.: Исследования по истории польского общественного движения XIX — начала XX в. М., 1971, с. 331—361; *Самбук С. М. Революционные народники Белоруссии*. Минск, 1972; *Орехов А. М. Социал-демократическое движение в России и польские революционеры*. М., 1973. 303 с.
- <sup>67</sup> Революционное народничество 70-х годов XIX века. 1876—1882 гг. М.; Л., 1965, т. II, с. 31.
- <sup>68</sup> Там же, с. 140.
- <sup>69</sup> Там же, с. 151, 157, 158, 188, 438.
- <sup>70</sup> Там же, с. 320.
- <sup>71</sup> Цит. по: *Жигунов Е. К. П. Л. Лавров и его связи...*, с. 354—355.
- <sup>72</sup> *Шкуринов П. С. Позитивизм в России XIX века*. М., 1980, с. 194—226.
- <sup>73</sup> *Малинин В. А. Философия...*, с. 333.
- <sup>74</sup> См.: *Славяноведение в дореволюционной России. Библиогр. словарь*. М., 1979, с. 199—200, 292—295.
- <sup>75</sup> О жизни и деятельности П. Л. Лаврова подробнее см.: *Володин А., Итенберг Б. Лавров*. М., 1981. Там же — основная библиография, с. 317—318; *Zsigunov Je. K. P. L. Lavrov társadalmi-politikai nézetei*.— In: *A haladó orosz gondolkodás fejlődése a forradalmi demokratizmustól a marxizmusig*. Budapest, 1980, s. 233—300.
- <sup>76</sup> См., в частности: *Богатов В. В. Философия П. Л. Лаврова*. М., 1972; *Малинин В. А. Философия...*; *Шкуринов П. С. Позитивизм в России...*

- <sup>77</sup> Малинин В. А. Философия..., с. 93—94.
- <sup>78</sup> Богатов В. В. Философия П. Л. Лаврова, с. 85, 286.
- <sup>79</sup> Кареев Н. И. «Теория личности» П. Л. Лаврова. К истории социологии в России. СПб., 1901, с. 23.
- <sup>80</sup> Шкуриков П. С. Позитивизм в России..., с. 198, 208, 204—205, 206. К этому стоит добавить меткое замечание В. В. Богатова о том, что «Лавров пытался позитивиста позднего побить позитивистом ранним», что он осуждал «поздних позитивистов как реакционеров, апологетов буржуазии, врагов пролетариата и его солидарности» (Богатов В. В. Философия П. Л. Лаврова, с. 291).
- <sup>81</sup> Лавров П. Л. Избранные произведения на социально-политические темы: В 8-ми т. М., 1934, т. 1, с. 95.
- <sup>82</sup> Шкуриков П. С. Позитивизм в России... с. 207.
- <sup>83</sup> Малинин В. А. Философия, с. 272.
- <sup>84</sup> Богатов В. В. Философия П. Л. Лаврова, с. 293.
- <sup>85</sup> Там же, с. 194.
- <sup>86</sup> Малинин В. А. Философия..., с. 66, 111.
- <sup>87</sup> Там же, с. 223, 209.
- <sup>88</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 415.
- <sup>89</sup> Богатов В. В. Философия П. Л. Лаврова, с. 33—35, 140, 147, 155—156.
- <sup>90</sup> Там же, с. 40—41.
- <sup>91</sup> Там же, с. 77—78.
- <sup>92</sup> Там же, с. 30.
- <sup>93</sup> Там же, с. 122, 124, 126—127, 130.
- <sup>94</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 440.
- <sup>95</sup> Малинин В. А. Философия..., с. 94.
- <sup>96</sup> Богатов В. В. Философия П. Л. Лаврова, с. 201, 209.
- <sup>97</sup> См., в частности: «Объективная истина составляет содержание нашего познания объективного мира вообще и наукой о природе в ее целом; для этой науки вне объективной реальности нет ничего, и вне объективного метода познания нет средств знать истину» (Лавров П. Л. Опыт истории мысли. СПб., 1875, с. 16).
- <sup>98</sup> Богатов В. В. Философия П. Л. Лаврова, с. 204.
- <sup>99</sup> Там же, с. 217. (В конце фразы процитированы слова Лаврова.—«Энциклопедический словарь». СПб., 1862, т. 4, с. 486).
- <sup>100</sup> Богатов В. В. Философия П. Л. Лаврова, с. 227.
- <sup>101</sup> Там же, с. 264.
- <sup>102</sup> Там же, с. 276.
- <sup>103</sup> Лавров П. Л. (*Миртов*). Исторические письма. СПб., 1906, изд. 4-е, с. 342—343, 382.
- <sup>104</sup> Там же, с. 39.
- <sup>105</sup> Там же, с. 361, 363.
- <sup>106</sup> Там же, с. 47—48.
- <sup>107</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 18, с. 242.
- <sup>108</sup> Там же, с. 51, 311, 339.
- <sup>109</sup> Там же, с. 152—153.
- <sup>110</sup> Там же, с. 97.
- <sup>111</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 159.
- <sup>112</sup> Славянский вопрос. СПб., 1876, с. 6. К вопросу об авторстве этой работы см.: Жигунов Е. К. К истории русско-сербских революционных связей 70—80-х годов XIX века. (П. Л. Лавров и сербские революционеры). В кн.: Советское славяноведение. Минск, 1969, с. 334.
- <sup>113</sup> Славянский вопрос, с. 12.
- <sup>114</sup> Там же, с. 26.

- <sup>115</sup> Там же, с. 28—29.
- <sup>116</sup> ЦГАОР СССР, ф. 1762, оп. 2, д. 203, л. 66.
- <sup>117</sup> Там же.
- <sup>118</sup> Там же, л. 68.
- <sup>119</sup> Там же.
- <sup>120</sup> Там же, л. 69.
- <sup>121</sup> Там же, л. 70.
- <sup>122</sup> Цит. по: Жигунов Е. К. П. Л. Лавров и его связи..., с. 348.
- <sup>123</sup> Цит. по: Жигунов Е. К., Ращковский Е. Б. Из истории..., с. 295.
- <sup>124</sup> Там же, с. 290—291.
- <sup>125</sup> ЦГАОР СССР, ф. 1762, оп. 2, д. 301, л. 1—21.
- <sup>126</sup> П. Л. Лавров, как известно из других его работ, выделял, например, древнегреческую и древнеримскую нации.
- <sup>127</sup> Арнольди С. С. [П. Л. Лавров]. Задачи попимания истории. Проект введения в изучение эволюции человеческой мысли. СПб., 1903, изд. 2-е, с. 6—10.
- <sup>128</sup> Там же, с. 10—11, 36, 54—55.
- <sup>129</sup> Там же, с. 40, 25, 57.
- <sup>130</sup> Там же, с. 95—96.
- <sup>131</sup> Там же, с. 99—101.
- <sup>132</sup> Там же, с. 116, 121.
- <sup>133</sup> Доленга А. Важнейшие моменты в истории мысли. М., 1903, с. 237, 242, 243.
- <sup>134</sup> Там же, с. 344—345.
- <sup>135</sup> Там же, с. 346, 356—357.
- <sup>136</sup> Лавров П. Л. Философия истории славян.— Отечественные записки, 1870, № 6, с. 347—420; № 7, с. 65—126. Далее ссылки на эту работу даются непосредственно в тексте с указанием номера журнала и страницы.
- <sup>137</sup> ЦГАОР СССР, ф. 1762, оп. 2, д. 204, л. 1—103. Текст лекций полностью печатается ниже в разделе «Публикации». Далее ссылки делаются на страницы этой публикации.
- <sup>138</sup> См., в частности: Лавров П. Л. Опыт истории мысли. СПб., 1875, с. 3, 16, 19 и др.

---

М. А. РОБИНСОН

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРУДОВ  
РУССКИХ  
ИСТОРИКОВ-СЛАВЯНОВЕДОВ НАЧАЛА XX в.

Вопрос о методологических концепциях, господствовавших в буржуазной исторической науке, вызывает в современной советской исторической науке значительный интерес. Так, например, в последние годы появились монографии Б. Г. Сафонова, Л. Н. Хмылева, О. Л. Вайнштейна, П. С. Шкурикова<sup>1</sup>. Все четыре позванных автора исследуют в своих трудах сложные проблемы как зарождения тех или иных буржуазных методологических концепций, так и их взаимоот-

иошения. Поставленная нами проблема является частью этой общей проблематики.

Для исторической науки конца XIX — начала XX в. характерно появление кризисных явлений, распространение неокантианских концепций. Поэтому, занимаясь этим периодом в истории русского славяноведения, совершенно необходимо обращение к проблемам методологии. Нельзя сказать, что этот вопрос не находит места в историографических трудах. Неоднократно высказывалась мысль о том, что буржуазно-либеральные круги русских ученых-славяноведов находились «под значительным воздействием идей позитивизма»<sup>2</sup>, что в теоретических основаниях их работ «более или менее значительное место занимали теоретические построения позитивизма»<sup>3</sup>. Существуют и более решительные заявления о том, что русские славяноведы конца XIX — начала XX в. стали в основном «сторонниками позитивизма»<sup>4</sup>, что, господствовавшая в русском славяноведении в области исторических исследований буржуазная методология «выражалась в форме позитивизма, широко распространенного в исторической науке той эпохи вообще»<sup>5</sup>.

Все эти замечания справедливы, но необходимо подкрепить их анализом взглядов отдельных историков-славистов. Вопрос же о позитивизме конца XIX и начала XX в. очень сложен, и если «первый позитивизм» — старолиберальный, классический позитивизм О. Конта и его учеников — понимается исследователями более менее сходно, то «второй позитивизм», время его возникновения, его характерные черты и особенно взаимоотношение с неокантианством и ма-хизмом определяются по-разному. Тем более надо учитывать, что позитивизм в социологии и философии не адекватен позитивистской методологии в исторических трудах. Общеизвестно, что для позитивистской историографии лишь отчасти были свойственны многие слабости позитивистской социологии.

В философском плане «второй позитивизм» выступает течением родственным неокантианству. Начало синтеза контизма и неокантианства в сфере философской исследователи относят к 80-м годам XIX в.<sup>6</sup>, главной же формой проявления «второго позитивизма» называется эмпириокритицизм<sup>7</sup>. Э. Max и Р. Авепариус уже в 70—80-е годы пытались дискредитировать раннего Конта<sup>8</sup>, тем не менее падение влияния «первого позитивизма» относят к 90-м годам XIX в. Но, по мнению одних исследователей, «первый позитивизм» сменяется «вторым позитивизмом» и тесно связанным с ним

неокантианством<sup>8</sup>, по мнению других, в это время в «области теоретической проблематики происходит падение авторитета «первого позитивизма» и появление различных антипозитивистских и неоидеалистических течений (т. е. неокантианства.— *M. P.*)»<sup>10</sup>. Однако тот же автор полагает, что «представители неокантианской школы в русской буржуазной историографии находились под влиянием позитивистской социологии»<sup>11</sup>. Сближение «второго позитивизма» и неокантианства на примере воззрений таких ученых, как В. О. Ключевский<sup>12</sup> и Н. И. Кареев<sup>13</sup>, делается и другими авторами. Можно прямо отнести к характерным признакам неокантианства и такие основные черты «второй генерации» позитивизма, как субъективизм, психологизм, гносеологизм и стремление ограничить компетенцию науки<sup>14</sup>. По-видимому, на эту близость двух течений и опирается вывод о том, что «неверно рассматривать неокантианские марбургскую и баденскую школы и их русских последователей как силы «противостоящие позитивизму», что «этот „антипозитивизм“ был вызван стремлением освободиться от некоторых постулатов „первого позитивизма“»<sup>15</sup>. Есть, однако, и прямо противоположное мнение, определяющее обе школы немецкого неокантианства, возглавлявшееся В. Виндельбандом и Г. Риккертом как принципиальных противников не только марксизма, но и позитивизма<sup>16</sup>. Существует также еще ряд спорных вопросов, рассмотрение которых не входит в нашу задачу.

Для того чтобы получить определенное представление о методологических позициях историков-славяноведов, необходимо обратиться непосредственно к анализу творчества каждого из них. О необходимости такого анализа говорит хотя бы тот факт, что относительно методологии такого известного историка и социолога, как Кареев, не существует единого мнения. Ученого относят к позитивистам, взгляды которых в начале 900-х годов не изменились<sup>17</sup>, с другой стороны, считается, что он все-таки испытал влияние неопозитивизма<sup>18</sup>, что в 90-е годы и начале XX в. он постепенно отошел от контизма<sup>19</sup>, иногда имя Кареева значится среди теоретиков неопозитивизма<sup>20</sup>; мнение о близости Кареева к неокантианцам мы уже упоминали. Все это говорит о сложности поставленной нами задачи. Поэтому мы не претендуем на полную разрешение проблемы. В данной статье мы попытаемся проанализировать и охарактеризовать взгляды нескольких известных историков-славистов, относящихся, по нашему убеждению, к позитивистскому направлению.

Эту группу составляют три специалиста по истории западных славян: В. В. Новодворский, М. К. Любавский, Н. В. Ястребов и крупнейший дореволюционный специалист по истории славяпского права Ф. Ф. Зигель.

Среди ученых-славяповедов открыто о философских воззрениях и методологии своих научных исследований заявляли очень немногие. К ученым, пытавшимся определить место своей методологии в общем ряду методологических концепций развития общества и науки, можно отнести таких славистов, как Зигель и Новодворский.

Ф. Ф. Зигель поднял вопрос о методологии истории в связи с проблемой периодизации развития славянского права, историю которого он преподавал многие годы. В специальной статье «Периодизация славянского права», вышедшей в 1905 г., он ставил вопрос о необходимости предположить, что «историческое развитие представлений об устройстве государственной и частной жизни в отдельных славянских государствах совершилось однообразно»<sup>21</sup>. Для решения этого вопроса ученьи считал необходимым раскрыть те силы, «которые производят изменения во всем общественном строе», и здесь Зигель видел «четыре различных ответа»<sup>22</sup>. Он сделал самостоятельную попытку классифицировать различные методологические подходы к изучению истории вообще. Подобная же классификация дается им и в лекционном курсе «История славянского права», поэтому мы будем рассматривать обе эти работы вместе. Причем следует отметить, что в статье ученьи объявляет о своем понимании главного признака смеси одной исторической эпохи другой после рассмотрения четырех существующих, по его мнению, решений данного вопроса, останавливаясь на четвертом варианте. «Мы приходим к заключению,— писал он,— что изменения в морозозерцании должны служить началами новых периодов»<sup>23</sup>. В курсе эта мысль присутствует изначально, и автор уже под этим углом рассматривал все положения других ученых.

Первое место в классификации Зигеля занимает О. Конт. Толкуя положения Конта, находящие «многочисленных поклонников и доселе», ученьи формулировал позитивный этап в развитии науки. «...Изучаются,— писал он,— только одни явления в их сосуществовании и последовательности с целью открыть законы явлений ради владычества над ними»<sup>24</sup>. К ближайшим последователям Конта Зигель относил Г. Т. Бокля и Дж. У. Дрэпера. К Боклю (в статье) и к Конту (в курсе) ученьи относил положение о том, «что развитие зависит главным образом от накопления положи-

тельных знаний в обществе и от распределения их»<sup>25</sup> и что «накопление и распространение знаний в пароде ускоряет прогресс, а потому может быть положено в основу периодизации»<sup>26</sup>. Зигель соглашался с тем, что это «самый важный фактор, который подготавливает изменение мировоззрения». Но «все-таки не вполне научно,— по мнению Зигеля,— признавать за ним исключительную монополию»<sup>27</sup>.

На второе место в своей схеме Зигель ставил Э. Кипе и И. Д. Фюстель де Куланжа, которые отметили «значение религиозных изменений для строя государства», ввиду того что «перемены в религиозных верованиях народных масс производят перевороты во всем общественном быте»<sup>28</sup>.

Полностью в духе буржуазной науки того времени Зигель освещал в нескольких строчках учение К. Маркса, занимающее третье место в его классификации. По этой теории, отмечал Зигель, «движение народов определяется экономическими силами»<sup>29</sup>. Маркс и Энгельс, в понимании Зигеля, подчеркивают «главным образом экономические условия, изменение которых влечет за собою изменение во всем общественном быту»<sup>30</sup>. Все это Зигель называл (по традиции буржуазной науки) экономическим материализмом, отмечая, что он «и теперь может считаться наиболее распространенною теорией у нас, хотя на Западе Европы уже появилось новое, более широкое обобщение»<sup>31</sup>.

Более всего устраивал Зигеля четвертый путь решения проблемы о движущих силах развития общества. Ученый писал, что все перечисленные им выше приемы «чрезвычайно узки, и бесцельно искать преобладания какой-нибудь силы, так как они все действуют сообща»<sup>32</sup>, что «изменение обыкновенно вызывается не только падением старых религиозных верований или распространением знаний или накоплением и распределением богатств, а в большинстве случаев целою совокупностью самых разнообразных причин»<sup>33</sup>. Зигель полагал, что периодизацию славянского права надо «основывать на изменении миросозерцания целого народа или, по крайней мере культурного слоя, правящего народом»<sup>34</sup>.

Подвергнуть критике с позиций современной исторической науки попытку Зигеля дать теоретическое основание для научной периодизации славянского права не представляет особого труда, и такая оценка в историографической литературе уже была предпринята<sup>35</sup>. Следует, однако, на наш взгляд, определить методологические позиции ученого более подробно, не останавливаясь лишь на положениях, выделенных им в своей классификации. Собственно, в своей схеме Зигель отметил не четыре, а две методологии науч-

ного исследования: марксистскую, абсолютно незнакомую ученому и поэтому трактуемую им вульгарно социологически, и три остальные «теории», относящиеся к позитивизму с его теорией факторов. Сам Зигель — решительный приверженец этой теории, сторонник равнозначности всех факторов, тогда как различные последователи методологии позитивизма выдвигали на роль ведущего фактора то один, то другой.

Полное непонимание принципиального, коренного отличия марксизма от всех идеалистических течений в философии позволило ученому увидеть в нем лишь направление, выдвигающее на первый план экономический фактор. Остается сделать вывод, что Зигель достаточно слабо разбирался в тех противостоящих друг другу методологических направлениях в исторической науке, которые существовали в конце XIX — начале XX столетия. На вопросе о том, как Зигель понимал конкретные приемы изучения истории, мы остановимся ниже, анализируя методы работы всей рассматриваемой нами группы историков-славистов.

Другим представителем славистики, подвергшим специальному рассмотрению философские и методологические направления в исторической науке, был В. В. Новодворский. Его охват материала несравненно шире, чем у Зигеля, гораздо профессиональнее и глубже пропинает ученый в методологические концепции философских течений XIX — начала XX в. Кроме того, Новодворский дает краткую характеристику историографическим направлениям, начиная с Древней Греции и переходя потом к Европе XVIII в., «когда происходит «решительный перелом»<sup>36</sup> в понимании истории. Высокую оценку дает исследователь Дж. Б. Вико, который «пытался открыть законы исторической жизни»<sup>37</sup>. В XVIII же веке Новодворский видел во Франции зарождение основ так называемой «культурной истории», т. е. изучения «государственного и социального строя, религиозного, нравственного и умственного состояния народов».

С началом XIX в. полностью меняется представление об историческом процессе, который «исследователи стали понимать не как цепь причин и следствий, звеньями которой являются психические мотивы, вытекающие из душевной жизни отдельных людей, а в виде процесса развития, эволюции, т. е. как цепь общественных состояний, из которых одно является причиной, а другое следствием»<sup>38</sup>. Возникает «главным образом благодаря блестящим успехам естествознания и влиянию глубоких философских систем»<sup>39</sup> новое понятие — «развитие». Новодворский, указывая на неопре-

деленность самого термина «история», на разнообразные истолкования его в научной литературе, выводил в понимании истории два основных направления. Одно направление вводит историю в общую систему наук, «доказывая, что историческая жизнь представляет собою один из видов мировой эволюции, что она подчинена вследствии этого определенным законам» и что изучение истории не отличается «от общего познания человеком действительности». Другое направление, характеризуемое ученым, выделяет историю «из общей системы человеческого знания» и доказывает, что у истории свой особый метод познания. Но и внутри этих противостоящих друг другу научных течений Новодворский видел крупные различия. Так, в первом направлении, которое признает «закономерность исторических явлений», существует различное понимание этой закономерности и ведущих «факторов» «в исторической эволюции»<sup>40</sup>.

Итак, Новодворский взял за основу своей классификации подход различных направлений к пониманию истории. Исходя из этой посылки, он выделил три основных течения: в рамках первой группы оказываются марксизм и позитивизм, в рамках второй — неокантианство. Анализируя эти три течения в исторической мысли, автор показывает основательное значение им предмета. Так, критика им марксизма, поставленного в его классификации на первое место, говорит не столько о незнакомстве с его теорией, как, например, у Зигеля, сколько о принципиальном его неприятии ученым, стоящим на иных методологических и классовых позициях. Анализ выделенных направлений, сделанный Новодворским, дает возможность попытать его собственные взгляды еще до того, как он сам декларирует свои методологические принципы.

Кратко излагая свое понимание марксизма, Новодворский пользуется терминологией, присущей не этому учению, а собственным методологическим воззрениям, что, несомненно, скрывает и затуманивает четкие марксистские положения. Согласно учению «современного социализма», в интерпретации Новодворского, «источником исторического развития является хозяйственная деятельность человека, основными факторами,двигающими исторический прогресс,— экономические силы, от которых зависит производство и распределение материальных благ в человеческих обществах». «Экономическою организацией» объясняется и «возникновение и развитие явлений чисто психических, как человеческое сознание и идеи»<sup>41</sup>. По Новодворскому, основное положение, присущее марксизму, сводится к утверждению: «вся духов-

ная культура есть лишь продукт экономии, надстройка над организацией хозяйственных отношений»<sup>42</sup>.

Своеобразным во взглядах ученого на марксизм является отклонение им распространенного в его время мнения о том, что марксизм пренебрегает влиянием «идеальных» факторов в историческом развитии. «Этот упрек неоснователен,— писал он,— так как экономический материализм не отрицает влияния идеальных факторов даже на экономическую жизнь народов; он только считает эти факторы явлениями вторичного происхождения, именно явлениями, которые обязаны своим существованием чисто экономическим силам»<sup>43</sup>. Так в достаточной степени упрощенно и вульгарно в сознании ученого преломляются марксистские понятия базиса и надстройки, производительных сил и производственных отношений.

Конечно, Новодворский не мог ограничиться лишь своей интерпретацией положений марксизма, не высказав к нему своего отношения. Ученый подпирает свое возражение против марксизма на уровень рассуждений о философских категориях. Полемизируя с марксизмом, Новодворский раскрывает и свое понимание науки вообще и исторической в частности. По его мнению, главная ошибка марксизма состоит во вторжении в область метафизики. «Истинная наука, как мне кажется,— писал ученый,— должна признавать лишь разнообразие явлений, констатировать существование взаимной зависимости между ними и выяснять эту зависимость, не вдаваясь в решение вопроса о том, в чем состоит сущность субстрата явлений». Он полагал, что эти вопросы для науки «пустые вопросы», это область метафизики с ее трансцендентными основаниями, выходящими «за пределы человеческого опыта и наблюдения». Очень важно, с методологической точки зрения, и заявление ученого о том, что «наука может, да и должна оставаться в пределах эмпирии»<sup>44</sup>.

Эти мысли Новодворского об исторической науке чрезвычайно характерны для позитивизма, начиная с его основателей и всех последующих его ответвлений. Историк не останавливался только на отрицании научности марксизма, он утверждал, что «последователи Маркса, развивая эту доктрину, сделали значительные отступления от первоначального учения»<sup>45</sup>. Подобные утверждения иллюстрируются ссылками на положение Энгельса о воспроизведение действительной жизни, из чего Новодворский выводил: «воспроизведение человеческой особи есть вместе с тем и воспроизведение человеческого интеллекта»<sup>46</sup>. Подобного рода надуманные «отступления» от марксизма приводились Новодвор-

ским для того, чтобы указать, как «трудно отличить в настоящее время эту доктрину от социологических учений, приписывающих психическим факторам первенствующую роль в исторической эволюции»<sup>47</sup>. Таким образом, Новодворский пытался сблизить марксизм с позитивизмом, что тоже было характерно для части буржуазных ученых.

В изложении Новодворским концепций исторического материализма явно прослеживается широко распространенное и в XIX и в начале XX в. в среде буржуазных историков положение об односторонности марксизма, выведение будто бы им всех явлений жизни общества и человека из экономики. Все это говорит или о восприятии этими исследователями положений марксизма в вульгарной форме или о возможно памеренном его искажении. С критикой вульгарной трактовки исторического материализма, приравниванием его к «экономическому материализму» выступил еще в 1895 г. в своей монографии «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» Г. В. Плеханов. В 1897 г. увидела свет другая работа Плеханова «О материалистическом понимании истории», посвященная той же проблематике. Резко полемизируя с Кареевым, Плеханов указывал на то, что, с марксистской точки зрения, «только в популярной речи можно говорить об экономии, как о *первичной причине* всех общественных явлений. Далекая от того, чтобы быть первичной причиной, она сама есть следствие, «функция» производительных сил»<sup>48</sup>, и «...между материалистами-дialektikами и людьми, которых не без основания можно называть *экономическими* материалистами, лежит целая пропастъ»<sup>49</sup>.

Как видим, извращенное понимание марксизма было очень живучим, и, надо отметить, не только в начале XX в. Так, в 20-е годы известный итальянский историк и философ Б. Кроче пытался приписать «Марксу и Эпгельсу преувеличение роли экономического базиса, как якобы целиком определяющего надстройку»<sup>50</sup>. На границе 20-х и 30-х годов английский исследователь М. Бьюри концепции исторического материализма «не попял и не принял, отдавшись от нее несколькими словами; марксизм для него не более, чем попытка объяснить «все социальные движения и исторические изменения» «условиями производства»<sup>51</sup>. В 30-е годы немецкий ученый К. Брейзиг утверждал, что марксизм «хочет все исторические явления вывести из одного корня — хозяйственной деятельности»<sup>52</sup>. Даже в классическом труде современной немарксистской философии истории видного представителя философского идеализма XX в. Р. Д. Коллин-

гвуда «Идея истории», выпущенном в 1946 г. уже после смерти автора, содержатся рассуждения, чрезвычайно устаревшие для того времени. Коллингвуд заявлял, что в марксизме в понимании единства истории есть лишь один «непререкаемый элемент» — история экономическая, «в то время как другие факторы исторического процесса... по мнению Маркса, выступают как простые отражения основных экономических факторов. Это приводит Маркса к парадоксальному выводу, из которого следует, например, что наличие определенных философских взглядов у людей объясняется не какими-то философскими основаниями, а только экономическими причинами»<sup>53</sup>. Как видим, извращение марксизма идет все в том же традиционном еще для XIX в. русле.

Следует отметить, что вся общественная система России начала XX в. была охвачена глубоким кризисом. Революционное учение Маркса являлось реальной и единственной силой, могущей разрешить этот кризис, что навлекало на него особенно ожесточенные нападки во всех областях идеологической деятельности, в том числе и в исторической науке.

Обвиняя марксизм в метафизичности, Новодворский исходил из того понимания метафизики, которое восходит еще к родоначальникам позитивизма. «Причина» признавалась введенной в обиход теологией, а «сущность» — метафизикой. Применение этих понятий в науке и философии объявлялось «глубоко вредной гипотезой». Причину и сущность вещей, процессов действительности Конт провозглашал непознаваемыми<sup>54</sup>. И понимание ученым задач науки также находится в полном соответствии с выдвинутыми еще Контом положениями о позитивной науке, ставящей перед собой «вопрос „как“, что означает изучение явлений, без каких-либо попыток объяснения их появления и существования»<sup>55</sup>.

Завершив рассмотрение марксизма, В. В. Новодворский перешел к подробному и систематическому изложению доктрины позитивизма, начиная с его основоположника О. Конта. В данном изложении нас будут интересовать лишь те моменты, которые так или иначе характеризуют взгляды самого ученого. Прежде всего следует отметить, что в своих рассуждениях о позитивизме Конта и его последователей он ни разу не оспаривает каких-либо из его положений. Это уже говорит об определенной близости позитивистских концепций Новодворскому. Ученый относил Конта к тем философам, которые считали «основными факторами исторической эволюции факторы психические — чувство и разум человека»<sup>56</sup>.

Уже в оценке теоретических построений Канта Новодворский выделял очень близкое ему утверждение, что задача третьей научной и позитивной ступени исторического развития — ограничиться «изучением явлений» и установить «закономерности их сосуществования и следования», в то время как «отвлечепытными идеями, сущностями, первопричинами и т. п.»<sup>57</sup> люди занимаются на предшествующей второй ступени, ступени метафизического и абстрактного мышления.

Неоднократно Новодворский указывал па то, что Конт считал необходимым искать законы исторического развития и выдвигал при этом сравнительно-исторический метод как основной. Новодворский старательно подчеркивал и то, что Конт отвергал «индивидуально-психологическую» мотивировку связи между явлениями. «Для Канта,— писал он,— общество представляло собою связанное целое и в психологическом отношении». По мнению исследователя, «социальную физику» Канта следует понимать как «коллективную или социальную психологию» начала XX в., и, изучая общество под этим углом зрения, «можно определить общие причины, основные законы исторического развития, и такое только знание имеет научную ценность»<sup>58</sup>.

В. В. Новодворский кратко характеризовал также взгляды Канта на роль личности в истории, столь отличный от взглядов его предшественников. По Канту, «действия и идеи отдельных индивидуумов, даже величайших гениев, зависят от общих влияний среды и сами по себе не в состоянии изменить заметным образом общие условия, в которых они находятся». Отметив, что «влияние позитивизма было громадно», Новодворский замечал, что учение Канта «восприняли, развили дальше и популяризовали такие знаменитые писатели, как Джон Стоарт Милль, Герберт Спенсер, Бокль, Литтрे»<sup>59</sup>, упоминал он также Л. Бурдо и К. Лампрехта. Но остановиться Новодворский считал нужным только на взглядах двух социологов и историков — Бокля и Бурдо. Он отмечал, что «в свое время (да и теперь) особенной популярностью пользовалось сочинение Бокля «История цивилизации в Англии»<sup>60</sup>.

Ученый выделял во взглядах Бокля два момента, его социологическую теорию прогресса, который «зависит как от основной своей причины от количества научного знания, накапляемого человеческими поколениями», и особое его пристрастие к статистике, которая, исследуя «проявления жизни народных масс», и откроет законы развития общества. Только статистика сможет поднять историю «на ступень истинной науки». Именно апологией статистики привлекал

Новодворского и Бурдо, основной идеей которого было изображение «жизни народных масс при помощи статистического метода», а «история-повествование о так называемых событиях должна быть отнесена к области изящной словесности, но не науки»<sup>61</sup>.

Очень важным нам представляется и ясное понимание Новодворским того, что «к школе Конта следует отнести также и современного немецкого историка Карла Лампрехта, вызвавшего своими историософическими взглядами ожесточенную полемику в немецкой историографии»<sup>62</sup>. Сам Лампрехт в то время «всячески откреплялся от связи с учением Огюста Конта»<sup>63</sup>. На этом Новодворский закончил изложение воззрений направления, которое не выделяет «исторических явлений в особую категорию явлений, отличную от категорий явлений остальной действительности»<sup>64</sup>.

Главными представителями «противоположной школы», как отмечал Новодворский, являются «немецкие философы Виндельбанд и Риккерт»<sup>65</sup>, среди прочих представителей данного направления упоминается лишь Бернгейм. И Виндельбанд, и Риккерт отрицают «единство человеческого познания», оба они утверждают его дуалистичность. Отсюда и тот, и другой разделяют все науки на две группы: первую составляют «науки, которые устанавливают, собирают и обрабатывают факты с той целью, чтобы понять из них общую закономерность», другую — «науки, которые стремятся по преимуществу дать полное и исчерпывающее описание отдельного, более или менее широкого события, с однократной, ограниченной во времени реальностью». К первой группе относятся науки естественные, а ко второй исторические дисциплины. У Виндельбанда эти группы соответственно называются науками номотетическими и идиографическими<sup>66</sup>.

В. В. Новодворский отождествляет генерализирующее понимание действительности Риккерта с понятием номотетического мышления у Виндельбанда, «а Риккертовское индивидуализирующее понимание действительности не что иное, как идеографическое мышление у Виндельбанда»<sup>67</sup>, т. е. Новодворский справедливо объединяет взгляды обоих ученых. Подход Риккерта к задачам исторического исследования и работе историка он рассматривает уже как присущий всему направлению. Риккерт утверждает, что «взгляд на историю как на науку, стремящуюся найти элемент общий в изображаемых явлениях», несостоителен. Он доказывает также, что по своей логической сущности историческая наука «и не хочет обрабатывать действительность с точки зре-

ния общего»<sup>68</sup>, ибо это не соответствует ее целям. Задача же истории и историка понять исследуемый предмет «как единое целое, в его единственности и никогда не повторяющейся индивидуальности и изобразить его таким, каким никакая другая действительность не сможет заменить его»<sup>69</sup>.

Эти построения Риккерта вызывают принципиальные возражения Новодворского. И здесь и далее ученый, излагая положения неокантианского направления, тут же выдвигал свои возражения, фактически заявляя собственные методологические принципы. Приведенное положение Риккерта, по его мнению, «прямо-таки неверно»<sup>70</sup>. Ученый считал, что абсолютно равноправны исторические работы о Великой французской революции и труд о революционных движениях во Франции XVI—XVIII вв. Во втором случае историк «будет изображать события, которые повторялись, причем будет обращать свое внимание не на их индивидуальную особенность, а их совместную общность»<sup>71</sup>. В своем возражении Новодворский подчеркивал явно позитивистскую идею о том, что исторические события, даже те, которые «вполне индивидуальны и никогда не повторяются, должны иметь значение не сами по себе, не поскольку они представляют собою события, а постольку они являются показателями известных общественных состояний»<sup>72</sup>. Общественные же состояния не что иное, как ряд явлений «повторяющихся в жизни человеческих обществ»<sup>73</sup>.

Новодворский с позиций классического позитивизма старался отвергнуть тезисы неокантианцев, стремившихся фактически отбросить всякий элемент закономерности в истории. Так же решительно выступал ученый и против толкования представителями этой школы понятия причинности. Так, не отрицая «причинности между историческими явлениями» вообще, они утверждали, «что историческая причинность отличается от причинности существующей между явлениями, которые исследует естествознание». Бернгейм, например, выдвигал положение о существовании причинности физической и психической. Причем только физической причинности свойственно правильное повторение единичного явления, так как действуют «определенные причины, которые заранее можно определить». Познание такого рода номотетическое, следовательно, «изучаются не различия между фактами и явлениями, а типические соотношения между ними». История же, как доказывал Бернгейм, имеет дело с проявлениями деятельности людей, как социальных существ, поэтому очевидно, что ей приходится изучать причинность психическую»<sup>74</sup>. Толкование исторических явлений

как сугубо индивидуальных, неповторяющихся приводит немецкого философа к выводу о том, что эти явления «нельзя вывести, различить, заранее определить на основании общих законов». Следовательно, прогрессивная причинность в истории невозможна, так как «события и состояния колективной жизни зависят от отдельных участников в ней»<sup>75</sup>.

И здесь Новодворский возражал Берггейму, стоя на позициях классического позитивизма: «Предвидеть наступление известных социальных явлений точно так же возможно, как и возникновение физических явлений». Хотя ученый и признает, что это гораздо труднее, потому что общественные явления гораздо сложнее и разнообразнее. Но, тем не менее, Новодворский считал возможным, «зная характер и настроение данной общественной группы... предсказать, как проявится ее жизнь и деятельность в известных условиях». И вновь исследователь возвращается к ранее высказанной мысли, что па единичные факты истории «падо смотреть скорее, как па показатели известного общественного состояния, пежели как па факты исторического развития»<sup>76</sup>. Данная мысль историка теснейшим образом связана с представлением, традиционным для «первого позитивизма» о роли личности в истории, отталкивавшегося от всей предшествовавшей традиции выдвигать личность на роль основного двигателя истории. «Исторические деятели,— писал Новодворский,— скорее выразители, как говорят, известного общественного настроения, состояния, чем творцы истории»<sup>77</sup>.

На примере двух историков-славистов — Ф. Ф. Зигеля и В. В. Новодворского мы пытались показать, как ученые понимали общие вопросы развития исторической науки, философских направлений, на методологические построения которых опирается история как наука. Такие случаи, когда ученые считали необходимым специально остановиться на позванных ими проблемах, достаточно редки. Иногда исследователи касались лишь некоторых вопросов своей научной методологии и методики только в специальных введениях собственных трудов, а чаще всего лишь вскользь в самих работах. Проведенное нами рассмотрение взглядов Зигеля и Новодворского уже в определенной степени показало симпатии и антипатии этих ученых в отношении существовавших в начале XX в. методологических течений в исторической науке. И тот и другой явно склонялись к позитивизму, отрицали марксизм, а Новодворский был еще и решительным противником неокантианского направления. Эти ученые не ограничивались только изучением общих теоретических проблем в истории методологических концепций, по и деклари-

ровали собственные принципы. Как мы указывали раньше, в нашу задачу входит анализ и сопоставление взглядов группы историков, работавших в одни годы в самых разных областях славяноведения. Взгляды эти или полностью совпадают, или сходны, или дополняют друг друга, создавая общую картину их методологических воззрений.

Прежде всего следует остановиться на том, как понимали данные историки-слависты сам предмет истории, методы, при помощи которых ведется историческое исследование, задачи данного исследования и т. д. Ф. Ф. Зигель очень кратко сформулировал свое понимание истории. Он писал: «История есть наука, исследующая постепенное развитие человеческих обществ»<sup>78</sup>. Наиболее развернутое определение истории в разных ее аспектах давал В. В. Новодворский. Он определял «историю, как конкретную науку о развитии явлений и форм человеческого общежития»<sup>79</sup>. Ученый специально затрагивал и вопрос о том, является ли вообще история наукой. В конце XIX — начале XX столетия этот вопрос носил существенный характер. Новое, неокантианское направление исключало историю из круга равноправных наук. Но даже в рамках позитивистского направления, в трудах представителей «второго позитивизма» конца XIX в. самоценность истории как науки также иногда ставилась под сомнение, зачастую происходило совпадение с неокантианской точкой зрения. Так, в работах известного французского историка Ш. Сеньобоса выдвигались «следующие идеалистические и глубоко реакционные положения: «История — не наука, а только особый процесс познания», к тому же процесс «субъективный и абстрактный»<sup>80</sup>. Работы Сеньобоса были переведены и широко известны в России. Новодворский решительно отвергал это неокантианское определение. «Итак,— писал он,— мы считаем историю наукой. Между тем, некоторые исследователи, понимая под термином „наука“ только знание, устанавливающее закономерность явлений, не признают исторического знания научным». Он утверждал далее, что «всякое систематическое знание, стремящееся установить достоверность фактов и открыть причинную связь между известного рода явлениями, надо признать наукой»<sup>81</sup>.

Определив историю как науку о развитии человеческих обществ, все ученые естественно задавались вопросом о том, какими методами историк должен пользоваться при ее изучении. Анализируя эти методы, мы находим и дополнительные сведения о представлениях исследователей об истории как науке и об истории человечества в целом. Очень ярко

проявляется в трудах избранных нами ученых откровенный эволюционизм — этот существенный признак позитивистской методологии, к началу ХХ в. уже переживший время своего расцвета. Эволюционизм позитивизма неоднозначен. В широком смысле, как понимание вечного поступательного развития исторического процесса без перерывов и скачков, перекликающийся с биологической эволюцией, он несомненно устарел. Но как один из признаков позитивистского историзма, включавшего в себя «признание причинно-следственных связей, обуславливающих закономерное историческое движение (эволюцию), которое рассматривается как идущее прогрессивно», он может быть признан одной из «относительно положительных его черт»<sup>82</sup>. Оба эти смысла тесно связаны во взглядах наших историков-славистов.

Так, Новодворский отмечал, что «историческую жизнь исследователь должен в настоящее время рассматривать, как известный вид мировой эволюции, и историческое изучение должно быть, конечно, генетическим»<sup>83</sup>. В свою очередь Зигель рассуждал об историческом процессе следующим образом: «Общественная эволюция совершается очень медленно, шаг за шагом. Всякое явление должно иметь свое причинное начало и самим своим существованием дать некоторое освещение минувшим дням, вызвавшим его к жизни»<sup>84</sup>. Надо отметить, что этот ученый очень последовательно держался самого широкого позитивистского толкования значения и смысла исторической эволюции, содержащего очень много черт от ее биологического понимания. Обосновывая сложный путь развития славянского права, он писал: «...жизнь развивается на основных началах эволюции, начинающейся с простейших зародышевых элементов и переходящей к более сложным явлениям; старые начала не сразу умирают, но далеко заходят в следующие периоды, и новые воззрения зарождаются не вдруг, но при полном господстве начал старых»<sup>85</sup>.

Принятие историками позитивистского толкования исторической эволюции было неизбежно и необходимо, так как они принципиально отвергали исторический и диалектический материализм, им было чуждо понятие об общественно-экономической формации, а путь, предлагаемый теоретиками неокантианского направления с его отрицанием закономерности в истории, единичности и неповторимости исторических явлений, противоречил предмету их исследований, охватывавшему зачастую не одну сотню лет. Опора исследователей на принцип эволюции позволяла им шире применять гене-

тический принцип и сравнительно-исторический метод в своих работах, делала возможным широкие обобщения. Обращаясь к истории западных славян, М. К. Любавский доказывал необходимость «генетически связывать настоящее с его прошлым»<sup>86</sup>. Он же писал о том, что эта история «представляет так или иначе продолжительную сложную эволюцию, которая своим началом восходит ко временам общей совместной жизни славянства, сплетается в средние века с общественною эволюциею романо-германского мира и приходит вместе с нею к аналогичным и сходным результатам»<sup>87</sup>. Подобного рода замечания очень важны с методологической точки зрения. Смысл их в полном отрицании славянофильских концепций, все еще присутствовавших в трудах ученых славистов и резко разграничивавших «славянский» и «романо-германский» миры, их «начала», мировоззрение и т. д. Славянство включалось в единый европейский исторический процесс.

Сравнительно-исторический метод являлся важнейшим инструментом многих исторических исследований и применялся широко и разнообразно. Зигель считал этот метод единственным возможным при изучении истории права славян до X в., когда они, по его мнению, выступали «как единичное целое». В этом «случае,— писал он,— мы будем пользоваться самым широким сравнением для возможно полного восстановления древнеславянского быта»<sup>88</sup>. Другого ученого, Любавского, этот метод интересовал как для выявления общеславянского исторического наследия путем сравнительного изучения русских древностей с славянскими, так и для обоснования мысли о том, что «только такое сравнительное изучение даст возможность выяснить оригинальность русского исторического процесса, отметить все чуждые влияния и сторонние наслоения в русской исторической жизни»<sup>89</sup>.

Н. В. Ястребов в своем лекционном курсе по истории средневековой Чехии использовал возможности сравнительно-исторического метода при характеристике законодательства феодального периода. Он писал: «Чтобы предупредить междуусобия сыновей, Бретислав издал закон о сеньорате (1054 г.), подобно тому, как сделал это Ярослав Мудрый (1055 г.) на Руси и Болеслав Кривоустый (1139 г.) в Польше»<sup>90</sup>. Это сравнение говорит о закономерности появления юридических актов, содержавших в себе принципы феодальных отношений, в славянских странах. Оно особенно важно для русской истории, так как в то время большинство историков оспаривало наличие в ней феодализма. Ученый очень широко и умело применял сравнительный метод с

учетом специфики именно лекционного курса. Так, практически при первом упоминании каждого чешского князя и короля (всего более двадцати раз) назывался его современник — великий князь Киевский, позже появляются князья Московские, а затем и Литовские. Этот ирием, несомненно, приучал студентов к необходимости сопоставлять и сравнивать средневековую историю Чехии и Руси.

В методологическом плане очень важным в трудах историков был вопрос о закономерности исторического развития. Отрицание подобной закономерности было одним из основных принципов неокантианского направления. О том, что Новодворский резко критиковал это положение неокантианства, уже известно. Взгляды других историков-славистов, рассматриваемых нами, также вполне определены. Любавский, писавший о принципиальной необходимости изучения истории западных славян, интерес к которой порождается «их современным положением в семье европейских народов», особо отмечал, «что и проплое этих народов само по себе, независимо от настоящего, возбуждает пытливость историка и дает обильную пищу исторической мысли, ищущей закономерности в общественных явлениях»<sup>91</sup>. Совершенно в духе классического позитивизма середины XIX в. понимал эту проблему Зигель. «Человечество,— писал исследователь,— повсюду и в продолжении всех веков подчиняется одним и тем же незыблемым естественным законам. Знание истории развития человечества позволяет нам ориентироваться, чтобы не впасть в ошибку от слишком смелого умозаключения»<sup>92</sup>.

Итак, выяснив, что наши историки признавали закономерность в историческом процессе необходимой и считали сравнительно-исторический метод одним из основных инструментов научной работы, попытаемся определить, какие области исторического процесса вызывали наибольший их интерес. М. К. Любавский, рассуждая об истории западных славян, отмечал, что в последнее время «внимание ученых поглощено преимущественно экономическою и социальною жизнью народов», и именно с этим он связывал «особенное оживление интереса к раппей истории западных славян». Ученый дал очень высокую оценку работам известного австрийского историка культуры Ю. Липперта «Социальная история Богемии» и др. В них Любавский и видел воплощение этого интереса: «В этих трудах,— писал ученый,— подвергаются тщательному изучению ранний экономический быт западного славянства, общинный сельский строй, возникновение и развитие городских общип, взаимные отноше-

ния общественных классов и делаются высокопоучительные выводы, разъясняющие такие крупные исторические явления, как процесс феодализации, развитие сословного средневекового государства и т. д.»<sup>93</sup>. Отметим, что и Н. В. Ястребов особо выделял из современных ему специалистов Ю. Липперта — «автора многолетнего, прекрасного труда»<sup>94</sup>.

М. К. Любавский неоднократно подчеркивал необходимость исследования социальной истории. Он прямо на это указывал, когда касался общехistorического значения утраты Польшей и Чехией своей государственности. Это историческое явление, писал Любавский, «выдвигается как проблема высокого научного интереса. Разрешение этой проблемы, разумеется, нельзя искать в одних только неблагоприятных стечениях внешних обстоятельств, которые привели к крушению названных государств, но и во внутренней истории этих государств, в данных их экономического, социально-политического и духовного развития»<sup>95</sup>. Ученый отмечал также и то, что вообще история западных славянских племен связана и внутренне и внешне: «внутренне — сходством социально-политической эволюции, внешне — общностью борьбы за существование»<sup>96</sup>. По его мнению история прошлого тесно связана с современностью, поэтому для изучения истории западного славянства необходимо знакомство с современными «географией, этографией, статистикой, экономикой и политическим положением западнославянских земель»<sup>97</sup>.

Все отрасли исторического исследования, которые выделял Любавский, являются традиционно разрабатываемыми историками-позитивистами, в особенности представителями «новой исторической науки», лидером которой был К. Лампрахт. Очень ярко характеризовал задачи историка и основные проблемы в историческом исследовании Новодворский. Он четко указывал: «Мы считаем необходимым заметить еще, что историк должен прежде всего изучать самую сущность — так сказать — исторической эволюции, т. е. развитие социального и политического строя, экономических условий и духовной культуры (науки, религии, этики и искусства), но вместе с тем он не должен пренебрегать, как это делают часто историки культуры, фактами так называемой внешней истории, т. е. войнами, дипломатическими сношениями и т. п.»<sup>98</sup>. Здесь мы сталкиваемся с попыткой исследователя выйти за рамки классической проблематики позитивизма, с ее склонностью к вопросам внутренней истории, истории культуры, что прямо подчеркивается в приведенной цитате.

Н. В. Ястребов в своем лекционном курсе выстраивал

важнейшие моменты, характеризующие историческое развитие государства, в аналогичной последовательности. Так, он указывал, что в XIV в. «возвышение Чехии коренится в разнообразных причинах внутреннего и внешнего характера. Прежде всего, Чехия растет экономически». Интенсивнее и рациональнее развивалось земледелие, но «еще заметнее растет промышленность и торговля, связывающие Чехию со всей Европой»<sup>99</sup>. Все эти наблюдения позволили автору даже сделать вывод о том, что Чехия в XIV в. «переживает рапний (средневековый) капитализм. Короли чешские располагали большими запасами денежного капитала, орудуя им в своей внешней политике»<sup>100</sup>. Только второй причиной расцвета Чехии являются у Ястrebова события внешние (упадок немецкой империи, связанный с ее борьбою с папством) и лишь на третье место по значению ставятся в данном случае военные, дипломатические и правительственные способности «некоторых ее государей-королей»<sup>101</sup>.

Таким образом, вся последовательность причин строилась в порядке, обратном для приверженцев школы Л. Ранке и неокантианцев. Особое внимание, которое Ястrebов уделял экономическим проблемам, росту промышленности и денежного капитала чешских королей, привело ученого к мысли о том, что Карл I (IV) — «ярко выраженный король-буржуа»<sup>102</sup>. Следует отметить также, что ученый рассматривал историю средневековой Чехии в общеевропейском контексте. Он указывал на активное участие чешского государства в политической и идейной жизни Европы XIV в. А в некоторые моменты истории Чехия не только боролась «за высшие культурные „ценности“ европейского человечества той эпохи», но и была «главным бойцом за идеи нового времени, поскольку они оказались в чешском государстве»<sup>103</sup>. Эти взгляды Ястrebова свидетельствуют не только о признании исторических заслуг чешской общественной мысли в европейской истории, но и о полном отсутствии у него пережитков славянофильских концепций.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что все исследователи-слависты, о которых шла речь в данной статье, опирались в основном на концепции старолиберального, классического позитивизма. Но следует также отметить, что позитивизм каждого из них имел свои особенности. Сама позитивистская методология, выдвигавшая плюрализм как один из своих основных принципов, способствовала этому. Наиболее примечательны в этом смысле методологические взгляды Зингеля. Опи вполне допускали наличие двух методов исследовательской работы в зависимости от исторического

периода. Так, относительно исторического материала до X в. — сравнительный метод, а после X в. — описательный, когда рассматривались «лишь факты, относящиеся к данному государству»<sup>104</sup>. Очевидно также, что взгляды ученого не претерпели никаких изменений со времени начала его научной деятельности. Они отличаются эклектическим соединением традиционных положений «первого позитивизма» с не менее традиционными политическими идеями славянофильства. Относительно же русской средневековой истории Зигель — правоверный славянофил<sup>105</sup>. Недаром идею В. И. Ламапского о противоположности и «борьбе западногерманского и греко-славянского миров» ученый определял как «блестящее обобщение»<sup>106</sup>.

У Любавского и Новодворского можно наблюдать влияние новых позитивистских течений в вопросе о соотношении истории и социологии. У этих ученых в отличии от классического позитивизма они разделяются, причем в ведении истории остаются вопросы конкретного анализа, а социологии передаются проблемы общего характера — такие, например, как определение законов общественного развития<sup>107</sup>. Не всегда также провозглашаемые историками положения находят достаточное отражение в их работах. Так, М. К. Любавский, неоднократно ратовавший за исследование социально-политических процессов, в разделе своей работы, относящемся к новому времени, ни разу не употребляет такого термина, как буржуазия. Подобное положение следует отнести к влиянию реакционных политических взглядов ученого на его методологические концепции.

Н. В. Ястребов, говоря о средневековом капитализме и королях-буржуа, переносит в средневековые моменты экономического развития, свойственные более позднему периоду. Подобная модернизация была, однако, характерна и для некоторых других историков того периода. В. В. Новодворского отличают попытки более широкого подхода к исторической проблематике, чем то диктовалось догмами позитивизма. Здесь следует хотя бы отметить его критику историков культуры, недооценивавших событий внеполитической истории.

Все рассмотренные нами историки-слависты стояли в стороне от марксизма, что бесспорно препятствовало действительно объективному изучению ими исторического процесса. Однако их деятельность отмечена чертами, выгодно отличающими их от тех историков, которые в этот период склонялись ко «второму позитивизму» и неокантианству, явившимся ярким проявлением кризиса исторической науки.

Названные нами ученые придерживались таких важных методологических принципов, как каузальность, закономерность, исторического развития, эволюционизм, и использовали сравнительно-исторический и генетический методы, что позволяет признать их труды положительным явлением в истории отечественного славяноведения.

- <sup>1</sup> Сафронов Б. Г. Историческое мировоззрение Р. Ю. Виппера и его время. М., 1976. 221 с.; Хмылев Л. Н. Проблемы методологии истории в русской буржуазной историографии конца XIX—начала XX в. Томск, 1978. 170 с.; Вайнштейн О. Л. Очерки развития буржуазной философии и методологии истории в XIX—XX вв. Л., 1979. 269 с.; Шкуринов П. С. Позитивизм в России XIX в. М., 1980. 416 с.
- <sup>2</sup> Дьяков В. А. Политические интерпретации идеи славянской солидарности и развитие славяноведения (с конца XVIII в. до 1939 г.).—В кн.: Методологические проблемы славистики. М., 1978, с. 246.
- <sup>3</sup> Славяноведение в дореволюционной России: Библиогр. словарь. М., 1979, с. 28.
- <sup>4</sup> Лаптева Л. П. Развитие славяноведения в России с 90-х годов XIX в. по 1917 г.—В кн.: История на славистиката от края на XIX и началото на XX век. София, 1981, с. 34.
- <sup>5</sup> Там же, с. 50.
- <sup>6</sup> Шкуринов П. С. Позитивизм в России, с. 249.
- <sup>7</sup> Там же, с. 276.
- <sup>8</sup> Там же, с. 249.
- <sup>9</sup> Там же, с. 250.
- <sup>10</sup> Хмылев Л. Н. Проблемы..., с. 35.
- <sup>11</sup> Там же, с. 77.
- <sup>12</sup> Сафронов Б. Г. Историческое мировоззрение..., с. 62.
- <sup>13</sup> Шкуринов П. С. Позитивизм в России, с. 307.
- <sup>14</sup> Сафронов Б. Г. Историческое мировоззрение..., с. 101.
- <sup>15</sup> Шкуринов П. С. Позитивизм в России, с. 307.
- <sup>16</sup> Вайнштейн О. Л. Очерки..., с. 30, 31, 32.
- <sup>17</sup> Хмылев Л. Н. Проблемы..., с. 14.
- <sup>18</sup> Сафронов Б. Г. Историческое мировоззрение..., с. 62.
- <sup>19</sup> Вайнштейн О. Л. Очерки..., с. 56.
- <sup>20</sup> Шкуринов П. С. Позитивизм в России, с. 309.
- <sup>21</sup> Зигель Ф. Ф. Периодизация славянского права.—В кн.: Новый сборник статей по славяноведению, сост. и изд. учениками В. И. Ламанского. СПб., 1905, с. 1.
- <sup>22</sup> Там же.
- <sup>23</sup> Там же, с. 2.
- <sup>24</sup> Там же, с. 1.
- <sup>25</sup> Зигель Ф. Ф. История славянского права. Курс лекций. Ростов, 1916, ч. II, с. 10.
- <sup>26</sup> Зигель Ф. Ф. Периодизация славянского права, с. 1.
- <sup>27</sup> Зигель Ф. Ф. История славянского права, с. 10.
- <sup>28</sup> Зигель Ф. Ф. Периодизация славянского права, с. 1.
- <sup>29</sup> Там же.
- <sup>30</sup> Зигель Ф. Ф. История славянского права, с. 11.
- <sup>31</sup> Зигель Ф. Ф. Периодизация славянского права, с. 2,

- <sup>32</sup> Зигель Ф. Ф. История славянского права, с. 11.
- <sup>33</sup> Зигель Ф. Ф. Периодизация славянского права, с. 2.
- <sup>34</sup> Зигель Ф. Ф. История славянского права, с. 11.
- <sup>35</sup> Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1963, т. 3, с. 501.
- <sup>36</sup> Новодворский В. В. Несколько слов о направлениях в современной историографии. Киев, 1909, с. 4.
- <sup>37</sup> Там же, с. 5.
- <sup>38</sup> Там же.
- <sup>39</sup> Там же, с. 6.
- <sup>40</sup> Там же, с. 7.
- <sup>41</sup> Там же.
- <sup>42</sup> Там же, с. 7—8.
- <sup>43</sup> Там же, с. 8.
- <sup>44</sup> Там же.
- <sup>45</sup> Там же.
- <sup>46</sup> Там же, с. 9.
- <sup>47</sup> Там же, с. 8.
- <sup>48</sup> Плеханов Г. В. Избр. философ. произв.: В 5-ти т. М., 1956, т. 1, с. 645.
- <sup>49</sup> Там же, т. 2, с. 243.
- <sup>50</sup> Вайнштейн О. Л. Очерки..., с. 119.
- <sup>51</sup> Там же, с. 60.
- <sup>52</sup> Там же, с. 28.
- <sup>53</sup> Коллинзвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980, с. 119.
- <sup>54</sup> Шкуринов П. С. Позитивизм в России, с. 25.
- <sup>55</sup> Тарле Е. В. Очерк развития философии истории.— В кн.: Из литературного наследия академика Е. В. Тарле. М., 1981, с. 150.
- <sup>56</sup> Новодворский В. В. Несколько слов..., с. 9.
- <sup>57</sup> Там же.
- <sup>58</sup> Там же, с. 10.
- <sup>59</sup> Там же.
- <sup>60</sup> Там же, с. 11.
- <sup>61</sup> Там же.
- <sup>62</sup> Там же.
- <sup>63</sup> Вайнштейн О. Л. Очерки..., с. 27.
- <sup>64</sup> Новодворский В. В. Несколько слов..., с. 11.
- <sup>65</sup> Там же.
- <sup>66</sup> Там же, с. 12.
- <sup>67</sup> Там же, с. 13.
- <sup>68</sup> Там же.
- <sup>69</sup> Там же, с. 13—14.
- <sup>70</sup> Там же, с. 14.
- <sup>71</sup> Там же.
- <sup>72</sup> Там же, с. 14—15.
- <sup>73</sup> Там же, с. 15.
- <sup>74</sup> Там же.
- <sup>75</sup> Там же, с. 16.
- <sup>76</sup> Там же.
- <sup>77</sup> Там же, с. 17.
- <sup>78</sup> Зигель Ф. Ф. История славянского права, с. 10.
- <sup>79</sup> Новодворский В. В. Несколько слов..., с. 20.
- <sup>80</sup> Вайнштейн О. Л. Очерки..., с. 18.
- <sup>81</sup> Новодворский В. В. Несколько слов..., с. 19.
- <sup>82</sup> Вайнштейн О. Л. Очерки..., с. 71.
- <sup>83</sup> Новодворский В. В. Несколько слов..., с. 17.
- <sup>84</sup> Зигель Ф. Ф. История славянского права, с. 9.

- <sup>85</sup> Там же, с. 11.
- <sup>86</sup> Любавский М. К. История западных славян (прибалтийских, чехов и поляков). М., 1917, с. 111.
- <sup>87</sup> Там же, с. 5.
- <sup>88</sup> Зигель Ф. Ф. История славянского права, с. 7.
- <sup>89</sup> Любавский М. К. История западных славян (Польша и Чехия). М., 1912, с. 11.
- <sup>90</sup> Ястребов Н. В. Лекции по истории западных славян. (Лекции, читанные в 1910/11 уч. год). СПб., б. г., с. 227.
- <sup>91</sup> Любавский М. К. История западных славян (Польша и Чехия), с. 9.
- <sup>92</sup> Зигель Ф. Ф. История славянского права, с. 9.
- <sup>93</sup> Любавский М. К. История западных славян (прибалтийских, чехов и поляков), с. 5.
- <sup>94</sup> Ястребов Н. В. Лекции по истории..., с. 182.
- <sup>95</sup> Любавский М. К. История западных славян (прибалтийских, чехов и поляков), с. 5.
- <sup>96</sup> Там же, с. III—IV.
- <sup>97</sup> Там же, с. 6.
- <sup>98</sup> Новодворский В. В. Несколько слов..., с. 20.
- <sup>99</sup> Ястребов Н. В. Лекции по истории..., с. 252.
- <sup>100</sup> Там же.
- <sup>101</sup> Там же, с. 253.
- <sup>102</sup> Там же, с. 298.
- <sup>103</sup> Там же, с. 288.
- <sup>104</sup> Зигель Ф. Ф. История славянского права, с. 7.
- <sup>105</sup> Там же, с. 20—21.
- <sup>106</sup> Зигель Ф. Ф. [Рец.]: К. Я. Гrot. Австро-Венгрия или карпато-дунайские земли в судьбах славянства и в русских исторических изучениях. Пг., 1914.—ЖМНП, 1915, № 4. с. 360.
- <sup>107</sup> Любавский М. К. История западных славян (прибалтийских, чехов и поляков), с. 5; Новодворский В. В. Несколько слов..., с. 20.
- 

### В. В. ИВАНОВ

## О СТАНОВЛЕНИИ СТРУКТУРНОГО МЕТОДА В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ СЛАВЯНСКИХ СТРАН И ЕГО РАЗВИТИЕ ДО 1939 г.

Более чем столетняя история постепенного вызревания структурного подхода к языку и словесному искусству в славянских странах открывается блестательной деятельностью Казанской лингвистической школы в то время, когда в ней участвовал вместе с ее создателем И. А. Бодуэном де Куртенэ (1845—1929 гг.) талантливейший его ученик Н. В. Крущевский (1851—1887 гг.). Оба ученых были поляками по рождению, писали работы на русском и польском языках, а Бодуэн позднее жил и работал в Польше. Этим объясняется и ставшая широко известной парадоксально

звучавшая формулировка «казанская школа польской лингвистики», а также наблюдение, что в деятельности этой школы нашло наивысшее выражение сотрудничество русской и польской культур в науке о языке, много значившее и для самой истории обоих славянских языков<sup>1</sup>.

При знакомстве с трудами Крушевского и Бодуэна поражает одновременно и глубина проникновения в законы, управляющие языковыми структурами и их эволюцией, и медленность усвоения этих выводов (часто с почти вековым опозданием) мировой наукой. По словам родоначальника современной лингвистики Ф. де Соссюра, в чьем посмертном «Курсе общей лингвистики» сказалось заметное влияние Крушевского, «Бодуэн де Куртенэ и Крушевский стояли ближе, чем кто-либо иной к теоретическому пониманию языка, не выходившему при этом за пределы чисто лингвистических умозаключений; между тем, они остались неизвестны миру западных ученых»<sup>2</sup>. Обратное по отношению к Крушевскому сказать нельзя: он первым оценил по достоинству и развел в своих трудах<sup>3</sup> поразительное открытие молодого Соссюра, заложившего благодаря структурному подходу к чередованиям гласных основы будущей ларингальной теории, которой суждено было в XX в. перевернуть все индоевропейское сравнительно-историческое языкознание. Впервые вслед за Соссюром Крушевский вводит и обозначение «фонема» по отношению к основной единице, определяющей структуру звуковой стороны языка (у Соссюра термин «фонема» обозначал структурный элемент внутри индоевропейских чередований).

Теория фонем и морфонологических чередований, разработанная Бодуэном и Крушевским сто лет назад, оказалась наиболее весомым вкладом Казанской школы в мировую науку. При пересмотре основных концепций этой теории современная лингвистика вновь и вновь обращается к идеям Бодуэна<sup>4</sup>. У него и Крушевского впервые было сформулировано как различие собственно фонетической стороны языка («антропофонической» в терминах Бодуэна) и стороны фонологической (фонемной), так и связь этого различия при описании современных языков с анализом результатов их исторического развития, которое должно быть объяснено общей типологией. Диаплический подход к языку, объединяющий синхронное описание с диахроническим (эволюционным) подходом, делает идеи Казанской школыозвучными наиболее новым исследованием, именно в этой связи ссылающимся на Бодуэна<sup>5</sup>.

Крушевский, как и молодой Бодуэн, был из числа ученых, целиком обращенных к будущему. Такая установка, при ее радикальности, у Крушевского доведенной до предела, обеспечивает ученому почти полное одиночество среди современников и полноту признания лишь через несколько поколений. Современная Крушевскому наука о языке его совершенно не устраивала. «Структурную систему» языка в его будущей феноменологии он хотел понять не эмпирически, к чему стремилась становившаяся господствующей младограмматическая школа, а дедуктивно, что делает его предшественником современной математически ориентированной лингвистики. В своем наброске общей теории языка, изданном в 1883 г.<sup>6</sup> и с тех пор переиздававшемся лишь в иностранных переводах и в извлечениях в хрестоматиях (что, как и отсутствие полных изданий рукописей Крушевского, свидетельствует о том, что в полной мере его признание и спустя столетие еще осталось за будущим), Крушевский излагает в терминах науки о системах знаков некоторые из общих семиотических законов, управляющих процессами эволюции языка: «Если язык есть не что иное, как система знаков, то идеальное состояние языка будет то, при котором между системой знаков и тем, что она обозначает, будет полное соответствие... все развитие языка есть вечное стремление к этому идеалу»<sup>7</sup>.

С представителями новейших семиотических течений Бодуэна и Крушевского (глубоко продумавшего аналогии языковой и биологической эволюции, теперь ставшие в центре внимания ученых благодаря открытиям молекулярной эволюционной теории) сближало и стремление к пониманию бессознательного характера языковых явлений. Бодуэн позднее отметит и важность сознательного регламентирования. Как формулировал свою основную мысль Бодуэн в докладе краковскому обществу им. Коперника, и «бессознательные (*nieświadome*) психические явления можно подвергнуть осознанию (*uświadadomość*)»<sup>8</sup>.

После смерти Крушевского Бодуэн постепенно переходит к переосмыслению теории фонем (для изложения которой он разрабатывает особую математикообразную систему символической записи) как «психофонетики». Фонема как структурная единица в этих психологических терминах противопоставляется «звукопредставлению». Хотя фонологические работы Бодуэна рубежа веков, изданные им по-польски, по-русски и в переводах на другие языки<sup>9</sup>, часто раньше подвергались критике за их психологизм, в правомерности тако-

го подхода теперь не приходится сомневаться. Для целого ряда областей, имеющих важные практические приложения (к физиологии восприятия звуков речи, их автоматическому восприятию), оправдан и подход к фонеме с точки зрения ее психологической реальности. Сам Бодуэн в этой связи ссылался на отражение фонем в рифмовке и в письме (в частности, он дал объяснение передаче единой фонемы *и/ы* в русском письме<sup>10</sup>, остающееся непревзойденным). Позднейшая критика была обращена скорее против обобщения психологического подхода на всю фонологию, хотя Бодуэн грешит этим меньше, чем многие современные лингвисты, почти целиком растворяющие фонологию в психологии<sup>11</sup>.

Лингвистика постоянно балансирует между стремлением утвердить свою (законную, как у любой науки, имеющей свой объект изучения) самостоятельность по отношению к психологии, на чем настаивала Казанская школа и Соссюр (а вслед за ним и структуралисты вплоть до новейших продолжателей Хомского)<sup>12</sup>, и противоположной тенденцией, обнаруживающейся у позднего Бодуэна и у многих представителей порождающей фонологии и находящей обоснование в том, что внутри говорящего и слушающего фонемы имеют психофизиологическую реальность. В курсе лекций по языкоznанию, который Бодуэн читал на рубеже первых двух десятилетий XX в. в Петербургском университете, он ввел понятия мельчайших артикуляционных и акустических единиц, на которые можно членить фонемы, подойдя тем самым вплотную к теории фонологических различительных признаков, ставшей важнейшей частью фонологии.

Из учеников Бодуэна петербургского периода для развития структурной теории языка и словесного искусства более других сделал Е. Д. Поливанов (1891—1938), учившийся и у самого Бодуэна, и у его ученика — филолога и фонетиста Л. В. Щербы (1880—1944), чьи воззрения позднее предвосхитили современную «естественную фонологию», ориентированную на однозначность соответствий между фонемами и звуками. И Щерба<sup>13</sup> и Поливанов<sup>14</sup> с основанием утверждали, что все основные теоретические выводы, поразившие лингвистов мира в посмертно изданном «Курсе» Соссюра, ученикам Бодуэна давно были известны (и, добавим, могли бы быть известны и всем остальным лингвистам, если бы они начали читать либо на славянских языках, либо хотя то, что на других языках писали лингвисты славянских стран). Поливанов (как и Щерба) настаивал на необходимости издания такой сводки работ Бодуэна, которая

охватила бы все ценное, что им сделано за разные периоды; до сих пор это пожелание в полном объеме не осуществлено (особенно приходится пожалеть о том, что не переизданы замечательные «подробные программы» лекций Бодуэна в Казанском университете, содержащие поразительные по новизне формулировки<sup>15</sup>, отчасти принадлежащие и его слушателю Крушевскому).

Е. Д. Поливанов в терминологии своих фонологических работ следовал психофонетической установке позднего Бодуэна. Но при мотивировке психологического подхода к фонологии он не ограничивался такими относительно простыми аргументами, как то, что возникновение алфавитного письма объясняется наличием фонем в языковой интуиции человека (сходный аргумент в те же годы привел и Э. Сепир; для Поливанова, много сил отдавшего разработке письменностей для тюркских и некоторых других языков, эта проблема имела и сугубо практический аспект). Его занимало и еще более глубокое экспериментальное изучение языковой интуиции говорящих, в частности, выделение «первофонем» (t, p, a, u, i), легко усваиваемых ребенком<sup>16</sup>; позднее эта идея получила широкое развитие в трудах Р. О. Якобсона и других ученых<sup>17</sup>. По свидетельству М. С. Кардашева, Поливанов стремился к «исследованию языкового инстинкта в смысле унаследованной от предков подсознательной языковой памяти. Для выявления такой памяти и ставились соответствующие опыты»<sup>18</sup> (вероятно интерес к этому аспекту у Е. Д. Поливанова был связан с его собственными уникальными способностями, как полиглотическими, так и парапсихологическими).

Е. Д. Поливанов предвосхитил (или впервые изложил на материале разнообразных систем фонем нескольких десятков языков и диалектов, им описанных) ряд теоретических обобщений, рабочих приемов, понятий, терминов, позднее вошедших в обиход синхронной и особенно диахронической фонологии: последняя в большей степени была создана им<sup>19</sup>. Ученый отличался очень хорошей подготовкой в области индоевропейского (и, в частности, славянского) языкознания (университет он окончил по двум специальностям — славистике и тибетскому языкознанию, хотя в университетские годы больше всего занимался японским языком и диалектами): ему принадлежат такие гипотезы в области славянской сравнительной грамматики, как идея о возведении -d- в о.-слав. \*id<sup>9</sup> 'иду' к \*-dhi во 2 л. ед. ч. пов. накл.<sup>20</sup>, до сих пор сохраняющая интерес и повторяющаяся позднее<sup>21</sup>.

Хорошо знал Поливанов и материал отдельных древних индоевропейских языков. По свидетельству покойного П. С. Кузнецова, когда ему пришлось сдавать экзамен по итальянским языкам в аспирантуре Института языка и литературы РАНИОН, Поливанов, руководивший лингвистическим отделом института в конце 20-х годов, вызвался сам принимать у него экзамен и обнаружил при этом блестящее знание древних текстов на этих языках.

Профессиональное владение индоевропеистикой отчетливо сказывается в первых работах Поливанова по диахронической фонологии, например, при описании им истории латинских, албанских и кельтских согласных. Для истории индоевропейских смычных третьего ряда (так называемых индоевропейских «звонких придыхательных») до сих пор сохраняет силу наблюдение Поливанова, по которому происшедшие из них «спиранты были принципиально глухими, но в то же время, в древнейший период латинского языка, aberriровали (именно ввиду отсутствия принципиально отличного представления звонких) между глухим и звонким вариантами в зависимости от комбинаторных условий»<sup>22</sup> (в настоящее время благодаря переинтерпретации индоевропейских звонких как глottализованных предложенную Поливановым характеристику оказывается возможным отнести и к индоевропейским прототипам этих согласных).

Черной, роднящей работы Поливанова по диахронической фонологии с исследованиями последних лет, является широкое использование им фонологических (и морфологических) универсалий, относящихся ко всем языкам. Соответственно восстанавливаемые фонетические процессы подкрепляются параллелями из разных языков: так, развитие *d* → *b* в дунганском языке сопоставляется со сходными изменениями в абхазском и латинском<sup>23</sup>. Связь интенсива с геминацией согласного, предполагаемую им для японского, Поливанов подтверждает сравнением с удвоением согласного в интенсиве семитского спряжения<sup>24</sup>.

Понимание Е. Д. Поливановым внутреннего единства синхронической и диахронической лингвистики делает его предшественником самого нового и многообещающего направления в науке о языке. Благодаря этому пониманию Поливанов первый вновь перенес принципы синхронного фонологического описания (когда-то возникшие в Казанской школе из диахронических сопоставлений) на диахроническое. На материале истории очень большого числа языков учёный показал, что фонологические изменения можно описать, лишь принимая во внимание отношение между нескольки-

ми фонемами, непосредственно противостоящими данной.

Историю фонологической системы японских согласных Поливанов описывал по существу в терминах фонологических различительных признаков, когда он говорил, например, о «перепое различительных функций с момента звонкости на момент назализации»<sup>25</sup>. Этим объясняется то, что история консонантизма описывалась им по отношению не к отдельным фонемам, а к их «категориям», или попарно противополагающимся группам *согласных*, различающихся попарно по одному только признаку, повторяющемуся в каждой паре»<sup>26</sup>. К понятию различительного признака как основной фонологической единицы Поливанов близко подходил уже в ранних своих работах по теории конвергенций, когда он исследовал эволюцию трех древних общекитайских категорий смычных — глухих, звонких и глухих придыхательных в китайском (и в китайских заимствованиях в японском)<sup>27</sup>.

Проблемы многоязычия и контактов языков, занимавшие и его учителей — Бодуэна и Щербу, Поливанов решал на широком материале (в частности, контактов языков Средней Азии), впервые им описанном. Он открыл, что явления контактов языков позволяют по-новому интерпретировать и выводы сравнительного языкознания: «Мы натолкнемся даже на спорные вопросы: к той или иной группе (семье) языков следует относить данный язык: считать ли его языком группы А, объясняя чужеродные (для А) его элементы как „заимствования“ из языковой группы Б, или же наоборот — признавать его языком группы Б, обладающим, однако, рядом „заимствований“ из А»<sup>28</sup>. Эта проблема детально была изучена Поливановым на материале японского языка, в котором им были открыты австронезийские заимствования<sup>29</sup>, наложившиеся на им же установленные исконные элементы, родственные алтайским языкам. Этот вывод остается в силе до настоящего времени<sup>30</sup>.

В сравнительно-исторической лингвистике Поливановым был сделан и ряд таких открытий, как обоснование принадлежности корейского языка к алтайским<sup>31</sup>. Эту традиционную и наиболее разработанную область языкознания, которую в конце 20 — начале 30-х годов он продолжал устно (на знаменитом публичном диспуте в Коммунистической академии, где Поливанов сделал доклад «Проблема марксистского языкознания и яфетическая теория») и печатно<sup>32</sup> отстаивать, Поливанов ценил именно за точность: в упомянутом докладе исследователь прежде всего защищает «точный метод, отличающий лингвистику от историй искусств,

точный метод, ставящий ее в ряд естественно-исторических дисциплин» (из стенограммы доклада)<sup>33</sup>.

Точные методы, вырабатывавшиеся в лингвистике, или методы, им подобные, Поливанов в ряде своих работ попробовал применить к словесному искусству — поэзии<sup>34</sup>, художественной литературе вообще, в частности к народному творчеству: он первым начинает изучение структуры загадок<sup>35</sup>, сравнивает разные тюркские (узбекскую, татарскую) версии рассказов об Ахмеде Ясави, где «личность святого была просто осью, на которую наматывались бродячие рассказы апекдотического характера»<sup>36</sup>.

О мировом признании Е. Д. Поливанова как зачинателя современной лингвистически ориентированной научной поэтики красноречиво свидетельствует то, что кружок изучения поэтики, основанный в Париже 24 января 1969 г., носит его имя и поставил себе задачей осуществить его проект создания «корпуса поэтик»<sup>37</sup>: руководители кружка специально занимались трудами Поливанова.

Е. Д. Поливанов входил в небольшую группу ученых-филологов, поставивших перед собой задачу создания новой поэтики. В 1915—1917 гг.<sup>38</sup> в Петрограде ими был создан ОПОЯЗ — Общество по изучению поэтического языка. К числу его петроградских членов, кроме Поливанова, принадлежали В. Б. Шкловский (1893), интенсивно работавший над теорией прозы<sup>39</sup> и отстаивавший отдельность поэтического языка (в широком понимании) от языка практического; Б. М. Эйхенбаум (1886—1959), занимавшийся структурой отдельных прозаических произведений<sup>40</sup> и мелодикой стиха<sup>41</sup>; Ю. Н. Тынянов (1894—1943), начавший с исследования пародийных форм<sup>42</sup> и затем перешедший к построению стиховой семантики<sup>43</sup> и теории языковой эволюции<sup>44</sup>; Л. П. Якубинский (1892—1945), изучавший звуковые особенности поэтического языка<sup>45</sup> и соотношение диалогической и монологической речи<sup>46</sup> и при этом одним из первых подошедший к проблеме диалога, которая позднее стала центральной для поэтики, С. И. Бернштейн (1892—1970), давший образцы поэтического анализа стихотворений, и некоторые другие филологи.

Первым результатом деятельности кружка явились два сборника статей, подготовленные к печати в 1916 г.: даты цензурного разрешения первого сборника — 24 августа 1916 г., второго сборника — 24 декабря 1916 г.<sup>47</sup> В конце февраля 1917 г. кружок был оформлен организационно, когда к нему примкнул москвич Р. О. Якобсон (1896—1982). К тому

времени Якобсон стал уже душой основанного 2 марта 1915 г. кружка молодых московских филологов, с 1917 г. названного Московским Лингвистическим кружком, в который входили также Н. Ф. Яковлев (1892—1975), первым сформулировавший принципы фонологии, свободные от психологизма «психофонетики» Бодуэна, Щербы и Поливанова и позднее развитые фопологами Московской школы, и фольклорист П. Г. Богатырев (1893—1971), который вместе с Якобсоном и Яковлевым в годы первой мировой войны осуществил уникальный опыт описания языка и народного словесного творчества в конкретном социальном контексте на материале Верейского у. (рукопись книги, излагавшая результаты исследования, подготовленная тремя членами Московского лингвистического кружка, пропала, и о результатах работы можно судить только по отдельным выводам, позднее изложенным в работах Якобсона).

В деятельности кружка, кроме Якобсона, участвовали и другие члены ОПОЯЗа (С. И. Бериштейн) или примыкавшие к нему лица, как Б. В. Томашевский (1890—1957), чьи исследования по теории стиха детально обсуждались на заседаниях Московского лингвистического кружка<sup>48</sup>. Сохранившиеся стенограммы докладов и обсуждений показательны в том отношении, что из них видно, как тесно деятельность Московского кружка и ОПОЯЗа была связана с атмосферой литературной полемики того времени. Например, Томашевский подвергает крайне резкой критике осмысление Андреем Белым первых результатов статистического исследования стиха; с аналогичной критикой стиховедческих работ Брюсова в это же время выступил Якобсон. Эта полемика в стиховедении прямо соотносится с тем, как постсимволистские (в частности, футуристические, всего теснее связанные с ОПОЯЗом и Московским лингвистическим кружком) направления в самой поэзии противопоставляли себя символистам. Ретроспективно Томашевского, пожалуй, можно считать прямым продолжателем Белого в статистическом стиховедении. Но для того времени существенное были не глобальные сходства, видимые лишь на большом расстоянии во времени, а различия в деталях, более заметных и броских.

За последние несколько десятилетий так называемая «формальная» (или «морфологическая», как предпочитали ее называть Эйхенбаум и Шкловский в некоторых из ранних работ) школа в литературоведении (иначе «формализм»), к которой принадлежали филологи, входившие в ОПОЯЗ и в Московский лингвистический кружок, получила необы-

чайно широкое признание в мировой науке. Ей посвящены многочисленные монографии<sup>49</sup> и сборники статей<sup>50</sup>, а число отдельных статей, популяризирующих или обсуждающих итоги работ русских формалистов, явно превышает число тех статей, которые были опубликованы последними. Тем не менее, именно теперь можно говорить о начале смещения интереса от этой фазы в истории нашей гуманитарной науки к следующему этапу, связанному с именами Л. С. Выготского (1896—1934) и М. М. Бахтина (1895—1975), которые еще в середине 20-х годов подвергли основные принципы исследований формальной школы серьезному критическому анализу, на который ориентированы и авторы новейших монографий<sup>51</sup>.

Важнейшим результатом деятельности формальной школы было установление некоторых основных принципов изучения литературы как особой структуры, отличной от нехудожественных словесных текстов. Формалистам удалось выявить такие существенные конструктивные приемы, как «остранение»<sup>52</sup>, выводящее изображаемое из привычных смысловых рядов; с их деятельностью связан и ряд понятий, вошедших в широкий обиход литературоведения: разграничение фабулы и сюжета<sup>53</sup>, понятие лирического героя<sup>54</sup>. Основным недостатком формализма, по существу никем из перечисленных выше ученых не преодоленным, было отсутствие единой концепции<sup>55</sup>.

Формалисты описывали некоторые фрагменты той системы, которая составляла предмет их изучения, полностью отвлекаясь от критериев выбора одной из многих возможностей, предоставляемых системой. В этом смысле наиболее характерным представителем всей школы в целом остается Шкловский, у которого фрагментарность является доминантой, проходящей от самого стиля (с принципиальным нарушением связности текста) до высших семантических уровней. Наивысшие достижения формальной школы или ученых, следовавших ее принципам, можно найти не в области исследования «большой» литературы, например, Толстого, которым занимались Эйхенбаум и Шкловский, а в сфере приложения относительно простых принципов к анализу повторяющихся фольклорных текстов.

Исследование В. Я. Проппа по структуре волшебных сказок<sup>56</sup> оказалось наиболее систематически выполненной работой. Именно ей предстояло оказать огромное влияние не только на всю мировую фольклористику, но и на принципы исследования текстов самых разных жанров и не только фольклорных. Виднейший представитель современной

структурной антропологии К. Леви-Строс, с удивлением обнаруживший в книге Проппа метод, предвосхищавший тот, которым он сам пользовался под влиянием Р. О. Якобсона, тем не менее счел эту работу ученого характерным выражением формального подхода в отличие от структурного, которому следует Леви-Строс. Хотя Пропп не согласился с этим противопоставлением<sup>57</sup>, тем не менее структурный в собственном смысле слова (включающий и разбор значений знаков, а не только их последовательности) анализ скорее можно найти в последующих его работах, чем в первой книге, преимущественно обращенной к формальной стороне структуры сказки, для которой он ввел удобную символическую запись. Самоограничение Проппа в этой работе привело к выдающемуся результату: для всех волшебных сказок удалось выявить единую формальную структуру, инвариант, сохраняющийся при всех преобразованиях текста. Позднейшие труды Проппа дают исторический комментарий к этой структуре, основанный на данных сравнительной этнографии.

Соотношение синхронного структурного анализа литературного произведения с диахроническим изучением истории литературы составило предмет напряженных раздумий Тынянова, чьи труды по литературной эволюции сопоставляются с одновременно осуществлявшимися исследованиями Поливанова, посвященными эволюции языковой<sup>58</sup>. Наиболее отчетливое выражение динамическое попимание литературы и языка в их развитии получило в тезисах, написанных совместно Якобсоном и Тыняновым и папечатанных впервые в журнале «Новый ЛЕФ» в 1928 г.<sup>59</sup> Эти тезисы свидетельствуют о быстрой эволюции идей Тынянова в сторону, сближавшую его с созданным к тому времени Пражским лингвистическим кружком.

Пражский лингвистический кружок был создан благодаря содружеству русских, чешских и словацких лингвистов. Инициатором его создания был крупнейший чешский лингвист и литературовед В. Матезиус. Еще в 1911 г. Матезиус опубликовал исследование<sup>60</sup>, где динамический подход к языку обосновывался тщательным (в том числе статистическим) анализом языковых фактов. Особенно хочется отметить в этом исследовании мысль о «смысловой потенциальности речи», под которой Матезиус понимал «множественность выражений», т. е. возможность выразить одно и то же несколькими способами<sup>61</sup>. Полвека спустя изучение именно этого аспекта языка станет в центре внимания лингвистиче-

ской семантики. Но еще раньше оно привлечет внимание одного из наиболее глубоких исследователей языка, входивших в Пражский кружок,— С. О. Карцевского (1884—1955), русского ученого, работавшего с 1925 г. в Женеве<sup>62</sup>. Одной из основных идей Карцевского, к которой постоянно обращается современная семиотика, был асимметрический дуализм языкового знака, обусловленный именно тем, что Матезиус называл «смысловой потенциальностью» (а в математической лингвистике и семиотике иногда именуют «гибкостью» языка вслед за акад. А. Н. Колмогоровым). Каждый знак языка колеблется между множеством других знаков (или их сочетаний), имеющих те же (или близкие) (синонимические) значения, и множеством знаков, имеющих то же или близкое звучание (омонимия). Это и было названо «асимметрическим дуализмом» знака у Карцевского.

Роль Карцевского в формировании теоретических принципов Пражского лингвистического кружка была особенно велика потому, что он еще в пору преподавания Соссюра в Женеве стал его учеником. Пражские лингвисты благодаря этому знали суть идей Соссюра не только по посмертно изданному (в 1916 г.) «Курсу», но и по изложению Карцевского. Объясняя позднее, почему именно Прага стала центром современной лингвистики, Матезиус упоминает две школы современного языкознания — одну, связанную с именем Соссюра, другую — с Бодуэном. Само географическое положение Праги, ее традиционная культурная роль соединителья западных и восточных традиций способствовали объединению идей двух этих школ, во многом близких.

Учителем Ф. Ф. Фортунатова (1848—1914) во втором поколении был один из наиболее выдающихся членов Пражского кружка Н. С. Трубецкой (1890—1938), занимавший с 1922 г. должность профессора Венского университета. В Московском университете Трубецкой учился у проф. В. К. Поржезинского (1870—1929), верного последователя фортунатовской Московской школы. Но Н. С. Трубецкой рано порвал с фортунатовской школой: уже в 1915 г. на заседании Московской диалектологической комиссии (при которой и сложился Московский лингвистический кружок) он выступил с резко критическим разбором вышедшего в том же году «Очерка древнейшего периода истории русского языка» А. А. Шахматова. По словам Трубецкого, его реферат произвел впечатление разорвавшейся бомбы, потому что в нем он порывал с догмой «Московской школы»<sup>63</sup>. Любопытно, что резко отрицательное суждение о предполагаемых Шахматовым изменениях звуков можно найти и в ранних

публикациях Поливанова по теории языковой эволюции<sup>64</sup>. И Трубецкой и Поливанов стремились к системному изучению эволюции языка, не удовлетворяясь тем, что находили у представителей школы Фортунатова.

Не следует преувеличивать и степени влияния школы Бодуэна на Пражский кружок. При внимательном изучении выясняется, что в то время его участники не анализировали трудов Бодуэна так тщательно, как это можно сделать теперь, когда очевидно сходство достигнутых им и пражцами результатов<sup>65</sup>. Безусловно, что в фонологических трудах и Трубецкого и Якобсона широко использованы результаты многих конкретных фонологических исследований Е. Д. Поливанова, который находился в интенсивной переписке с Якобсоном и печатал некоторые из своих последних работ в «Трудах» Пражского лингвистического кружка. Но по теоретической установке и терминологии члены этого кружка были далеки от «психофонетики» Поливанова (и Бодуэна). Отказ от психологического истолкования фонологии сближал Пражский кружок с Московской фонологической школой, развивавшей идеи тех первых публикаций Н. Ф. Яковлева, на которые опирался и Н. С. Трубецкой<sup>66</sup>. Но историк науки оказывается в затруднительном положении при необходимости сближения и сопоставления двух этих школ, так как о первых шагах Московской фонологической школы можно судить только по устным рассказам, а публикации работ ее участников относятся ко времени, следующему за окончанием довоенных изданий Пражского лингвистического кружка.

Кружок был основан 6 октября 1926 г. В этот день Матезиус пригласил участников кружка на доклад Бекера, посвященный сходству европейских языков. Проблема ареальных сходств языков и позднее остается в центре внимания членов кружка, одним из значительных достижений которого была разработка идеи языкового союза, объясняемого позднейшими контактами языков, в отличие от изучавшихся в традиционном языкознании семей языков. Трубецкой при его стремлении «порвать с догмами» к концу своей жизни пошел на крайне решительный шаг, попробовав переинтерпретировать наиболее прочно установленную семью языков — идиоевропейскую — как языковой союз, образовавшийся при контактах языков<sup>67</sup>. Эта идея весьма близка к приведенной выше цитате из опубликованной десятью годами раньше книги Поливанова, где говорится о спорности отнесения языка к той или иной семье в случае, если он содержит большое число заимствований. Это лишний раз

свидетельствует о параллелизме идей двух ученых (хотя Трубецкой, особенно в последних своих письмах<sup>68</sup>, весьма критически оценивает Поливанова, расходясь при этом с Якобсоном).

По личным качествам и характеру научного творчества Трубецкой и Якобсон были полярно противоположны и как бы дополняли друг друга. Якобсон постоянно создавал новые идеи, вовлекая Трубецкого и других членов кружка в их разработку. Сфера занятий Трубецкого при всей обширности его лингвистических позиций, сопоставимых с языковой эрудицией Поливанова, была в каждый данный период более ограничена. Всякий раз он стремился к завершающему синтезу, примером которого остается его труд по общей фонологии<sup>69</sup>, законченный перед смертью.

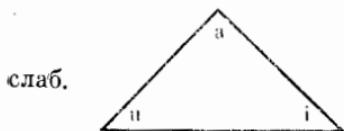
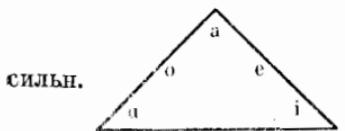
Из больших работ, которые Трубецкой успел не только закончить, но и опубликовать при жизни, следует особенно выделить его описание морфонологии русского языка, составившее особый полутом «Трудов» кружка<sup>70</sup>. Хотя современный исследователь морфонологии и может предложить существенные дополнения (прежде всего связанные с позднейшими исследованиями Р. Якобсона по морфологии русского глагола), тем не менее для своего времени эта книга составила эпоху, потому что такого описания соотношений между фонологией и морфологией не было в лингвистике со времен создания в середине I тысячелетия до н. э. грамматики сапскрита Панини (вспоминаются слова крупнейшего датского лингвиста Отто Есперсена, сказанные им на Международном съезде лингвистов в 1936 г.: «Цепь преемственности между Трубецким и Панини непрерывна»).

В свете современных исследований, показывающих, что именно благодаря своим связям с морфологией фонологическая система сохраняет следы прошлого языка и не тождественна фонетической, особый интерес представляет первое детальное описание этих связей, изложенное Трубецким на примере синхронного анализа мертвого славянского языка — полабского<sup>71</sup>. В одну и ту же морфонему (например, К) объединяются те полабские фонемы, которые связаны между собой морфологическими чередованиями, например, *k*, *č*, *s* в словоформах *guNkð* 'рука', род. п. *guNčě*, им.-вин. п. дв. ч. *guNcē*; те же из этих фонем, которые (как *č* в мест. п. *ruNče* 'пути') участвуют в других рядах чередований (ср. им. п. *riNt* 'путь'), должны быть отнесены к другой морфонеме. Обращает на себя внимание разительное сходство, во-первых, с ранними опытами Бодуэна и Крупевского (тогда Трубецкому остававшимися неизвестными), во-вторых, с по-

следующими идеями лингвистов Московской фонологической школы и тех современных ученых, которые идут по пути Хомского, отвлекаясь от психологической интерпретации. Можно думать, что существует одна лишь возможность создания такой фонологической теории, которая не была бы психологической (как у Бодуэна в период, следующий за казанским) и в то же время не была бы тождественна фонетической теории (как у позднего Щербы и в ленинградской школе, им основанной, близкой к естественной фонологии в современной лингвистике). Эта возможность заключается в классификации фонем по их морфологическим функциям, что было осуществлено впервые Панини, развито молодым Соссюром, Крушевским и Бодуэном в пору существования Казанской школы, независимо от них повторено Трубецким и вновь осуществляется в самых новых исследованиях, где недостаточно учитывается опыт пражцев. В частности, фонологическая теория Трубецкого представляется в них как опиравшаяся на однозначные соответствия между фонологией и фонетикой<sup>72</sup>. Но гораздо важнее то, что его теория в целом включала морфонологию<sup>73</sup>, что сближает его идеи со всем кругом перечисленных выше направлений, в которых (как у Яковлева и других представителей Московской школы) основная фонологическая единица определялась морфологически. Существенное различие состоит в том, что Трубецкой использует для этой единицы особый термин «мор(фо)фонема», тогда как в Казанской школе, Московской школе и направлении, развивающем в последнее время в противопоставление естественной фонологии, в том же смысле нередко использовался термин «фонема», становящийся чрезвычайно многозначным из-за разнообразия употреблений.

В области собственно фонологической теории Трубецкому удалось достигнуть чрезвычайно существенного сдвига в типологии разных подсистем и систем фонем. Он первый (развивая идеи, намеченные в традиционной фонетике) дал описание систем гласных фонем в виде определенных стандартно повторяющихся конфигураций, которые сам описывал в геометрических терминах (как треугольники и т. п.). В письме, написанном Якобсону в сентябре 1928 г. Трубецкой так описывает начало этой работы во время летнего отпуска: «Между делом предпринял еще одну работу, которая меня очень занимает: составил фопологические системы вокализма всех языков, которые помню наизусть (всего 34) и попробовал их друг с другом сопоставить. Здесь в Вене продолжил эту работу, так что сейчас имею уже 46 «померов». Буду исподволь работать и дальше, пока не наберу 100 языков.

Результаты получаются чрезвычайно любопытные. Например, до сих пор я еще не встретил ни одного языка с несимметричной системой гласных. Все системы укладываются в небольшое число типов и могут быть изображены всегда симметричными схемами (треугольников, параллельных рядов и т. д.). Без труда устанавливаются некоторые законы «системообразования» (вроде того, например, что если в данной системе существуют лабиализованные гласные переднего ряда, то число их никогда не может превышать числа нелабиализованных гласных переднего ряда и т. д.). Любопытные соотношения между системами (= долгих или ударяемых) и системами слабых (= кратких или неударяемых) гласных в одном и том же языке. Соотношения эти тоже укладываются в небольшое число типов. При этом между языками с квантизативной установкой и языками с экспираторной установкой принципиальной разницы нет. Так, например, одно и то же соотношение в санскритском



языке реализуется в количестве, а в русском — в ударении (и это не единственный пример). Полагаю, что добытые таким путем эмпирические законы могут иметь большое значение, в частности, для истории языка и для реконструкции. Я принципиально беру только живые языки, а из мертвых только наилучше разработанные; но законы, выведенные на основании этого материала, разумеется, должны быть приложимы ко всем языкам, в том числе и к теоретически восстанавливаемым праязыкам и стадиям развития исторических языков»<sup>74</sup>.

Последняя мысль опережает науку того поколения на полвека: только сейчас лингвисты начали проверять, соответствуют ли реконструированные праязыки общетипологическим языковым возможностям, проверяемым индуктивно.

Оригинальность подхода Трубецкого к системам гласных определялась пониманием каждого типа как особого образа (гештальта), который может быть описан геометрически. Каждую из систем, входивших в его классификацию, Трубецкой исследовал не по отдельным частям, а как целостное «единство-образ»<sup>75—76</sup>, хранившийся в его памяти. Об исключительной силе памяти Трубецкого свидетельствует то, что

когда он попытался восстановить по памяти черкесские тексты<sup>77</sup>, записи которых были им утрачены за 15 лет до того<sup>78</sup>, ему удалось записать около 2 печатных листов. Следует отметить, что творчество Н. С. Трубецкого в целом заслуживает пристального изучения психолога науки как редкий пример исключительно раннего проявления одаренности в научной сфере: уже в возрасте 15 лет он печатает первые зрелые научные работы о финском фольклоре, фригийско-кавказских параллелях, 17 лет состоит в переписке с крупнейшими специалистами по палеоазиатским языкам<sup>79</sup>. Поиск рукописей, оставленных Н. С. Трубецким на хранение в Ростове<sup>80</sup>, мог бы содействовать обнаружению архивных материалов, дополняющих те, которые уже найдены в московских книгохранилищах и дают представление о широте занятий молодого Трубецкого языками Сибири.

Одной из важнейших черт исследований Трубецкого являлась широта их языковой основы. Его обобщения всегда строились на материале подавляющего большинства описанных к тому времени языков. В этом состоит, в частности, и непреходящее значение его работы по общей фонологии.

После публикации переписки Трубецкого с Якобсоном стало ясным, в какой мере общение двух этих учёных подготовляло всю деятельность Пражского кружка. Но вместе с тем необходимо иметь в виду, что созданию атмосферы напряженной творческой деятельности способствовали и другие члены кружка, и не входившие в него формально учёные, печатавшиеся в его изданиях (как Поливанов) или приезжавшие в Прагу и выступавшие с докладами на нем, как Ю. Н. Тынянов и Б. В. Томашевский в 1928 г.<sup>81</sup> Из чешских лингвистов паряду с Матезиусом в первых же заседаниях и изданиях кружка деятельно участвовали славист Б. Гавранек (1893), специально занимавшийся функциональными стилями языка<sup>82</sup>, исследователь английского языка Б. Трика (1895); несколько позднее также специалист по лингвистической типологии В. Скаличка (1909), которому принадлежит опыт структурного описания венгерского языка<sup>83</sup>, критический разбор которого<sup>84</sup> составил как бы грамматическое завещание Матезиуса; специалист по английской исторической фонологии Й. Вахек (1909), позднее ставший и одним из историков кружка<sup>85</sup> и составителем словаря его терминологии<sup>86</sup>. Из словацких лингвистов, позднее сподобствовавших развитию идей кружка<sup>87</sup>, особенно следует отметить П. М. Коржинека (1899—1945), использовавшего структурный метод в своих сравнительно-исторических исследованиях<sup>88</sup>.

Каждый из лингвистов, объединившихся в кружке, занимался и синхронным описанием, и динамикой языкового развития. У пражцев противопоставление диахронического и синхронического оказалось снятым, в чем и состоял существенный шаг вперед по сравнению с «Курсом» Соссюра. Попытки описания пражской лингвистической системы, исходящие из ортодоксально соссюровской концепции<sup>89</sup>, неудачны, потому что пражская школа не просто продолжала Соссюра, а шла дальше — к переинтерпретации самого развития языка как системного и функционально обусловленного.

Большое значение в этом развитии имел труд Р. О. Якобсона по исторической фонологии славянских языков, составивший второй том «Трудов» кружка<sup>90</sup>. Многочисленные позднейшие разборы, в том числе и напечатанные в последние годы<sup>91</sup>, свидетельствуют о неослабевающей значимости этого пионерского труда. Публикации Якобсона в «Трудах» кружка охватывали такие области фонологии, как общая теория диахронической фонологии, фонология языковых союзов, фонология ударения<sup>92</sup>. Вместе с тем принципы, сходные с фонологическими, Якобсон переносит и на изучение морфологии, строя систему значений русского глагола и русских падежей<sup>93</sup>. С Якобсоном связано и обращение многих членов кружка к структурному изучению литературы и фольклора. Серия исследований Якобсона по истории чешской литературы<sup>94</sup> представляла пример применения новых методов к литературным текстам. В качестве одного из наглядных образцов сошлемся на предложенный Якобсоном в написанной по-чешски статье 1935 г., посвященной поэтике Эрбела, разбор бинарности в понимании Эрбеном мифа<sup>95</sup>. Здесь Якобсон по существу впервые формулирует этот принцип, несколькими десятилетиями спустя оказавшийся важнейшим орудием для проникновения в суть славянских мифоэтических текстов.

Теоретические основы структурного исследования в сопоставлении с литературой были разработаны в конце 20-х годов Р. О. Якобсоном в сотрудничестве с П. Г. Богатыревым<sup>96</sup>, который был активным участником работ пражского кружка. Труды последнего послужили первым опытом широкого применения структурных и семиотических методов к этнографическому материалу, в частности, к изучению народной одежды как особого типа знаков, структуры системы народных обычаяев Прикарпатья и т. п.

Применительно не только к художественным текстам, но и к искусству в целом (включая кино, составившее предмет

особого внимания и для членов ОПОЯЗа)<sup>97</sup>, структурные методы были использованы в эстетических работах чешского ученого Я. Мукаржовского (1891—1975)<sup>98</sup>. Для современной семиотики очевидно сходство основных идей этих трудов с выводами Морриса — одного из видных представителей школы Перса<sup>99</sup>.

По существу все основные области духовной деятельности человека, включая и историю культуры (особенно чешской), начали рассматриваться в трудах членов Пражского кружка со структурной точки зрения как системы знаков, передающие значения. Поэтому его деятельность в период выхода «Трудов» кружка (1929—1939 гг.) может по праву считаться началом современной семиотики.

<sup>1</sup> Jakobson R. Selected writings. The Hague; Paris, 1971, v. 2, s. 451—455.

<sup>2</sup> Saussure F. de. Notes inédites.— Cahiers Ferdinand de Saussure, 1954, v. 12, p. 66.

<sup>3</sup> Крушинский Н. В. Лингвистические заметки: I. Новейшие открытия в области арио-европейского вокализма.— Русский филологический вестник, 1880, № 4, с. 33—45; *Бодуэн де Куртенэ И. А.* [Рец. на кн.: Крушинский Н. В. К вопросу о гупе. Исследования в области старославянского вокализма. Варшава, 1881].— Учен. зап. Казанск. ун-та, 1881, № 3, с. 18—20.

<sup>4</sup> Anderson S. R. Why phonology isn't «natural».— Linguistic Inquiry, 1981 (Fall), v. 12, N 4, p. 493—539.

<sup>5</sup> Greenberg J. Rethinking linguistics diachronically.— Language, 1979, v. 55, N 2, p. 275—290.

<sup>6</sup> Крушинский Н. В. Очерк науки о языке. Казань, 1883, 4, 151 с.

<sup>7</sup> Крушинский Н. В. Очерк науки о языке.— В кн.: Хрестоматия по истории языкознания XIX—XX веков. М., 1956, с. 249.

<sup>8</sup> Якобсон Р. О. К языковедческой проблематике сознания и бессознательности.— В кн.: Бессознательное: Природа, функции, методы исследования. Тбилиси, 1978, т. 3, с. 156—159.

<sup>9</sup> Эти работы собраны в кн.: *Baudoin de Courtenay J. Szkice językoznawcze*. Warszawa, 1904, F. 1, VII, 464, 7 s.; *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Избр. тр. по общему языкознанию: В 2-х т. М., 1963.

<sup>10</sup> Jakobson R. Selected writings..., p. 410, note 68.

<sup>11</sup> Anderson S. R. Why phonology..., p. 494.

<sup>12</sup> Ibidem.

<sup>13</sup> Щерба Л. В. Избр. раб. по языкознанию и фонетике. Л., 1958, с. 14.

<sup>14</sup> Поливанов Е. Д. За марксистское языкознание. М., 1931, с. 3—4.

<sup>15</sup> Иванов В. В. И. А. Бодуэн де Куртенэ и типология славянских языков.— В кн.: И. А. Бодуэн де Куртенэ. М., 1960, с. 37—43.

<sup>16</sup> Поливанов Е. Д. Факторы фонетической эволюции языка как трудового процесса.— Уч. зап. Ин-та яз. и лит-ры РАНИОН, 1928, т. 3, с. 36, примеч. 1.

<sup>17</sup> Виноградов В. А. Теория фонетических конвергенций Е. Д. Поливанова и принцип системности в фонологии.— В кн.: Материалы конференции «Актуальные вопросы современного языкознания и

- лингвистическое наследие Е. Д. Поливанова». Самарканд, 1964, т. I, с. 16.
- <sup>18</sup> Из письма М. С. Кардашева А. А. Леонтьеву (сообщено автору А. А. Леонтьевым).
- <sup>19</sup> Иванов В. В. Лингвистические взгляды Е. Д. Поливанова.— Вопр. языкоznания, 1957, № 3, с. 55—73.
- <sup>20</sup> Поливанов Е. Д. Следы суффикса Imperat<sub>vi</sub> \*-dhi на славянской почве.— Изв. Отд. русского языка и словесности Российской Академии наук 1919. Пг., 1923, т. 24, кн. 2, с. 349—350.
- <sup>21</sup> Kořinek J. M. Presentní tvary kořene dō-davati v iazycích slovanských a baltiských.— Listy filologické, 1938, roč. 65, seš. 6, s. 452, poznámka 1; Иллич-Свитыч В. М. Сравнительная грамматика славянских языков.— В кн.: Сов. языкоznание за 50 лет. М., 1967, с. 81; Иванов В. В. Славянский, балтийский и раннебалканский глагол. М., 1981, с. 98—99.
- <sup>22</sup> Поливанов Е. Д. Из теории фонетических конвергенций: Латинский пример конвергенции с полным уподоблением.— В кн.: Сборник Туркестанского Восточного института в честь проф. А. Э. Шмидта. Ташкент, 1923, с. 106—107.
- <sup>23</sup> Поливанов Е. Д. Главнейшие особенности дунганского языка. (Рукопись статьи хранится в Архиве Института языка, истории и литературы Академии наук Киргизской ССР).
- <sup>24</sup> Поливанов Е. Д. Одна из японо-малайских параллелей.— Изв. Российской Академии наук, 1918, т. 12, сер. 6, № 18, с. 2284, прим. 4; Он же. Категории согласных в японском языке.— В кн.: Японский лингвистический сборник. М., 1959, с. 21.
- <sup>25</sup> Поливанов Е. Д. Категории согласных..., с. 28.
- <sup>26</sup> Там же, с. 19.
- <sup>27</sup> Поливанов Е. Д. Вторая статья по теории фонетических конвергенций.— В кн.: Сборник Туркестанского Восточного института..., с. 110—111.
- <sup>28</sup> Поливанов Е. Д. Введение в языкоznание для востоковедных вузов. Л., 1928, с. 52.
- <sup>29</sup> См. упоминавшиеся выше статьи Е. Д. Поливанова: «Одна из японо-малайских параллелей...» и «Категории согласных...»
- <sup>30</sup> Egerod S. To what extent can genetic-comparative classifications be based on typological considerations: Introduction.— In: Travaux du Cercle linguistique de Copenhague. Typology and genetics of language. Copenhague, 1980, v. 20, p. 126. Изложение истории вопроса в работе С. Эгерода не вполне точно, так как автору остался неизвестным целый ряд важнейших публикаций Е. Д. Поливанова (им упомянуто только две из них), а также то, что именно под его влиянием была написана книга Мацумото о взаимоотношении японского языка с австронезийским. Подробнее об этом см. упоминавшуюся выше выше статью «Лингвистические взгляды Е. Д. Поливанова».
- <sup>31</sup> Поливанов Е. Д. Статьи по общему языкоznанию. М., 1968. 376 с.
- <sup>32</sup> Поливанов Е. Д. За марксистское языкоznание, с. 3—4.
- <sup>33</sup> Стенограмма доклада была предоставлена автору покойным Л. И. Ройзензоном.
- <sup>34</sup> Поливанов Е. Д. Общий фонетический принцип всякой поэтической техники.— Вопр. языкоznания, 1963, № 1, с. 99—112.
- <sup>35</sup> Поливанов Е. Д. Формальные типы японских загадок.— В кн.: Сборник Музея антропологии и этнографии. Пг., 1918, т. 5, вып. 1, с. 371—374.

- <sup>36</sup> Поливанов Е. Д. Татарская версия «Шемякина суда».— В кн.: Сборник Туркестанского Восточного института..., с. 103.
- <sup>37</sup> Robel L., Roubaud J. Introduction.— In: Cahiers de poétique comparée. Paris. 1973, v. 1, fasc. 1, p. 1—2.
- <sup>38</sup> Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино/Комм. Е. А. Тоддеса, А. П. Чудакова, М. О. Чудаковой. М., 1977, с. 574.
- <sup>39</sup> Шкловский В. Б. О теории прозы. М.; Л., 1925. 189 с.; 2-е изд. М., 1929. 265 с.
- <sup>40</sup> Эйхенбаум Б. М. Как сделана «Шинель» Гоголя.— В кн.: Эйхенбаум Б. М. О прозе. Л., 1969, с. 306—328.
- <sup>41</sup> Эйхенбаум Б. М. О поэзии. Л., 1969. 551 с.
- <sup>42</sup> Тынянов Ю. Н. Поэтика..., с. 198—226, 284—309.
- <sup>43</sup> Там же, с. 253—254; Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка: Статьи. М., 1965. 301 с.
- <sup>44</sup> Тынянов Ю. Н. Поэтика..., Гинзбург Л. Я. О старом и новом: Статьи и очерки. Л., 1982. 423 с.
- <sup>45</sup> Якубинский Л. П. О звуках поэтического языка.— В кн.: Поэтика. Сборники по теории поэтического языка. Пг., 1919, вып. 3, с. 37—49.
- <sup>46</sup> Якубинский Л. П. О диалогической речи.— В кн.: Русская речь. Пг., 1923, т. I, с. 96—194.
- <sup>47</sup> Тынянов Ю. Н. Поэтика..., с. 504, прим. 6.
- <sup>48</sup> Томашевский и Московский лингвистический кружок.— Труды по знаковым системам, т. 9./Уч. зап. Тартуск. гос. ун-та, 1977, вып. 422, с. 113—132.
- <sup>49</sup> Erlich V. Russian formalism: History Doctrin: The Hague; Paris, 1955, XI 276 p.; Pomorska K. Russian formalist theory and its poetic ambiance. The Hague; Paris, 1968. 127 p.; Ambrogio I. S. Formalismo e avanguardia in Russia. Roma, 1968. 270 p.; Sheldon R. Victor Shklovsky: Literary theory and practice, 1914—1930. Ann Arbor, 1967. 411 l.
- <sup>50</sup> Russian formalism. A collection of articles and text in translation./Ed. by S. Bann and J. E. Bowlt. Edinburgh; London, 1973. 8, 178 p.
- <sup>51</sup> Hansen-Löwe A. Der russische Formalismus. Methodologische Rekonstruktion seiner Entwicklung aus dem Prinzip der Verfremdung.— Sitzungsberichte Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse, 1978, Bd. 336, S. 426—462.
- <sup>52</sup> См. указанные выше работы В. Б. Шкловского и А. Ханзена-Лёве.
- <sup>53</sup> См. работу В. Б. Шкловского.
- <sup>54</sup> См. «Поэтику» Ю. Н. Тынянова.
- <sup>55</sup> Hansen-Löwe A. Der russische..., S. 39.
- <sup>56</sup> Пропп В. Я. Морфология сказки. Л., 1928. 151 с.; 2-е изд. М., 1969. 168 с.
- <sup>57</sup> Пропп В. Я. Структурное и историческое изучение волшебной сказки.— В кн.: Прошил В. Я. Фольклор и действительность. М., 1976, с. 132—152.
- <sup>58</sup> Тынянов Ю. Н. Поэтика..., с. 525.
- <sup>59</sup> Там же, с. 282—283, 530—536.
- <sup>60</sup> См.: Матезиус В. О потенциальности языковых явлений.— В кн.: Пражский лингвистический кружок. М., 1967, с. 42—69.
- <sup>61</sup> Там же, с. 60—61.
- <sup>62</sup> Поступов Н. С. О лингвистическом наследстве С. Карцевского.— Вопр. языкоznания, 1957, № 4, с. 46—56.
- <sup>63</sup> Trubetzkoy N. Trubetzkoy's letters and notes./Prepared for publication by R. Jakobson. The Hague; Paris, 1975, p. 2.
- <sup>64</sup> Поливанов Е. Д. Причины происхождения Umlaut'a.— В кн.: Сборник Туркестанского Восточного института..., с. 120—121.

- <sup>65</sup> Stankiewicz E. Baudouin de Courtenay and the Foundations of structural linguistics. Lisse, 1976. 62 p.; *Idem*. Prague school morphophonemics.— In: Stankiewicz E. Studies in Slavic morphophonemics and accentology. Ann Arbor, 1979, p. 14—31.
- <sup>66</sup> Трубецкой Н. С. Основы фонологии. М., 1960. 372 с.
- <sup>67</sup> Трубецкой Н. С. Мысли об индоевропейской проблеме.— Вопр. языкоznания, 1958, № 1, с. 65—77.
- <sup>68</sup> Trubetzkoy N. Trubetzkoy's letters....
- <sup>69</sup> Трубецкой Н. С. Основы фонологии.
- <sup>70</sup> Trubetzkoy N. Das morphologische System der russischen Sprache. Prague, 1934. 94 p.
- <sup>71</sup> Trubetzkoy N. Polabische Studien.— Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-historische Klasse. Wien; Leipzig, 1929, Bd. 211, № 4.
- <sup>72</sup> Anderson S. R. Why phonology.., p. 503.
- <sup>73</sup> См. об этом: Stankiewicz E. Prague school....
- <sup>74</sup> Trubetzkoy N. Trubetzkoy's letters..., p. 117.
- <sup>75—76</sup> Иванов В. В. Чет и печет. Ассиметрия мозга и знаковых систем. М., 1978. 185 с.
- <sup>77</sup> Trubetzkoy N. Errinnerungen an einen Aufenthalt bei den Tscherkessen des Kreises Tuapse.— Caucasica, 1934, fasc. 11, S. 1—39.
- <sup>78</sup> Симеонов Б. Трубецкой в Болгарии: (Документы).— Балканско ези-коzнание, 1977, № 4, с. 5—12.
- <sup>79</sup> Trubetzkoy N. Trubetzkoy's letters..., p. 443—444.
- <sup>80</sup> Симеонов Б. Трубецкой в Болгарии, с. 5—12.
- <sup>81</sup> Compte-rendu de l'activité du Cercle linguistique de Prague.— In: Travaux du Cercle linguistique de Prague. 1. Mélanges linguistiques dédiés au Premier Congrès des philologues Slaves. Prague, 1929, v. 1, p. 242—244.
- <sup>82</sup> Гавранек Б. О функциональном расслоении литературного языка.— В кн.: Пражский лингвистический кружок. М., 1967, с. 338—377.
- <sup>83</sup> Скаличка В. О грамматике венгерского языка.— В кн.: Пражский лингвистический кружок. М., 1967, с. 128—195.
- <sup>84</sup> Matejka B. Попытка создания теории структурной грамматики.— В кн.: Пражский лингвистический кружок. М., 1967, с. 196—209.
- <sup>85</sup> Vachek J. The Linguistic School of Prague. Bloomington; London, 1966. 184 p.
- <sup>86</sup> Vachek J. Лингвистический словарь Пражской школы. М., 1964. 350 c.
- <sup>87</sup> Popovič A. Štrukturalismus v slovenskej vede, 1931—1949: Dejiny, texty, bibliografia. Martin, 1970. 174 s.
- <sup>88</sup> Kořínek J. M. Presentní tvary...; *Idem*. Od indoevropského prajazyka k praslovanské. Bratislava, 1948. 126 s.
- <sup>89</sup> Fontaine J. Le cercle linguistique de Prague./Tours; Paris, 1974. 185 p.
- <sup>90</sup> Jakobson R. Remarques sur l'évolution phonologique du Russe comparée à celle des autres langues slaves.— In: Travaux du Cercle lin- guistique de Prague. Prague, 1929, v. 2, p. 6—116.
- <sup>91</sup> Sound, sign and meaning: Quinquagenary of the Prague linguistic cercle./Ed. by L. Matejka. Ann Arbor, 1976. 622 p.; Roman Jakobson: Echoes of his scholarship./Ed. by D. Armstrong and G. H. van Schooneveld. Lisse, 1977. IX, 533 p.
- <sup>92</sup> Jakobson R. Selected writings. S'Gravenhage, 1962, v. 1, X, 678 p.
- <sup>93</sup> Ibidem, The Hague; Paris, 1971, v. 2, XIV, 752 p.
- <sup>94</sup> Ibidem, The Hague etc., 1966—1981, v. 3. XVIII, 814 p.; v. 4, XII, 751 p.; v. 5, VIII, 623 p.; Jakobson R. Studies in verbal art: Texts in Czech and Slovak. Ann Arbor, 1971. 412 p.
- <sup>95</sup> Jakobson R. Selected writings, v. 2, p. 515.

- <sup>96</sup> Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971, с. 369—383.
- <sup>97</sup> См. упоминавшийся сборник работ Ю. Н. Тынянова «Поэтика...».
- <sup>98</sup> Мукаржовский Я. Эстетическая функция, норма и ценность как социальные факты.— Труды по знаковым системам, т. 7./Уч. зап. Тартуск. гос. ун-та, 1975, вып. 365, с. 243—295; *Он же*. Статьи о кино.— Там же, 1981, т. 13, вып. 546, с. 104—116.
- <sup>99</sup> Sound, sign and meaning., p. 425—432.

---

А. Н. ГОРЯИНОВ

О ПОДГОТОВКЕ СЛАВИСТИЧЕСКИХ КАДРОВ  
В ЛЕНИНГРАДСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  
(1920-е годы)

Среди довольно многочисленных и очень разнородных по профилю учреждений и организаций, занимавшихся в 1920-х годах различными вопросами истории, языка и культуры зарубежных славянских народов, было сравнительно мало высших учебных заведений, готовивших славистов. В связи с этим несомненный интерес представляет работа в области славистики, проводившаяся в Ленинградском университете.

Данная статья не претендует на сколько-нибудь полную разработку сложной и многоплановой темы о ленинградской университетской славистике 1920-х годов. Автор поставил перед собой лишь скромную задачу — проследить изменения в организации и тематических рамках преподавания славистических дисциплин, имевшие место на протяжении 1920-х годов в ЛГУ, попытавшись в меру своих возможностей очертить круг научных проблем, разрабатывавшихся научно-исследовательскими и учебными подразделениями Ленинградского университета в эти годы. В работе нет даже упоминания о ряде интересных для историка славистики трудов, созданных профессорами и преподавателями Ленинградского университета; это обусловлено как специфическими задачами статьи, так и тем, что данные работы были, как правило, написаны и опубликованы по личной инициативе ученых, вне связи с их деятельностью в университете.

Имеющаяся литература совершенно не дает представления о преподавании славистики в ЛГУ в 20-е годы и об организации там подготовки кадров славистов. В статьях об истории советской славистики кафедра славянской филологии и славянский цикл ЛГУ в лучшем случае лишь упоми-

паются<sup>1</sup>, а в статье Н. А. Мещерского и П. А. Дмитриева, специально посвященной развитию славянского языкоznания в Ленинградском университете<sup>2</sup>, авторы ограничиваются перечислением работавших в ЛГУ филологов-славистов и краткой характеристикой выполненных ими исследований. Нет никаких сведений о постановке в 1920-х годах в ЛГУ славистического образования и в довольно многочисленных работах по истории Ленинградского университета.

Исключением является характеристика преподавания славистических дисциплин в Московском и Ленинградском университетах в книге Л. В. Ивановой<sup>3</sup>. Автор правильно отмечает преимущественно филологический характер преподавания славяноведения в ЛГУ в 20-х годах, но вместе с тем допускает в своем изложении некоторые неточности. В частности, Л. В. Иванова не права, относя курс Н. С. Державина по славяноведению к историческим курсам; она также утверждает без достаточных на то оснований, что создание в ЛГУ и МГУ славянской специализации «открыло широкую дорогу славистике в университетское преподавание».

В действительности Ленинградский университет в 1920-е годы был одним из немногих вузов, где изучались славистические дисциплины и велась научно-исследовательская работа в области славистики. Там существовал организационно сформленный учебный цикл (так назывались в те годы группы студентов, готовившихся по той или иной специальности), в значительной степени ориентированный на изучение зарубежных славян. Вместе с несколькими другими циклами он составлял Литературно-лингвистическое отделение, входившее в состав факультета языковедения и, материальной культуры.

Предшественницей цикла была специализация студентов при кафедре славянской филологии Историко-филологического факультета<sup>4</sup>. До конца 1918/19 уч. года преподаватели этой кафедры читали не только курсы по славянской филологии (П. А. Лавров, Н. С. Державин, М. Г. Долобко), но и по истории славянских народов (Н. В. Ястребов, А. И. Коссовский)<sup>5</sup>. При кафедре для подготовки к профессорскому званию были оставлены языковед С. А. Еремин, литераторовед В. Г. Чернобаев, историки П. Г. Петров, К. А. Пушкаревич и др.<sup>6</sup> С образованием в сентябре 1919 г. на базе гуманитарных факультетов университета единого факультета общественных наук (ФОН) ЛГУ в составе юридико-политического, социально-экономического, философского, истори-

ческого, филологического и этнолого-лингвистического отделений, из кафедры славянской филологии, отошедшей к филологическому отделению, выделились кафедра истории Польши и Чехии и кафедра истории южных славян. Новое штатное расписание ЛГУ предусматривало четыре преподавательских должности на кафедре славянской филологии и по одной на исторических кафедрах<sup>7</sup>.

Исторические кафедры входили сначала в состав исторического, а с 1921 г. — в состав общественно-педагогического отделения ФОНа. Кафедру истории южных славян одно время занимал В. Н. Кораблев<sup>8</sup>; других сведений об этой кафедре, а также каких-либо следов деятельности кафедры истории Польши и Чехии (ее предполагалось предоставить Н. В. Ястребову, который в конце 1919 г. эмигрировал<sup>9</sup>) в документах ЛГУ пока не обнаружено. Известно только, что на ФОНе в 1920-х годах существовал студенческий кружок по истории славяно-византийских отношений, которым руководил Ф. И. Успенский, что он читал по этой тематике лекции и вел семинарские занятия, а В. Н. Кораблев в 1927 г. продолжал преподавать историю славян<sup>10</sup>.

Кафедра славянской филологии существовала на филологическом отделении. На кафедре работали профессора Н. С. Державин, М. Г. Долобко, П. А. Лавров, А. Л. Петров<sup>11</sup>. Когда в соответствии с декретом Совнаркома РСФСР от 4 марта 1921 г. «О плане реорганизации факультетов общественных наук российских университетов»<sup>12</sup> исторические и филологические отделения ФОН ЛГУ были упразднены, преподавание славянских языков и литературу сосредоточилось на этнолого-лингвистическом отделении<sup>13</sup>, преобразованном вскоре в Отделение языковедения и литературы<sup>14</sup>. Здесь в 1923—1925 гг. существовала славянорусская секция; обучавшиеся на ней студенты (в большинстве своем специализировавшиеся, видимо, по русистике)<sup>15</sup> изучали введение в славянскую филологию, старославянский и один из живых славянских языков, историческую грамматику одного из славянских языков, историю славянских литератур<sup>16</sup>. Преподавали славистические дисциплины Н. С. Державин, М. Г. Долобко, начавший работать в ЛГУ в феврале 1921 г. В. Г. Чернобаев. При секции существовал славянский кабинет, в состав которого входила библиотека славянского семинария. Заведовал кабинетом В. Г. Чернобаев<sup>17</sup>, ему помогал студент С. С. Советов<sup>18</sup>.

Необходимо отметить, что программа славяно-русской секции была рассчитана в первую очередь на подготовку специалистов по русскому языку и литературе.

За время пребывания в университете студентам предлагалось прослушать 49 обязательных и необязательных курсов (включая семинары и просеминары), в том числе всего три обязательных и четыре необязательных курса о зарубежных славянских народах<sup>19</sup>. В свидетельстве об окончании Отделения языковедения и литературы, выданном С. С. Советову (он специализировался по польской литературе), указывается, что им выполнены «все требования учебного плана», после чего перечислены 32 предмета, в том числе пять — по общественно-политическим дисциплинам (политическая экономия, исторический материализм и т. д.), шесть — по русскому языку, восемь — по русской литературе, три — по педагогике и психологии и только пять — по дисциплинам, так или иначе относящимся к общим проблемам славяноведения, языку, литературе зарубежных славянских народов (введение в славянскую филологию, «древнеславянский» (старославянский) язык, польский язык — курс и семинарий, семинарий на тему «Польская повесть XVIII в.»)<sup>20</sup>. Чтобы повысить уровень своей подготовки по славистике, Советов вынужден был уже после окончания университета прослушать курсы М. Г. Долобко по чешскому языку, К. А. Пушкаревича по истории чешской литературы, В. Г. Чернобаева по истории культуры западных славян, Н. С. Державина по истории культуры южных славян и болгарскому языку<sup>21</sup>.

Качество преподавания славистических дисциплин в славяно-русской секции также оставляло желать лучшего. К. Г. Шариков, учившийся в ЛГУ в 1922/23 и 1923/24 уч. годах, вспоминает, что учебные планы и программы по ряду предметов, в том числе по некоторым славистическим дисциплинам, носили сколастический характер. «На ЯЛО (Отделение языка и литературы), — пишет он, — от студентов, изучающих славяноведение, на экзаменах по истории славянских литератур требовалась такие поверхностные знания, что в сущности все дело сводилось к простому перечню авторов и их произведений. Это возмущало даже неискушенных студентов»<sup>22</sup>.

В 1925 г. Факультет общественных наук ЛГУ был реорганизован. В соответствии с постановлением Совнаркома РСФСР от 2 июня 1925 г.<sup>23</sup> на базе Отделения языка и литературы и Археологического отделения был создан Факультет языкоznания и материальной культуры (ЯМФАК). На новом факультете впервые были организованы циклы (о содержании этого понятия говорилось выше), по которым студенты распределялись после окончания 1 курса.

Первоначально славистические дисциплины изучались на цикле языков и литератур Восточной Европы. Этот цикл объединял уже не только славистов и русистов, но и финно-угроведов и студентов, специализирующихся по балтийским языкам<sup>24</sup>. Специализирующихся по славяноведению на цикле почти не было. «...Среди нынешних студентов,— писал из Ленинграда в Москву 24 января 1926 г. акад. А. И. Соболевскому заведующий Славянским отделом Библиотеки Академии наук А. И. Лященко,— интерес к славистике пал: у М. Г. Долобки, К. А. Пушкиревича — слушателей — один, два; то же у Н. Державина»<sup>25</sup>.

Отсутствие у студентов интереса к славистике было закономерным следствием противоречий, присущих ее развитию в СССР в 1920—1930-х годах<sup>26</sup>. Но если на студентов оказывали преимущественное влияние факторы, тормозившие развитие славистики, профессора и преподаватели ЯМФАКа, деканом которого в 1925—1933 гг. был Н. С. Державин и где работали языковеды, внесшие значительный вклад в разработку славистической проблематики (Д. В. Буррих, С. П. Обнорский, Л. В. Щерба, Л. П. Якубинский и др.), понимали необходимость расширения славистических исследований и подготовки кадров славистов. Актуальность специализации студентов по славяноведению стала особенно ясной после создания в 1926 г. цикла южных и западных славян на Этнологическом факультете Московского университета<sup>27</sup>.

С целью приобщения к славистике студентов в 1926/27 уч. году большинство изучавшихся на цикле языков и литератур Восточной Европы славистических дисциплин было превращено в обязательные. В то же время началась работа по перестройке читаемых курсов, что выразилось прежде всего в расширении и приближении к современности их тематики. В январе 1927 г. в письме к В. Златарскому Н. С. Державин сообщал, что ему регулярно приходится читать в университете курсы болгарского языка, истории культуры болгарского народа, истории славянских литератур, славяноведения. Последним курсом был заменен курс «Введение в славянскую филологию», читавшийся ранее<sup>28</sup>.

Изменился и состав преподавателей славистических дисциплин на цикле. К преподаванию старославянского языка были привлечены крупнейшие ленинградские филологи — Е. Ф. Карский и С. П. Обнорский, русист И. А. Фалев<sup>29</sup>. Примечательным было появление первых преподавателей-славистов, получивших подготовку в советский период.

В 1925 г. после окончания аспирантуры Научно-исследовательского института сравнительного изучения литературы и языков Запада и Востока при ЛГУ преподавать славянские литературы начал К. А. Пушкиевич<sup>30</sup>. В конце 1926 г. на должность младшего ассистента Кабинета славяноведения был зачислен выпускник цикла С. С. Советов<sup>31</sup>.

Проведенные мероприятия несколько увеличили авторитет славистики среди студентов, создали почву для дальнейшего повышения уровня преподавания славистических дисциплин и позволили реорганизовать цикл языков и литератур Восточной Европы в Славянский цикл. Новое название подчеркивало ведущую роль на цикле славистической проблематики, но следует отметить, что в нем по-прежнему были объединены славистические и неславистические специализации. Сама славистика тоже рассматривалась как совокупность дисциплин, изучающих не только западных и южных, но и восточных славян. О направлениях, по которым готовили студентов на цикле, дают представление названия существовавших в его составе семи кафедр: кафедра теории и методологии литературы, кафедра истории русской литературы, кафедра общего языкознания, кафедра экспериментальной фонетики, кафедра истории русского языка, финно-угорско-алтайская кафедра и, наконец, кафедра славянской филологии<sup>32</sup>.

Задачи славянского цикла наиболее полно сформулированы в докладной записке, подготовленной для деканата ЯМФАКа секретарем президиума цикла С. П. Обнорским по материалам обсуждения на цикле 18 февраля 1928 г. просьбы деканата «высказать суждения по вопросам: а) о задачах цикла в отношении оканчивающих студентов, б) о тех учреждениях, с которыми, по мнению цикла, следует войти в ближайший контакт в интересах оканчивающих студентов»<sup>33</sup>. Как видно из записи<sup>34</sup>, преподаватели и представители обучавшихся на цикле студентов, участвовавшие в обсуждении, учитывали необходимость подготовки практических работников по специальностям, не связанным с зарубежными славянами или имеющим к ним лишь косвенное отношение, но вместе с тем подчеркивали целесообразность сосредоточения основных усилий на подготовке специалистов по славянским странам, которые могли бы вести научную работу, налаживать культурные связи с соответствующими странами, информировать о ситуации в этих странах.

Интересно, что докладная записка исходила из понимания славистики скорее как историко-культурной, чем как

чисто филологической дисциплины. Еще более отчетливо тенденция к расширению тематических рамок славистики прослеживается в программе курса «Славяноведение», который читал Н. С. Державин в 1927/28 уч. году на первом курсе<sup>35</sup>, и в уставе научного славяноведческого кружка, созданного на цикле в декабре 1927 г.

Программа предусматривала освещение в лекциях не только вопросов славянской филологии и связанных с ними проблем славянского этногенеза, но и истории создания древнейших славянских государств, а также, что особенно примечательно, политического положения и культурного развития зарубежных славянских стран в новейшее время. В проекте устава кружка, названного «Студенческий кружок по изучению современного славянства», эти задачи были определены как «объединение студентов, преподавательского персонала Ленинградского государственного университета и лиц, допущенных к занятию в таковом, для коллективной научной деятельности в области изучения культурного, политического и экономического состояния современного славянства»<sup>36</sup>.

Тенденция к расширению тематики еще не переросла, однако, в комплексный подход к славистике. Об этом свидетельствует и отсутствие истории славян среди читавшихся на цикле курсов; это видно и из программы курса Н. С. Державина, где не предусматривалось изучение целых периодов исторического развития славянских народов, и из других программ, например, из очень подробной программы курса В. Г. Чернобаева по истории славянских литератур, доведенной, однако, лишь до конца XVIII в.<sup>37</sup>

После реорганизации цикла языков и литератур Восточной Европы в славянский цикл преподавание на нем славистических дисциплин было несколько расширено за счет западно- и восточнославянских языков. В 1927/28 уч. году студенты цикла, специализировавшиеся по лингвистике, должны были сдавать зачеты не по одному, а по двум живым славянским языкам, старославянскому языку и сравнительной грамматике славянских языков<sup>38</sup>; для них начато было также чтение курсов белорусского языка (Е. Ф. Карским) и украинского языка (Б. М. Ляпуновым)<sup>39</sup>, курса славяно-русской палеографии<sup>40</sup>. В то же время студенты-литературоведы славянские языки не изучали, а в зачетные требования для них, кроме общего с лингвистами курса «Славяноведение», вошла только одна славистическая дисциплина — история славянских литератур. Семинар по истории

литературы польского Просвещения, который вел В. Г. Чернобаев, и спецкурс К. А. Пушкаревича «Чешская литература XIX в.» были факультативными и в зачетных требованиях не значились<sup>41</sup>.

Направив свои основные усилия на расширение круга изучаемых славистических дисциплин, руководители и преподаватели славянского цикла ставили вместе с тем перед собой задачу «общего поднятия и более строгой постановки дела преподавания славистики на цикле»<sup>42</sup>. Здесь, однако, существовали еще значительные трудности. Особенно слабые успехи показывали студенты в изучении славянских языков. Неудовлетворенность языковой подготовкой слушателей в той или иной форме выражена в большинстве отчетов преподавателей славистических дисциплин о проведенных ими в 1927/28 уч. году занятиях<sup>43</sup>.

Все же в целом можно считать, что с созданием славянского цикла подготовка славистов в Ленинградском университете сделала заметный шаг вперед. Как следствие в 1927/28 уч. году по сравнению с предшествующими годами выросло количество посетителей библиотеки славянского семинария и выдача из нее книг<sup>44</sup>, а в работе кружка по изучению современного славянства (он начал свою деятельность в декабре 1927 г.) приняло участие 11 студентов<sup>45</sup>.

Важным фактором, способствовавшим улучшению подготовки славистов, было постепенное налаживание прекратившегося в годы гражданской войны комплектования библиотеки славянского семинария новой зарубежной славистической литературой. Хотя во второй половине 1920-х годов средства для выписки этой литературы были еще «весьма ограничены»<sup>46</sup>, библиотека уже имела возможность получать учебную и научную литературу из всех славянских стран; в 1927/28 уч. году В. Г. Чернобаеву удалось установить книгообменные связи со Славянской библиотекой в Праге, Институтом им. Оссолинских, другими зарубежными книгохранилищами и научными учреждениями, и возможности пополнения библиотеки еще более увеличились<sup>47</sup>. В результате преподаватели все в больших размерах стали рекомендовать студентам вместо устаревших новые славистические работы<sup>48</sup>. К сожалению, эти работы не только были мало доступны студентам ввиду слабого знания ими славянских языков, но и не содействовали формированию у них марксистско-ленинского мировоззрения, зачастую трактуя рассматриваемые проблемы с чуждых советской науке методологических позиций.

Проблема учебников остро стояла не только в славистике. Она была актуальна для многих общественных, естественных и технических наук. В связи с этим в январе 1928 г. Государственный ученый совет при Наркомпросе РСФСР предложил ряду высших учебных заведений, в том числе Ленинградскому университету, наметить «те учебники и учебные пособия, которые, по их мнению, необходимы для преподавания»<sup>49</sup>. Таким образом, перед преподавательским составом университета была поставлена важная научная и методическая задача. Следует отметить, что преподаватели славянского цикла отнеслись к ее выполнению очень ответственно и с большим интересом. Предложение ГУСа было внимательно обсуждено сначала порознь литературоведами и лингвистами, а затем на общих собраниях преподавателей цикла<sup>50</sup>. Итоги обсуждения были подведены в докладной записке деканату ЯМФАКа, где содержался перечень необходимых учебников и были предложены их возможные авторы<sup>51</sup>.

В перечне упомянут ряд неславистических тем для учебников, но наиболее значительное место в нем заняли темы по славистике. Было признано, в частности, необходимым создать учебники по славяноведению (авторы Н. С. Державин или симферопольский славист А. М. Лукьяненко), истории славянских литератур (автор В. Г. Чернобаев), славяно-русской палеографии (автор Е. Ф. Карский), старославянскому языку (автор С. М. Кульбакин, живший с 1920 г. в Югославии), по южнославянским и западнославянским языкам (автор М. Г. Долобко), по сравнительной грамматике славянских языков (автор Б. М. Ляпунов), хрестоматию по старославянскому языку (автор профессор 2-го МГУ Н. М. Каринский). В учебнике по славяноведению планировалось при этом осветить преимущественно лингвистические аспекты темы, а учебник сравнительной грамматики славянских языков написать «с элементами как праславянской грамматики, так и собственно сравнительно-ист[орической] грамматики славянских языков»<sup>52</sup>. В наибольшей степени раскрыт в перечне замысел серии учебников южно- и западнославянских языков, в которых должны были содержаться их краткие исторические очерки, грамматики, тексты и словари.

Из сказанного следует, что слависты ЛГУ планировали взять на себя основную работу по составлению учебников, но вместе с тем рассматривали эту работу не только как свое личное дело, но и как широкую издательскую програм-

му, в которой должны были принять участие наиболее компетентные специалисты независимо от места их жительства и работы. Не ограничившись предложениями по тематике учебников, они высказали и некоторые суждения о принципах их создания, однако замыслы эти в методологическом отпоможении нешли дальше уже читавшихся на славянском цикле курсов.

Предложения ленинградских славистов по написанию учебников не были осуществлены<sup>53</sup>, но разработанная ими программа интересна как одна из попыток активизировать на цикле научную работу.

Способствовать активизации научной деятельности должны были также созданные на цикле научные кружки. Среди них для истории славистики интересен научный студенческий кружок по изучению современного славянства, организованный в декабре 1972 г. (об уставе этого кружка уже говорилось ранее).

Кружок состоял из 17 (по другим данным 18) человек, среди которых было по три-четыре студента с I, III и IV курсов, а также один ассистент и пять преподавателей. Руководил кружком Н. С. Державин, ему помогал К. А. Пушкиревич<sup>54</sup>. Таким образом, являясь формально студенческим, кружок в действительности объединял не только студентов, но и преподавателей цикла, занимавшихся зарубежными славянами.

Уставом предусматривалось заслушивать и обсуждать на заседаниях кружка доклады, устраивать публичные чтения и диспуты, печатать труды и даже организовать собственную библиотеку<sup>55</sup>. Однако осуществлению этой программы мешала недостаточная подготовка студентов, и руководители кружка вынуждены были ограничиться на первое время популяризацией славистических знаний с целью привлечения студентов к изучению современных славянских народов. На практике, как видно из отчета кружка за 1927/28 уч. год<sup>56</sup>, его деятельность выражалась в проведении заседаний, где делались доклады, да в попытке вести библиографию литературы о современном славянстве. Наиболее активными докладчиками были руководители кружка Н. С. Державин и К. А. Пушкиревич, выступившие каждый с двумя докладами. По одному докладу сделали С. С. Советов и студент Д. Д. Димитров<sup>57</sup>. Интересна тематика докладов членов кружка. Они посвящены главным образом современному экономическому и политическому положению славянских и балканских народов, их государственному

строю. Очень характерно, что кружок занимался не только славянской проблематикой, но и балканистикой в широком смысле этого слова, причем относительно большое место было уделено совершенно не разработанным в русской и советской науке проблемам албановедения<sup>58</sup>.

Хотя кружок по изучению современного славянства работал на ЯМФАКе, объединявшем не исторические, а лингвистические, литературоведческие и археологические специализации, литературоведческая тематика была представлена на его заседаниях всего одним докладом о Бранко Радичевиче (он был сделан С. С. Советовым)<sup>59</sup>, а по лингвистике на заседаниях кружка не было сделано ни одного доклада. По-видимому, тематика докладов не только отражала общую тенденцию к расширению рамок славистики, о чем уже было сказано, но и являлась попыткой сделать шире кругозор студентов-славистов с тем, чтобы способствовать подготовке из них специалистов широкого профиля по странам Центральной и Юго-Восточной Европы. В тематике кружка проявились и взгляды на славяноведение самого Н. С. Державина, которые были сформулированы им позднее в статьях о задачах Ленинградского института славяноведения<sup>60</sup> и из которых он исходил при организации института<sup>61</sup>.

Из сказанного видно, что научные аспекты деятельности не получили на цикле значительного развития. Причину этого следует искать в курсе на разделение научной и преподавательской работы, проводившемся Государственным ученым советом при Наркомпросе РСФСР. Первым шагом в этом направлении было создание в начале 1920-х годов при крупнейших вузах страны научно-исследовательских институтов, существовавших параллельно с соответствующими учебными подразделениями и включавших в свои штаты большинство их профессоров и преподавателей. Одним из таких созданных в ЛГУ институтов был Научно-исследовательский институт сравнительного изучения литератур и языков им. А. Н. Веселовского, организованный в 1921 г. и занимавшийся наряду с другими вопросами славистической проблематикой. В июне 1924 г. институт, который осенью 1923 г. реорганизовался в Научно-исследовательский институт сравнительного изучения литератур и языков Запада и Востока (ИЛЯЗВ), был по решению ГУСа включен в состав Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН), но фактически до мая 1927 г. продолжал существовать при университете<sup>62</sup>.

К моменту создания цикла он уже выделился из ЛГУ окончательно, но там продолжало работать большинство преподавателей цикла. С 1922 по 1933 г. директором института был Н. С. Державин. В нем трудились М. Г. Долобко, Е. Ф. Карский, С. П. Обнорский, Л. В. Щерба, Л. П. Якубинский, ряд других профессоров и преподавателей цикла.

Имеющиеся в нашем распоряжении сведения об институте весьма кратки. Существующие материалы<sup>63</sup> освещают его деятельность лишь за 1925—1926 и частично за первые месяцы 1927 г. Однако на их основании можно, по нашему мнению, судить о деятельности ИЛЯЗВ и в более поздний период. Прежде всего видно, что работа по славяноведению велась в нескольких секциях института. В секции общего языкознания, где работал М. Г. Долобко, им был прочитан в 1926 г. доклад «О границах сравнительно-исторического метода па материале некоторых заимствований слов в славяпских языках», а Н. С. Державин и С. П. Обнорский выступили с сообщениями о славяно-албанских и славяно-грузинских языковых взаимоотношениях. В план работы секции «яфетического языкознания» была включена тема «Яфетические элементы в славянских языках», в план секции «живой старины» (фольклора) — тема «Этнология Балканского полуострова» и ряд тем по восточнославянской проблематике. Несколько языковедов, интересовавшихся вопросами славистики, входило в секцию индоевропейского языкознания, где в июне 1926 г. сотрудница Библиотеки Академии наук Л. В. Арасимович выступила с докладом «Двойственное число в сербо-лузицком».

В конце 1926 — начале 1927 г. предпринимались усилия для создания межсекционной «Комиссии по изучению этнических культур народов Юга и Запада СССР», в рамках которой паряду с исследованием греческой, молдавской и других национальных групп должна была быть продолжена начатая ранее Н. С. Державиным работа по изучению болгарского паселения Украины. Но основная славистическая деятельность института была сосредоточена в Славяно-византийской группе Секции литературы средних веков и Возрождения. Руководил группой известный специалист по древнерусской литературе Д. И. Абрамович, ее секретарем был литераторовед и книговед Л. К. Ильинский, в работе группы участвовали В. П. Адриапова-Перетц, В. Н. Бенешевич, И. П. Еремин, П. А. Лавров, Б. М. Ляпунов, С. П. Обнорский, Н. Е. Оичуков, В. Н. Перетц, К. А. Пушкаревич, С. С. Советов, В. Г. Чернобаев и др.

Хотя организационно группа вместе с секцией входила в состав отделения литературы, фактически она имела комплексный характер и разрабатывала не только литературо-ведические проблемы, но и вопросы фольклористики и языко-знания. Большое внимание уделялось при этом славистической проблематике. В планах работы группы значились такие научные темы, как составление словаря литературных памятников старославянского языка (руководитель — акад. П. А. Лавров), изучение взаимоотношений русской и польской повести (руководитель акад. В. Н. Перетц), разработка проблемы «Славянские древности» (руководитель — Н. С. Державин). Только с ноября 1925 г. по июнь 1926 г. на ее заседаниях было заслушано 15 сообщений. Среди них наряду с докладами по славянскому фольклору и славянским древностям значится сообщение аспирантки А. Ф. Вишняковой «Законник Стефана Душана и монастырские акты XIII—XIV ст.», всецело относящийся к исторической тематике.

Хронологическая деятельность группы тоже выходила за рамки средних веков и Возрождения. Это проявилось в существовании при группе подгруппы по изучению современного славянства, которая объединяла славистов, работавших в различных секциях. Ученый секретарь ИЛЯЗВ Я. А. Яковлев отмечал, что подгруппа вела исследование южно- и западнославянских литератур и языков в связи с экономикой и политикой славянских стран. Возглавлял подгруппу Н. С. Державин, ее секретарем был К. А. Пушкиревич. Наряду с профессорами и преподавателями ЯМФАКа в ней работали молодые лингвисты и литературоведы, готовившиеся в институте к научной деятельности,— Л. В. Арасимович, Б. В. Лавров, Э. А. Лемберг, Л. В. Матвеева-Исаева, С. С. Советов. Впоследствии все они стали крупными специалистами по славянскому языкознанию и славянским литературам, а Л. В. Арасимович (позже Разумовская) специализировалась по средневековой истории Польши и защитила по этой тематике докторскую диссертацию.

Научная деятельность подгруппы состояла, по-видимому, исключительно в заслушивании и обсуждении научных докладов. Из известных нам шести докладов с тремя выступил Н. С. Державин, по одному сделали П. А. Лавров, В. Г. Чернобаев, Л. В. Арасимович. На деятельность подгруппы, безусловно, наложили отпечаток интересы большинства ее участников. Современности был по существу посвящен только доклад В. Г. Чернобаева о С. Жеромском. На трех заседаниях были заслушаны сообщения П. А. Лаврова,

Н. С. Державина и Л. В. Арасимович о новых книгах по болгарскому фольклору, болгарской библиографии и украинской диалектологии, а два доклада, сделанные Н. С. Державиным, были посвящены вопросам славянского языкоznания.

Таким образом, деятельность подгруппы по изучению современного славянства так же, как и деятельность всей славяно-византийской группы, носила, с одной стороны, комплексный характер, а с другой — выходила за рамки, определяемые ее названием.

В целом можно сказать, что славистические исследования в Институте сравнительного изучения языков и литературы при ЛГУ занимали значительное место. Именно там вели научную работу университетские преподаватели, имевшие там велась подготовка ученых-славистов.

К сожалению, о результатах научно-исследовательской работы, проводившейся в ЛГУ в области славяноведения, судить весьма трудно ввиду недостатка материалов. Правда, известен целый ряд статей сотрудников ИЛЯЗВ по славистике, но только некоторые из них соответствуют плановым темам научной работы или известной нам тематике прочитанных в институте докладов. Что же касается изданий института, то около десятка статей по славянской тематике напечатано лишь в сборниках «Язык и литература»<sup>64</sup>, большая часть которых вышла в 1929—1932 гг., когда сборник уже не был университетским изданием.

Наиболее активно работал в институте его директор Н. С. Державин. Он входил в состав пяти секций, руководил тремя плановыми темами, выступил в течение полутора лет в институте с шестью научными докладами. Следы разработки руководимых Н. С. Державиным тем «Этнология Балканского полуострова» и «Яфетические элементы в славянских языках» сохранились в его статьях «Албановедение и албанцы»<sup>65</sup>, «Славяне и Византия в VI в.»<sup>66</sup>, «Яфетические переживания в прометеидской славянской традиции»<sup>67</sup>. С двумя докладами в славяно-византийской группе по материалам своего этнографического исследования об обрядах сбора урожая у славянских народов выступил К. А. Конержинский. П. А. Лавров сделал на заседании подгруппы по изучению современного славянства доклад о собранных С. Верковичем народных сказках жителей Южной Македонии, издание которых было осуществлено им позднее в Чехословакии совместно с Й. Поливкой, и о житиях Константина и Мефодия, над которыми Лавров, видимо, работал в связи со своими итоговыми трудами по кирилло-мефодиевскому вопросу<sup>68</sup>.

Молодая исследовательница Л. В. Арасимович выступила в названной выше подгруппе с рефератом по своей опубликованной незадолго перед тем рецензии на книгу Е. Б. Курило по украинской диалектологии<sup>69</sup>. В 1927—1930 гг. в сборниках института и в «Известиях Отделения русского языка и словесности Академии наук» была напечатана серия статей В. Г. Чернобаева и К. А. Пушкаревича о переделках и переработках в зарубежных славянских странах произведений английской и русской художественной литературы, в том числе повести А. Гольдсмита «Азэм» и комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»<sup>70</sup>, и статья Д. Д. Дмитрова о переселении в Россию болгар<sup>71</sup>.

В период пребывания в институте подготовили свои первые печатные работы аспиранты-языковеды Э. А. Лемберг и Л. В. Матвеева-Исаева. Э. А. Лемберг (позже Якубинская-Лемберг), которая защитила в 1927 г. в ИЛЯЗВ диссертацию «К вопросу об отражении праязычных конечных дифтонгов на славянской почве»<sup>72</sup>, опубликовала в том же году в сборнике института свою первую статью, основанную на материалах диссертации<sup>73</sup>. Л. В. Матвеевой-Исаевой принадлежит опубликованная в этом же сборнике статья «Различные отложения глottогонического процесса на славянской почве»<sup>74</sup>.

Славистические труды составляли лишь часть научной продукции института и были невелики по объему. Однако они являлись итогом интенсивной научной работы, проводившейся в различных направлениях. Следует отметить, что статьи, подготовленные в институте, в целом находились на уровне тогдашнего состояния советской науки. Для них было характерно стремление установить социально-классовые и политические причины описываемых событий, вскрыть глубинные связи и отношения между ними. Такой подход особенно отчетливо виден в небольшой статье К. А. Пушкаревича, объяснявшей перенесение действия при переделке А. Коженевским грибоедовского «Горя от ума» на польскую почву стремлением воспользоваться знаменитой русской комедией «как своего рода формулой для сатиры на современное ему разлагающееся под влиянием капитализма польское дворянство»<sup>75</sup>.

В то же время некоторые статьи сотрудников института были основаны на вульгарных и псевдосоциологических концепциях, на так называемом «новом учении о языке» Н. Я. Марра, которым особенно увлекался в те годы Н. С. Державин и которое он сам впоследствии квалифици-

ровал как паходившееся «в вопиющем противоречии с истинным ходом исторического процесса и с процессом развития языков»<sup>76</sup>. Впрочем, даже в области лингвистики труды сотрудников института представляют определенный интерес и сегодня<sup>77</sup>.

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что в 20-е годы славистика неизменно оставалась одним из направлений преподавательской и исследовательской работы специалистов Ленинградского университета. Несмотря на ряд неблагоприятных обстоятельств (многочисленные организационные перестройки, отсутствие интереса у студентов, низкое качество преподавания отдельных предметов и др.), славяноведение в ЛГУ, преодолевая трудности, постепенно продвигалось вперед. Оно развивалось еще преимущественно как филологическая дисциплина; вместе с тем в середине 1920-х годов прослеживается тенденция к расширению тематических рамок славистики, проявившаяся во внимании к некоторым вопросам культуры, истории, современного экономического и политического положения зарубежных славян.

В заключение коротко остановимся на славистике в ЛГУ в конце 20-х и в 30-е годы. Как уже было сказано выше, в мае 1927 г. ИЛЯЗВ окончательно выделился из состава университета. Славянский цикл ЯМФАКа, видимо, тоже просуществовал недолго: последние имеющиеся в нашем распоряжении сведения о нем относятся к сентябрю 1928 г. 15 сентября на заседании деканата ЯМФАКа был утвержден список курсов и семинаров, которые должны были вести преподаватели славянского цикла в 1928/29 уч. году<sup>78</sup>. Однако в тот же день на заседании цикла был оглашен проект новой структуры ЯМФАКа, которая предусматривала ликвидацию циклов и отмену в связи с этим студенческих специализаций. Вместо циклов создавались предметные комиссии, объединявшие учебно-методическую деятельность родственных кафедр, среди которых значится предметная комиссия славянских языков и литератур, объединявшая наряду с кафедрой славянской филологии кафедры истории русской литературы и русского языка<sup>79</sup>. В 1930 г. Историко-лингвистический факультет (так с 1929 г. назывался ЯМФАК) был отделен от университета и преобразован в Историко-лингвистический институт (ЛИЛИ)<sup>80</sup>. В этот институт перешли многие слависты, преподававшие в университете, однако их деятельность в ЛИЛИ выходит за рамки настоящей работы.

Славистика в ЛГУ возродилась во второй половине 1930-х годов. В предвоенные годы она поднялась на новый уровень. Об этом свидетельствуют, в частности, кандидатские и докторские диссертации, подготовленные в университете по истории славян и истории славянских литератур накануне Великой Отечественной войны. Деятельность ленинградских славистов в этот период заслуживает специального рассмотрения.

- <sup>1</sup> См. например: *Бернштейн С. Б.* Советской славянской филологии 50 лет.—Сов. славяноведение, 1967, № 5, с. 77—93; *Злыднев В. И.* Изучение зарубежных славянских литератур в Советском Союзе.—Сов. славяноведение, 1967, № 5, с. 53—66.
- <sup>2</sup> *Мещерский Н. А., Дмитриев П. А.* Русское и славянское языкознание в Петербургском-Ленинградском университете за 150 лет (1819—1969).—Вестн. Ленингр. ун-та, 1969, № 2, с. 80—91.
- <sup>3</sup> *Иванова Л. В.* У истоков советской исторической науки. М., 1968, с. 42.
- <sup>4</sup> Кафедры в университетах существовали до 1922 г. На основании «Положения о высших учебных заведениях», принятого Совнаркомом РСФСР 3 июля 1922 г. (Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР, 1922, отд. I, № 43, ст. 518), их функции перешли к предметным комиссиям, которые составляли «все научные работники, принимавшие участие в преподавании соответствующих дисциплин, а также представители студентов...» Однако в повседневном обиходе наряду с термином «предметная комиссия» для обозначения профессоров и преподавателей тех или иных дисциплин продолжало употребляться понятие «кафедра», и Главпрофобр Наркомпроса РСФСР издал даже в марте 1925 г. специальный циркуляр, в котором предлагалось «заменить это понятие понятием штатной профессорской и преподавательской должности» (Бюлл. Наркомпроса РСФСР, 1925, № 13, с. 21). Вскоре, однако, кафедры в вузах были официально восстановлены, и в примечании к ст. 21 постановления Совнаркома РСФСР от 3 июля 1925 г. «Об изменении некоторых статей «Положения о высших учебных заведениях» (Собрание узаконений и распоряжений..., 1925, отд. 1, № 47, ст. 363) упомянуты руководители кафедр, которые «обязательно участвуют в обсуждении вопросов, касающихся кафедр, в учебном совете факультета».
- <sup>5</sup> См.: Обозрение преподавания наук на Историко-филологическом факультете Петроградского университета в осеннем полугодии 1919 года. Пг., 1918. 31 с.
- <sup>6</sup> См.: ЦГАОРЛ, ф. 7240 (ЛГУ), оп. 14, д. 26, л. 10—15. Впоследствии К. А. Пушкаревич специализировался по истории славянских литератур.
- <sup>7</sup> Там же, д. 132, л. 43, 47 об., 49.
- <sup>8</sup> Архив ЛГУ, личный стол, оп. 3, св. 46, д. 1480, л. 2, 3.
- <sup>9</sup> ЦГАОРЛ, ф. 7240, оп. 14, д. 132, л. 51 об. О времени отъезда Н. В. Ястребова из Советской России см.: *Лаптева Л. П.* Ястребов [Н. В.].—В кн.: Славяноведение в дореволюционной России: Библиогр. словарь. М., 1979, с. 386—387.
- <sup>10</sup> Очерки по истории Ленинградского университета. Л., 1976, вып. 3,

- с. 41; Българо-руски научни връзки XIX—XX век: Документи. София, 1968, с. 108.
- <sup>11</sup> ЦГАОРЛ, ф. 7240, оп. 14, д. 132, л. 52 об.
- <sup>12</sup> Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР, 1921, № 19, ст. 117.
- <sup>13</sup> С. С. Советов, поступивший в ЛГУ в 1922 г. и специализировавшийся по польской литературе, начал учебу на Этнолого-лингвистическом отделении, занимаясь на I курсе преимущественно в секции языка (см.: *Cirriculum vitae* Сергея Сергеевича Советова. 12.XI 1926 г.—Архив ЛГУ, личный стол, оп. 3, св. 81, д. 2833, л. 2).
- <sup>14</sup> См.: Учебный план Отделения языковедения и литературы на 1923/24 уч. год.— ЦГАОРЛ, ф. 7240, оп. 14, д. 156, л. 34—42.
- <sup>15</sup> В 1924/25 уч. году Отделение, состоявшее из пяти секций, окончило 139 человек, в том числе 108 — по славяно-русской, 16 — по романо-германской, 3 — по ближневосточной, 2 — по дальневосточной секциям и 10 — по секции древнего мира (ЦГАОРЛ, ф. 7240, оп. 14, д. 156, л. 22, 29).
- <sup>16</sup> ЦГАОРЛ, ф. 7240, оп. 14, д. 156, л. 34—42.
- <sup>17</sup> Там же, л. 5, 12.
- <sup>18</sup> Архив ЛГУ, личный стол, оп. 3, св. 81, д. 2833, л. 2.
- <sup>19</sup> ЦГАОРЛ, ф. 7240, оп. 14, д. 156, л. 34—42.
- <sup>20</sup> Архив ЛГУ, личный стол, оп. 3, св. 81, д. 2833, л. 24.
- <sup>21</sup> Там же, л. 2.
- <sup>22</sup> На штурм науки: Воспоминания бывших студентов факультета общественных наук Ленинградского университета. Л., 1971, с. 26—27.
- <sup>23</sup> Об организации факультета языкоznания и материальной культуры в Ленинградском университете.— Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР, 1925, отд. 1, № 40, ст. 281.
- <sup>24</sup> См.: Обозрение преподавания на факультете языковедения и материальной культуры (ЯМФАК) Ленинградского государственного университета на 1926/27 уч. год [Л., 1927], с. 55—64.
- <sup>25</sup> ЦГАЛИ, ф. 449, оп. 1, д. 239, л. 11.
- <sup>26</sup> Имеются в виду такие неравнозначные факторы, определявшие развитие советской славистики в 1920-е годы, как антисоветская направленность выступлений буржуазных идеологов зарубежных славянских стран, враждебная политика правительств этих стран в отношении Советского Союза, неприятие советской общественностью реакционной панславистской идеологии — с одной стороны; начало широкой публикации документов по истории международных отношений, международного и русского революционного движения, решение задач развития национальной культуры польского, болгарского и чешского населения СССР, пребывание в Советском Союзе коммунистов-политиммигрантов из зарубежных славянских стран — с другой. Подробнее об этом см.: Горяинов А. Н. Советская славистика 1920—1930-х годов.— В кн.: Исследования по историографии славяноведения и балканистики. М., 1981, с. 5—21; Дьяков В. А. О некоторых аспектах развития славистики в 1918—1939 гг.— Сов. славяноведение, 1981, № 1, с. 78—92.
- <sup>27</sup> См.: Архив МГУ, ф. 18, оп. 1, д. 56, л. 163—164.
- <sup>28</sup> Българо-руски научни връзки XIX—XX век..., с. 108; Обозрение преподавания на факультете языковедения и материальной культуры..., с. 55—64.
- <sup>29</sup> Обозрение преподавания на факультете языковедения и материальной культуры..., с. 8, 9.

<sup>30</sup> ЦГАОРЛ, ф. 7240, оп. 12, ч. 1, д. 1382, л. 12 об.

<sup>31</sup> Архив ЛГУ, личный стол, св. 81, д. 2833, л. 14.

<sup>32</sup> ЦГАОРЛ, ф. 7240, оп. 14, д. 204, л. 43.

<sup>33</sup> Там же, л. 18.

<sup>34</sup> Черновик записки рукою С. П. Обнорского хранится в ЦГАОРЛ, ф. 7240, оп. 14, д. 206, л. 227. Текст записки следующий: «Вопрос о заданиях ЯМФАКа по слав[янскому] циклу определяется с достаточной отчетливостью отчасти из принадлежности ЯМФАКа к составу вуза университетского типа, отчасти из непосредственных учебных планов цикла. В первом отношении Слав[янский] цикл естественно должен задачей своей иметь подготовку научных специалистов по дисциплинам, входящим в круг ведения цикла. Это — основная задача слав[янского] цикла, тем более для него обязательная, что по ряду дисциплин, особенно лингвистического характера, именно слав[янский] цикл ЯМФАКа *Ленинградского* унив[ерситета] наиболее обеспечен квалифицированными преподавательскими силами сравнительно с иными сходными вузами СССР. Кроме этой основной задачи подготовки научных работников по специальности, цикл ставит своей целью также подготовку ряда практических работников по отдельным специальностям. Согласно с этой последней задачей построен учебный план цикла. Именно в целях подготовки квалифицированных практических работников по ряду специальностей в планы цикла на III и IV курсах включены специальные группы занятий, преимущественно лабораторно-практического характера, которые должны по своим заданиям из оканчивающего цикл дать сразу практического работника по своей избранной специальности. Таковы именно в учебных планах цикла различные категории практикумов — педагогический, краеведческий, библиотечно-рукописный, наконец, редакционный практикум. Отсюда ясны дальнейшие категории специалистов — практических работников, которых должен готовить цикл. Это — а) специалисты по краеведению, б) по преподавательской работе повышенного типа (в техникумах, различных курсах, школах для взрослых и т. д.), в) работники по журнально-издательскому делу, г) квалифицированные библиотекари, в частности работники рукописных хранилищ, д) деятели по различным видам политпросветительной работы. Наконец, естественно из самого характера предметов преподавания в планах цикла, что известные ряды оканчивающих цикл должны пойти навстречу государственной потребности в работниках по общей линии культурных связей с заграницей, особенно со славянским миром, в роли осведомителей иноzemной культуры в широком смысле, в роли квалифицированных переводчиков и т. д. В последнем отношении, однако, следует иметь в виду, что подготовка действительно квалифицированных работников по культурным связям с заграницей, славистов-переводчиков и под[обных] была бы обеспечена при условии общего поднятия и более строгой постановки дела преподавания славистики на цикле. Председатель... Секретарь С. Обнорский. 21.II 1928».

<sup>35</sup> Вот текст этой очень краткой программы (ЦГАОРЛ, ф. 7240, оп. 14, д. 206, л. 227):

«Основные задачи славянской филологии как науки; материал и метод науки.

История славянской филологии как науки в ее важнейших фактах и ее основные проблемы.

**Индоевропейцы и их территории. Происхождение славян — в свете индоевропейской теории. Славянская прародина и расселение славян.**

Происхождение отдельных славянских народов и древнейшие их судьбы, этнографические и политические. Образование древнейших славянских государств.

Возрождение современного славянства; его культурно-историческое и политическое положение».

<sup>36</sup> ЦГАОРЛ, ф. 7240, оп. 14, д. 204, л. 9—10.

<sup>37</sup> Там же, л. 235—236.

<sup>38</sup> Там же, л. 13.

<sup>39</sup> Там же, л. 13, 232, 233.

<sup>40</sup> Там же, д. 204, л. 3.

<sup>41</sup> Там же, д. 206, л. 291, 292.

<sup>42</sup> Там же, л. 33.

<sup>43</sup> Там же, л. 279, 280, 291, 292.

<sup>44</sup> Там же, л. 259, 260.

<sup>45</sup> Там же, л. 256—258.

<sup>46</sup> Там же, л. 259, 260.

<sup>47</sup> Там же.

<sup>48</sup> В перечнях работ, рекомендованных студентам в качестве пособий для подготовки к занятиям (ЦГАОРЛ, ф. 7240, оп. 14, д. 206, л. 54—56, 72 и др.), наряду с дореволюционной литературой значились, в частности:

а) по курсу «Славяноведение» (лектор Н. С. Державин) — *Niederle L. Manuel de l'antiquité slave*. Paris, 1923, т. 1, VIII, 246 с.; *Item. Slovanské starožitnosti*. Praha, 1925, 2. vyd., d. 1, 4, XVI, 528 с.

б)польский язык (лектор М. Г. Долобко) — *Szober S. Gramatyka języka polskiego*. 2 zmienione i uzupełnione wyd. Lwów — Warszawa, 1923, 408 с.; *Lós J. Gramatyka polska*. W 3-ch cz. Lwów, 1922—1927, cz. 1.1922.XX, 244 с.; cz 2.1925.XVI, 336 с.

в) сравнительная грамматика славянских языков (лектор М. Г. Долобко) — *Meillet A. Le slave commun*. Paris, 1924, XVI, 448 р.; *Vondrák W. Vergleichende slawische Grammatik*. Göttingen, 1924, Bd. 1, XVIII, 742 S.

г) история славянских литератур (лектор В. Г. Чернобаев) — *Máčhal J. Slovanské literatury*. 4 vol. Praha, 1922—1925; *Procháska D. Pregled hrvatske i srpske književnosti*, Zagreb, 1925, X, 416 с.; *Якубец Я., Новак А. История чешской литературы*. Прага, 1926, ч. 1, 2.

<sup>49</sup> ЦГАОРЛ, ф. 7240, оп. 14, д. 205, л. 37.  
<sup>50</sup> Там же, д. 204, л. 25—26, 29.

<sup>51</sup> Там же, д. 205, л. 91, 92.

<sup>52</sup> Там же.

<sup>53</sup> Исключением был подготовленный еще до разработки проекта классический труд Е. Ф. Карского «Славянская кирилловская палеография» (Л., 1928, XIII, 494 с), который базировался на курсе лекций ученого и до сих пор является, по авторитетному свидетельству акад. В. И. Борковского, «незаменимым для высшей школы учебным пособием». (См.: *Борковский В. И. Послесловие*. — В кн.: *Карский Е. Ф. Труды по белорусскому и другим славянским языкам*. М., 1962, с. 701).

<sup>54</sup> ЦГАОРЛ, ф. 7240, оп. 14, д. 206, л. 154, 256.

<sup>55</sup> Там же, л. 9.

<sup>56</sup> Ниже приводится текст этого отчета, составленного ответственным секретарем кружка С. С. Советовым и датированного 29 мая 1928 г. (ЦГАОРЛ, ф. 7240, оп. 14, д. 206, л. 154; на документе помета С. П. Обнорского — «Доложено в заседании Слав[янского] цикла. VI.1928»):

«Славянский кружок организовался в декабре 1927 г. С этого периода до настоящего момента кружком были проведены 5 заседаний, на которых членами кружка было сделано 6 докладов. Из них 2 профессорских, 2 преподавательских, 1 аспирантский и 1 студенческий.

Наименования докладов следующие:

1. Албания и албановедение.
2. Албания и ее международные отношения.
3. Малые балканские народности в борьбе за их национальное и политическое раскрепощение.
4. Конституция Чехословакии.
5. Сербский поэт-романтик Бранко Радичевич и его поэма «Бачки растанак».
6. Южнославянская колонизация России.

Всех членов славянского кружка 18 человек. Из них членов профсоюза 100%, членов ВЛКСМ и ВКП — 2 студента. Большинство кружка составляют студенты I, III и III bis курсов.

Кроме того, ведется библиографическая работа.

Так как кружок организовался сравнительно недавно, при недостаточном знании языков со стороны студентов работу нельзя было провести более плацомерно и в том объеме, в каком это было бы желательно. Поэтому в работах кружка преподавательские доклады превалируют над студенческими. Работу кружка следует рассматривать как организационную работу, как втягивающую менее подготовленных студентов в предмет изучения современного славянства. К этому обстоятельству (видимо, к недостаточному знанию студентами языков.— А. Г.) надо отнести недостаток денежных средств для выписки заграничных журналов и книг по вопросам о современном славянстве. С будущего учебного года предполагается составить план для правильных студенческих занятий. Работа велась и будет проходить в более углубленном виде в разрезе экономического, социального и исторического изучения современного славянства.

К докладу, вызвавшему большой интерес со стороны студентов научного славянского кружка, надо отнести доклад Д. Д. Димитрова «Южнославянская колонизация России».

В заполненной С. С. Советовым анкете «Сведения о работе славянского студенческого научного кружка факультета языка и материальной культуры Литературно-лингвистического отделения ЛГУ за время с 20 декабря 1927 г. по 23 мая 1928 г.» (ЦГАОРЛ, ф. 7240, оп. 14, д. 206, л. 256—258) названы авторы упоминаемых в отчете докладов: 1, 3 — Н. С. Державин; 2, 4 — К. А. Пушкиревич; 5 — С. С. Советов; 6 — Д. Д. Димитров.

Что же касается библиографической работы, то, по данным анкеты, она состояла в составлении библиографии «по изучению современного славянства».

<sup>57</sup> ЦГАОРЛ, ф. 7240, оп. 14, д. 206, л. 258.

<sup>58</sup> Там же, л. 256—258.

<sup>59</sup> Там же, л. 258.

- <sup>60</sup> Державин Н. С. От филологического формализма к марксистско-ленинской методологии.— Вестн. АН СССР, 1931, № 10, с. 38—44; *Он же*. Наши задачи в области славяноведения.— Тр. Ин-та славяноведения, 1932, т. 1, с. 1—14.
- <sup>61</sup> Подробно об организации и деятельности Института славяноведения см. кандидатскую диссертацию К. И. Логачева «Первый этап развития советского славяноведения: (Славист. учреждения Акад. наук в 1917—1934 гг.)». М., 1979.
- <sup>62</sup> См.: Магеровский Д. А. Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН).— Книга и революция, 1927, кн. 7, с. 276—284; Научно-исследовательский институт.— Атеней, 1926, кн. 3, с. 160—161.
- <sup>63</sup> Краткий отчет о работе Научно-исследовательского института сравнительного изучения литератур и языков Запада и Востока при Ленинградском государственном университете за 1925—1926 гг.— Язык и литература, 1926, т. 1, вып. 1/2, с. I—XX; Яковлев Н. В. Ленинградский институт языка и литературы.— Научный работник, 1927, № 4, с. 17—25; Отдел рукописей и редких книг Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 4 (Д. И. Абрамовича), д. 11 (Материалы о работе Д. И. Абрамовича в качестве председателя Славяно-византийской группы Научно-исследовательского института сравнительного изучения литератур и языков, 1924—1927), л. 1—10.
- <sup>64</sup> Язык и литература. Л., 1926—1932, т. 1—8.
- <sup>65</sup> Язык и литература, 1926, т. 1, вып. 1/2, с. 171—192.
- <sup>66</sup> Там же, 1930, т. 6, с. 5—47.
- <sup>67</sup> Там же, 1929, т. 3, с. 1—58.
- <sup>68</sup> Verkovič S. Lidové povídky jihomakedonské. Praha, 1932; Лавров П. А. Кирило та Методій в давньо-слов'янському письменності. Київ, 1928; *Он же*. Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Л., 1930.
- <sup>69</sup> Арасимович Л. В. Рец. на кн.: Курило О. Б. Фонетичні та деякі морфологічні особливості говірки села Хоробричів, давніше Городнянського повіту, тепер Сновської округи на Чернігівщині. Київ, 1924, 111 с.— Полім'я, 1925, № 8, с. 200—202.
- <sup>70</sup> Чернобаев В. Г. Две славянские переработки одного английского оригинала.— Язык и литература, 1927, т. 2, вып. 2, с. 71—91; *Он же*. К вопросу о судьбах так называемой восточной повести в Чехии и Польше.— Сб. Отд-ния рус. яз. и словесности АН, 1928, т. 101, № 3, с. 115—119; Пушкиревич К. А. Об одной польской переделке комедии А. Грибоедова «Горе от ума».— Язык и литература, 1930, т. 5, с. 213—226.
- <sup>71</sup> Димитров Д. Д. Из Бесарабия в Таврия (Принос към историиата на българите в СССР).— Язык и литература, 1930, т. 6, с. 69—94.
- <sup>72</sup> Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды: Библиогр. словарь. Минск, 1978, т. 3, с. 308.
- <sup>73</sup> Лемберг Э. А. К вопросу об отражении праязыковых конечных дифтонгов на -oi, -ai на славянской почве.— Язык и литература, 1927, т. 2, вып. 1, с. 145—197.
- <sup>74</sup> Язык и литература, 1931, т. 7, с. 1—29.
- <sup>75</sup> Пушкиревич К. А. Об одной польской переделке..., с. 224.
- <sup>76</sup> Державин Н. С. К вопросу о происхождении болгарского народа (Письмо в редакцию).— Вопр. истории, 1952, № 7, с. 153—155.

<sup>77</sup> См. например: Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды..., т. 3, с. 309.

<sup>78</sup> ЦГАОРЛ, ф. 7240, оп. 14, д. 206, л. 329.

<sup>79</sup> Там же, л. 320—322.

<sup>80</sup> Ленинградский университет, 1819—1944. Л., 1945, с. 92.

---

М. Ю. ДОСТАЛЬ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ  
СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ  
В ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ И СОВЕТСКОЙ  
ИСТОРИОГРАФИИ  
ПОСЛЕДНЕГО ДВАДЦАТИЛЕТИЯ

Проблемы методологии славяноведения в последние два десятилетия приобретают все большую научную актуальность в связи с назревшей потребностью более глубокого теоретического осмысливания этой области научного знания как в целом, так и отдельных составляющих ее исторических и филологических дисциплин. Попытка теоретического осмысливания науки всегда является одним из показателей ее зрелости. Критический анализ результатов и закономерностей предшествующего развития дает возможность извлечь уроки на будущее, определить тенденции и проблематику дальнейших исследований.

Как известно, методология науки — это «область науки, изучающая общие и частные методы научных исследований, а также принципы подхода к различным типам объектов действительности и к разным классам научных задач»<sup>1</sup>. Методологические вопросы науки, следовательно, касаются наиболее важных, существенных сторон ее развития. К числу таких общих методологических вопросов конкретных наук, в данном случае славяноведения, как особой области знания в сфере общественных наук, следует отнести вопросы о предмете славяноведения в целом и составляющих его дисциплин, об их классификации, об общих и частных методах исследования и т. п.

Все эти проблемы относятся к сфере функционирования данной науки как системы научных знаний в настоящем. Но они могут быть рассмотрены и в исторической ретроспективе. И тогда можно говорить о методологических проблемах истории науки, в нашем случае славяноведения. Несмотря на очевидную диалектическую взаимосвязь методо-

логии науки и методологии ее истории, последняя имеет свою специфику, ряд присущих только ей методологических проблем. История науки также имеет свой предмет исследования и решает свои специфические задачи. К методологическим вопросам истории славяноведения, по нашему мнению, относятся предмет науки, периодизация (в целом и отдельных славистических дисциплин), генезис, проблемы взаимоотношения внутренних и внешних факторов в его развитии, вклад в сокровищницу национальной и мировой науки и т. д.

Все эти вопросы в той или иной степени обсуждались в чехословацкой и советской научной печати последнего двадцатилетия и несомненно представляют самостоятельный научный интерес. Задачей настоящей статьи является, таким образом, анализ хода развития исследований по методологии славяноведения в ЧССР и СССР в указанный период. Статья основывается на работах чехословацких и советских ученых по данной проблематике, материалах славистических съездов, симпозиумов, текущей информации в научной периодике и т. д.

\* \* \*

Необходимо отметить, что если вопрос о предмете славяноведения в чешской, словацкой и русской науке ставился и был предметом обсуждения еще в XIX в., то вопрос о предмете истории славяноведения и проблемах его изучения в теоретической плоскости по существу не ставился и не решался<sup>2</sup>. В 40—50-е годы нашего века ни в советском, ни в формирующемся марксистском славяноведении Чехословакии методологические вопросы истории этой науки тоже еще не стояли на повестке дня. Это не означает, однако, что история славистики в Чехословакии и СССР не имеет своих традиций. Появлялись отдельные работы, посвященные разным периодам в развитии этой науки и особенно крупным русским, чешским и словацким славистам, а также труды библиографического характера<sup>3</sup>.

По мере накопления фактического материала необходимость интенсивной разработки истории славяноведения и решения ряда связанных с этим методологических проблем стала ощущаться учеными Чехословакии, СССР и других стран. Активизация работы в данном направлении несомненно связана с возобновлением после войны периодических международных форумов славистов и особенно с учреждением в 1958 г. на Московском съезде Международной комиссии по истории славистики (далее — МКИС) во главе с ака-

демиком АН УССР Н. К. Гудзием. 3—6 мая 1960 г. в Вене было проведено первое рабочее заседание МКИС. Главным содержанием его закономерно стала дискуссия о предмете истории славистики и славяноведения как такового. Хотя какого-либо единодушия в этом вопросе достигнуто не было, большинство участников заседания, представлявших 16 стран, склонялось к ограничению предмета истории славяноведения филологическими дисциплинами, так как среди славистов многих стран в этот период преобладала ягичевская трактовка предмета славяноведения как широко понимаемой славянской филологии. Итоги дискуссии подвел Н. К. Гудзий: «Само собой разумеется, что в понятие славистики входят и история, и история искусства, и археология, но наша задача — работать в области тех филологических дисциплин, какими являются литературоведение, языкознание и фольклористика»<sup>4</sup>. Тем самым было поддержано филологическое направление разработки истории славистики, которое было провозглашено еще на съезде в Москве.

Чехословацких славистов в Вене представляли К. Горалек и М. Куделка, выступившие с докладом «Современное состояние и задачи истории славистики в Чехословакии». В нем давался подробный обзор работ чехословацких ученых, так или иначе касавшихся истории славистики, начиная с 1945 г., в основном ее филологической части<sup>5</sup>. В дискуссии К. Горалек констатировал, что история славистики находится еще на стадии становления и поэтому нужно прежде всего концентрировать усилия на работах библиографического и биографического характера. Написание работы по истории славянской филологии, подобной труду В. Ягича, как предлагали некоторые участники заседания в Вене, можно, по мнению К. Горалека, планировать только в отдаленном будущем. Сначала надо разрабатывать историю славистики в отдельных странах. Задача МКИС состоит в том, чтобы результаты этой работы стали достоянием специалистов по истории славистики всех стран<sup>6</sup>. Мнение К. Горалека было поддержано другими участниками дискуссии. Ориентировка на исследования по истории славянской филологии, прежде всего биографического и библиографического характера, была характерна и для последующих заседаний МКИС: в Софии (1963 г.) и Гётtingене (29—31 октября 1964 г.)<sup>7</sup>.

Чехословацкий национальный комитет славистов с 1959 г. начал работу по организации исследований по истории славистики. Была создана специальная комиссия в составе: К. Горалек (председатель, Прага), Й. Курц (Прага), А. Мраз (Братислава), Ф. Вольман (Прага), М. Куделка

(секретарь, Брно). Задачей ее была координация работ по данной проблематике в Чехословакии. Рабочие группы были созданы в Славянском институте и Чехословацко-советском институте в Праге и в их филиалах в Брно и Братиславе. Предполагалось привлечь к этой работе квалифицированных специалистов из университетов и педагогических вузов. В 1960 г. началась работа по составлению словаря чешских и словацких славистов (как тогда понималось — специалистов по славянской филологии и вспомогательным историко-филологическим дисциплинам). Было запланировано составление библиографических указателей по истории славистики, исследование архивных фондов славистов и написание статей и монографий о них, чтобы показать «историю развития славянской филологии как научной дисциплины, принимая во внимание ее историческую обусловленность и историческую функцию»<sup>8</sup>.

К сожалению, эта работа была на некоторое время прервана в связи с проведенной в 1963—1964 гг. реорганизацией Академии наук ЧССР, в результате которой работа над библиографическим словарем чешословацких славистов была сосредоточена в Брно, в филиале вновь организованного пражского Института истории европейских социалистических стран ЧСАН. Библиографическая работа по истории славянской филологии велась также на кафедре славистики Карлова университета в Праге и в Брненском университете.

В связи с многочисленными дискуссиями о предмете славистики и функциях исторической науки в ней, проходившими в ЧССР в середине 60-х годов (в журнале «Slovanský přehled» в 1965—1966 гг.<sup>9</sup>, на Либлицкой конференции в 1966 г.<sup>10</sup>, на 6-м Международном съезде славистов в Праге в 1968 г.<sup>11</sup>), неизбежно вставал вопрос и о предмете истории славистики, а работа над подготовкой первых обобщающих трудов по данной проблематике (словарь чешословацких славистов, история славянской филологии в Карловом университете, славистика в Брненском университете)<sup>12</sup> требовала не только теоретического обоснования предмета истории славистики, но и выработки методологических принципов подхода к ее освещению. Эту работу взял на себя брненский ученый М. Куделка, долгое время возглавлявший подготовку издания словаря чешословацких славистов.

В своем докладе «Об изучении истории славистики» на Либлицкой конференции, состоявшейся 2—3 мая 1966 г., М. Куделка выступил за необходимость координации и систематизации усилий по расширению изучения истории славистики в международном масштабе, показал ограничен-

ность понимания предмета истории славистики только как истории славянской филологии, преобладавшего тогда в МКИС. Сам автор определял славистику как «исторически изменчивый комплекс тех научных дисциплин, которые изучают развитие славянства как целого или развитие отдельных славянских народов и их отношений (взаимных и с другими народами или этническими группами), но только принимая во внимание их этническое родство, когда проявления этого родства или его осознание как предмет научного интереса адекватны специальному характеру соответствующих научных дисциплин»<sup>13</sup>. Так происходит, по его мнению, тогда, когда, например, историческая наука изучает возникновение и развитие идеи славянской взаимности.

М. Куделка показал односторонность как «персоналистического» (т. е. биографического.— *M. D.*), так и проблемного подхода к трактовке истории славистики и недостаточность только их сочетания и комбинирования<sup>14</sup>. Он поднял важный вопрос о необходимости учета социальных факторов в развитии науки. Автор понимает историю науки как органическую составную часть истории культуры<sup>15</sup>. Поэтому развитие научной работы в области славистики, по его мнению, должно быть показано только в тесной связи с конкретной общественно-политической ситуацией, в контексте общественной и идеологической борьбы своего времени. В то же время М. Куделка считает, что подход к трактовке общественно-исторической обусловленности развития славистики должен быть диалектическим, учитываяющим внутренние закономерности и специфику развития отдельных славистических дисциплин.

Постановка вопроса о значимости социального фактора в развитии славистики была насущна и своевременна, тем более что большинство тогдашних работ по истории славистики (т. е. славянской филологии) его по существу игнорировали<sup>16</sup>.

«Познать историческое развитие славистики в его закономерностях,— отмечал М. Куделка,— значит, понимать славистику как структуру, которая меняется как по своему объему и организации содержания, так и в своем отношении к отдельным сторонам общественного развития»<sup>17</sup>. В этой связи автор высказал интересную мысль о том, что в определенные исторические периоды в комплексе славистических дисциплин могут выдвигаться на передний план те из них, которые по своему характеру и интенсивности развития будут лучше удовлетворять общественным потребностям эпохи. Остальные дисциплины в это время могут замедлить

свое развитие, по это не зачит, что они совсем не будут развиваться под действием внутренних закономерностей и в этой области знания не будет достигнуто никаких важных научных результатов<sup>18</sup>.

Для более объективного анализа исторического развития славистики, по мнению М. Куделки, необходимо расширить ее эвристическую базу и использовать документы не только личного (научные труды, корреспонденция, мемуары), но и общественного характера (архивы научных учреждений и обществ, периодическая печать)<sup>19</sup>. Считая ошибочным мнение, что предметом истории славистики могут быть только бесспорные знания, а ошибочные выводы, поиски и заблуждения должны остаться вне поля зрения истории науки, автор предлагает включать в источниковую базу истории славистики не только труды высокого научного достоинства, ставшие классикой науки, но и работы малозначимые в научном отношении, в которых наиболее полно и обнаженно проявлялся социальный заказ общества<sup>20</sup>.

В связи с этим М. Куделка поставил вопрос о критериях «научности» в истории славистики, тесно связанный с проблемой ее периодизации и определения хронологического рубежа формирования славяноведения как науки. Он считал, что критерий научности (в смысле «правдивого познания объективной действительности») надо понимать как категорию историческую, которую нельзя абсолютизировать. Абсолютизация этого критерия привела, по его мнению, к тому, что развитие славистики было расчленено на период «научный» и «ненаучный», или «преднаучный». По мнению М. Куделки, представление о том, что XVIII век является началом «научного» периода славистики, основано на «сознании различий идеологических основ двух исторических эпох» и его нельзя механически переносить на развитие славистики. Для того чтобы объяснить, «как и почему этот особый комплекс научных дисциплин сформировался и развивался, постепенно приобретая научное качество», необходимо признать «середину XVIII в. только как одну из вех периодизации, но не как начало работы историка-славистики»<sup>21</sup>.

Как показала дальнейшая научная практика 70-х годов, при создании обобщающих трудов по истории славистики исходным рубежом формирования славяноведения как науки был принят все же XVIII век. Такова, например, концепция библиографических словарей чехосlovakских и дореволюционных русских славистов<sup>22</sup>, обобщающих статей ученых ЧССР, СССР и других стран во втором международном

сборнике по истории славистики, изданном в Братиславе в 1978 г.<sup>23</sup>

В то же время признавалось, что «эмпирический, а отчасти и специальный интерес к истории и культуре славянских народов возникает в качестве сравнительно устойчивой тенденции уже в раннее средневековье»<sup>24</sup>. Точка зрения М. Куделки в настоящее время нашла дальнейшее развитие в работах А. С. Мыльникова, который считает, что содержание предыстории славистики нельзя рассматривать как донаучный ее этап, напротив, и предыстория славистики имела научный характер в соответствии с уровнем развития современной ей мировой пауки<sup>25</sup>.

На 6-м Международном съезде славистов в Праге (1968) М. Куделка (в соавторстве с З. Шимечеком) сделал доклад на тему: «Некоторые теоретические и эвристические вопросы изучения истории славистики», где отчасти повторил, отчасти развивал дальше свои размышления по методологическим вопросам истории славистики. Отметим здесь лишь новые положения доклада. Авторы справедливо указывали, что современное понимание предмета славистики имеет принципиальное значение для историков этой науки как исходный пункт для дальнейшей научной разработки. Следует учитывать, однако, что это понимание исторически развивалось и изменялось, поэтому одной из важных задач историка славистики является анализ этих изменений с точки зрения общественной обусловленности и внутренних закономерностей развития данной науки. Авторы поставили вопрос о том, что разные дисциплины в разное время играли неодинаковую роль в комплексе славистических наук. Они полагали, что такие науки, как история, этнография, антропология, «хотя и представляют славистике свои знания, но их развитие не определяется ее потребностями», поэтому эти дисциплины не связаны с ней перисторжимыми узами, а находятся с ней в «свободном союзе». В связи с этим авторы считают, что во всех славистических дисциплинах, за исключением языкоznания, научные задачи определялись в конечном итоге не столько закономерностями самого научного познания, сколько социальным заказом, проявлявшимся иногда в скрытой форме<sup>26</sup>.

Принципиально важное значение имеет постановка в докладе вопроса о необходимости при анализе историко-научных явлений учитывать место славистики в контексте развития региональной, национальной и мировой науки. Точно так же при анализе славистической части творчества отдель-

пых крупных ученых должны приниматься во внимание реальные пропорции их научной работы в целом<sup>27</sup>.

Продолжая развивать свои мысли относительно эвристической подготовки к истории славистики, М. Куделка и З. Шимечек справедливо считают, что она должна выходить за рамки филологии и соответствовать «научному мышлению современности». Они полагают, что при создании источниковой базы по истории славяноведения надо учитывать не только чисто славистический материал, но и такой, где славистический аспект проявляется лишь отчасти, использовать не только биографические материалы, но и документы о деятельности научных институтов и обществ, источники, раскрывающие социальную подоплеку некоторых явлений в истории науки<sup>28</sup>.

Следует отметить, что, несмотря на то что оба доклада М. Куделки, обобщая опыт подготовительной работы его и его коллег в области истории чешской и словацкой славистики, выдвигали много принципиально важных методологических вопросов истории славяноведения, требующих решения и обсуждения, они не стали в то время (1966—1968 гг.) предметом широкой дискуссии ни на конференции, ни на съезде, ни в научной печати. Быть может, для этого тогда еще не настало время, ибо история славистики на новой методологической основе еще только начинала разрабатываться, испытывая недостаток в квалифицированных кадрах. Более важное значение в тех общественных условиях имел вопрос о предмете славяноведения как такового.

Теоретические разработки М. Куделки шли в русле общих исследований по истории науки в целом, которые осуществлялись в СССР, ЧССР и других странах. Вопросы о генезисе науки, определении критериев разграничения научного и пенаучного знания, о роли внутренних и внешних факторов в развитии науки и др. обсуждались, например, на XIII Международном конгрессе по истории науки, состоявшемся в Москве в августе 1971 г.<sup>29</sup>

В несколько суженном объеме методологические вопросы истории славистики поднимались и в среде чехословацких филологов прежде всего на симпозиумах по истории славистики, организованных кафедрой славистики Пражского университета. Первый такой симпозиум состоялся 15—17 сентября 1967 г. в Штиржине-у-Бенешова. В нем наряду с филологами ЧССР участвовало пять зарубежных славистов. Примечательно, что и чехословацкие филологи в это время также подняли вопрос о необходимости излагать историю славистики в тесной связи с историей культуры и обще-

ственно-исторической ситуацией в каждый отдельный период ее развития<sup>30</sup>. К. Горалек, например, считал недопустимым в историографических исследованиях ограничиваться только характеристикой отдельных славистических дисциплин. При этом «многое оказалось бы неохваченным, была бы потеряна идеологическая сторона»<sup>31</sup>.

На другую сторону неправомерности такого ограничения указал Й. Курц, считавший, что история научного изучения языка, литературы и др. принадлежит скорее к истории отдельных дисциплин, чем к истории славистики в целом. Й. Курц также, по существу солидаризируясь с М. Куделкой, высказался за необходимость при создании обобщающего труда по истории славистики комбинировать изложение истории научных взглядов с характеристикой деятельности посчителей этих взглядов и все это связать с картиной общей общественной ситуации, в которой ученые работали<sup>32</sup>.

20—22 октября 1971 г. в Праге состоялся второй симпозиум по истории славянской филологии, в котором приняли участие более 50 чехословацких славистов, представлявших более 20 научных учреждений и вузов страны, и 9 иностранных ученых. Здесь было прочитано несколько докладов методологического характера. Директор Института славяноведения и балканистики АН СССР Д. Ф. Марков в своем докладе «Некоторые вопросы истории славистики» в числе других поднял вопрос о содержании предмета истории славистики в славянских странах, выступив против существующей практики исключать из него отечественную проблематику. Он указывал, что во всяком случае «область связей национальной истории своего народа с другими славянскими народами — одна из важных задач каждого слависта»<sup>33</sup>. Эта точка зрения была поддержана в дискуссии<sup>34</sup>.

Б. Гавранек в своем выступлении затронул другой аспект этой проблемы: следует ли понимать славистику как единое научное целое или как независимые, параллельно развивающиеся филологические исследования по отдельным славянским языкам и литературам так же как, например, русистика, полонистика, богемистика, болгаристика и пр. Сам ученый выступил за то, чтобы предметом истории славистики было ее развитие в целом, т. е. сравнительно-исторические и сопоставительные исследования, которые должны дополняться разработкой национальных славянских языков и литератур<sup>35</sup>.

И на пражском симпозиуме продолжалось обсуждение вопроса о необходимости изучения идеологических явлений в истории славистики. По мнению К. Горалека, идеологиче-

ская сторона проявляется в мировоззрении каждого ученого-слависта, в его подходе к оценке неязыковых явлений. Этот аспект проявляется в славистике и в том, что ее развитие у славянских народов всегда было тесно связано с их культурно-политическими судьбами, но и в песяславянских странах достаточно отчетливо проявлялась бы ее связь с государственно-политическими интересами господствующих классов. Эта мысль была поддержанна и развита в выступлениях Ю. Доланского, Е. Балецкого (ВНР), Г. Бильфельдта, М. Вегнера (ГДР) и др.<sup>36</sup> В общем решении участников симпозиума по этому поводу было записано следующее: «Сам предмет славистики требует исторического подхода, учитывающего и социально-политический контекст. Необходимо базировать историю славистики на общей истории славянских народов. Нельзя упускать из вида, что история славистики составляет часть истории науки вообще, прежде всего общественных наук»<sup>37</sup>.

Этот важный вывод о необходимости учета социального фактора в трактовке истории славистики свидетельствовал о том, что и филологи ЧССР и других стран начали сознавать односторонность лишь проблемного и биографического подхода.

Материалы обоих симпозиумов по истории славянской филологии были изданы в 1971 и 1975 гг. в виде 1-го и 2-го выпусков сборника «Práce z dějin slavistiky», который с этого времени стал регулярно издаваться Карловым университетом<sup>38</sup>.

В 70-е годы работа по изучению истории славистики в ЧССР и СССР была тесно связана с деятельностью МКИС, с 1970 г. возглавляемой чл.-кор. АН СССР Д. Ф. Марковым. Уже на Московском заседании МКИС, прошедшем 26—28 июля 1972 г., была определена главная перспективная задача этой комиссии — координация работы по созданию обобщающего труда по истории мировой славистики. На первом этапе была запланирована подготовка ряда проблемных сборников при активном участии ведущих ученых из многих стран<sup>39</sup>.

На Варшавском заседании МКИС (август 1973 г.) был обсужден и утвержден проект создания серии международных сборников по истории славистики. Издание первого сборника «Методологические проблемы истории славистики» взяли на себя советские ученые. Второй сборник посвящался начальному периоду развития славистики с середины XVIII по середину XIX в., третий — второй половине XIX в.,

четвертый — периоду с начала ХХ в. по 1918 г., паконец, пятый — межвоенному периоду до 1939 г. Их подготовка была поручена соответственно ученым ЧССР, СФРЮ, НРБ и ПНР<sup>40</sup>. Впоследствии на заседаниях МКИС в Праге (октябрь 1975 г.), Варне (март 1977 г.), Загребе (сентябрь 1978 г.), Берлине (ноябрь 1980 г.) обсуждались и утверждались планы-проспекты отдельных сборников<sup>41</sup>. Некоторые из них уже вышли из печати<sup>42</sup>. Кроме того, на заседании МКИС в Варне было в принципе одобрено предложение И. Хамма о подготовке сборника, посвященного развитию славистики в неславянских странах<sup>43</sup>. На Берлинском заседании МКИС был в основном одобрен проект советской делегации о создании «Очерков по истории мировой славистики», которые должны включать в себя обобщающие статьи о развитии славистических исследований в отдельных странах, подготовленные специалистами соответствующих стран и апробированные национальными комиссиями по истории славистики. Начало работы над «Очерками» было решено приурочить ко времени завершения 6-томной серии сборников<sup>44</sup>.

Еще на Московском заседании МКИС были обобщены задачи национальных комиссий по истории славистики. Они должны организовать работу по изучению истории славяноведения в своей стране, по созданию библиографических указателей, словарей славистов, исследованию архивных документов, по написанию обобщающих трудов и статей по ключевым проблемам истории славистики и пр.<sup>45</sup>

Именно в таком направлении и развернулась научно-организационная и исследовательская работа в области истории славяноведения в Советском Союзе и Чехословакии.

Советскую комиссию по истории славистики возглавляет Д. Ф. Марков, директор Института славяноведения и балканстики АН СССР, где в 70-е годы сосредоточилась основная работа по изучению истории славистики в СССР. В апреле 1975 г. здесь был создан специальный сектор, основной задачей которого является разработка проблем истории отечественного и зарубежного славяноведения. Сектор активно участвовал в издании международного сборника «Методологические проблемы истории славистики» (М., 1978) и справочно-информационного обзора «Институт славяноведения и балканстики 1947—1977» (М., 1977), подготовил и выпустил в свет библиографический словарь «Славяноведение в дореволюционной России» (М., 1979), сборники статей «Славяноведение и балканстика за рубе-

жом» (М., 1980), «Исследования по историографии славяно-ведения и балканстики» (М., 1981), «Славяноведение и балканстика в зарубежных странах» (М., 1983) и др.

Историографические исследования осуществлялись и на кафедре истории южных и западных славян исторического факультета МГУ, где изданы два сборника: «Историки-слависты Московского университета. 1939—1979 гг.» (М., 1979) и «Из истории университетского славяноведения в СССР» (М., 1983), а также на аналогичной кафедре Львовского университета (см., например, сборник «Проблеми слов'яно-знавства». Львів, 1979, вип. 20), и т. п. Разработка истории славянской филологии в России проводится в Ленинградском университете (см. хрестоматию: «Русское и славянское языкознание в России середины XVIII—XIX вв. Л., 1980 и учебное пособие П. А. Дмитриева и В. М. Мокиенко «Классики марксизма-ленинизма и славянская филология». Л., 1982), в Тартуском университете (см., например, сборник: «Из истории славяноведения в России». Тарту, 1981, УЗТГУ, вып. 573) и других городах.

Наряду с выходом в свет указанных выше работ по этой тематике в 70-е годы защищались кандидатские и докторские диссертации<sup>46</sup>, выходили в свет монографии и статьи<sup>47</sup>, было издано несколько библиографических словарей современных и дореволюционных славистов<sup>48</sup>.

В процессе работы, при обсуждении концепции обобщающих трудов советские ученые не раз выступали по методологическим вопросам истории славистики. Они принципиально и последовательно отстаивают комплексное понимание истории славяноведения, которое базируется на выработанном в советской науке определении предмета славяноведения как комплекса научных дисциплин, обладающих определенным внутренним единством и изучающих все многообразие общественной жизни славянских народов, их взаимоотношений друг с другом и с соседними народами<sup>49</sup>.

Советские ученые считают, что в трудах по истории славистики необходимо учитывать историческую изменчивость трактовки ее предмета в разные периоды развития этой науки. Признается необходимым, «исследуя процесс генезиса и развития мировой славистики, охватывать его целиком, вне зависимости от того, как толковался предмет изучения в то или иное время и каким образом, исходя из практических целей, распределялись функции между различными учреждениями внутри страны»<sup>50</sup>. На этой концепции построены едва ли не все обобщающие работы советских уче-

ных по истории отечественного славяноведения, вышедшие за последнее время<sup>51</sup>.

Советские слависты специально разрабатывали теоретический аспект периодизации мировой и отечественной славистики. Основываясь на методологических положениях классиков марксизма-ленинизма и опыте подхода к периодизации отечественной истории, они пришли к убеждению, что критериями периодизации истории славистики должны быть прежде всего «общие и частные закономерности развития славистики на путях ее генезиса и формирования как науки», что эта периодизация не может определяться простым «накладыванием» на нее общеисторической периодизации, «хотя и диалектически соотносится определенным образом с последней»<sup>52</sup>. В работах советских ученых очень своеобразно был поставлен и решен важный вопрос о соотношении внутренних закономерностей, логики развития науки и влияния общественно-исторических условий, идеино-политических факторов, без учета которых невозможно правильно оценить наиболее существенные поворотные пункты в развитии славяноведения. В частности, А. С. Мыльников указывает, что это соотношение внутренних и внешних факторов должно учитываться при выработке периодизации истории славяноведения, которая должна принимать во внимание: «во-первых, процесс развития познания своего объекта (историю славянских изучений и их проблематики на том или ином этапе развития научной мысли, отдельных школ, научных центров и т. п.) и, во-вторых, соотношение славяноведения с общественными и культурными движениями той или иной эпохи», не абсолютизируя и не игнорируя ни один из названных элементов<sup>53</sup>. На конкретном материале вопрос о связи истории европейской славистики с развитием общественной мысли в славянских странах проанализировал В. А. Дьяков<sup>54</sup>.

Советскими учеными был поставлен также вопрос о том, что хронологические границы периодизации отдельных славистических дисциплин: языкоznания, литературоведения, истории, этнографии и др. могут «в каждом конкретном случае различаться между собой, отражая тем самым конкретные особенности отдельных частей славяноведения», что, однако, не отрицает возможность и целесообразность существования «общей схемы периодизации истории национальной, региональной или мировой славистики»<sup>55</sup>. Таков в общих чертах круг методологических проблем истории славистики, решаемых советскими учеными в 70-е годы.

В ЧССР в последнее десятилетие также развернулась работа по реализации задач изучения истории славистики, поставленных МКИС. С 1972 г. Чехословацкую комиссию по истории славистики (далее ЧКИС) возглавил Й. Грозиенчик (до середины 1982 г. директор Института истории европейских социалистических стран Словацкой Академии наук). В состав комиссии вошли многие видные слависты ЧССР: К. Горалек, Ю. Доланский, Ф. Гейл, Й. Колейка, С. Вольман, В. Штястны, К. Розенбаум, В. Матула, Я. Подолак и др. Секретарем был назначен Й. Гвишч<sup>56</sup>. 17 ноября 1972 г. состоялось заседание ЧКИС с привлечением многих чешских и словацких специалистов. Здесь был обсужден и одобрен «Проект комплексного изучения истории словацкой славистики», выдвинутый Й. Грозиенчиком и Й. Гвишчем. Авторы проекта констатировали, что в настоящее время славистика в результате «предметной дифференциации и методологической специализации утратила единую ось исследования», что славистический аспект заменен в ней «отдельными предметными ответвлениями славистики». Для преодоления этого положения авторы проекта стремились найти «общее ядро», которое не было бы лишь «механической совокупностью отдельных предметных и научных областей и дисциплин», а стало бы «адекватным отражением каждой из них». Таким «общим ядром» составители проекта считали идею славянской взаимности, точнее *slovanství*<sup>57</sup>.

Таким образом, суть истории славистики, по их мнению, составляет изучение «развития славянской идеи». Конкретные исследования и конкретные области славистики являются определенной реализацией этой «идеи». Первым доводом в пользу такого подхода к истории славистики авторы считают то, что «сознание идейного и идеологического единства славистических исследований» в таком случае стало бы не только «фактом развития, но и прямым мерилом ценностей и общей оценки дифференцирующихся отраслей славистики». Второй довод, по их мнению, вытекает из методологии исследования. Если попытаться провести «идеографическую реконструкцию славянской идеи в ее историческом развитии», то можно прийти к единой методологии исследований во всех славистических дисциплинах. А это, в свою очередь, по их убеждению, будет способствовать «координации исследований на единой идейной и методологической платформе»<sup>58</sup>.

Сведение существа истории славистики к изучению истории развития «идеи славянской взаимности» вызвало возражения со стороны советских славистов. От их имени

Д. Ф. Марков на очередном Международном симпозиуме по истории славистики в Праге в 1975 г., приуроченном к заседанию МКИС, а затем и на 8-м Международном съезде славистов в Загребе в 1978 г. заявил: «Ограничиваясь „славянской идеей“, исследователи неизбежно оставляли бы за бортом едва ли не большую часть славистических исследований и значительную часть крупнейших ученых, особенно в те периоды, когда интеграционные тенденции в славистике ослабевали. Создать научный труд по истории „славистических изучений“ гораздо труднее, чем по истории „славянской идеи“, но это необходимо, чтобы охватить то, что нам интересно и полезно, а именно — показать поступательную динамику научной мысли в исследованиях языков, исторического и историко-культурного развития славянских народов»<sup>59</sup>.

Возражения Д. Ф. Маркова несомненно были приняты во внимание чехословацкими славистами. Свидетельство тому — рабочее заседание авторского коллектива обобщающего труда по истории чешской и словацкой славистики с середины XVIII в. по 1918 г., состоявшееся в Брно 24 ноября 1976 г. Члены авторского коллектива, в основном сотрудники Чехословацко-советского института ЧСАН (В. Штястны, М. Куделка, З. Шимечек, Р. Вечерка), высказались за комплексный подход к истории славистики. Своей задачей они считали «познание и интерпретацию развития изучения славянских народов, их языков, культур и истории в чешской и словацкой среде, не только с национальной точки зрения, но и в широком территориальном контексте»<sup>60</sup>.

Участники заседания обсуждали также практические вопросы концепционного построения данного обобщающего труда. Они пришли к выводу, что лучше всего излагать материал с точки зрения отдельных дисциплин: «Этот подход лучше, чем биографический, позволяет исследовать научные и общественные условия, в которых развивалась славистика. Он создает лучшие возможности для того, чтобы изучить вопросы, объединяющие славистику и развитие славянского культурного сознания, которое в некоторые периоды проявлялось особенно сильно»<sup>61</sup>.

Предметом дискуссии был также вопрос о том, в какой мере в этом труде должна учитываться отечественная славистическая проблематика, т. е. богемистика и словакистика. С одной стороны, была подчеркнута специфика общеславянского материала, а с другой — предлагалось учитывать понимание славистики, характерное для каждого периода ее развития, которое, например, в филологических науках не зна-

ло разграничения между славистикой и отечественной проблематикой<sup>62</sup>.

Подобный же круг вопросов обсуждался и при создании других обобщающих трудов в 70-е годы, в частности, биобиблиографического словаря чехословацких славистов, международного сборника «Исследования по истории мировой славистики до середины XIX в.», изданного в Братиславе в 1978 г. и др.<sup>63</sup> Характерно, что при создании подобных обобщающих работ авторы исходили из широкого комплексного понимания предмета истории славистики, близкого к позиции советских ученых<sup>64</sup>.

Последнее десятилетие принесло достаточно богатый урожай трудов по истории отечественной славистики в Чехословакии самого разнообразного характера. В этой работе в равной степени приняли участие как филологи, так и историки. Наряду с обобщающими трудами в научной периодике появилось много статей, а также монографий, посвященных как деятельности отдельных славистов, так и развитию славистики в отдельных дисциплинах, научных организациях и обществах и пр.<sup>65</sup> Изданы библиографические указатели славистических работ<sup>66</sup>.

При этом неизбежно вставал на повестку дня ряд методологических вопросов, требующих обсуждения и решения. Некоторые из них чехословацкие ученые выносили на международные форумы славистов. Так, в 1978 г. на Загребском съезде славистов З. Шимечек и В. Штястны прочитали доклад: «К проблематике синтеза истории национальной славистики». Авторы попытались обобщить свой опыт решения некоторых методологических вопросов истории славистики, который они приобрели в процессе работы над обобщающим трудом «Чехословацкая славистика в 1918—1939 гг.» (Прага, 1977).

Как и большинство чехословацких историков-славистов, авторы выступили против ограничения предмета славистики (и соответственно предмета истории славистики) только славянской филологией, но в то же время они были против включения в нее всех общественных дисциплин, которые так или иначе занимаются славянскими народами и их связями между собой и неславянским окружением. Авторы, вслед за М. Куделкой, считают предметом славистических исследований «все проявления этнического родства славянских народов, исследуемых специфическими и адекватными методами отдельных научных дисциплин»<sup>67</sup>. Однако на практике, применительно к истории славистики, учитывая историческую изменчивость ее предмета, авторы воспринимают слави-

вистику как определенную «тематическую область» исследований, в которой отдельные научные дисциплины развиваются, используя свои специфические методы. Поэтому З. Шимечек и В. Штаястны считают целесообразным исследовать развитие славистики в рамках отдельных дисциплин даже в периоды, когда дифференциация наук была слабо выражена. Только так, по их мнению, будет уделено достаточно внимания проблематике внутреннего развития науки<sup>68</sup>. В то же время они предлагают не забывать о междисциплинарных связях при исследовании общей тематической области.

В духе статей М. Куделки и обсуждений на симпозиумах по истории славянской филологии авторы говорят о необходимости умелого сочетания биографического и проблемного подхода в трактовке истории славистики, учитывая социальный контекст. Они справедливо указывают, что возникновение и развитие славистики в славянских и неславянских странах находилось под влиянием общественной идеологии данной среды. У славянских народов славистические исследования были тесно связаны с развитием славянской идеологии, которая была составной частью их национальной идеологии, и общим процессом формирования наций. У неславянских народов развитие славистики тоже было обусловлено общественной идеологией, в отдельных случаях национальной, но чаще государственной, которая использовала ее с целью поддержки своей внешнеполитической линии. Особенна велика была роль национального государства в развитии славистики в славянских странах. Государственная политика создавала здесь необходимые условия для развития славистических исследований, обеспечивала создание их институциональной базы<sup>69</sup>.

Авторы изложили свою точку зрения и по дискутирувшемуся ранее вопросу о том, в какой мере исследование своего славянского народа должно включаться в рамки славистических изучений. Подчеркивая нерасторжимую связь отечественной и зарубежной славистической проблематики, З. Шимечек и В. Штаястны предложили свой вариант решения проблемы: не ставить ее как отношение отечественного и зарубежного, а принимать во внимание «действительно славистическую проблематику, которую определяют проявления этнического родства у всех славянских народов», учитывая историческую изменчивость этих представлений<sup>70</sup>.

При разработке истории славистики, по мнению авторов, «необходимо принимать во внимание понимание славистики, соответствующее своему времени, его проблемы, включая

смену методологических подходов». Поэтому они считают, что нельзя установить точную границу между «научной» и «донаучной» стадией славистических исследований, наоборот, надо искать преемственность между ними.

Авторы справедливо указывают, что при оценке результатов исследований в области славистики в отдельные периоды ее развития необходимо исходить из целей и возможностей своего времени и при этом сравнивать эти результаты с «современными подходами и целями», не считая их, впрочем, истиной в последней инстанции<sup>71</sup>.

Очень своевременно был поставлен докладчиками вопрос о международных связях славистов, о взаимном влиянии их научных идей. По мнению З. Шимечека и В. Штястного, нельзя подходить к разработке истории отечественной славистики изолированно, исходя из материала только своей страны. Нужно принимать во внимание существующие научные контакты славистов и славистических институтов, обществ в международном масштабе. Эти контакты были обусловлены международной политикой и внутригосударственной конъюнктурой, а также внутренними потребностями развития науки. В то же время историка науки должно интересовать не только выявление чужих влияний в отечественной науке, но и вопрос о ее оригинальном вкладе в развитие мировой славистики. Авторы считают, что с точки зрения изучения контактов и влияний нельзя игнорировать деятельность славистов иностранного происхождения как в истории отечественной науки, так и в истории науки той страны, откуда родом был данный ученый<sup>72</sup>.

Авторы указывали, что особенно много теоретических вопросов встает при разработке отечественной славистики тех славянских народов, которые входили в состав многонациональных государств. Так, при анализе истории чешской и словацкой славистики XVIII—XIX вв. необходимо учитывать территориальные рамки, в которых она развивалась, по главное внимание уделять изучению чешских и словацких славистических исследований, учитывая общую ситуацию в габсбургской монархии и более широкий международный контекст<sup>73</sup>.

Исходя из решений МКИС, авторы поставили ряд теоретических вопросов, касающихся разработки истории мировой славистики. З. Шимечек и В. Штястны считают недопустимым строить ее так, чтобы показать только одновременное параллельное развитие славистических исследований в отдельных странах. Необходимо, по их мнению, «оценить научный и идейный вклад одной национальной славистики

в процессе конституирования и развития славистических исследований в среде других национальных групп и государств и прежде всего оценить ее влияние на развитие славистики в международном масштабе»<sup>74</sup>.

З. Шимечек и В. Штястны указывали на необходимость уделять внимание изучению социальных корней развития мировой славистики, их диалектическому отражению в области международно-политических отношений, «анализ которых дает ключ к изучению конкретных международных славистических связей». Авторы справедливо считают, что синтез мировой славистики неизбежно должен будет столкнуться с неравномерным развитием славистики в отдельных странах. Но в результате подобных обобщений можно будет точнее оценить конкретный вклад отдельных национальных исследований в мировое развитие славистики, ибо «сравнение уровней и направлений исследований отдельных славистических центров и изучение их взаимоотношений дает возможность более глубоко объяснить внутренние закономерности развития научного познания в области славистики».

В связи с этим авторы приходят к важному выводу о том, что соотношение истории национальной и мировой славистики не является «простой суммой деятельности в отдельных национальных центрах и только вычленением области международных отношений». Необходим, по их мнению, комплексный подход качественно другого уровня, который, «не отсыпая на задний план специфические черты развития отдельных национальных центров, одновременно приобретет в познании новое, высшее качество путем сравнения и противопоставление научных славистических исследований в международном масштабе»<sup>75</sup>.

В аналогичном ключе решает вопрос о соотношении истории национальной и мировой славистики и Д. Ф. Марков: «Результаты развития мировой славистики связаны с результатами славистических исследований в национальном масштабе, но отличаются от них и в количественном и в качественном смысле. Общее соотношение между этими результатами, их конкретные оценки и соотношения будут успешными в том случае, если мы будем базироваться на основных принципах диалектики и используем достижения современной компаративистики»<sup>76</sup>.

Доклад З. Шимечека и В. Штястного на Международном съезде славистов в Загребе в 1978 г. вместе с докладом В. А. Дьякова, Д. Ф. Маркова и А. С. Мыльникова на том же съезде и статьями в сборнике «Методологические проблемы истории славистики» (М., 1978) как бы подвели итоги

разработки методологических вопросов истории славистики в последнее двадцатилетие. Они показывают, что чехословацкие и советские ученые в этот период анализировали сходный круг теоретических проблем истории славяноведения, исходя из традиций в подходе к этому предмету, исторически сложившихся в этих странах. Наряду с обсуждением разных аспектов вопроса о предмете истории славистики ученые ЧССР и СССР признали настоятельную необходимость учета не только внутренних, но и внешних, социальных факторов в развитии славяноведения во все периоды его развития, обосновали научный подход к периодизации мировой и отечественной славистики и т. п.

В целом следует отметить, что постановка и решение методологических проблем истории славистики в работах чехословацких и советских ученых отразили достаточную теоретическую зрелость развития этой области научного знания. Они создали солидную эвристическую базу для подготовки серии обобщающих работ в 60—70-е годы. И хотя еще далеко не все вопросы решены, не во всем достигнуто единодушие, иногда встречается расхождение между теоретическими постулатами и их практической реализацией, подобные исследования несомненно послужат мощным стимулом для постановки и обсуждения методологических проблем истории славистики не только в ЧССР, СССР, но и в других странах, будут способствовать дальнейшему развитию исследований в этой области в национальном и международном масштабах, поднимая их на качественно новый научный уровень.

<sup>1</sup> Краткий словарь по философии. 4-е изд. М., 1982, с. 182.

<sup>2</sup> Šimeček Z., Šťastný V. K problematice syntézy dějin národní slavistiky.—In: Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu. Literatura — folklór — historie. Praha, 1978, s. 255; Мыльников А. С. Становление истории славяноведения в России.— В кн.: Исследования по историографии славяноведения и балканстики. М., 1981, с. 113—136.

<sup>3</sup> Ficek V. Publikation zur Geschichte der Slawistik in der Tschechoslowakischen Socialistischen Republik, 1945—1960.—In: Beiträge zur Geschichte der Slawistik. Berlin, 1964, S. 469—515; Kudělka M. Pojetí teorie československé slavistiky v období 1945—1961.—Slovanský přehled, 1983, № 2, s. 97—114; Славяноведение в дореволюционной России: Библиографический словарь. М., 1979. 429 с.

<sup>4</sup> Wiener slawistisches Jahrbuch. Groz; Köln, 1960, Bd 8, S. 202.

<sup>5</sup> Horálek K., Kudělka M. Der heutige Stand und die Aufgaben der Geschichte der Slawistik in der Tschechoslowakei.—Ibidem, S. 127—140.

<sup>6</sup> Wiener slawistisches Jahrbuch., S. 198.

- <sup>7</sup> Прокофьев Н. А. Международная комиссия по истории славистики.— В кн.: Славяноведение и балканистика за рубежом. М., 1980, с. 33—34.
- <sup>8</sup> Horálek K., Kudělka M. Der heutige Stand., S. 140.
- <sup>9</sup> Dolanský J., Zachoval M. K nové organizaci slavistiky v ČSSR.— Slovanský přehled, 1964, № 2, s. 71—74; Herman K. Československo-sovětský institut CSAV v letech 1954—1964.— Ibidem, 1976, № 2, s. 91—98.
- <sup>10</sup> Závěr k diskusi o úkolech historické vědy ve slavistice. Redakční rada.— Slovanský přehled, 1966, № 4, s. 236—240; Pallas L. Kolokvium o otázkách historické slavistiky.— Slezský sborník, 1966, № 3, s. 396—400; Herman K. Kolokvium k otázkám «historické slavistiky».— Slovanský přehled, 1966, № 4, s. 247—248.
- <sup>11</sup> Acta sjezdu. Praha, 7—13. VIII 1968./VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968. Praha, 1968, d. 2, s. 520—523.
- <sup>12</sup> Slovanská filologie na Universitě Karlově. Praha, 1968. 371 s.: Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od r. 1760: Biograficko-bibliografický slovník./Kudělka M., Šimeček Z. a kolektiv. Praha, 1972. 561 s.; Slavica na Universitě J. E. Purkyně v Brně: Filosofie, literární věda, historiografie, uměnovědy. Brno, 1973. 302 s.
- <sup>13</sup> Kudělka M. O studiu dějin slavistiky: K problematice pojetí a metody.— Slavistika a slovanství. Slovanské historické studie, Praha, 1968, d. 7, s. 60.
- <sup>14</sup> Ibid., s. 57—58.
- <sup>15</sup> Ibid., s. 48.
- <sup>16</sup> Так построена, например, работа: «Slovanská filologie na Universitě Karlově...».
- <sup>17</sup> Kudělka M. O studiu dějin slavistiky., s. 51.
- <sup>18</sup> Ibid., s. 51—52.
- <sup>19</sup> Ibid., s. 63.
- <sup>20</sup> Ibid., s. 65. Эта точка зрения М. Куделки разделяется многими советскими специалистами по истории науки. «Пафосом истории науки,— пишет Н. И. Родный,— является не хронологическое изложение позитивных результатов науки, а понимание хода ее развития, что предполагает анализ не только достижений науки, но и ошибок и неверных ходов». См.: Родный Н. И. История науки, научоведение, наука.— Вопр. философии, 1970, № 5, с. 55.
- <sup>21</sup> Kudělka M. O studiu dějin slavistiky..., s. 64.
- <sup>22</sup> См., например: «Славяноведение в дореволюционной России»... и «Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od r. 1760...».
- <sup>23</sup> См. например: Kudělka M., Šimeček Z., Večerka R. Česká slavistika v prvním období svého vývoje.— In: Studie z dejín svetovej slavistiky do polovice 19. storočia. Bratislava, 1978, s. 29—92; Мыльников А. С. К вопросу о путях и особенностях формирования славяноведения в России.— In: Studie, с. 289—316.
- <sup>24</sup> Мыльников А. С. Проблемы периодизации истории мировой славистики.— В кн.: Методологические проблемы истории славистики. М., 1978, с. 50.
- <sup>25</sup> См. статью А. С. Мыльникова в настоящем сборнике, а также обзор: Досталь М. Ю. Некоторые итоги изучения славяноведческой и балканистической историографии: Об историографических чтениях

- в Институте славяноведения и балканистики АН СССР (с мая 1980 по май 1983 г.).— Сов. славяноведение (в производстве).
- <sup>26</sup> Kudělka M., Šimeček Z. Některé teoretické a heuristicke otázky studia dějin slavistiky.— In: Ceskoslovenske přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze. Praha, 1968, s. 467.
- <sup>27</sup> Ibidem.
- <sup>28</sup> Ibid., s. 468.
- <sup>29</sup> Ibidem.
- <sup>30</sup> См., например: Родный И. И. Логика развития науки.— В кн.: XIII Международный конгресс по истории науки. М., 1971, с. 3—22; Дějiny exaktných věd v českých zemích do konce 19. století. Praha, 1961. 432 s.
- <sup>31</sup> Horálek K. Několik metodologických a organizačních otázek.— In: Simposium o dějinách slavistiky, Štířín u Benešova 15.— 17.IX 1967. Praha, 1970, s. 9; Bešta T., Kurz J. Simposium o dějinách slavistiky v Štíříně 1967.— Slavia, 1963, № 3, s. 510.
- <sup>32</sup> Bešta T., Kurz J. Simposium..., s. 510—511.
- <sup>33</sup> Марков Д. Ф. Некоторые вопросы истории славистики.— In Simposium o dějinách slavistiky..., s. 15.
- <sup>34</sup> Dinekov P. [Diskusní přispěvek.] — Ibidem, s. 215.
- <sup>35</sup> Pavránek B. [Diskusní přispěvek.] — Ibidem, s. 213.
- <sup>36</sup> Rehaček L., Urban Z. Simposium o dějinách slovanské filologie.— Slavia, 1972, № 3, s. 349.
- <sup>37</sup> Závěry z jednání sympozia.— In: Práce z dějin slavistiky. Praha, 1975, d. 2, s. 225.
- <sup>38</sup> В настоящее время вышли в свет 1—4 и 7—8 выпуски этого сборника.
- <sup>39</sup> Matula V. Zasadnutie Medzinárodnej komisie pre dejiny slavistiky.— Slovanský príhľad, 1972, № 6, s. 517—519.
- <sup>40</sup> Matula V. Zasadnutie Medzinárodnej komisie pre dejiny slavistiky.— Slavia, 1974, № 4, s. 433—434.
- <sup>41</sup> Kudělka M. Mezinárodní simpozium o dějinách slavistiky v Praze.— Slovanský príhľad, 1976, № 1, s. 63—64; Прокофьева Н. А. Международный научный симпозиум по истории славистики.— Сов. славяноведение, 1976, № 2, с. 124—162; Bešta T. Mezinárodní simpozium o dějinách slavistiky.— Slavia, 1977, № 1, s. 110—112; Терзийска Л. Международная встреча по истории славистики.— Болгарская русистика, 1977, № 5, с. 95—96; Дьяков В. А., Мыльников А. С. Берлинское заседание Международной комиссии по истории славистики.— Сов. славяноведение, 1981, № 4, с. 124—126.
- <sup>42</sup> Методологические проблемы истории славистики. М., 1978. 339 с.; Štúdie z dejín svetovej slavistiky do polovice 19. storočia. Bratislava, 1978. 511 s.; История на славистиката от края на XIX и началото на XX век. София. 1981. 272 с.
- <sup>43</sup> Petr J. Zasedání Komise pro dějiny slavistiky.— Slavia, 1978, № 1, s. 97.
- <sup>44</sup> Дьяков В. А., Мыльников А. С. Берлинское заседание..., с. 124.
- <sup>45</sup> Slovanský príhľad, 1972, N 6, s. 518.
- <sup>46</sup> См., например: Лаптева Л. П. Русская литература о гуситском движении (40-е годы XIX в.—1917). Автореф. дис. ... докт. ист. наук. М., 1972; Смирнов С. В. Русское и славянское языкознание в России (первая половина XIX в.). Автореф. дис. ... докт. фил. наук. Л., 1977; Алексашкина Л. Н. О. М. Бодянский и его роль в развитии русско-чешских связей (40-е — 70-е годы XIX в.). Автореф. дис.

канд. ист. наук. М., 1973; *Досталь М. Ю.* И. Срезневский и его роль в развитии русско-чешских научных и культурных связей в 40—70-е годы XIX в. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1977; *Крюков А. В.* И. И. Срезневский как историк. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Киев, 1977; *Логачев К. И.* Первый этап развития советского славяноведения (Славистические учреждения АН в 1917—1934 гг.). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1979; *Владыко Н. Н.* В. В. Макушев как историк южного славянства. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1981; *Туманова С. В.* Р. У. Ситон-Уотсон как историк югославянских народов. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1981; *Юрченкова Л. В.* А. А. Кочубинский как историк зарубежного славянства. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1983, и др.

<sup>47</sup> См.: например: *Лаптева Л. П.* Русская историография гуситского движения (40-е годы XIX в.—1917). М., 1978, 340 с.; *Сергеев А. В.* Исторические взгляды В. И. Григоровича. Казаль, 1978, 134 с.; см., например, также статьи: *Лаптева Л. П.* Основные линии развития научного славяноведения в России в XIX—начале XX в.—Вест. Моск. ун-та. Сер. 9. История, 1977, № 2, с. 52—66; *Она же.* Русское славяноведение в конце XIX—начале XX в. (Проблемы истории).—В кн.: История, культура, этнография и фольклор славянских народов/VIII Международный съезд славистов. Загреб—Любляна, сентябрь 1978 г. М., 1978, с. 491—510; *Она же.* Развитие русской исторической мысли в XIX в. в области славяноведения.—Вест. Моск. ун-та. Сер. 8. История, 1983, № 1, с. 78—92; *Логачев К. И.* Советское славяноведение до середины 30-х годов.—Сов. славяноведение, 1978, № 5, с. 91—103; *Аксенова Е. П.* Вопр. истории пародов Центральной и Юго-Восточной Европы на страницах «Современника» (1854—1862).—Сов. славяноведение, 1980, № 4, с. 43—56; *Дьяков В. А.* Польская тематика в русской историографии конца XIX—начала XX в. (Н. И. Кареев, А. А. Корпилов, А. Л. Погодин, В. А. Францев).—В кн.: История и историки: Историографический ежегодник 1978. М., 1981, с. 147—161; *Он же.* О некоторых аспектах развития славистики в 1918—1939 годах.—Сов. славяноведение, 1981, № 1, с. 78—82; *Венедиктов Г. В.* К начальной истории славистической кафедры в Московском университете.—Сов. славяноведение, 1983, № 1, с. 91—99 и др., а также статьи в сборниках, названных в тексте статьи, в международных сборниках по истории славистики (см. список 42), и т. д.

<sup>48</sup> Историки-слависты СССР: Библиографический словарь-справочник. М., 1981. 205 с.; *Булахов М. Г.* Восточнославянские языковеды: Библиографический словарь: В 3-х т. Минск, 1976—1978.

<sup>49</sup> См., например: *Марков Д. Ф.* Славистика как комплекс научных дисциплин.—В кн.: Методологические проблемы истории славистики, с. 7—17.

<sup>50</sup> Там же, с. 14.

<sup>51</sup> См., например: «Славяноведение в дореволюционной России».

<sup>52</sup> *Мыльников А. С.* Проблемы периодизации мировой славистики: цели и принципы.—В кн.: Методологические проблемы истории славистики, с. 49.

<sup>53</sup> Там же, с. 49—50; *Марков Д. Ф.* Славистика как комплекс научных дисциплин, с. 15—16.

<sup>54</sup> *Дьяков В. А.* Политические интерпретации идеи славянской общности и развитие славяноведения (с конца XVIII в. до 1939 г.).—В кн.: Методологические проблемы..., с. 232—260; *Он же.* Идея славянской взаимности и ее воздействие на развитие славяноведения.—In: *Studie z dejín svetovej slavistiky...*, s. 9—28.

- <sup>55</sup> *Мыльников А. С.* Проблемы периодизации мировой славистики, с. 54; Славяноведение в дореволюционной России, с. 11.
- <sup>56</sup> *Hvič J.* Zasedanie československej komisie pre dejiny slavištiky.— *Slavica Slovaca*, 1973, № 2, s. 250.
- <sup>57</sup> Подробнее обоснование термина "slovanství" см. в статье *Ненашевой З. С.* Идея славянской общности в советской и чехословацкой историографии: Некоторые терминологические и теоретические аспекты.— В кн.: Исследования по историографии славяноведения и балканстики. М., 1981, с. 94,
- <sup>58</sup> *Hrozienčík J., Hvič J.* Projekt komplexného výskumu dejín slovenskej slavištiky.— *Historický časopis*, 1973, № 3, s. 490—493.
- <sup>59</sup> *Дьяков В. А., Марков Д. Ф., Мыльников А. С.* Некоторые узловые методологические вопросы истории мировой славистики.— В кн.: История, культура, этнография и фольклор славянских народов..., с. 469.
- <sup>60</sup> *Simeček Z.* Pracovní porada o dějinách české a slovenské slavištiky od poloviny 18. století do roku 1918.— *Slovanský přehled*, 1977, № 3, s. 243.
- <sup>61</sup> Ibidem. <sup>62</sup> Ibidem. <sup>63</sup> См. сноски 12, 42.
- <sup>64</sup> *Дьяков В. А., Мыльников А. С.* Изучение истории славистики чехословацкими учеными в 1968—1978 гг.— Сов. славяноведение, 1979, № 3, с. 96—101.
- <sup>65</sup> См., например: *Kudélka M., Simeček Z., St'astný V., Večerka B.* Československá slavištika v letech 1918—1939. Praha, 1977. 471 s.; *Strnádel J.* Padesát let Slovanské knihovny Praha, 1976. 162 s.; *Petr J.* Slavištické zájmy K. Marxe a B. Engelse. Praha, 1976. 125 s.; *Syllaba T. V. A. Francev.* Praha, 1977, 130 s. и др. монографии. Наряду со статьями чехословацких ученых в международных сборниках по истории славистики и периодических сборниках "Práce z dějin slavištiky", издаваемых кафедрой славистики Карлова университета (см. сноски 38 и 42), в 70-е годы в ЧССР вышли в свет такие статьи по указанной проблематике: *Kudélka M.* Česká slavištika a Svat slovanských akademí.— *Slovanský přehled*, 1975, № 6, s. 482—497; *Laciok M.* Slovenská slavištika I. polovice 19. storočia.— *Slavica Slovaca*, 1975, № 3, s. 291—296; *Kudélka M.* Slavistika v Muzejniku do první světové války./K 150. výročí založení časopisu.— *Slovanský přehled*, 1977, № 2, s. 97—105; *Matula V.* Slavistická koncepcia I. Stúra a jeho pínos pre rozvoj slavištiky.— In Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu. Praha, 1978, s. 265—273; *Kudélka M.* O pojedí slavištiky u Josefa Dobrovského: Ke 150. výročí jeho smrti.— *Slovanský přehled*, 1979, № 2, s. 104—116 и др.
- <sup>66</sup> См., например: *Velinská E.* VII. Mezinárodní sjezd slavistů. Warszawa 21.—27.8.1973. Bibliografie. Praha, 1976. 346 s.; *Strnádel J., Křepinská M.* Slovenská knihovna a slavištika. Praha, 1979. 211 s. и др.
- <sup>67</sup> *Simeček Z., St'astný V.* K problematice syntézy dějin národní slavištiky..., s. 246.
- <sup>68</sup> Ibid., s. 256, 257. <sup>69</sup> Ibid., s. 258. <sup>70</sup> Ibid., s. 257. <sup>71</sup> Ibid.  
<sup>72</sup> Ibid., s. 258. <sup>73</sup> Ibid., s. 269. <sup>74</sup> Ibid., s. 264.
- <sup>75</sup> Ibidem.
- <sup>76</sup> *Дьяков В. А., Марков Д. Ф., Мыльников А. С.* Некоторые узловые методологические вопросы истории мировой славистики.— В кн.: История, культура, этнография и фольклор славянских народов. VIII Международный съезд славистов. Загреб — Любляна, сентябрь 1978 г. Доклады советской делегации. М., 1978, с. 472.

# ПУБЛИКАЦИИ

---

## ЛЕКЦИИ П. Л. ЛАВРОВА О РОЛИ СЛАВЯН В ИСТОРИИ МЫСЛИ

Публикация В. А. Дьякова и Е. К. Жигунова

В декабре 1872 г. в Цюрихе П. Л. Лавров прочитал две лекции на тему «Роль славян в истории мысли». На них присутствовали политические эмигранты и студенты из России, а также поляки, чехи, сербы, болгары и выходцы из других славянских земель. Сохранившиеся источники не оставляют сомнения в том, что на слушателей произвели большое впечатление научная эрудиция лектора и политическая актуальность рассмотренных им проблем. Лекция несомненно является «историографическим фактом», ибо о ее содержании, помимо двухсот непосредственных слушателей, знало еще немало их родственников, друзей и знакомых.

Царские власти перехватили два письма, отправленных из Цюриха в Одессу 23 и 26 декабря 1872 г. В первом из писем Н. Жебунёв писал своему брату Владимиру: «Володя, мое знамя — «формула прогресса» [...] Сегодня я был на его лекции; не могу много о нем распространяться, но скажу только, что это святой человек. Лекция была «О роли славян в европейской цивилизации». Слушателей было душ 200, но я, зная это общество, говорю, что из них, дай бог чтоб набралось душ 20, которые ему сочувствовали бы, понимали его. Если б ты представлял себе, что это за общество,— это все узкобые практики, у которых вся конечная цель — кассы да кухмистерские, да тупоголовые революционеры, или иначе сказать — бакунины; пошлости, дряги, гадости между этими практиками. Научным ничем положительно не занимаются». В другом письме, которое было написано Е. Гребницким его брату Николаю по поводу той же — первой — лекции говорится: «...Лавров живет со мною по одному коридору; выразил желание со мною познакомиться, и я тоже очень не-прочь от знакомства. На днях он читал лекцию о значении славян в истории мысли. Лекция прочитана очень хорошо. Говорил о двух умственных движениях славян, которые имели влияние, и большое, на европейскую мысль: у болгар ученье богомилов, у чехов — Иоанн Гус. Будет читать вторую лекцию, продолжение. Предполагает прощесь по истории философии ряд лекций. Народа на его лекции о славянах было страсть: почти все русские, чехи, сербы, поляки; даже немцы затесались, уж не знаю зачем»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> ЦГАОР СССР, ф. 109, секр. архив, оп. 1, д. 433, л. 1—2

Существуют и еще два эпистолярных свидетельства непосредственного участника собраний в Цюрихе, будущего соредактора «Вперед!» В. Н. Смирнова к одному из сподвижников Лаврова в 70-х годах XIX в. А. С. Бутурлину.

24 декабря 1872 г. Смирнов сообщал: «Вчера П[етр] Л[аврович] читал лекцию о «Славянах в истории мысли». Русских и братьев славян набралось целая масса; я думаю, всех слушателей было minimum 150 человек. В следующий понедельник он читает вторую лекцию и последнюю о том же самом. Эта лекция будет особенно интересна в том отношении, что П[етр] Л[аврович] намерен поставить и, насколько возможно, решить вопрос о роли славян в решении социального вопроса. Обе лекции будут стенографированы и потом напечатаны; нечего говорить о том, что я вышлю Вам один — другой экземпляр. Понятно, что П[етр] Л[аврович] не думал скрывать от публики своих социалистических убеждений. Два часа без отдыха продолжалась лекция; два часа красноречивой социалистической пропаганды с кафедры, пропаганды из уст человека, как П[етр] Л[аврович], пропаганды перед лицом 150 или более молодых людей... И опять мне пришло в голову — опаснее, гораздо опаснее для социального строя, для Российской империи П[етр] Л[аврович], чем Б[акунин]. Консерваторы должны перевешать всю свою полицию и тайную, и явную за то, что она не умеет стеречь таких людей, каков П[етр] Л[аврович]. Эх, если бы еще Николай Гаврилович [Чернышевский] убежал! Еще крепче стала бы на ноги русская революция...»<sup>2</sup>

Под свежим впечатлением от второй лекции Смирнов писал: «Сегодня была вторая и последняя лекция П[етра] Л[авровича] о славянах. Народу набралось еще больше, чем в прошлый раз. ...Лекция произвела потрясающее впечатление; долго и много рукоплескали ей взволнованные слушатели, и не одному десятку из них запали глубоко в душу страстные речи о том, что отжила свой век старая буржуазная цивилизация, что пришла пора нового порядка вещей, что задача полного социального переворота поставлена и что каждый должен способствовать ей всеми силами, каждый должен готовиться к ней, воспитывая в себе беззаветную преданность делу, вырабатывая критическое мышление и набирая возможно больше положительных знаний. Впрочем, не на всех слушателей подействовали страстные и честные слова П[етра] Л[авровича]. Нашлись люди, которым смешны показались эти слова, которые фыркали и кокетливо переглядывались в течение всей лекции. Как бы Вы думали, кто эти «критики»? Это были люди знаменитого «кружка», поистине «круглые» люди, эти вдохновенные привилегированные носители

<sup>2</sup> «Вперед!» 1873—1877: Материалы из архива В. Н. Смирнова. Отобрал, снабдил примеч. и очерком истории «Вперед!» Б. Сапир. Dordrecht, 1970, т. 2, с. 79—80.

вельтишмерца, революционеры 96-й пробы, словом те, которые в своем журнале не позволяют себе сказать дурного слова про П[етра] Л[авровича], или вообще про лиц, которые будут работать для «Вперед!» Итак, вот уже есть задаток в счет будущих отношений журналов. Не правда ли, жалка эта беззубая мелкота? Все остальные слушатели, которые видели это показывание кукиша в кармане, до глубины души возмущены поведением этих овец и баранов россовского завода»<sup>3</sup>.

Нижеследующий текст, публикуемый впервые, обнаружен в личном фонде П. Л. Лаврова, хранящемся в ЦГАОР СССР: ф. 1762, оп. 2, д. 204, л. 1—103. Мы воспроизводим его в соответствии с действующими правилами публикации архивных источников. Примечания П. Л. Лаврова даются под строкой в отличие от наших комментариев, которые помещены в конце текста. По ходу изложения Лавров неоднократно обращается к своей статье «Философия истории славян», напечатанной в 1870 г. в «Отечественных записках». В оригинале обозначены только начало и конец используемых цитат, в публикации они воспроизводятся полностью; при этом в квадратные скобки заключены те места текста, которые взяты нами из соответствующих номеров «Отечественных записок». Сомнительные места, оставшиеся, несмотря на тщательную сверку с оригиналами, мы помечаем взятым в квадратные скобки словом *Sic!*

## РОЛЬ СЛАВЯН В ИСТОРИИ МЫСЛИ

ПУБЛИЧНЫЕ ЧТЕНИЯ П. Л. ЛАВРОВА;  
ЧИТАНЫ В ЦЮРИХЕ  
В GESELLSCHAFTHAUS ZUR PLATTE  
23 и 29 декабря 1872 г.

### Чтение первое

Самомнение национальностей. Вопрос психологии народов. Задача бесед. Научная мысль. Верования. Народы в истории мысли. Мнения о славянах. Культурные народы. Греция. Рим. Христианство. Средневековые созерцания и идеалы. Богомилы. Их предшественники. Их влияние. Новые вопросы. Гус и гуситы. Реформация.

<sup>3</sup> «Вперед!» 1873—1877, т. 2, с. 82—83. В последних фразах цитируемого фрагмента описывается восприятие лекции П. Л. Лаврова сторонниками бакунизма, в частности друзьями М. П. Сажина, который в эмиграции действовал под псевдонимом Арман Росс — отсюда «овцы и бараны россовского завода».

Национальности представляют результаты процесса, который зависит частью от природы, частью от исторических обстоятельств. Можно сказать, что они суть результаты природных влияний, видоизменяемых историческою культурою. Но это внешнее обособление в воображении личностей, принадлежащих к той или другой национальности, получает немедленно характер спора о преобладании, о превосходстве, спора, наблюдавшегося с самого древнего времени. Мы имели многочисленные примеры, доказывающие, что самомнение каждой национальности было весьма значительно. Гэнтский профессор Лоран в своих исследованиях об «Истории человечества» говорит \*: «Все [народы древности видели в себе племя избранное; всякий из них считал себя высшим по природе и смотрел с презрением или ненавистью на низшие существа, его] окружающие».

К сожалению, мы и теперь видим почти то же: в среде нынешнего цивилизованного мира весьма часто различия национальностей формулируются в национальную пенависть, даже у замечательнейших представителей современной мысли встречаем иногда выражения, вызванные самомнением каждого народа, который весьма недалек от стремления утверждать свое превосходство над всеми другими и чуть ли не готов считать себя особенным, исключительным избраником судьбы или пророчества. Много обвиняли в этом французов; но мы видим теперь как подобное же излишне высокое мнение о себе господствует в Германии, опьяненной своими недавними политическими успехами; его встречаем и в государстве, чуждом европейских традиций и которое по своему политическому строю обращает на себя внимание всех мыслящих политических деятелей,— в Северо-Американских Штатах.

Если мы обратимся к нашим соплеменникам и рассмотрим мнения так называемых славянофилов и других славянских патриотов относительно разных народов, то и здесь заметим стремление выказать превосходство и первостепенное историческое значение того или другого славянского народа, как избранного пред остальным человечеством. Одни видят в своей нации мессию народов, другие — как бы центр, около которого должны сгруппироваться все племена. В подобных выражениях высказывается не только соревнование в стремлении к умственному прогрессу, но в особенности борьба за политическое преобладание, за господство.

Эта традиция национального самовосхваления и национального претензительства о превосходстве составляет для нашей эпохи весьма печальное направление духа. В то время как вопросы научные объединяют все стремления в области мысли, в то время как вопросы социальные группируют всех работников мира в международное общество<sup>1</sup> для борьбы со столь же космополитическим капиталом,

---

\* Laurent. Etudes sur l'histoire de l'humanité. II, Grecé, 287.

в это время национальное самосознание раздувается в национальную вражду политическими эксплуататорами народов или искренними, но слепыми патриотами. Если я позволяю себе говорить здесь о роли славян в истории мысли, то, конечно, не для того, чтобы проповедовать вражду к какому-либо другому племени, не для того, чтобы толковать о превосходстве того или другого племени, о кровавых традициях борьбы между нациями или о тех пыльных документах давнинувшего, на которых иные патриоты мечтают основать какое-либо живое будущее. Чуждая подобной узкой политической пропаганды, наука находит *свои* вопросы в обособленности национальностей.

Вырабатываясь как продукт совокупного действия естественных условий среды, в которой они развились, и влияний исторической культуры, национальности получают под этими влияниями различные склады мысли. Одна из частей антропологии, наименее разработанных научно, есть именно так называемая *психология народов*, то есть изучение национальных групп в их обособлении; тем не менее уже теперь существуют материалы для ее разработки. История сообщила одному народу более инициативы в одном направлении, менее — в другом, более склонности к одному роду деятельности, к одному приему мышления, чем к другому, и эта склонность, эта обособленность неизбежно воплотится в привычках жизни, слова, мысли данной нации. Конечно, для нации, как для отдельной личности, не существует невозможности при отдельных обстоятельствах [sic!] переломить приобретенные привычки и склонности. Нации не имеют особенного неизменного предназначения, о котором толкуют историки-прорицатели. Они не суть воплощения некоторых метафизических или нравственных идей, как предполагали историки-идеалисты. Народы никем и ни к чему не предназначены. Идеи не имеют реального существования вне мысли личностей их выработавших. Под этими устарелыми и ненаучными формами речи скрывается лишь простой научный факт: природа и история обособили национальности, развив в них склонность и способность действовать самостоятельно и влиять на соседние нации в одном направлении, воспринимать влияние соседних наций в другом. Поэтому, можно допустить, что жизнь нации пойдет легче и удобнее, если представители ее цивилизации усвают ясное понимание того, в какой именно области эта нация обладает наибольшую склонностью к инициативе и в какой ей удобнее пользоваться результатами, выработанными иными народами. Направляя свои силы на ту область, к которой он имеет естественную склонность, народ сделает, может быть, более и сумеет лучше участвовать в общем движении человечества, чем стремясь к иным целям, искусственно поставленным.

Если данная способность развита в одном народе более, в другом — менее, то патриотам-политикам и мыслителям предстоит важ-

ная задача изучить склонности своего народа, потому что в них не только можно исследовать главные условия развития истории народа, но угадать лучшее или худшее его будущее при данных обстоятельствах, наконец, можно указать ту сторону мысли или деятельности, на которую ему следует наиболее обратить внимание для того, чтобы роль его в истории была действительно общечеловеческою. Действуя наперекор своей естественной склонности, народ имеет более шансов, если не потерпеть полную неудачу на данном пути, то, по крайней мере, отстать от своих совместников [sic!] и ограничиться лишь ролью подражателя, там где мог бы быть самостоятельный деятелем.

Задача наших бесед заключается в том, чтобы указать на некоторые особенности, характеризующие участие славян в истории мысли, выводя эти особенности индуктивно из сравнения уже известных фактов минувшего; а затем показать отношение этих особенностей к современным задачам цивилизации; именно указать, каким образом при данной борьбе идей и направлений славяне, обра- разно естественной склонности своей мысли, могут наиболее положительно и полезно участвовать в общечеловеческой истории. Нисколько не думаю утверждать и не желаю внушать Вам<sup>2</sup>, чтобы особенности славянской мысли ставили славян выше или ниже других наций или племен, я ищу лишь отличительные антропологические признаки в прошедшем и пробую приложить их к настоящему.

Я не буду говорить о привычках славянской жизни и о формах славянской культуры, но ограничусь лишь наиболее знакомою мне областью, областью мысли.

Но здесь немедленно мне следует устраниТЬ недоразумение. Область мысли разнообразна. Она начинается в сфере инстинктивной техники жизни, переходит к некритическому аффективному мышлению и к бессознательному творчеству верования, затем вырабатывается в критическое мышление науки, достигая, наконец, сферы сознательного критического творчества философии, как теоретического мировоззрения и как практического убеждения, воплощающегося в жизнь. По существующим привычкам мысли между передовыми людьми, когда мы говорим об области мысли, на ум приходит прежде всего та сфера этой области, которая в наше время по праву господствует над всеми прочими, именно сфера точной научной мысли. Вы могли бы ожидать, что я стану особенно говорить о славянских ученых, что я хочу в тысячный раз возвеличивать Коперника, что я буду перечислять ученые работы, совершенные славянами. Напротив, я именно о сфере научного мышления почти вовсе говорить не буду. Цель наших бесед — отыскать черты, обособляющие славянскую мысль, а науку следует считать областью вполне общечеловеческою, где сглаживаются национальные различия. Всю долю строгого научных завоеваний можно выделить совершенно из явлений мысли, обособляющих национальности и согласиться с мнением,

высказанным современным швейцарским ботаником де Кондолем в его последнем труде \*: «Для людей науки национальное тщеславие составляет подводный камень. Их роль — быть космополитами. Наука не принадлежит ни той, ни другой нации. Вообще правительственные и умственные понятия составляют область человека и стоят далеко выше различия семейств, сословий и народов».

Как только ученый вступил на точку строго критического научного мышления — он немедленно выделился из преданий своей национальности; его мысль становится результатом общечеловеческой критики, выработанной в разные эпохи и в разных народах, как нечто, объединяющее работу человечества, а не обособляющее его различные доли; ученый, насколько он ученый, есть продукт своей эпохи, но в новое время, при взаимодействии народов, его труды не могут быть поставлены в число характеристических особенностей его национальности. Это справедливо как раз до тех пор, пока он остается в сфере точной науки, т. е. пока он устанавливает факты, проверяет точность метода или открывает частные законы. Национальные привычки и наклонности высказываются в литературной форме, которую он придаст своим исследованиям, в философских обобщениях, которые он сам или другие сделают из его открытых, в разработке этих открытых в том или другом направлении. Но все эти обстоятельства не относятся собственно к строго научному мышлению и к месту работ ученого в истории науки.

Впрочем, есть и еще причина, которая, как я думаю, побуждает устраниТЬ из рассуждения о роли той или другой нации в истории мысли рассмотрение строго научных трудов, совершаемых в среде этой нации, особенно тогда, когда однажды научные методы уже установились и распространились до некоторой степени. Число ученых, в строгом смысле этого слова, было всегда незначительно; методы научного мышления до сих пор усвоены весьма небольшим меньшинством; научная мысль, т. е. мысль строго критическая, с бесспорными методами доказательства и с методами проверки результатов, действовала в небольшом кружке лиц, вырабатывавших этим путем теоретическое знание и практическое убеждение; в большинстве же людей эта мысль переходила точно так же, как переходит в большинство почти всякое религиозное и философские мнения, в форме готового результата, не доказанного точно и не проверенного критически, но принятого на веру или на основании самой поверхностной оценки его вероятности.

Всего чаще самые разнообразные обстоятельства исторической жизни ослабляли в народах привычку к одному миросозерцанию,

---

\* *De Condolle. Histoire des sciences et des savants depuis au XVIII et XIX siecls.* 1873, 269 p<sup>3</sup>.

принятыму на веру, и подготавляли почву для нового, более критического в своих основах, но усвоенного обществом лишь как новая привычка мысли.

Критическая научная мысль была одним из обстоятельств, подготавливших это изменение, но одним из многих. Сменялись в истории верования и привычки мысли, оставаясь все-таки для большинства верований и привычками мысли, хоть в них входило все больше элементов, продуманных критически независимым меньшинством. Эти элементы были одни прочны и одни могли сообщить прочность теоретическим миросозерцаниям и практическим убеждениям, как медленное расширение небольшого меньшинства критически мыслящих и знающих личностей заключало в себе весь прочный прогресс человечества. Но в истории мысли, как она совершилась до сих пор, этот элемент играл еще очень небольшую роль. «Замечено было,— пишет Лекки\*,— ... что успех мнения гораздо менее зависел от силы аргументов, или от способности адвокатов, чем от предрасположения общества принять это мнение, и что это предрасположение проистекало из умственного типа данного времени. По мере того как люди подвигаются вперед от менее совершенной цивилизации к высшей, они постепенно утончают и обделывают свое верование. Их воображение незаметно отстает от тех грубейших представлений и учений, которые были прежде столь могущественны, и они ранее или позже преобразуют свои верования сообразно нравственной и умственной мерке, выработанной новой цивилизацией... Давление общих умственных влияний данного времени определяет предрасположения, которые окончательно устанавливают все подробности верования; и хотя не все люди поддаются давлению одинаково легко, все большие массы окончательно уступают. Изменение умозрительных мнений не предполагает увеличения числа данных, на которые опираются мнения, но изменение привычек мысли и ума, привычек отраженных этими мнениями. Определенные аргументы составляют симптомы перемены и повод к ней, но редко ее причины. Их главная заслуга заключается в ускорении неизбежного кризиса. Их сила и действительность зависят от их согласия с умственными привычками тех, к кому они обращены. Рассуждение, которое не произвело бы никакого впечатления в одну эпоху, встречается в другую эпоху с восторженным сочувствием. Понимать свойство рассуждения — одно дело, но оценивать их силу — совсем иное».

Эти-то умственные привычки, весьма различные у разных народов, обуславливают отношение народа к истории мысли, а именно ту восприимчивость, которую имеет тот или другой народ к результатам научной, религиозной или философской мысли, проходящей под влиянием обстоятельств с большею или меньшею скоростью в

---

\* Lecky. History of the rise of rationalism (4 ed. 1870) I, Introd. VI.

массы, или в цивилизованное меньшинство. Наука может лишь постепенно изменить эти привычки, приготовлять медленно новую почву для пропаганды мысли как теоретической, так и практической.

Таким образом, в истории мысли нам приходится преимущественно рассматривать изменение воззрений, изменение верований в народах того или другого племени. Наука является лишь твердою почвою, на которой вырабатываются и прочно основываются верования, приобретенные каким-либо народом; она является рядом ярких точек, из которых истекает свет на путь народов и человечества к истине и справедливости, но массы идут по этому пути большею частию в полумраке предрассудков, рутинных верований и мнений, причем этот полумрак рассеивается крайне медленно и едва ли в близком будущем можно ожидать, что путь человечества к истине и справедливости совершится в полном свете научной критики. Именно потому завоевания прогресса так незначительны, так шатки; именно потому так часто в истории мы видим внезапные реакции, распространение индифферентизма или отрицание прогресса в среде той же самой нации, где, по-видимому, более значительная доля истины и справедливости была уже уловлена и близка к реализации.

Именно поэтому всякий искренне убежденный человек, всякий, кто хочет обеспечить своему убеждению не только распространение и влияние в данную минуту, но и прочное торжество этого убеждения в будущем, должен стараться сообщить им, хотя для самого небольшого меньшинства, ту прочную опору, которую дает и может дать лишь точное знание, лишь критическая мысль. Но потому же более или менее значительная группа людей критической мысли и научно выработанных убеждений в той или другой нации не составляет характеристического, обособляющего признака этой нации. Они представляют ее общечеловеческий элемент, но ее участие в истории мысли определяется склонностью большинства принять верование того или другого рода, сообразно эпохе. Роль народа в переработке и смене верований есть преимущественно его роль в истории мысли.

Вы заметили, конечно ...что я даю слову *верования* самое обширное значение. В этом смысле оно охватывает весьма разнообразные явления: к нему относятся самые грубые, получеловечные, полусознательные и полуинстинктивные религиозные формы первобытных и диких племен; затем более стройные и эстетические мифы и культы народов, выработавших исторические цивилизации; далее догматы, более и более проникающиеся сознанием философского единства и нравственных идеалов в кружках исключительно выгодно поставленного меньшинства; еще далее верования, где сверхъестественное отступает на второй план, великие идеи заступают место божеств, метафизические представления заменяют образы антропоморфизма; наконец, верования, в которых главным ингредиентом являются результаты науки и человечные идеалы, верования, состав-

ляющие для небольшого числа личностей выводы вполне критического мышления, но большинством приверженцев принятые на веру.

Смена этих фазисов верования одним другими обуславливается многочисленными влияниями, следовательно, происходит весьма различно как во времени, более или менее быстро, так и в пространстве, совершаясь в разных центрах с большею или меньшою энергией. Общая схема обыкновенно такова: на поле потребностей естественных, культурных и нравственных, поле, общем многим нациям, живущим во взаимодействии, вырабатывается новое верование в личностях, как более или менее критическое, более или менее мистическая мысль. Личности начинают пропаганду. Главное и существенное препятствие, им противостоящее, есть всегда старая рутина, привычки и предания культуры их окружающей. Если личности слишком одиноки в своем процессе мышления, то они гибнут, не возбудив сочувствия, или становятся главами небольших религиозных сект, политических партий, социальных кружков без особенного исторического значения. Если же они воплощают в себе живые потребности общества, то их мысль, далеко не проверенная и схваченная вовсе не так, как они сами ее поставили, быстро распространяется как верование. В разных нациях этот процесс совершается весьма различно, и в этом именно проявляется особенность их умственных наклонностей.

В одной нации мы найдем довольно быстрое развитие теоретической мысли сообразно изменившимся верованиям, тогда как практика жизни продолжает опираться на старые предания и старые привычки. В другом народе происходит соглашение, ряд уступок между различными верованиями, старыми и новыми, более или менее влиятельными в обществе, и результатом утверждения нового верования являются общественные формы жизни, несколько не похожие на основные начала, давшие повод к общественной перестройке. Один народ усваивает верования частями, ограничивая их область и не схватывая связи между различными вопросами, ими возбужденными. Другой, напротив, идет до конца в последовательной их разработке, требует всего или ничего, иногда не обращая достаточно внимания на условия возможного осуществления поставленных задач. Одна нация быстро схватывает новое мнение, но не проникается им и готова часто менять господствующее верование или переходить к индифферентизму. Другая уступает медленнее, но зато схватывает крепче, немедленно вносит верования в привычку, в предание и делает их препятствием дальнейшему прогрессу мысли. Есть нации более склонные к верованиям в форме эстетической и чувственной, другие — скорее в форме отвлеченных метафизических дотматов. Одни народы вносят идеалистическую отвлеченность в самые реальные задачи жизни; другие — разрабатывают именно реалистическую сторону самых метафизических миросозерцаний. Роль племен и на-

ций в истории мысли преимущественно обуславливается именно этим различием их отношений к верованиям, ими внесенным в жизнь.

Усвоив себе это положение, можно сказать, что из прошедшего данной нации дозволительно с некоторым основанием заключить о возможности для нее более успешной деятельности в том или другом направлении. Возможности — не более. Как личность, так и нация может упустить самые лучшие минуты для своего общечеловеческого влияния и обратиться, вследствие исторических обстоятельств, к деятельности, ей вовсе не свойственной. Во всяком случае, общечеловеческим деятелем народ может стать лишь на почве общечеловеческих вопросов. Но эти вопросы не могут быть произвольно поставлены ни лицом, ни обществом. Эти вопросы возникают из течения истории, сила которого слаживает все отдельные влияния. Всякая нация, сдружившаяся с рутиной старого предания, отрицающая критику мысли в ее борьбе с культурными привычками, сама обрекает себя на историческое ничтожество. Всякая нация может выступить влиятельным историческим деятелем лишь тогда, когда она в своем веровании усвоит истинные, общечеловеческие задачи современности. Но она всего лучше будет участвовать в их решении, если примется за это решение сообразно своим естественным или исторически выработанным склонностям. Наша задача, как я уже высказал это, заключается в том, чтобы узнать из истории славян, если это возможно, какую особенность строя мысли они выказали в фазисах развития исторических верований, при восприятии, переработке и передаче другим народам этих верований; затем в уяснении задачи современных верований и в разборе отношения особенностей славянского строя мысли к этой задаче.

Итак, прежде всего нам приходится решить вопрос: в данный период, при данных условиях развития человечества, при данных задачах в области верований, какова была роль славянских наций в развитии этих верований? Каким образом они восприняли данное направление верований или выработали в себе новые формы их, которые затем внесли в историю общечеловеческой мысли? И здесь мы будем говорить не о личных мнениях, не о работе личной мысли, не об отдельных фактах, которые всегда и везде могут произойти под разнообразными влияниями, обуславливающими развитие личностей. Мы разберем лишь исторические фазисы, имевшие общественное значение для данного славянского племени и оказавшие бесспорное влияние на смену верований или на их борьбу в общечеловеческой истории мысли.

Но точно ли в этой области славянам принадлежит какая-нибудь роль? Точно ли они выказали какую-либо особенность в выработке, переработке и передаче другим народам верований, сменявшихся в человечестве? Не только противники славян, но и некоторые авторы, считавшие себя их защитниками и друзьями, выражаются на этот

счет так, будто бы роль славян в этой области была совершенно ничтожна. В статье довольно дельной о славянах, помещенной в известном немецком издании\* половины нынешнего столетия, автор говорит, приступая к очерку религиозного состояния славян и перечислив религии, возникшие в среде других племен: «Что [же 80 миллионов славян, хвастающихся тем, что они — многочисленнейший народ под солнцем, каких проповедников веры, мыслителей, реформаторов породили они? Кто слышал когда о пророках, возникших между славянами и которые были бы довольно сильны и даровиты, чтобы направить мысль к высшим вопросам? ... Даже в распространении вероучений они не принимали заметного] участия». Русский писатель, недавно умерший, намеревавшийся писать «Историю всего славянского племени в его совокупности» и известный как один из ученых деятелей русских славянофильских кружков, писал в 1868 г.\*\*: «Умственная деятельность... славян была лишь отголоском иностранных влияний и только проблесками проявлялось у них самостоятельное творчество».

Я надеюсь убедить Вас ...фактами, что эти мнения существенно ошибочны, что славяне явились уже три раза в истории европейской мысли заметными деятелями и оказали немалое влияние на ход этой мысли; что это влияние было произведено не отдельными личностями, но национальными группами. Для нас столь же мало имеют значение личности пророков и реформаторов, как и личности ученых. Отдельные личности ничего не доказывают, а при некоторой комбинации обстоятельств могут появляться всюду. Нам важно в истории верований участие наций как наций, как общественных групп; нам важны народные движения мысли, в которых можно признать участие общественного элемента руководящего сословия, движения, которые находились в связи с общественною жизнью народа в данную эпоху и в которых индивидуальные факты стущевывались перед фактами общественной жизни. Я надеюсь показать, что в настоящее время представляется и четвертый случай, при котором славяне *могут* выступить влиятельными двигателями в истории общечеловеческой мысли, сообразно тем умственным особенностям, которые, по-видимому, индуктивно получаются из рассмотрения их прежней деятельности на этом поле. Конечно, здесь существует для них лишь *возможность*, так как личности и нации весьма часто проходят мимо возможной для них деятельности, уступая другим

---

\* "Die Gegenwart" II.

\*\* «Вестник Европы». Июнь, 1868. Статья г. Гильфердинга. Автор относит предыдущую фразу собственно лишь к славянам западным и южным, но его слова, очевидно, распространяются и на всех славян. Качество, приписываемое им славянам, есть преимущественно политическое строительство, и его идеал есть идеал политический.

роль, которую не решались выполнить. Но даже упущенная возможность все-таки существует для истории.

Предпоследнем выступлению славян на поле истории мысли очерк фазисов этой истории до эпохи их обособленной деятельности и указем характеристические особенности некоторых национальностей, действовавших влиятельно на этом поле.

На первой ступени мы встречаем человека, безусловно подчиненного преданию. Верования и действия имеют потому место, что так принято, так было, так и должна повторяться жизнь в сменяющихся поколениях. Отношение человека к окружающему миру обуславливается страхом перед силою, которая может раздавить, но которую можно умилостивить жертвою, разгадать о ее намерениях путем знахарства, покорить себе путем магических действий, как умилостивляют, разгадывают и покоряют себе других людей. Все сводится на гадание по разным знамениям, на совершение обряда, который обеспечит человека от несчастья и привлечет ему удачу, в выборе надлежащего амулета, фетиша, в произнесении надлежащих слов заговора. При этом в области личных отношений мы имеем безусловный эгоизм всюду, где предание не обязывает поступать иначе и где случайные и переменчивые аффекты не ведут иногда человека к самоотвержению.

В отношениях между обществами мы имеем простое хищничество. На этой доисторической ступени мышления стояло сначала все человечество; на ней остались большую частью народы, которым мы даем неопределенное название диких; на ней стояло большинство населения цивилизованных народов древности; эта ступень присутствует и теперь в значительной степени в мировоззрении значительной доли человечества. В цивилизованных нациях на этой почве выработались более утонченные верования меньшинства, с более эстетическими формами, с более философским символизмом, с иерархией жрецов, каст, политических подразделений, с религиозно-нравственными и политико-нравственными кодексами. Но все это, в своей высшей выработке, оставалось достоянием лишь незначительного меньшинства, в массу же переходило как новая форма обязательного предания, как новое средство гадания, как новый магический образ, как новый амулет и заговор, как новое орудие эгоистической эксплуатации личностей или новый повод к хищническим отношениям между группами людей. Менялись формы; сущность доисторического мировоззрения первобытного человека оставалась та же.

Первая обособленная и прогрессивная национальность выделялась в Греции. Там прежде всего находим общенациональный факт доисторического бессознательного периода развития мысли, именно поэтическую переработку религии. На месте недоступных народному мышлению символовических божеств других наций пред нами человечные типы олимпийцев, полубогов и героев, в которых могли во-

плотиться человеческие идеалы в их развитии. Этот первоначальный факт уже особенно характеристичен, как выражение не личной мысли, но обособленного национального характера на самых первых ступенях его выработки. Национальность греческая действительно развивалась при совершенно исключительных условиях и заслужила первостепенное место в истории человечества как национальность, в которой выработалась сознательная критическая мысль.

Школы мудрецов и философов Греции, с их критическим отношением ко всем вопросам теоретическим и практическим своего времени были рассадниками всей будущей науки и, хотя они составляли весьма незначительное меньшинство в среде населения, тем не менее они не были фактом индивидуальным, но повторяющимся во всех главных центрах прогрессивной греческой цивилизации, и фактом обособляющим Грецию как от восточных народов, так и от Рима. Они выработали критически мыслящее цивилизованное меньшинство, которое должно было сделаться учителем масс. Рядом с этим многочисленные конституции различных городов Греции были первыми попытками устроить органическое государство, т. е. разумное политическое общежитие не только на основании древнего предания, но и на основании стремления человека к лучшему, к общеполезному, к справедливому. Эти три весьма важные общенациональные факта в истории греческой мысли — бессознательная переработка религии в художественные человеческие формы, критическая работа мысли в школах философов и практическая выработка городских конституций — легли в основании четвертого, уже более индивидуального факта, но тем не менее характеристичного для греческой мысли, именно в основание развития первых теорий нравственности и социологии, теорий, типы которых перешли к мыслителям последующих периодов и наций. Последняя черта, конечно, должна быть отнесена к деятельности отдельных мыслителей, но и тут она характеристична, потому что является неизбежным следствием условий, существовавших в древнем мире в греческой национальности и ни в какой иной. Поэтому все указанные четыре факта вполне обосновывают психические наклонности греческой нации и определяют ее роль в истории мысли.

Рим держался теснее поклонения преданиям, магического обряда и политического хипничества. Эти доисторические элементы мысли составляли характеристические черты римской культуры во все времена ее существования. Тем не менее Рим, как нация, внес два элемента в историю человеческой мысли, хотя трудно, мне кажется, признать их прогрессивными. До распространения в нем греческого влияния он выработал элемент легальности, поклонения букве закона, потому что это — закон, не обращая особенного внимания на его содержание. Отсюда развилось представление той великой политической стройности, которая до сих пор, под именем *порядка*, составля-

ет идеал администраторов консерватизма; отсюда же развились понятия о той лицемерной законности, которая прикрывает самые возмутительные несправедливости, самые безнравственные действия формальным уважением к букве кодекса. Древний Рим подарил будущему тот тип легального строя, который теперь таким тяжелым копией лежит на человечестве; легального строя, столь легко нарушающего произволом власти, когда ей это нужно, причем недостатка в поводах никогда не бывает, но так жестоко давящего на большинство, не имеющее возможности ни знать закон, ни предвидеть фикции и толкования юристов, ни уклониться, во имя своего незнания, от сети пунктов кодекса, его охватывающей.

Впоследствии, под влиянием греческой мысли, старый Рим сменился иным, который не исключал данные, необходимые для возможности внести в движение человечества прогрессивные начала, если бы римская привычка к формальному не переработала греческое представление об органическом государственном строев в представление о механической централизации государства. Новый мир унаследовал от римской империи и этот идеал огромного, если возможно, всемирного политического целого, подчиненного во всех своих направлениях одному центру, куда стекаются все силы территории, там перерабатываются и оттуда уже распределяются, смотря по надобности, в разные части государства. Этот чисто механический идеал прельстил своей формальной простотою замечательные умы древности, нашел поклонников в большинстве ее исследователей нового времени, вошел в политические построения практических деятелей новой Европы, в политическую жизнь народов и обусловил многочисленные явления средневековой и новейшей истории, как продолжает еще их обуславливать до известной степени на наших глазах.

Французские короли пытались стянуть все силы Франции в Париж, ослабив или уничтожив политическую и умственную жизнь провинции; это не спасло Людовиков от эшафота, но традиция римского централизма перешла от Бурбонов к единой и нераздельной республике, подготовила новый дезаризм, распространила индифферентизм и апатию в стране и довела французское общество до того жалкого состояния, в котором мы теперь его видим.

Германские императоры, надев на себя корону цезарей, как бы привили себе вместе с тем традицию идеала римской централизации, употребили несколько веков кровавой борьбы в напрасных попытках его осуществления, истощили Германию в этих попытках, но идеал этот остался столь влиятелен, что мы и теперь видим, насколько лучшие умы немецкой нации опьянены недавними успехами германской централизации, успехами, прочность которых еще очень подлежит сомнению.

Испания погубила свои средневековые фуэрсы и всю свою политическую и умственную жизнь, сделавшись централизованною

монархию Карла V и Филиппа II. В Англии Стюарты заплатили головою и троном за подобные же попытки. Россия, в ее московском и петербургском периоде, принесла свои веяния, свои народоправства и всю свою местную жизнь в жертву этому римскому механическому типу, полученному ею из Византии, усложненному татарским представлением о безусловной власти хана и переделанному по образцам новой административной Европы; оттого русская умственная жизнь вымерла в городах и в губерниях, концентрировалась в столице, где политический строй никогда не позволил ей быть достаточно сильною, и лишь теперь некоторое пробуждение провинциальной жизни дает надежду на возможность лучшего будущего для наших соотечественников.

Склонность к формальной легальности и к механическому строю государства есть бесспорно характеристическая черта древней римской национальности. В теоретической области Рим дал мыслителям-экзектикам, склонным ставить рядом результаты разных школ, не примиряя их, вырабатывать философские результаты в теории безо всякой попытки осуществить их на практике и вносить в философию ту двойственность мысли и жизни, от которой она до сих пор не может избавиться. Но на этом пункте остановиться нельзя и не должно, потому что мыслители Рима оставались всегда одиноки, чужды общим стремлениям окружавшей их жизни, и представителями национальности их никак назвать нельзя.

На этой почве выросла христианская церковь как естественная комбинация самых противоречивых элементов. В христианство вошел доисторический элемент верования в магическое действие на природу, как чудесная сила слова угодников или фетишей и амулетов, образованных из остатков их тела, из обрывков их одежды, из освященной воды, из креста или бумажки с именем Иисуса; этот элемент и остался господствующим для огромного большинства лиц, носящих название христиан. Но рядом с ним в христианские догматы вошел метафизический элемент, выработанный философию тех самых язычников эллинов, на которых христиане смотрели как на служителей демона, и метафизические представления, вошедшие в христианство из этого источника, были столь утонченным продуктом древней философской мысли, что требовалась особенная философская подготовка даже для того, чтобы уяснить себе постановку этих догматических вопросов, наприм[ер], о единосущии и ипостасях троицы, о воплощении бога, об исхождении св[ятого] духа и т[ому] под[обное]. К этим двум элементам присоединился еще третий, столь же трудно примиримый с ними как и с основною легендою христианства, именно элемент семитического предания с его обрядностью, исходящею из совсем иного источника, и с его каноническими книгами, которые христианство принимало как божественное наследство от тех самых

евреев, на которых смотрело как на своих исконных врагов, на убийц своего бога.

Столь же резкие противоречия, как в области вопросов теоретических, представляло христианство и в области вопросов практических. Здесь на первом месте стоял протест подавленного большинства против всего наличного общественного строя, протест, выразившийся в веровании в скорое пришествие судии, который разрушит старый мир, поставит рядом все классы общества пред своим приговором, воздвигнет новую землю и новое небо, где последние станут первыми, где богач будет просить заступничества Лазаря, где не будет цезарей, правителей и господ. Рядом с этим шла проповедь отречения от всего мирского, индифферентизма ко всем вопросам жизни, аскетизма, отрывающего все экономические, половые, семейные, дружественные отношения между людьми. Но рядом с этим стояли и высшие результаты греческой философской мысли: учение о братстве и равенстве людей, о несправедливости присвоения богатств и о необходимости их иного перераспределения, о любви к ближним, о премудрости и благости как высших идеалах. К этому присоединилось, наперекор всякой аскетической проповеди и всякого ожидания скорого конца мира, социологическое стремление организовать христианство в церковь как федерацию общин с их пресвитерами, с федеральными старшинами-епископами, с провинциальными и всеобщими парламентами-соборами. В дополнение ко всему предыдущему этот федеративный строй, едва развившись, получил легальное место в строе механической империи с самою строгою централизациею, с безусловным владыкою, который декретом предписывал изменение догматов, сменял епископов и обращал их в своих чиновников.

При сопоставлении этих противоречий нельзя не удивляться той могучей умственной изворотливости, которая позволила иерархам и отцам церкви IV и V веков переработать эту хаотическую комбинацию в нечто, *по-видимому*, стройное и согласное, оставляя каждому элементу ее долю естественного влияния и значения. Только умы, выросшие на почве формальных уловок римского легализма, и были, может быть, способны к подобной работе. Невольно представляется вопрос: могли ли они быть искренни в этом случае? Гибкость ума человеческого для соглашения того, что он желает согласить, так велика, что нельзя решиться отвергнуть искренность христианских мыслителей в отношении к лицам, к которым они обращали свои поучения; но должно сознаться, что за ними ни в каком случае нельзя признать ту искренность мысли, которая не позволяет ученному скрыть от самого себя несогласимость представлений и стремлений, которые предание вынесло из разных источников. Августины и Иеронимы, Златоусты, Григорий и Василий могли быть искренни относительно других, т. е. высказывать то именно, что они в самом

деле думали, чему они в самом деле верили, но не могли быть искренни сами с собою и не могли поставить себе серьезно вопроса: мыслимо ли и достаточно ли человеку даже как вера то, что они формулировали как свою мысль и как свое верование.

Тем не менее, христианство, со всеми своими глубоко противоречивыми элементами, перешло в новую Европу как готовое и вполне выработанное догматическое целое, как организованная церковь, как высший духовный элемент новых развивающихся и определяющихся национальностей. На своем отношении к этим верованиям, в совокупности с политическими и социальными задачами жизни, должны были выработаться особенности новых народов.

Совершенно неизбежно все философские, эллинские, высшие элементы учения отступили на второй план. Единицы совершали подвиги любви к близким, были проникнуты идею братства всех людей, жизни на пользу других, безнравственности экономического присвоения богатств; точно так же, как единицы в школах реалистов и номиналистов разрабатывали метафизические представления о едином боге, о двуедином человеке, о мире субстанций и явлений; но эта личная деятельность не имела никакого общего значения. Грубый эгоизм, несдержанные страсти и повсеместная эксплуатация слабого сильным были основными мотивами средневекового общества. Точно так же для большинства христианство было миром магического действия на природу при пособии двух борющихся и почти равносильных групп сверхъестественных сил. С одной стороны, был троичный бог, в большей части случаев замененный более пакостною двицею [sic!] Иисуса и Богоматери, окруженный служебными ангелами в небесах и армию угодников-чудотворцев на земле, оставлявших человечеству по смерти чудесные орудия в форме своих останков, за которые дрались между собой города, которых отбивали и похищали друг у друга верующие, как самые ценные амулеты. В реальной жизни представителем этой группы являлось духовенство с его магическими обрядами, с его многочисленными официальными амулетами. В будущем она собиралась в град божий, причем личностям, к нему принадлежащим, было обещано вечное блаженство.

Против этой группы стоял с другой стороны сатана с армию отпадших ангелов, искусителей и мучителей, со своею церковью колдунов и колдуний, с неисчислимymi миллионами осужденных грешников; и вечность его ада, града дьявольского, противопоставлялась вечности рая.

Этот дуализм вечной борьбы между сатаною и богом развивался в тысячах легенд, едва ли не единственной духовной теме большинства; он был поддержан и авторитетом знаменитейшего из учителей западной церкви, блаженного Августина, в его противоположении града божия граду дьявольскому. Тем не менее, в официальном уч-

нии церкви и в верованиях всех западных сектаторов этот дуализм уживался с догматом всемогущества и всеблагости единого бога, который допускал эту вечную борьбу, увлекающую миллионы людей в безмерие адских мучений, когда он мог уничтожить миры и воссоздать их иными в одно мгновение, мог выбрать человека для будущего блаженства, осветив его благодатью, как мог обречь его на вечные мучения в память первородного греха, совершенного за тысячи лет до его рождения. Дуализм этот уживался и с другим противоречивым ему представлением христианского мифа, с представлением бога, сошедшего на землю именно с целью победить ад и победившего его, что, по-видимому, не мешало, однако же, адским силам господствовать в мире.

Другая черта, не менее поразительная в христианском средневековом стиле заключалась в совместном существовании учения самого строгого аскетизма и церкви, в которую стекались значительные богатства, которая играла видную роль во всех мирских делах и прелаты которой не уступали светским феодалам ни в расточительности, ни в разврате, ни даже в воинственности. И здесь древняя греческая идея мудреца, презирающего мир, и церкви, как федеративной организации равноправных граждан общечеловеческой обороны, давно выродилась. Азиатский идеал бессмысленного факира, совершающего подвиг самомучения потому лишь, что это самомучение есть будто бы само по себе благо, стало идеалом христианского монаха. Церковь обратилась на Востоке в иерархию интригующих чиновников византийского императора, именно *московского* царя; на Западе — в феодальную иерархию епископов и аббатов, руководимую наместниками апостолов и самого бога, с требованием безусловного повиновения и безусловной веры. Самые источники сверхъестественной истины, связывавшей христианство, священные книги его и магический обряд богослужения, были выделены из понимания народов новой Европы употреблением мертвого лика, как бы для расширения пропасти, отделявшей духовенство от мирян, им руководимых.

Последнее противоречие между церковью с тенденциями вполне мирскими и аскетическим учением, которое коренилось в Евангелии и составляло официальный христианский идеал, не могло не быть замечено. Оно вызывало нелюбовь к духовенству в среде мирян, сатирические нападки жонглеров, иногда пламенную проповедь ересиархов. Но борьба на этом пункте была неизбежно бессильна, так как все нападавшие на церковные неустройства считали себя членами этой же самой, католической церкви; а ее основной догмат устанавливал, что лишь духовенство, в лице папы или на соборах, истолковывает значение догмата и его приложение к жизни. Нападения были частны, как и совершившиеся реформы. Нападающие были принуждены делать уступки и на этих уступках в одной области за-

падкая мысль вырабатывала свою силу, чтобы возобновить нападения и торжествовать в других областях.

В эту-то эпоху появляются в первый раз славяне в истории мысли как деятельный элемент, влияние которого распространяется на значительную часть Европы.

В X веке распространяется в Болгарии ересь богомилов, как основное изменение главных догматов христианства и как национальный протест славянской нации против проповедей греческого и римского духовенства, интриговавших за подчинение Болгарии константинопольскому патриаршеству или римскому папству. Эта ересь вызывает обличения православного духовенства, вызывает преследования, по преданию, наравне с историческими памятниками, свидетельствует о быстром ее распространении и усилении. Полумифический пол Богомил или Иеремия, представляется нам в X веке окруженным учениками, избирающими апостолов, которые несут пропаганду его учения в дальние страны. Позднейшее предание то считают его оборотнем, то приписывают ему целую литературу апокрифов, и эта литература не осталась достоянием небольшого меньшинства, отделенного от массы знанием и умственную подготовкою. Она сделалась народною, сплелась со сказками и легендами, которые составляли умственную пищу малоразвитого общества, и под названием «болгарских боинь» [sic!] перешла за пределы Болгарии в хорватско-сербские сказания, с одной стороны, в русские — с другой. По некоторым мнениям, калики-перехожие наших былин были апостолы бого米尔ства, и в нашем расколе находят следы измененного учения болгарских дуалистов.

Это учение представляется нам, с одной стороны, прямым следствием тех самых теоретических форм и практических задач, которые мы только что указали в средневековом христианском обществе, с другой стороны — сознательною оппозициею против строя этого общества.

Мы видели, что в глубине теоретического учения средних веков лежат дуализм Христа и сатаны; что этот дуализм получил самое пышное развитие в литературе народных легенд, но что тем не менее он уживался на Западе с противоречивым ему догматом о всемогуществе божиим и о победе ада сыном божиим, сошедшим на землю. Богомилы признали открыто этот дуализм, признав существование двух вечных борющихся начал, двух сынов божиих — Иисуса и Сатанаила, или сатаны. Христианство признавало мир созданным Богом и тем не менее допускало в нем власть дьявола, объявляло евреев врагами истинного учения и тем не менее признавало Ветхий Завет — словом божиим. Богомилы говорили прямо, что мир создан Сатанаилом, что до появления Христа на земле мир и оставался владением злого начала, что книги Моисея и Пророков писаны под его влиянием и что царство божие на земле начинается с пришествия

Христа. Христианство ставило аскетизм идеалом, признавало равенство всех христиан, но мирилось со всеми естественными, даже самыми грубыми влечениями человека, с возмутительным неравенством средневековых сословий, и создавало самое церковь с богатым и могущественным духовенством.

Богомилы требовали осуществления в жизни того самого аскетизма, о котором только говорили проповедники христианства; они отрицали всякий половой союз, даже в форме брака, как учение дьявола; они заставляли даже своих противников удивляться своему аскетизму. «На сколько можно заключить,— пишет Ягич,— из слов [нашего туземного свидетеля, их нравственная жизнь была очень строга и серьезна. Еретики — говорит Козьма — с виду кротки как агнцы, смиренны и молчаливы, бледны от поста, никогда не говорят на ветер и не смеются вслух. Они были также умеренны в обыденных своих потребностях, потому что их учение проповедовало, что дьявол, или мамона,— отступник божий и виновник всяческого зла на этом свете, повелел людям жениться, есть мясо и пить вино, и они постоянно избегали этих вещей, как нечистых. Они восхваляли бога бдением и молитвою, а не проводили жизнь в лености, как другие люди; они совершали свои молитвы дома, запираясь на четверо] суток\*. Высший обряд их составляло «крещение духом святым» (на западе *consolamentum*), т. е. наложение рук, позволявшее человеку войти в непосредственную связь с его особенным духом святым, который как бы соответствовал христианскому ангелу-хранителю, но с более тесным отношением к личности человека. «Обыкновенную [церковную службу они вполне отвергали и порицали христианских] священников... Поэтому [и сам православно мыслящий Козьма, не колеблясь, сознается, что таким поведением богомилы привлекали к себе множество христиан, приходивших к ним с распросами о спасении души и о многих других предметах; а когда еретики терпели притеснения, то в народе возникало убеждение, что они страдают за истину и что будут вознаграждены богом за страдания на сем свете. Впрочем, было и еще нечто, кроме заманчивой внешности. Уже из вышеупомянутого отречения от всяческой иерархии возникает какой-то патриархальный демократизм, сильно напоминающий древнее устройство славянской семьи и общины. Все остальное, что далее рассказывает Козьма, прямо касается принципов социального характера. Рассказывается именно, что богомилы учили, что не следует слишком много заботиться о делах] земных ... что [не следует покоряться властям, что они порицали богатых, ненавидели царскую власть, издевались над старейшинами, ругали

---

\* В. Ягич. История сербско-хорватской литературы. (Казань, 1871), [с.] 98.

бояр, богомерзким делом считали царскую службу и запрещали рабам служить своим] господам»\*.

В XII веке не только вся Болгария была наполнена разными отраслями богомилов, но они были весьма могущественны во всех югославянских землях, и их влияние было влияние развивающее. По словам их противника, Козьмы Пресвитера, они вносили в чтение Нового Завета личное толкование, которым так гордилась немецкая реформа через шесть веков позже того, и «можно допустить,— пишет Ягич \*\*,— что ...богомилы в культурном отношении опередили православно мыслящих христиан». Особенно Босния в конце XII века прибане Кулине, особенном защитнике и последователе богомильства, сделала немалые успехи, что доказывается даже обработкою языка в грамотах, оставшихся от этого времени. Мы уже видели, что самая догматическая литература богомилов не выделилась из общества в особенную область, доступную лишь духовенству, но тесно сплелась с народными сказаниями и обращалась в народную литературу.

Существовал ли действительно полумифический Иеремия-Богомил, или приписываемые ему апокрифы, как песнь Гомера, выработаны целым рядом предшествовавших ему и последовавших за ним поколений,— это все равно. Из жалких остатков учения богомилов, сохранившихся у их противников или в народных апокрифах в совсем изменившейся уже форме, можно во всяком случае заключить, что это было учение одновременно догматическое и практическое, верование, охватывавшее вопросы национально-политические, вопросы социальные и связывавшее все эти вопросы в одно цельное представление; верование, отличавшееся стремлением устранить всякие уступки, воплотить теоретический идеал эпохи в жизнь, перестроить общество по этому идеалу, как ни громадны были препятствия, представленные подобной попытке общественными привычками, историческим строем, самою физическою природою человека. Кроме того, мы знаем, что это было не личное учение исключительно развитого проповедника или небольшой школы религиозных мыслителей, но народное верование, выработавшееся в мысли югославян, связанное со всеми умственными элементами их народной жизни и обособливавшее их национальную мысль в истории.

Но нам следует говорить не о фазисах собственно славянской мысли. Наша задача — участие славян в истории мысли человечества, следовательно, [во-первых], надо уяснить, что богомильство было точно явление обоснованно славянское; во-вторых, что оно имело общечеловеческое значение.

\* [История сербско-хорватской литературы. Сочинение В. Ягича. Перевод с сербско-хорватского. Казань, 1871, с. 98—99].

\*\* [История сербско-хорватской литературы. Сочинение В. Ягича. Перевод с сербско-хорватского. Казань, 1871], с. 100.

Относительно первого пункта может ввести в заблуждение термин, весьма часто употребляемый историками движения богомилов. Г[осподин] Гильфердинг и г[осподин] Пыпин называют богомилов Манихеями, опираясь на всю богословскую литературу противников богомильства. Это название могло бы заставить думать, что пред нами в югославянских землях встречается отрасль чуждой секты, отражение чуждой мысли, а не что-либо самостоятельное. Но подобное умозаключение было бы неосновательно, во-первых, потому что название, придаваемое противниками, не может претендовать на строгую точность. Нечего и доказывать, как часто [в полемике сект и мнений клички, возбуждающие ужас или отвращение невежественного общества, давались без особенного внимания к сходствам и различиям. Начиная с безбожия, в котором обвиняли христиан римские писатели, продолжая богословскими кличками ариан, симониан и кончая новейшими кличками фармазонов, вольтерьянцев, якобинцев, коммунистов и нигилистов, вражда и невежество употребляли постоянно одинаковые] \* средства. Во-вторых, связь, указанная выше, между богомильством и народною апокрифическою литературою ведет a priori к заключению, что богомильтво было не чуждым, а национальным элементом у южных славян. Но и прямое сравнение проявлений дуалистических верований в человечестве ведет к тому же результату.

Если признавать богомильство манихеизмом лишь потому, что оба эти верования заключали учение о борьбе двух начал, доброго и злого, то нет причины не отожествить то и другое с маздеизмом Авесты, исповедывавшим подобный же догмат<sup>1</sup>. Но и на этом нельзя остановиться, так как в мифологиях большинства народов всех пяти частей света мы найдем тот же принцип более или менее разработанный. Всюду поразил человека факт полярного противоположения наслаждения и страдания, пользы и вреда, добра и зла, в связи с противоположением дня и ночи, солнечного света и грозовых туч. Отсюда повсеместное мифическое представление двух борющихся начал, сначала вполне физических, потом получающих более или менее нравственный характер. Роскоф проследил это представление почти у всех народов \*\*. Славянские же народы, по-видимому, были особенно склонны к этому представлению. «У западных славян,— пишет Афанасьев \*\*\*,— это двойственное воззрение на мир божий выражалось в поклонении Белбогу и Чернобогу ... Уцелевшие географические названия и народные предания свидетельствуют, что верование в Белбога и Чернобога было некогда общим у всех славянских пле-

\* Философия истории славян. «Отечественные записки», 1870, № 7, с. 103.

\*\* Gust. Roscoff: Geschichte des Teantels (1869), I, 15—185.

\*\*\* А. Афанасьев: Поэтические воззрения славян на природу, I (1866), [с.] 92.

мен». И далее: «Между богами света и тьмы, тепла и холода происходит вечная, нескончаемая борьба за владычество над миром». Таким образом, в самый древний период жизни славян мы встречаем у них склонность развить миросозерцание на дуалистическом основании. Это замечает и новейший славянский историк богослов Рачкий \*.

Это всемирное дуалистическое направление мифологий три раза в истории мысли выработалось в стройную систему, имевшую общечеловеческое значение; во-первых, в древнеиранском учении Авесты, во-вторых, в манихеизме III-го века, в-третьих, в югославянском богословии. Конечно, существовала связь между этими тремя учениями; во-первых, во всемирной дуалистической основе, во-вторых, в промежуточных звеньях, связывавших эти учения во времени. Но стоит лишь взмотреться в них ближе, чтобы убедиться в их существенной разнице.

Дуализм Авесты имел все данные, чтобы стать миросозерцанием, которое могло лечь в основание национального быта и получить обширное развитие. Он был чужд аскетизма, сводил борьбу света и тьмы на нравственную борьбу добра со злом, но в веществе, как в области духа, признавал присутствие обоих начал, причем мир был произведением Ахурамазды (Ормузда), начала добра, и был лишь испорчен вмешательством Анхрамайном (Аримана), начала зла; религиозный обряд освящал животное, служившее в пищу человеку, и размножение людей было одним из средств обязательной борьбы против зла. Митра, посредник между Ахурамаздою и человеком, был лишь первым из армии ангелов бога добра, вечно борющихся против армии духов зла. Миофическая борьба двух духовных царств была тесно связана в предании и в действительности для иранца с реальною борьбою против среднеазиатских кочевников, с борьбою двух рас. Именно эти человеческие данные позволили маздеизму Авесты стать религией руководящего меньшинства в историческом народе и два раза играть роль в истории мысли.

Манихеизм был и остался богословской сектой, потому что не был связан ни с одним народным практическим вопросом и явился в эпоху, когда перемещенные племена в их брожении только готовились осесться в новые национальности. Он изменил традицию маздеизма в совершенно иное противоположение вещества духу, как царства зла царству добра. Свет, отождествленный с духом, и в нем играл значительную роль. Посредник между богом и человеком, дух света, Христос, присутствующий в солнце и в луне, освещает мир в этом учении, извлекая из нечистого вещества все чистые духовные

---

\* Bogomili i Patareni, od dr. Fr. Račkoga vo Rad Jugoslavenske akademije znatnosti i umjetnosti, kn. VII, VIII, IX (1869—70), kn. X, 260.

или световые частицы, которые он привлекает к себе. Этот Христос страдает в каждом растении, которое заключает в себе элемент света, долженствующий из него освободиться.

С этим теоретическим учением связана была проповедь строгого аскетизма, отвращения от вещества, запрещения животной пищи, запрещения полового союза и брака. Ко всему этому присоединилось учение о постепенном искуплении души в ряде ее переселений, о Мали как о Параклете [Утешителе], провозгласившем истину, о разделении верующих на избранных и послушников в параллель христианской иерархии.

Как манихейзм был обособленной дуалистической религией, столь отделившейся от маздеизма в теории и практике, что возбуждал против себя самые беспощадные преследования последователей персидского дуализма, но вышел, очевидно, из традиции этого самого дуализма, так точно он в ряде малозначительных сект (присциллинистов, мосялиан, марклонитов, павликиан)<sup>6</sup>, был связан традиционно со славянскими богомилами X века, по точно так же эти богомилы представляли обособленное дуалистическое учение. Элемент света, солнца, непилепсиказы исчез совершенно; христианское предание дало образы борющихся сынов божиих, христианский аскетизм обусловил практические заповеди. Национальные предания и национальные стремления выразились в его литературе, сделали его опорой народного движения, сплели с его мифическим учением социалистическую проповедь борьбы против существующего общественного строя. Схожее со своим традиционным источником в кое-каких внешностях, богомильство представляло особое органическое миросозерцание с совершенно определенным теоретическим и практическим характером. Это было верование, выросшее на славянской почве при особых условиях в среде здесь существовавшей и, следовательно, должно быть признано особенной формой исторической мысли, выработанной славянским народом в его обособлении.

Переходим ко второму вопросу и спросим себя — насколько богомильство осталось специальным движением югославянским или сделалось явлением общечеловеческим. Откроем историю Европы в XI, XII и XIII веках, и ответ не может быть сомнителен.

В XII веке болгарские дуалисты так сильны в Константинополе, что сам император не гнушается прибегнуть к личному коварству, чтобы уличить их главного проповедника и возвести его на казнь. Но еще в начале XI века появляются и в Италии, около Турини, приверженцы дуалистической ереси, катары — чистые; и скоро Милан делается одним из главных центров их проповеди. Уже между 1020 и 1030 годами они в Аквитании, в Орлеане, в Аррасе. В следующем веке они господствуют в южной Франции, их учение сплетается с одной из самых блестящих цивилизаций Европы этого времени, с провансальской; Тулуза составляет основной центр их учения; по

названию другого центра — Альби — за ними в истории осталось название альбигойцев; в начале XIII века они наполняют Лангедок, Прованс, Гиень, большую часть Гасконии. Из этого нового центра, где дуалистическое учение стало национальным и связало свою проповедь с народными стремлениями, оно распространяется во все страны. Дуалистов встречают на севере Франции — в Париже, в Реймсе, в Монтреи; их сжигают (1146) в Кельне; они в Кольмаре и в Трире, в Меце и в Страсбурге; они оказываются в Англии и в Испании. В 1164 году они имеют свой собор близ Тулузы (в Сен-Феликс дю Карамано), где представители катаров южной, северной Франции и Ломбардии заседают под председательством Никиты из Константино-поля, который дает им отчет о состоянии основных общин их единоверцев в Далмации и Болгарии. В это время проповедь «добрых людей» (всего племени) идет смело и решительно против католицизма; они вступают в диспуты с католическим духовенством; делят значительную часть Европы на свои диоцезы. В начале XIII века катараны представляют и численно и качественно противника, весьма опасного католицизму.

Нет ни малейшего сомнения в источнике этой проповеди. Если старые остатки присцильиан и манихеев на западе могли подготовить ее, то прямой толчок она получила от славян, перейдя из Болгарии в Далмацию, оттуда в Италию, а затем разлившись по западу Европы. На это указывают предания, существовавшие между катарами и сохраненные в сочинениях их противников, указывает и близость их учения к проповеди богомилов. Конечно, распространившись в разных странах в продолжение трех веков средневековый славянский дуализм, необходимо должен был измениться, создав несколько иные мифы, несколько иное практическое учение, и распасться на секты. На западе встречаем духовенство *совершенных* в отличие от верующих \*; встречаем катарских епископов; встречаем несколько катарских сект, из которых иные проводили более резкое учение дуализма (наприм[ер], у Иоанна из Лugo; другие смягчали его, наприм[ер], секта Конкарезо в Модене). Но общие черты теоретического и практического верования во всех сектах богомилов и катаров, от Черного моря до Атлантического океана, так сходны, «добрые люди» славянских паломников так точно соответствуют *bons hommes* Запада, что едва ли кому может прийти на мысль в наше время рассматривать эти два движения как особенные, следовательно, и опровергать, что славянские апостолы попа Богомила и его последователей несли на Запад «крещение духом святым» или *consolamentum*, отречение от собственности, проповедь народной религии на народном языке, священных книг, доступных всем, и строгого аскетизма. Славяне вы-

\* Рачкий пытается доказать (Rad X, [с.] 179 и след.), что и в Боснии существовало это разделение, но едва ли убедительно.

звали на западе Европы религиозное движение, которое на время угрожало всему строю католической и феодальной Европы.

Западной иерархии в борьбе с этим страшным врагом пришлось прибегать к самым кровавым и беззастенчивым средствам. На престол [папский] всходят один за другим самые энергические первосвященники: Иннокентий III, Григорий IX, Иннокентий IV. Католицизм выдвигает воинство нищенствующих монахов, несмотря на опасность, грозящую богатой иерархии от проповеди нищенства. Папы проповедуют внутренний крестовый поход, советуют своим посланным быть «мудрыми, как змии». Вся южная Франция предана на казни и на разорение, предоставлена французскому королю, хотя его усиление вовсе не в видах пап. Костры для еретиков загораются в Париже, в разных местностях Франции, Германии, Италии. Все усилия могущественной организации католической иерархии приведены в действие умными и энергическими повелителями, чтобы подавить ересь. Но она может быть погублена в Провансе и Лангедоке лишь с гибелю целой цивилизации. «Чистые», добрые люди (*bons hommes*) гибнут]\* на кострах; но их проповедь «крещения духом святым» преобразуется в глубине монастырей и в уме ученых сколастиков в проповедь ожидаемого царства духа святого, которое должно сменить царство Иисуса, в проповедь Вечного Евангелия, которое должно сменить Евангелие временное. Учение Вечного Евангелия идет от святого чудотворца маленького монастыря Италии, но в конце XIII века охватывает значительную часть ордена францисканцев, которых только что выставила католическая церковь для защиты себя от ересей, и сам генерал этого ордена становится в ряды приверженцев новой ереси. В шумном парижском университете, едва получившем официальное установление, проповедь наступающего царства духа святого связывается с именами двух знаменитых профессоров. Их приверженцы идут на костер, прах давно умерших учителей развеян, но та же проповедь оппозиции существующей иерархии во имя наступающего царства духа святого идет в Германию с «братьями свободного духа», которые подают руку мистической и рационалистической оппозиции позднейшего времени. Наконец, один элемент проповеди славянских еретиков — доступность священных книг всем и толкование их всеми, — несмотря на гонения, удерживается в небольших и мирных общинах вальденсцев, переживает единодержавие папства и переходит к реформаторам XVI века.

Но и независимо от развивающейся проповеди оппозиции мысли в разных ее формах, проповедь богомилов, перейдя в западный катаризм, вызвала несколько [важных событий, имевших обширное воздействие на историю Европы]. Со стороны папства пришлось осу-

---

\* Философия истории славян. «Отечественные записки», 1870, № 7, с.] 100.

ществить на деле аскетизм, до тех пор лишь проповедуемый, и осуществить его в нищенствующих монахах, которые сначала своим существованием слишком оттеняли отсутствие аскетизма в иерархии, потом образовали силу, настолько независимую от иерархии, что с ними пришлось бороться, а затем своими претензиями на господство вызвали оппозицию растущей силы упиверситетов и своим богатством выставили на вид еще раз всю лживость проповеди аскетизма среди иерархического строя католицизма. Вторым важным событием нужно считать энергическую оппозиционную литературу катаров против Рима и папства, литературу, которая перешла в традицию серьезной сатиры позднейших отраслей поэмы Лиса, поэмы Розы и, усиливаясь, подготовила отпадение части Запада от Рима, тем более что обширные гонения на катаров, жизнь которых, по всем серьезным сведениям, была безукоризнена, не могли не вызвать нравственного возмущения. Третьим обстоятельством, связанным с предыдущим, можно считать в вальдесской отрасли требование чтения Библии на родном языке. Наконец, и в политическом мире проповедь славянского дуализма определила в значительной степени течение событий истории; так как она вызвала перепесение центра французской жизни на берега Сены, а до XIII века еще далеко нельзя было определить, не будет ли юг Франции жить отдельно политическою жизнью от севера, или даже не сделается ли Тулуза центром будущей]\* Франции.

Все предыдущее, как я думаю, служит достаточным доказательством высказанного положения, что дуалистическая проповедь бого-милов была явлением вполне национальным между южными славянами и сделалась явлением общечеловеческим, т. е. может служить бесспорным фактом самостоятельного и влиятельного вмешательства славян в общечеловеческую историю мысли.

Мы видим, что элементы этого вероучения существовали во всей христианской Европе: и требование аскетизма как христианского идеала, и догмат равенства христиан, и миф нескончаемой борьбы сатаны с Христом; но на Западе эти начала существовали с несогласимыми теоретическими и практическими противоречиями. Эти противоречия вырабатывались в полемику, в сатирическую и схоластическую литературу, в местные личные ереси; на них готовлялась критическая мысль Европы, путем уступок и постепенных завоеваний, но не возникало общественного движения для устраниния противоречий и для практического осуществления христианского средневекового мироизрания в жизни. Особенность проповеди славянских дуалистов заключалась именно в постановлении на вид всех явных противоречий, существовавших в этом мироизрании, и в

---

\* Философия истории славян. «Отечественные записки», 1870, № 7, с. 102—103.

стремлении осуществить последовательно в мысли и в жизни цельное миросозерцание, опирающееся на христианский идеал, как он был выработан в средние века, даже не обращая внимание на условия возможности осуществления подобного идеала. Если сатана все борется с Христом и до сих пор не побежден, значит, он равносителен Христу. Если аскетизм есть истинное учение, то лишь строгий аскет есть истинный член церкви. Если плотское паслаждение и богатство суть грехи, то должно от них безусловно отречься. Если все равны в церкви, то не может существовать папы, повелевающего церковью, или высшего и низшего духовенства. Все это были логические умозаключения, весьма простые, всем доступные и не требовали особенно глубоких суждений. Но весь мир христианской Европы был построен на противоречиях и мог существовать лишь рядом уступок. Богомилы и катары не хотели делать уступок, не хотели допустить противоречивых элементов в свое учение, хотели цельного верования, единства между верованием и жизнью. Им не удалось и не могло удастся, потому что никакое общество не могло бы никогда существовать по фактическому типу христианского аскета; если бы катары успели отстоять себя и победить противников — и они бы неизбежно пошли на уступки, так как человеческие потребности отрицать нельзя; но нам важны лишь характеристические черты, подмеченные в рассмотренном нами движении мысли: стремление кциальному миросозерцанию, устранению из него всяких противоречий; стремление к единству мысли и жизни, к отсутствию отдельности вопросов теоретических и практических, религиозных и социальных.

Прошло два века после падения южнофранцузского центра катаризма. Оппозиция против духовенства возросла. Противоречия католицизма выступили менее на вид. Государственная власть королей начала возвышаться и организоваться по древнеримскому типу, как централизация светская. На западе Европы у романских, германских, скандинавских, англосаксонских народностей началось государственное строительство уже несравненно высшего рода, чем оно было в древнем мире. Явились конституции не для отдельных городов, а для территорий. Хартии и конституционные договоры Англии, Швеции, Швейцарии, Испании, городских союзов выразили политическое движение мысли у западных европейских народов с его самой блестящей стороны. На взаимных уступках, на почве легального договора и соглашения развивалось здесь понятие о государстве, причем центральная власть и федеративное начало комбинировались в самых разнообразных формах, никогда не осуществляя идеала ни одной из борющихся политических партий, никогда даже не пытаясь осуществить его, но развиваясь в медленных и постепенных фазисах борьбы партий.

Точно так же шла борьба и в области теоретических верований. Богословы оставались сынами католической церкви, хотя оспаривали

её учение; противополагали соборы папам, Аристотеля Катехизису; подрывали догматы на почве отвлеченной борьбы между реалистами и номиналистами. Всякий раз целью была победа по частному пункту, а другой частный пункт, связанный с первым, был оставлен в стороне, отложен на будущее. Сегодня выпадал один камень, завтра — другой из здания средневекового строя. Можно было предвидеть, что здание не выдержит, что оно рухнет. Но личности, трудившиеся со всех сторон на этом разрушением, уверяли других — и были сами убеждены в искренности этих уверений, что они вполне уважают и свято охраняют средневековый строй во всех его основах.

Существенные вопросы европейской жизни были многочисленны, но обособлены. Национальные языки начали играть роль более значительную, и общенациональная латинская республика ученых и знающих всей Европы стала понемногу уступать национальному движению. Верования склонялись к обособлению национальных церквей, связанных с политической жизнью отдельных стран, к уменьшению разницы между духовными и светскими в церкви. Рядом с этим стал социальный вопрос возрастающих волнений в низших классах, положение которых становилось тем тяжелее, чем более расходов требовало новое государственное устройство, новое оружие — артиллерия и чем утонченнее становились вкусы их эксплуататоров. Восстание крестьян в Англии (1381), во Франции (1358) и глухое волнение их в Германии указывали на возрастающее значение этого вопроса. Но оппозиционное движение теоретически происходило в богословском мире независимо от социальных столкновений, большую частью отдельно и от национальной оппозиции римской церковной централизации; точно так же, как социальные взрывы не имели ничего общего со спорами ученых богословов против господствующих форм церкви.

В начале XV века в славянском племени явилась во второй раз проповедь, связавшая богословские вопросы с национальными и затем перешедшая немедленно в проповедь социального переворота в самой крайней его форме, т. е. появилась попытка разрешить в их совокупности и в их связи многочисленные вопросы, лежавшие в самом историческом развитии европейской мысли. Это была проповедь Яна Гуса, обратившаяся в народное движение гуситов и в социалистический строй таборитов.

Как догматическая оппозиция, учение Гуса не представляло ничего особенно нового. Нападение на строй католической церкви, как несогласной с учением Евангелия, нападение на жизнь католического духовенства, отрицание или критика некоторых догматов и установлений католицизма — все это лишь немногим отличалось в латинских и чешских произведениях Гуса и его последователей от оппозиции их предшественников, в особенности же от критики Виклефа, незадолго перед тем умершего; хотя должно признать, что проповеди в

Вифлеемской часовне против индульгенций и сочинения, писанные Гусом против церковной традиции, в защиту священного писания как единственного источника христианской веры, наконец, его критика папской власти имели уже гораздо более резкий и определенный характер, чем у его предшественников, что неизбежно при развитии всякого оппозиционного движения.

Но несравненно важнее была при этом тесная связь между догматическим и национальным вопросами. Основание Пражского университета (1346) сделало из Праги центр умственного движения и рядом с этим началась проповедь Милича на родном языке, направленная против безнравственности духовенства. Вскоре после того на этом же языке стал проповедовать и Гус. Чешский язык стал употребляться и в грамотах, и в судах. В университете образовалась особенная коллегия чешской национальности. Соперничество немецкой и славянской национальности отожествилось с оппозиционным догматическим движением. Уже в конце XIV века Фома Штитный выражал национальную оппозицию латинской образованности, недоступной народу, в словах: «Богу также угоден чех как латынец». Затем Гус выступил резким защитником народного языка и национальной церкви. Борьба началась на почве университетских прав чешской нации и по поводу осуждения большинством иностранных профессоров некоторых положений Виклефа. «Постановление,— пишет г[осподин] Пыпин \*,— сделанное [не национальным большинством] мистров, сочтено было за действие против чешской народности, потому что Гус и его товарищи были чешские патриоты и друзья народа в смысле Штитного, а немцы вместе с другими чужими «нациями» университета оказались на стороне клерикально-консервативной партии, враждебной Гусу и реформе. Таким образом, два стремления, сначала независимые, соединились в одно: религиозная оппозиция чешских проповедников слилась с национальной антипатией к иноземному преобладанию, и защитники народности стали смелее, поддержаные реформаторами университета.

Уже в первый момент борьбы Гус и приверженцы преобразований являются поэтому деятелями чисто народными, а сторона противо-гуситская, немецкие элементы в университете и в городском населении, являются вместе и партией противо-[народной]. В 1409 [г.] чешская партия восторжествовала, немецкие профессора и студенты оставили Прагу, и Гус как народный проповедник и как ректор университета стал во главе чешского национального реформационного движения, которое совершенно естественношло к образованию особой чешской церкви. «Гус,— пишет тот же автор \*\*,— слишком [много] останавливался на схоластической догматике, но

---

\* Обзор истории славянских литератур (1865), [с.] 272.

\*\* Обзор [истории славянских литератур, 1865], стр. 275.

это не помешало ему самым живым образом вмешаться в дело национального] развития». Он особенно старался о распространении употребления чешского языка, о его литературной обработке, о его чистоте и установил даже для него новый способ правописания. При его содействии богословское движение стало народным и связало интересы теоретические с вопросами практическими. Как писатель, [Гус] выказал чрезвычайную плодовитость: можно удивляться, что при жизни столько бурной и занятой он мог оставить такой длинный ряд книг и трактатов, чешских и латинских, такое множество писем и посланий. Латинские сочинения были давно собраны под заглавием: "Historia et monumenta Joannis Husi" («История и памятники И. Гуса», Нюренб., 1558, 1715; здесь и латинский, впрочем дурной, перевод некоторых писем, писанных Гусом по-чешски). Отдельно вышли: "De unitate Ecclesiae" («О единстве церкви», Майнц, 1520); собрание писем, переведенных с чешского: "Epistolae quaedam piissimae et eruditissimae Johannis Hussi", с предисловием Лютера (Виттенб., 1537). Латинские сочинения Гуса, посредством которых он приобретал себе обширное поприще действия во всей ученой Европе, отличаются приемами тогдашней диалектики и схоластической философии, так как рассчитывали на ученых теологов и университетских слушателей.

Важнейшим трудом Гуса было латинское сочинение: «О церкви» ("Tractatus de Ecclesia"), написанное по поводу пражского синода 1413 года: отсюда выбраны были те 44 обвинительные пункта, в которых Гус должен был оправдываться на Констанцском соборе. Здесь изложены главные основы его учения, и это сочинение может считаться символической книгой отшавшей потом чешской церкви. Мы укажем в нескольких словах содержание трактата, чтобы ввести читателя в круг идей гуситского движения. Гус начинает с учения о предопределении: церковь внешняя заключает в себе и добрых, «предопределенных» (praedestinati) к небесному благословению, и злых, «предузнанных» (praesciti) к вечной погибели. Единый глава церкви есть Христос — внешний глава по своему божеству, внутренний по своему человечеству: первым он был с начала мира, вторым — от своего вочеловечения. Потому и апостолы не назывались святыми или главами церкви, а только слугами господа и слугами церкви. Впоследствии это изменилось: со времен Константина В[еликого] и его преемников, папа, римский епископ, стал считаться за начальника церкви (capitaneus), за христова наместника на земле. Но на деле папа, «как папа», вовсе не может быть таким наместником, и кардиналы, «как кардиналы», вовсе не могут считаться преемниками апостолов. Папа может считаться преемником Петра только тогда, когда равняется с Петром верою, смиренiem и любовью, но тоже следует разуметь и о других людях, не бывших ни папами, ни кардиналами. Св. Августин больше принес пользы церкви, чем

несколько пап вместе, а в учении сделал, может быть, больше, чем все кардиналы с самого начала и доныне. Если же папа и кардиналы не исполняют своих обязанностей и, забывая Христа, заботятся только о вещах светских, о роскоши и блестящих одеждах, и расточительностью превосходят даже мирян, тогда они вовсе не наместники Христа, или Петра, или апостолов, а наместники сатаны, антихриста, Иуды Искариотского. Папа, как и другой человек, не может наверное знать о себе, не «предузнанный» ли он; а «предузнанный» не только не может быть главой, но и настоящим членом церкви. Папского достоинства и не нужно для спасения церкви; в перво-бытной христианской церкви были только две священные должности: диаконы и священники, все остальное явилось после и было людским установлением. Если и до пап церковью управляли апостолы и верные священники, то может легко быть, что пап и опять не будет до судного дня. Все сказанное следует разуметь и о целом духовенстве: их два — одно христово, другое антихристово. Не должность делает священника, а священник делает должность; не каждый священник свят, но каждый святой есть священник; верующий христианин принадлежит к божией церкви, а прелат, не исполняющий своей обязанности, не будет иметь никакой чести в царстве Христовом.

Из этого ясно, как должно понимать «церковное послушание». Послушание есть действие разумного существа, которое свободно и по собственному суждению (*voluntarie et discrete*) подчиняется своим начальникам. Поэтому каждый, получая приказание от своей власти, должен испытать, есть ли это приказание дозволительное и честное, потому что, если бы приказание было ко вреду церкви и душевного спасения, он должен ему воспротивиться. Так, если приходит повеление даже от папы, верный христианин должен испытать его, и если не найдет его согласным с учением Христовым, то должен воспротивиться, чтобы повиновением своим не совершить преступления против Христовой веры (*devianti papa et rebellare est Christo domino obedire*). «Власть ключей», т. е. власть вязать и решить, принадлежит одному богу, который предопределяет к спасению или погибели. Устной исповеди не нужно для спасения души — доказательством могут служить малые дети, глухие и немые от рождения, обитатели пустынь и насильственно умерщвленные. Грехи смываются покаянием и исповедью сердца. Ни священник, ни папа не может разрешать вины, потому что для этого должен бы быть непогрешимым, а непогрешим только один бог. Поэтому и клятва<sup>6</sup> какого-нибудь прелата имеет силу только тогда, когда согласна с волей божией; в противном случае онаисколько не вредит тому, на кого произнесена, как говорит и Писание, повелевающее благословлять проклинающих.

В других сочинениях Гус еще подробнее развивает свои взгляды на церковные порядки. Уже в констанцской тюрьме Гус написал несколько трактатов в защиту своего учения, напр.: «О достаточно-

сти закона Христова для управления церкви» (*“De sufficientia legis Christi ad regendam Suam ecclesiam”*), где он доказывает, что истинный и верный закон есть правда, которая ведет человека по дороге к блаженству; что все добрые законы находятся в св[ященном] Писании, а те, которых там нет, законы безбожные; что этого христова закона совершенно достаточно для церкви и что его незачем ни сокращать, ни расширять и т. д. Не менее важна речь, приготовленная им для той же цели в тюрьме: *“Sermo de fidei suaе eluciatiōne”* о том, как он понимает веру и ее познание. Основная мысль этого и других подобных трактатов состоит в защите истинного, простого, первобытного христианства и в опровержении церковной порчи, которая изменила и исказила его истины людскими прибавками и ошибками: он признает постановления церкви только до тех пор, пока находят их согласными с первоначальным учением Христа. В трактате *«О мире»* (*De pacē*), писанном также в Констанце, Гус объясняет, что мир человека с богом и светом основывается на исполнении закона, что мир исчез между людьми от нарушения закона, когда церковь и ее служители стали думать только о внешних почестьях и богатстве и когда богослужение сделалось ремеслом. Источником всего этого зла Гус прямо называет римский двор...

Упомянем еще некоторые трактаты, где он говорил о церковных неустройствах и злоупотреблениях. Так, в трактате *«О крови Христовой»* (*“De omni sanquini Christi hora resurrectionis glorificato”*), Гус, после догматических объяснений, восстает против преступного обмана церковников, которые в Риме показывали мясо из тела И[исуса] Х[риста], в Праге показывали кровь Христа и молоко божией матери; восстает против изуверства и шарлатанских чудес, которые творились подобными обманщиками в разных католических странах и допускались самими властями,— множество примеров приводится в доказательство этого религиозного извращения.

Не меньшей энергией отличается латинское сочинение Гуса *«об отнятии у духовенства земских владений»*, справедливость и необходимость которого он доказывает аргументами из Писания, из истории и из здравого человеческого смысла. Когда противники стали укорять его за публичные нападения на духовенство, он отвечал новым трактатом, где с помощью св[ященного] Писания остроумно объясняет, что оставить в покое злоупотребления и негодность духовенства значило бы сделать большое удовольствие Люциферу: и Антихрист желал бы, чтобы не трогали духовенства, потому что, говорят, и сам он будет высшим прелатом католической церкви и не хотел бы, чтобы выставляли его недостатки; большинство священников восстает против обличений и, говорят, нужно согласиться с этим большинством, но согласиться нельзя, потому что всегда бывает бесчисленное множество людей глупых и очень мало умных; притом, соглашаясь с большинством, следовало бы признать, что и страдания

и смерть Христа были справедливы, потому что этого желало большинство еврейских священников и фарисеев.

Не меньше важны чешские сочинения Гуса, которые доставляли ему множество последователей из народа ... Литература [отражала характер времени; бурные общественные несогласия произвели множество сочинений полемических с обеих сторон.

От идей Гуса развилась деятельность других передовых людей того времени; их ревностная пропаганда вызвала столько же деятельную реакцию со стороны приверженцев старого порядка, а потом и умеренных последователей] реформы»\*.

Проповеди Гуса недоставало еще торжественного освящения мученичеством. Констанцкий собор не замедлил дополнить и этот недостаток. Ян Гус и Иероним Пражский были взведены на костер. Тогда немедленно движение богословско-национальное еще расширило свой характер, и социальный вопрос во всей его широте выступил на сцену истории мысли в славянской земле с тою разностью, с которой мы признали предвестников настоящего времени.

«Народная [стихия начала сказываться; «мистры», для которых дело шло прежде об ученой полемике, стали дорожить и народными сочувствиями; литература гуситизма из латинской по преимуществу скоро делается и чешской. Чем дальше в XV столетие, тем чаще встречаются чешские памятники этой борьбы. Во втором десятилетии этого века вопрос проникает в массу, в третьем десятилетии мы видим уже полное развитие народного вмешательства в дело, до тех пор разбирающееся учеными и духовенством.

Это народное движение развивается в самом деле чрезвычайно быстро: через четыре года по смерти Гуса более смелая часть его последователей уже отделяется в особую радикальную партию, и с 1419 года начинаются кровопролитные гуситские войны — так скоро идея, проникши раз в народ, охватила его деятельным и воинственным энтузиазмом, против которого ничего не могли сделать целые крестовые походы, устроенные\*\* папами... Свежая [народная масса сильнее чувствовала старую неправду и нетерпеливее ожидала будущей справедливости и счаствия и действительно увлеклась своими надеждами до фанатизма, который придал ей непобедимое могущество. Народ пошел дальше и в развитии самых начал реформы: равнодушный к традициям, которые были дороги для власти, он скорее принимал логические последствия этих начал, и когда «умеренные» успокаивались на мелких уступках и исправлениях (в роде одного признания «чаши»), он, раз поднятый и раздражаемый противоречием, готов был совсем разорвать со старым обществом и основать

---

\* Обзор [истории славянских литератур, 1865], [с.] 281 [—283].

\*\* Обзор [истории славянских литератур, 1865, с.] 286.

свое новое. Таковы и были тaborиты. «Они, очевидно, слишком рано явились с своими воззрениями,— говорит один историк,— они стали против тогдашнего света, а он против них. Несомненно, что до некоторых принципов, которые они высказали прямо и как бы неожиданно, позднейшая философия додумалась только при помощи громадного ученого материала, и несомненно, что их социальные стремления не устарели и до сих пор».

Тaborиты были самым полным (и вместе самым крайним) выражением гуситства, его наиболее последовательным и вместе самым национальным]\* развитием... Как [скоро провозглашена была мысль, что истинный закон заключается только в Писании, что иерархия и духовенство не могут стеснить человеческого разума и совести, когда раскрыты были те безобразия, к каким пришла так называемая «церковь», предоставленная исключительно этой иерархии, понятно, что церковная власть, а паконец, общественные порядки потеряли всякую веру. Чтение Библии чрезвычайно распространилось, и люди, искающие новой жизни, находили в Библии все, что им было нужно. Ревностное убеждение побуждало искать способов к практическому выполнению приобретенных правил — для этого нужна была свобода действия. Надо было совершенно отделиться от старого общества, это и сделали тaborиты.

Решимость идти до последних выводов не могла быть делом большинства, которое всегда предпочитает более спокойные средние пути. Католиков оставалось уже мало в Чехии, но большинство, испуганное трудностями дела, остановилось на умеренном гуситизме — в приведенном нами ряде писателей мы видели, сколько людей, начавших горячим участием в реформе, кончили серединой. Более стойкие и ревностные стали тaborитами. К сожалению, всего меньше известно именно об этой части гуситства. До нас уцелели только немногие сочинения тaborитов, от других остались случайные отрывки, так что трудно составить себе полное понятие об этом настроении умов. Можно, однако, наверное сказать, что как бывает всегда с народными движениями, отвергающими авторитет, в кругу тaborитов не было одной господствующей системы; напротив, мнения религиозные и общественные были крайне разнообразны: каждый, кто был способен, делался пропагандистом учения, которое считал истинным; столкновение понятий развивало их все дальше, так что составилось, наконец, удивительное сплетение мнений, шедших от умеренного тaborитства, признававшего первобытное христианство, до хилиазма, ждавшего преставления света<sup>7</sup>, и адамитства, вводившего пантеизм в религии и коммунизм в жизни. «Всякие еретичества, какие только бывали в христианстве,— говорит современник Эней Сильвий,— все это собралось на Таборе, и каждому там вольно ве-

---

\* Обзор [истории славянских литератур, 1865, с.] 287.

рить тому, что ему] \* нравится»... Один [простодушный летописец тех времен так передает ожидания и мнения крайних гуситов: «Говорили они, что через несколько дней будет судный день; поэтому некоторые постились, сидя в тайных местах и ожидая этого дня (мнение хилиастов)... Эти священники говорили также, что все грешники погибнут, что останутся одни добрые, и поэтому без всякой милости жестоко убивали людей. Говорили тоже, что придет святая церковь в такую невинность, что будут люди на земле как Адам и Ева в раю, что не будет один другого стыдиться... что должны быть все ровными братьями между собой, а панов чтобы не было и чтобы один другому поддан не был, и потому взяли себе имя «братья»... Также говорили, что придет и будет такая любовь между людьми, что все вещи будут у них вместе и] \*\* общия... толкуя, [что люди должны быть свободными сынами и дщерьми божьими, а брак быть не должен (мнение адамитов)... Говорили также о теле божьем не по-христиански, и о крови божьей... и о...всех иных таинствах божиих, насмехаясь и ни во что их не ставя... в костелах служить не хотели, орнатъ и других священных вещей к службе иметь не хотели (общее мнение тaborитов)... Пенье латинское в костелах называли воем и лаем псов»] \*\*\* и т. д.... из тех [основных положений, которые изложил Гус и которые в начале защищаемы были почти каждым из пражских «мистров», ставших потом умеренными калишниками, очень последовательно могли быть выведены результаты, которые проповедовались разумнейшими таборитами. Сам Гус, быть может, признал бы (с некоторыми исключениями) своими последователями скорее таборитов, чем тех, которые из его учения могли вынести только «калих» [sic!].

Одна из любопытных подробностей этого практического выполнения первобытной церкви заключалась в демократическом ожидании уничтожения всякого подданства и в общности имений. На пражском совещании враждебных сторон в 1420 г.— через пять лет по смерти Гуса — уже обсуждался такой пункт таборитского учения: «В Градице или на Таборе ничего нет моего или твоего, но все имеют одинаково поровну; и всем всегда должно быть все общее, и никто не может иметь ничего про себя, иначе, у кого есть что-либо про себя, тот грешит] \*\*\*\* смертельно... Обстоятельства [ввели разделение между «шолевыми» (военными) и «домашними» таборитами, последние занимались работами и поставляли все необходимое для полевых; табориты переходили от боя к ремеслам и наоборот. У них были свои «владари», «справщики» и «гетманы», и социалистические порядки сохранялись до последнего поражения таборитов у Лишан]

---

\* Обзор [истории славянских литератур, 1865, с.] 288.

\*\* Обзор [истории славянских литератур, 1865, с.] 288—289.

\*\*\* Обзор [истории славянских литератур, 1865, с.] 289.

\*\*\*\* Обзор [истории славянских литератур, 1865, с.] 289.

(1434)\*. В еще более резкой фантастической форме то же социалистическое стремление встречаем у адамитов, которые «утверждали, [что нет ни бога, ни дьявола, что они есть только в добрых и злых людях; находя святой дух в самих себе, они отвергали всякие книги и заповеди; все имение у них было общее, брак они считали грехом, некоторые пробовали даже ходить нагими, предполагая в себе райскую невинность; у них принято было, наконец, известное и нашему расколу божественное олицетворение, потому что какого-то Петра называли они сыном божиим, а одного селянина Микулаша —] Моисеем\*\*.

Но социалистическое движение не мешало таборитам ценить силу знания и развивать его в своей среде. «И чешские [и чужие писатели свидетельствуют, что между таборитами было вообще много людей мыслящих и образованных. Известный Эней Сильвий (впоследствии папа Пий II), который сам посещал таборитов и которого трудно заподозрить в пристрастии к ним, рассказывает, что в Таборе его встретили лучшие горожане, священники и ученики, говоря по-латыни, потому что «этот неблагодарный народ только то имел в себе хорошего, что любил науки». В другом месте он говорит, что перед таборитами «устыдились бы итальянские священники, из которых едва кто-нибудь прочел вполне Новый Завет, тогда как между таборитами не найдется, может быть, женщины, которая бы не сумела отвечать из Ветхого или Нового Завета». Такие ученые табориты не раз защищали свое учение на сходках и в полемике с пражскими «мистрами», а для этого нужно было знать дело не хуже] \* мистров». При этом догматический и национальный вопрос оставался тесно связан с социальным. «Табориты... прямо говорили, что они сражаются не только за веру, но и за народность» \*\*.

Гуситизм не был уединенным движением, ограниченным одною национальностью. Он имел общечеловеческое значение, во-первых, в своем непосредственном следствии, в немецком протестантизме, во-вторых, в социальном вопросе, им возбужденном. Относительно связи проповеди Гуса с проповедью Лютера достаточно, кажется, обратить внимание на самую историческую сущность последней<sup>8</sup>. В чем [состояла особенность лютеранизма? Не только в том, что это было оппозиционное догматическое движение против папства и иерархии, но в том, что Лютер немедленно сделал его национально-немецким движением против римской курии. Оппозиция национальностей против поборов римских пап идет из глубины средних веков, особенно же с XIII века, но она оставалась оппозицией внутри католицизма, не отрицавшо авторитета пап. Догматическая оппозиция против того или другого доктрины католицизма, даже против его об-

\*; \*\* [Обзор истории славянских литератур, 1865, с.] 290.

\*; \*\* [Обзор истории славянских литератур, 1865, с.] 290—291.

щего строя, тоже не нова, но она была делом исключительно книжным, догматическим, школьным, не пытаясь обратиться к обществу и призвать на помощь его интересы. Такова была еще проповедь Виклефа. Протестантизм оказался историческою силою потому, что соединил эти два издавна подготовленные оппозиционные стремления. Лютер стал не реформатором католицизма, не противником папства, а проповедником национальной реформы церквей вообще на основании Библии, которую должен был признать и]\* католицизм. Универсальный [характер получила реформация потому, что всюду в католической Европе более или менее присутствовали оппозиционные стремления, о которых мы говорили, и потому всюду начало национальной реформы церквей на основании свободного толкования Библии было доступно обществу, как обыденный интерес его. Но был ли Лютер *первый*, который пришел к этой мысли о национальной реформе церквей на основании свободного толкования Библии? Нет, он имел предшественника, и только *одного*. Между догматиком Виклефом и немецким реформатором Лютером стоит создатель этой идеи, обусловившей в значительной степени историю новейшей Европы, чешский реформатор Иоанн Гус. Он *первый* слил догматическую оппозицию с национальною; чехи *первые* бросили в Европу мысль о национальной реформе на основании Библии. В истории европейской мысли чехам принадлежит заметное место начинателей нового периода религиозного развития Европы: периода национальных церквей.

Но как ни велико значение гуситства, прямого и непосредственного предшественника протестантизма, оно этим не исчерпывается. Гуситство имеет свою резкую особенность, которая способствовала его гибели, но для мыслящего историка ставит его выше протестантизма. Г[осподин] Ровинский говорит: «Гус стоит во главе революции; Лютер явился реформатором». Г[осподин] Гильфердинг замечает: «Западный протестантизм... становился сперва достоянием высших классов и иногда оставался при них и не прощкал в простой народ; а чешская религиозная реформа, обозначенная именем Гуса, сделалась тотчас исповеданием простолюдинов, в аристократии же нашла немного приверженцев». Оба они правы, но оба забывают, по-видимому, что протестантизм с самого начала имел две ветви, из которых одна развивается в богословскую холастику пасторов, а другая коренится в простонародье и имеет своими представителями Карльштадта, Мюнцера, ана뱁тистов.

В самом начале протестантизм был столько же народным движением, сколько и движением образованного сословия, по крестьян-

---

\* Философия истории славян. «Отечественные записки», 1870, № 7, с.] 105.

ские войны и анабаптизм разделили партии здесь, как в гуситизме социальный вопрос отделил тaborитов от каликстинцев. Народное движение было подавлено и тут и там, потому что господствующие сословия были еще слишком сильны. Разница была лишь в том, что каликстинцы большую частью вернулись в католицизм, сознавая, может быть, что национальная реформа, в которой не участвует народ, не есть уже вовсе реформа религиозная. Лютеранизм же, победив парод и оттолкнув от себя его интересы, остался учением пасторов и профессоров богословия, неизбежно выродился в скучнейшую и тяжелейшую схоластику, пытался возродиться в искусственной и напускной форме пietизма и, наконец, логическим путем в наше время довел свое противоречивое право *свободного* толкования Библии как *неоспоримого* авторитета, до разделения на две школы. Одна отрицает всякую свободу мысли, всякое научное исследование, отвергает систему Коперника и пытается установить деспотический авторитет традиции, совершившо такую же, как у католицизма, но без его разнообразной обстановки, выросшей из потребностей массы верующих. Другая школа шаг за шагом перешла к рационализму XVIII века, к разным оттенкам идеализма в начале XIX, к критике тридцатых и сороковых годов; так что теперь крайне сомнительно, насколько эти господа имеют повод считать себя не только лютеранами, но просто христианами и приверженцами какой бы то ни было религии.

Разделение партий в протестантизме доставило победившему лютеранству видную историческую роль, но отняло у него живое значение в истории мысли. Никакое религиозное движение не имеет смысла, если оно не связано с практическими требованиями массы, потому что историческое значение религий заключается именно в связующем элементе, который позволяет сблизиться людям разного развития, разного общественного положения, при различной экономической обстановке во имя одного верования. Люди однотипового развития имеют совершенно достаточные поводы к сближению в тождестве умственных, нравственных и политических интересов. Гуситизм пал совсем, но он до конца сохранил цельность религиозного значения, как движения, связанного с социальными вопросами, единственными, которые важны для простонародья. Он пал и должен был падь неизбежно, потому что до сих пор ни одно социальное движение масс еще не имело достаточно силы для достижения победы; но в свое кратковременное существование он жил более полно, более человеческо жизнью, чем лютеранизм в его долгое существование. Если чехи могут с гордостью указывать на гуситизм, в смысле национальной реформы церкви на основании свободного толкования Библии, как на оригинальную мысль, брошенную в Европу и развившуюся в обширное историческое движение протестантизма, то они могут с еще большей гордостью сказать, что они вернее своих по-

следователей, немцев, поняли сущность религиозного движения; что они не отделили умственных интересов меньшинства от практических интересов массы; что они были единственными в Европе, завещавшие будущему мысль, которую впоследствии подтвердило глубокое изучение истории.

Чтобы быть плодотворным и живым явлением, религиозное движение должно в себе соединить три элемента: догматический интерес большей истины, исторический интерес удовлетворения задаче культуры данного времени и места (что в большей части совпадает с вопросом национальным), социологический интерес справедливейшего удовлетворения потребности вечно-страждущего] \* большинства. Гуситизм именно соединял эти три элемента. Он был для своего времени передовою критикою догматического, доступною большинству; он воплощал национальное стремление чехов обособиться как церковная община от римской централизации, противопоставить свою национальность, как самостоятельную и равноправную, поглощающей национальности немцев и развить свой язык, как пародный орган высших сфер мысли, наравне с латынью — языком ученых и духовенства; он, наконец,ставил социальную задачу более справедливого переустройства общества в самую тесную связь со своими богословскими и национальными вопросами.

Следовательно и здесь, во втором фазисе участия славян в истории мысли, мы видим их с теми же характеристическими чертами, которые мы подметили выше в движении югославянских дуалистов. Цельная постановка теоретического вопроса при стремлении устраниТЬ всякие противоречия; готовность идти до конца при развитии данного принципа, безо всяких уступок; стремление не отделять вопросов жизни от вопросов мысли, социальных задач от философских — все эти черты оказываются общи славянам южным и северным, богомилам и гуситам. Это дает нам некоторое право отыскивать эти черты и в дальнейших фазисах славянской истории.

Но здесь остановимся на минуту на вопросе, невольно представляющемся при всякой кровавой исторической катастрофе.— Движение богомилов и гуситов повело лишь к кровавым катастрофам. Западноевропейские катары были раздавлены католическими крестоносцами и хищничеством парижских королей, чему помог недостаток политического смысла графов тулусских. Югославянские богомилы погибли в общем крушении самостоятельности югославянских народов при напоре турок и при ассоциации в мысли народа между борьбою за подавленную национальность и борьбою за христианство против исла ма. Гуситы отразили все нападения противников-чужеземцев, но не выдержали внутренних раздоров; собственники и дворянство ка-

---

\* Философия истории славян. «Отечественные записки», 1870, № 7, с.] 105—108.

лишников (каликстинцев) видели более опасных врагов в социалистических тaborитах, чем в немцах и католиках; они удовольствовались небольшими уступками, вернулись в лоно католицизма, раздавили социалистическую партию, и могучее движение гуситизма кончилось жалкою пьетистическою сектою моравских братьев, проповедовавших покорность властям предержащим. Невольно является вопрос: должно ли смотреть на гибель богомилов, катаров, гуситов как на историческое бедствие для человечества? Была ли эта гибель остановкою на пути прогресса? Можно ли было ожидать, что торжество этих движений, некоторое время как будто возможное, повело бы вернее и скорее человечество к тем теоретическим и практическим идеалам, которые для нас в настоящую минуту составляют цель исторического развития народов?

Мы должны признать, что практические идеалы богомилов, в особенности же гуситов в их самых лучших представителях, были несравненно выше практических идеалов их противников, восторжествовавших над ними. В тaborитском движении мы узнаем уже предшественников нового времени. Нас подкупает самоотверженность и героизм проповедников этих учений; нас подкупает и их трагическая судьба. Но историк не должен поддаваться аффектам этого рода и должен оценивать отношение отдельного движения к общим вопросам человеческого прогресса по совокупности характеристических особенностей этого движения, а не по тем патетическим событиям, которые потрясают зрителя исторических катастроф.

Идеал социалистического строя общества, осуществляющего принципы равенства и свободы, так древен, как и человеческое общество, потому что вытекает из самых основных потребностей человека, и попытки его осуществить начинаются с доисторических времен. Но ему противостоят весьма сильные и столь же естественные влечения эгоизма, аффективного выбора, семейных, родовых, национальных и кастовых группировок. Поэтому всякий раз, когда его пытались осуществить в истории как инстинктивную форму общежития, как древнее предание, как аффективное самоотвержение личности перед обществом, или как заповедь веры, связанную со сверхъестественным источником,— всякий раз инстинкты, противодействующие социалистическим принципам, опирались на умственную потребность человека, на право критики, подрывали инстинктивное общежитие, предание и верование во имя рассудочного расчета, во имя боязни застоя и во имя замены одних верований другими. То, что опирается на инстинкт и на некритическую мысль, прочным никогда быть не могло, и потому эгоистические и кастовые стремления всегда торжествовали и не могли не восторжествовать над попытками лучшего и справедливейшего общественного строя. Только критическая мысль доставляет прочность социальным формам и может противостоять эгоистическим и кастовым влечениям, которые ей подчиняются на ос-

новании рассудочного расчета, но никогда не подчиняются бессознательным инстинктам и сменяющимся верованиям. Только критическая мысль и может лечь в основании прочного социалистического строя, способного противостоять постоянным подкопам эгоизма личного и эгоизма групп. Всякий социалистический строй, связавший свои идеалы с преданием или религиозным верованием, тем самым подрывает свою собственную крепость, подготавливает свое разрушение при неизбежной смене преданий и верований, но, кроме того, связывая лучшие практические идеалы с низменными методами мышления, он тем самым ослабляет критическую мысль вообще, укрепляет привычки мышления неточного и непоследовательного; поэтому, с одной стороны, препятствует развитию истины в теоретических миросозерцаниях, с другой же стороны — дает в борьбе практических влечений главное место инстинктам, а при этом эгоистические инстинкты имеют всегда более шансов восторжествовать, чем инстинкты общественные. Лишь иногда, когда критическая мысль обратилась в общественную потребность, в общественную привычку, в элемент культуры,— лишь тогда социалистические идеи имеют вероятность укрепиться прочно в обществе, их принявшем. Лишь предварительное торжество критической мысли над авторитетным верованием может доставить торжество и мысли практической в ее высших формах. Поэтому социалистические идеалы богомилов и тaborитов, вследствие своей тесной связи со сверхъестественными учениями, с догматическими вопросами, не имели возможности утвердиться прочно и в случае своего временного торжества стали бы помехою теоретического и практического развития человечества. Аскетизм совершенных был противоестествен, как и христианский идеал монаха, следовательно, его укрепление могло вести лишь к полному искажению общественной жизни, к ослаблению мысли или к лицемерным общественным формам, но при всех этих условиях эгоистические аффекты человека имели бы наибольшую вероятность восторжествовать и внести эксплуатацию и монополию в социалистические формы общества «добрых людей».

Тaborитство, как форма иного времени, не имела в себе столь разрушительного элемента. Но в обоих случаях общество, связавшее свои высшие практические идеалы со сверхъестественными верованиями, держалось бы крепче этих верований, скорее бы склонилось к застою и было бы менее доступно прогрессу умственному, чем общество, в котором официальные верования были бы связаны с реакционными общественными стремлениями, возбуждали бы против себя тем самым ненависть всех живых прогрессивных элементов, вызывали бы критическую мысль на оппозицию и, следовательно, усиливали бы ее деятельность в теоретических и практических сферах. Отсутствие же прогресса умственного неизбежно отозвалось бы и на практических вопросах, потому что инстинктивно человек стремится

к справедливейшему общественному строю лишь при простых комбинациях обстоятельств; с усложнением же практических вопросов менее выработанная критическая мысль может направить деятельность личности на путь развития, следовательно, и на путь общественного прогресса. Критическая мысль новой Европы могла, по-видимому, выработаться лишь на долгой оппозиции индивидуальной мысли против окаменелой схоластической религии.

Более передовые общественные движения, связанные с более симпатичными обществу религиозными формами, как богоильство и таборитство, не могли иметь прочности вследствие этой самой своей связи и при временной победе отвлекли бы мысль лучших людей от умственной борьбы, в сущности довольно эгоистической, но которую необходимо было однажды пережить, чтобы приступить надлежащим образом к общественным задачам. Между тем, трагизм гибели катаров и провансальской цивилизации, героизм борьбы гуситов против многочисленных врагов и ореол, окружавший этих борцов за убеждение в воспоминании лучших людей их времени и ближайших потомков, усиливали ненависть к общественным формам их раздавившим, давали новую пищу оппозиционной критической мысли, преображали в глазах потомства их несовершенные попытки общественной перестройки в нечто идеальное, сохраняли для будущего социалистическое предание в самых привлекательных чертах, и, таким образом, их трагическая судьба более служила прогрессу человечества, чем могло бы, при самых выгодных обстоятельствах, служить ему их торжество. Давно уже замечено, что история есть мартиролог народов, следовательно, считать их страдания историку нечего: лишь опираясь на научную критическую мысль, народы могут надеяться уменьшить эти страдания; те народы, которые не опирались на нее, победить не могли и не должны были победить, но симпатию мыслящего историка заслуживают в особенности те нации, которые поставили потомкам более совершенный идеал и самим своим страданием содействовали прогрессу человечества.

### [Чтение второе]

Переходя к третьему фазису славянского влияния на историю мысли в человечестве, мы встречаемся с движением уже совершенно иного характера, чем прежние. Здесь мы имеем дело с верованием цивилизованного класса, с верованием меньшинства, а не пародным.

Период времени, о котором мы говорим, был таков, что не допускал уже народного движения мысли, которое было бы обще и для большинства и для меньшинства. Попытки крестьянских войн и ана뱁тизма были последними попытками *народных* религиозных движений в Европе, связанных с социальными вопросами. Давно развивавшееся в Европе начало государственности, возросло теперь настолько, что подобные взрывы стали менее и менее возможны.

Легальный строй, крепкая администрация дали средства подавить всякое движение, прежде чем оно усилилось бы, распространяли сознание бессмыслия в подавленных классах и отделили надолго социальные вопросы от политических. Начиналась новая Европа, легально-промышленная, которая имела перед собой 2 века для блестящего развития своей цивилизации. Эта цивилизация была основана на принципе борьбы за существование, перенесенной на поле человеческой деятельности и усиленной всеми средствами человеческой мысли, которая была выработана не только физиологическим развитием человеческого мозга, но еще и историей культуры; эта борьба за существование была ограничена в своей бесцеремонности лишь пунктами закона, который в каждом предполагал врага всех, и по мере возможности пытался оградить каждого от всеобщей вражды, его окружающей.

Личность, в своем индивидуализме, противопоставила свой ум общему верованию и преданию старины, создала научные методы, научную систематику, научную технику и затем обратила свой ум на вопросы общественные с той именно точки зрения, которая осуществляла самую бесцеремонную борьбу за существование — с точки зрения личного обогащения.

В XVI и XVII веках возникла та наука политической экономии, которая рассматривала человека в его исключительном стремлении к обогащению, наука, которой гордился XVIII век и начало XIX века и которая в наше время пришла к столь жалкому бессмыслию разрешить свои собственные основные вопросы.

Личность государя противополагалась подданным, стремясь захватить в свои руки и поглотить в себе все силы страны, сознательно уверенная с Людовиком XIV, что государство это — сам государь. Эта личность не задумывалась ломать вековые привычки и пытаясь пересоздать страну по своей мысли, подобно Петру, Фридриху, Иосифу. Бесцеремонному деспотизму этой личности другие личности противополагали пункты закона, легально установленную конституцию, взаимный контроль, тысячи искусно придуманных средств для взаимного наблюдения. Величие монарха или его министра, величие Ришелье и Мазарини заключалось в том, чтобы перехитрить противника и захватить в свои руки оспариваемую власть. Величие политических представителей страны заключалось в том, чтобы перехитрить монарха и его министров, отправить коварного министра в изгнание или на эшафот; в крайнем случае в борьбе за существование это случалось и с монархом. Величие конституции заключалось в такой формальной обстановке политического общежития, чтобы можно было поддерживать неустойчивое равновесие разделенных властей, которые предполагались все составленными из интриганов и эгоистов, стремящихся обмануть и погубить друг друга; точно так же, как идеал гражданского договора заключался в том, чтобы на ос-

новании его два умных плута, ни на минуту не веряще друг другу, смогли вести дела вместе, не имея возможности вредить друг другу.

Идеал[ом] отношений между государствами была дипломатия, которая в самых мягких формах стремилась к самому бессовестному плутовству и ограблению соседа. Идеал общежития заключался в приятном и легком разговоре в салоне, где враги могли меняться любезностями, где убеждений как бы не существовало, где серьезное чувство и чувственная похоть имели одну и ту же форму речи, где всякий должен был ожидать обмана от всякого и должен был вооружаться обманом, чтобы не быть раздавленным. От кабинета учёного, боровшегося в одиночку против самых трудных задач природы, до политического дельца, боровшегося против соперников, до промышленного дельца, который имел в виду общее ограбление в легальных формах, до салонных героев и геройнь, боровшихся каждый за себя улыбками и острыми словами, индивидуализм с его борьбою каждого против всех был основою жизни нового европейского общества.

Результаты его были громадны, и долго враги и приверженцы индивидуализма были ослеплены его могучими завоеваниями, выказавшими вполне силу человеческогоума. Лишь на этой почве могла, по-видимому, выработать научная мысль с ее строгой критикой, с ее заботливостью о результатах, та мысль, которая дала нам единственную прочную основу для всякого будущего. Если бы личности были менее уединены в своих стремлениях и чувствовали менее необходимости вырабатывать свои мнения, опираясь лишь на себя, если бы они менее эгоистически ушли в свои отвлеченные изыскания, может быть, то развитие математических и естественных наук, которое совершилось в два с половиною столетия новой европейской истории, было бы значительно затруднено.

Второй результат индивидуализма на политической почве заключался в выработке замечательных политических конституций, договоров о сожительстве, где вследствие взаимных уступок, ограничений, контроля, наполовину высказанных, наполовину удовлетворенных стремлений, явного мира притайной борьбе за власть и интересы партий, могли уживаться рядом самые разнообразные стремления. Это искусство органического строения политического целого вырабатывалось западными народами Европы в продолжение всех средних веков именно вследствие их способности идти на уступки, на соглашения, на завоевание небольшой доли своей цели сегодня, чтобы отстоять более на завтра. Но особенное искусство в этом отношении выказали племена, которых обыкновенно группируют под общим названием германских, хотя в отраслях не собственно немецких. Последним помешало именно стремление к цезаризму в их предводителях и римский тип механической монархии, тип осуществить который они не сумели, но на осуществление которого они употребили

достаточно сил, чтобы для собственно «Германии» политическое строительство оказалось невозможным до самого последнего времени. Она занялась им теперь, когда политические вопросы, в своей обособленности, уже очень похожи на анахронизм. Зато другие германские племена выказали в этом отношении замечательные способности.

Швейцария, Нидерланды, Скандинавские народы дали множество типов политической организации и весьма разнообразных и вполне целесообразных, как равновесие всех политических сил, которые, не доверяя друг другу, хотели жить в вооруженном мире. Всех выше в этом отношении оказалась англосаксонская отрасль, которая дала два типа политического строя, наиболее тщательно выработанных. Один — в Англии, искусственно выработанный исторической культурой с бесчисленными уступками прилагая этот строй в жизни, но не имея никогда в виду решить вопрос цельно и в его основах. Другой тип — в Америке — был высшим идеалом чисто политического строя, который могла выработать человеческая мысль, ограничиваясь вопросами государственными, неизбежно вел практических мыслителей к дальнейшим задачам человечества.

На этой почве научного независимого мышления, обособления личностей и стремления к политическому сожительству при возможно лучших условиях выросли два важных результата для человечества. Во-первых, сдержанность личных отношений, более умственная аффективность в отношении к друзьям и к врагам, осторожность относительно союзника, который мог всегда сделаться врагом во имя нового интереса, умеренность в нападении на врага, который принадлежал к тому же кругу общества, к той же политической организации, мог быть завтра же союзником для какого-нибудь общего дела. Это приобретение можно формулировать словами: усиление житейской критики. Во-вторых, это была критика мысли, направленная во все стороны и стремившаяся во имя личного удовлетворения проникнуть всюду. Отсюда теоретические и практические построения, имевшие уже не общий, а индивидуальный характер, ряд философских миросозерцаний, вырабатываемых не для того, чтобы проповедовать их публично, следовательно, без всякого соображения о их действии на других, но для собственного удовлетворения, для владения истиной, которая есть истина, а может быть, и средством господства над личностью и над обществом. Тогда выработались одиночные мыслители, начиная Спинозою, которым собственно не нужно учеников, но которые верят, что эти ученики будут. Лишь подобная безусловная критика мысли могла вызвать системы, где самым наивным образом поднимались самые жгучие вопросы будущего и где рационализм, начав с осторожных критических приемов итальянских антиримитариев, Галилея и Бэкона, должен был дойти до «Системы природы» Гольбаха, до «Сущности христианства» Фейербаха и «Позитивной философии» Канта.

Но вместе с этим этот период выработал то двойное и тройное счетоводство в жизни, которое так возмущает и мыслителей последнего времени. Реалисты в области науки были весьма часто отчаянными метафизиками в философских обобщениях, а в жизни самыми рутинерными последователями общественных верований. То, что справедливо в философии, может быть неверно в религии, говорили, подобно итальянским скептикам XV в., и ученики Лютера. Бэкон и его школа стремились особенно старательно отделить область веры от области знания, предоставляя каждой из двух совершенно особенный метод, цель и направление. Так было и в практической жизни; английские лорды стесняли всеми средствами власть королей, окружая их формами самого высокого почтения, республиканцы подрывали монархию, а рационалисты — религию, заявляя к ним свое уважение. И теперь мы видим еще остатки этой неискренности в республике без республиканцев, в явных противниках легализма, опирающихся на легальные пункты для проведения своих личных стремлений.

Все это вытекало из борьбы между личностями для их развития на основании их взаимных уступок.

Все это могло происходить лишь в цивилизованном классе, так как ни наука, ни ее приобретения, ни политическое строительство с тонкостями его отношений, уравновешений и сложных конституций, ни сдержанность в личных отношениях с ее приличиями, ни досуг для высшей работы критики мысли не были доступны массе народа. История новой Европы с конца XVI до XIX в. есть история цивилизованного класса. Народ оставался выделенным из всего этого; до него не касались конституции и там даже, где его к ним привлекали в общем или ограниченном голосовании, он не мог употребить с пользой для себя орудие, созданное для хитроумных политиков с их возвеличиванием тысячи легальных и психологических возможностей. Отделение низшего класса от высших, управляемого от управляющих лежало в самой основе европейской цивилизации этого периода; однако и это начало не было ни резко поставлено в теории, ни резко осуществлено на практике, так как буржуазия Европы и Америки называла себя народом, в своих беднейших слоях сближалась с действительным народом — с пролетариатом; она и более интеллигентные личности пролетариата могли постоянно переходить в лагерь его эксплуататоров; политические идеалы господствующего класса могли казаться идеалами всего народа, а политическая борьба сообща против захватов власти распространяла иллюзию, что классы управляющих и господствующих капиталистов — не враги низших.

Все это было гораздо грубее и проще в землях славянских; и здесь мы переходим уже к племенам иным, чем те, о которых мы упоминали. Так как это было время политического строительства, то народы, не отстоявшие своей политической самостоятельности, со-

пли временно со сцены истории. Югославянские народы были раздавлены в политическом смысле Оттоманской Портой; Чехия перестала играть роль в истории после битвы при Белой Горе. Дело идет о поляках и русских, о том, как в них отразились стремления политически-промышленного периода Европы, с его индивидуализмом, как основным принципом, с его безусловной критикой мысли, с его противоположением политических групп в борьбе за господство, с его отделением управляющих классов от управляемых.

Все это, повторяю, было и здесь, но при отсутствии той уступчивости, готовности на соглашения, видимого мира притайной борьбе, которые были (в Европе) на Западе, а потому и результаты оказались иные.

В политической борьбе за господство Москва раздавила удельные княжества и народоправства старой Руси, т. е. все центры ее политической жизни; затем Петербург раздавил Москву. Отделение управляющих классов от управляемых прошло крайне наглядно: во-первых, введением на Руси крепостного состояния и его ухудшения при помощи ряда легальных мер; во-вторых, установлением для господствующего служилого класса особого платья, особых привычек жизни, особых форм культуры с эпохи Петра I. В Польше это произошло несравненно ранее и не по распоряжению правительства, а вследствие самого рода развития политической жизни, когда шляхта захватила все политические права, сделалась единственным и вполне полноправным легальным народом польским, так что голос одного шляхтича мог сорвать целый сеймик, голос одного посла мог обратить в ничто решение всех представителей Речи Посполитой, тогда как все, что не было шляхтой, было бесправно и не могло иметь никакого участия в политической жизни. Именно здесь воплощался тайный политический идеал всей Европы: полнейшее политическое равенство всех личностей одного класса, господствующих над бесправной массой; на Руси же осуществлялась другая сторона того же стремления: государство, где правительство было бы все, а народ — ничего, где всякий имел бы значение не как человек, не как гражданин известной территории или потомок известного рода, но как чиновник, которому передана некоторая доля правительственной власти. Так, Иван Грозный, по меткому выражению одного из наших эссеистов, «представлял себе государство в форме огромного казенного двора или крепостного завода, где жители государства, разделенные по разрядам по роду занятий, под крепким караулом занимаются предписанным им делом, насколько это нужно государству для его финансовых отправлений».

Так, Павел I считал вельможею лишь того, кто удостаивается обращения к нему высочайшего слова, насколько оно к нему обращено. В обоих этих формах мы, я думаю, можем признать проявление того самого характеристического славянского начала, которое

я указал выше, именно — неуступчивое проведение одного принципа, как бы не односторонен был этот принцип. Но на Руси недостаток умственного развития и несовершенство административных мер имели следствием, что народные движения, сделавшиеся невозможными в этот период в Западной Европе, имели еще почву именно в форме разбойничества, более или менее переходившего в народные бунты, или в форме религиозного сектаторства в обширных размерах с политико-социальными элементами. Первое связывает непрерывной цепью казачество начала XVII в., движения самозванцев и бунт Стеньки Разина с позднейшим движением гайдамачества на юге и пугачевщиной на севере, а затем тянется почти до нашего времени, так что лишь в 1848 году в министерском отчете могли указать как факт, которому «дотоле не было примера», что год прошел без грабежа в Жигулевских горах торговых судов, плывших по Волге.

Точно так же раскол, в его разнообразных формах, сохранил форму средневекового социального протеста в связи со сверхъестественным догматом и обособленным обрядом, в то время как передовая мысль человечества давно уже признала, что всякий сверхъестественный догмат и всякое религиозное сектаторство составляют лишь путы при прогрессивном движении народов. Хотя и в расколе, с его тесной связью между догматом и социальными вопросами, [мы видим] ту особенность славян, о которой я уже упомянул, именно цельное отношение к вопросам. Но деятельность русского раскола была чисто местная, перейти в Европу он уже не мог, потому что там строй мысли становился уже иным, и в истории мысли раскол составлял уже анахронизм.

Единственное из славянских племен, которое в этот момент истории поставлено так, что могло войти в развитие человеческой мысли видным деятелем, было племя польское. Там индивидуалистическое начало Европы нашло себе, как я уже сказал, самое полное осуществление; ничто не мешало ему действовать именно в том направлении, которое в Европе выработало научную критическую мысль. Государственная власть обратилась почти в ничто пред политическим правом свободного шляхтича; его мысль, его воля могли высказываться, не встречая никакого препятствия. Он мог с большею решимостью противопоставить свое мироозерцание всем прочим, чем это можно было сделать где-нибудь в Европе, так как силы его подавляющей и втесняющей в общепринятые предания не существовало. Действительно, поляки не замедлили воспользоваться этим положением дел и вписали в третий раз имя славянского народа как влиятельного элемента в историю мысли.

Мы рассмотрели вместе три фазиса влияния славянской мысли на историю мысли вообще. Я опирался на факты общеизвестные, только недостаточно освещенные генезисом и спутанные теми самыми, которые с наибольшею любовью относились к славянскому во-

просу. У южных славян православие считается национальным знаменем в борьбе против турок и немцев; в Польше католицизм составляет к[а]к бы элемент патриотического протesta против исторического хищничества; в самой Чехии политические отношения к клирической партии и к крупному землевладению мешают, может быть, сделать надлежащим образом значение гуситизма и особенно учения тaborитов; само собою разумеется, что небольшая группа московских славянофилов, слившая свой идеал с мумией православия и с фантастическим представлением о всеславянском царстве, не может вовсе относиться симпатически к еретическому движению, к народной борьбе против власти или к проповеди философских сектаторов. Оттого сами славяне не совсем охотно вдумываются в сущность великих движений богоимилизма, гуситизма и польского социниализма, но именно в этом задача современности. В своем прошедшем нация должна искать разгадки своих естественных наклонностей и, лишь решив этот вопрос, присушить к своему настоящему.

Посмотрим же, каково это настоящее; к чему пришло человечество в своем блестящем периоде легально-промышленного развития новой Европы? В чем состоят затруднения его настоящего и насколько славяне, опираясь на свои национальные свойства, способны участвовать в вопросе современной мысли.

С конца XVI в. до нашего времени критическая мысль воспользовалась индивидуалистическими стремлениями в теоретической области в самых широких размерах. Средневековые верования пали. Научный метод создался и упрочился. Он выработал ряд точных истин в логике и математике, в физике, химии и биологии. Генезис отдельного организма исследован. Генезис земли уяснен в значительной степени. Генезис органического мира в его целом поставлен в форме вопроса на научном основании. Генезис миров вообще представляется в форме весьма вероятной гипотезы. Генезис мысли составляет задачу многочисленных и добросовестных исследователей. Все супранатуралистические и метафизические попытки миросозерцаний пали под ударами критики. Христианского и пантейтического бога ум исследователя проследил до его доисторического полуживотного образа. Метафизические идеи разложены на их чувственные и логические элементы. Отовсюду группируются факты в реалистическое миросозерцание в форме материализма или спенсеровского развития, в школах позитивистов или в попытках антропологистов. Теоретическое отношение человека к миру завоевано индивидуальным мышлением новой Европы. Это ее дар истории мысли, подобный тому, что внесла в свое время в эту историю Греция. И тот, кто признает традицию этого мира, и тот, кто находится в оппозиции к нему, должны признать это.

Но все эти миросозерцания, о которых я говорил, заключают одну высшую ступень, о которой я еще не упомянул: они заверша-

ются социологией. Огюст Конт в первой своей лекции позитивной философии писал в 1830 году: «Вот великий, но, очевидно, единственный пробел, который следует пополнить, чтобы заключить состав позитивной философии. Теперь, когда человеческий ум основал физику небес, физику земли как механическую, так и химическую, физику организмов как растительных, так и животных, ему остается закончить систему наблюдательных наук, основав *физику общества*. Такова теперь во многих существенных отношениях самая значительная и самая настоятельная потребность нашего ума; такова, осмелилось сказать, первостепенная цель этого курса, его специальная цель».

И не один Конт со своей школой трудился над этой задачей. Спенсер начал со статики общества и теперь, выработав общие основания психологии, в своей философии приступает к построению социологии. Идеалисты разных школ стремились к тому же. В сфере точного знания политикоэкономы уже давно собирают материал для одного отдела этого труда. Гигиенисты идут к нему со своей стороны; юристы и историки пытаются подойти со своей. Задача научной социологии с самого начала века стала как неизбежное теоретическое следствие предшествовавших работ. Критическая мысль должна быть приложена к обществу, как она приложена к менее сложным формам; она должна выработать научную социологию, как она выработала научную физику и научную биологию.

Но с самого начала я говорил, что ход науки медлен и доступен лишь мелким; знание социологии есть единственное *прочное* основание будущего общественного строя, но сама перестройка не может совершиться путем научного усвоения результатов. Верование и эмпиризм предшествуют знанию, бросаются в историю неудержимо ранее, чем вопрос может быть поставлен научно, с надлежащим методической строгостью. В нынешнем году Спенсер употребил длинный ряд статей, которые тянутся более полугода, на то лишь, чтобы указать как объективные, так и субъективные препятствия, встречающиеся при научном построении социологии. Между тем, жизнь требует своего, и если Спенсер по аналогии с медицинской даст совет воздерживаться от всяких сиделок при неполной уверенности в их действительности, то подобному совету могут следовать лишь индифферентисты. При несуществовании социологии как науки, при необходимости условиться и в методе, и в объеме, и в самой задаче ее каждый поставлен в необходимость оценивать вероятнейшее в социологических задачах по степени своего развития, и ее практические задачи вызывают каждого на деятельность прежде, чем все теоретические вопросы ее решены вполне научно.

К решению практических вопросов приступлено уже давно; собственно вся история жизни человечества состоит из ряда попыток решать вопросы социологии инстинктивно, эмпирически или фило-

софски. Их решали хищнически в первое время, их решали механически во имя обязательности закона, их пробовали решать органически, отыскивая лучший политический строй; эти приемы употреблялись дельцами-эмпириками и, па основании искреннего верования, теоретиками; а рядом с этим шли взрывы народа, приносившие общественный протест приемам политических деятелей и указывавшие, что в их решениях нет полноты.

Я уже говорил, что новая Европа принесла в политическое строительство огромный вклад, далеко превосходящий то, что дала в него древняя Греция. Эмпирическое отыскание лучшего государственного органического строя составило задачу замечательных умов в теории и на практике, цель самых крупных исторических событий. Уравновесить власть, обезопасить каждого от притеснения других было задачею политических мыслителей, составителей конституций и политических революционеров разных партий. Думали достигнуть этого, поставив наследственного монарха выше спорных интересов по его высокому положению; думали доверить дело монарху избирательному, аристократии древнейших родов, аристократии в палате, выборным из наиболее богатого и образованного сословия. Пробовали подчинить государственному действию всю общественную жизнь до ее мелочей; ограничивали государственную власть в той или другой сфере. Пробовали осуществить в государственном строе древнюю формулу греческой мудрости — справедливость. Развивали теорию утилитаризма, наибольшей общественной пользы. Наконец, формулировали справедливость и наибольшую общественную пользу в знаменитых словах, написанных французской республикой на стенах всех общественных зданий: свобода, равенство, братство.

Но когда дошли до этого простого и очень логического результата, то оказалось, что формулы справедливости, общественной пользы и знаменитые изречения французской революции находились в прямом противоречии со всеми приемами политической жизни Европы и ее долгого социологического эмпиризма.

Свобода была действительно формою индивидуального стремления, но она предполагала возможность пользоваться свободой, возможность, которая отсутствовала при данном экономическом строе общества для огромного большинства, а, кроме того, логический вывод принципа свободы был отрицанием государственной принудительности, т. е. подрывал то самое политическое строительство, которое имелось в виду. Вполне свободный человек не мог быть обязательным членом государства. Равенство было тоже индуктивным выводом эмпирических попыток государственного строительства, но равенство для господствующих классов, а под ними находилось большинство, которое стояло ниже их по образованию, не могло ни обсуждать законы, ни оценивать их тонкости и в случае действительного равенства в государственном общежитии неизбежно перевер-

нуло бы и легальность юристов, и хитроумную конституцию политиков, чтобы перестроить общество сообразно своим потребностям. Вполне осуществленное равенство было бы отрицанием государственного и промышленного строя, основанного на конкуренции.

Что касается до братства, то оно вошло в формулу французской революции частью как верование в лучшее будущее, частью как религиозная традиция христианского времени; в сущности же оно было противоречием всему строю Европы. Я уже говорил, что она опиралась на индивидуализм, на борьбу каждого против всех, следовательно, на принцип, противоположный принципу братства. Вся формула революции в ее целом, полученная как результат долгого политического строительства, на которое были употреблены усилия лучших умов и самых энергических деятелей, оказывалась не окончательно формулою, увенчивающей исторический строй прошедшего, но программою будущего, которое отрицало именно это прошедшее, отрицало индивидуализм с его конкуренцией и исключительностью, отрицало государственность с ее хитрым легальным строем, отрицало самую возможность прийти к решению задачи общежития теми средствами, которые составляли единственный метод и единственную основу политической жизни новой Европы.

Но исторические народы привыкли к уступкам и, конечно, пошли на них. Цезаризм и национализм, всякого рода хартии и комбинации, умеренная свобода, ограниченное равенство, братство чисто мистическое были употреблены в разных формах для того, чтобы устроить заново сносное политическое общежитие. Но время было уже иное. Политические деятели потеряли веру в свою собственную проповедь; они сознавали, что их попытки органического строения дают лишь механическое государство. Кроме того, вопрос о пролетариях восставал все с новою и новою силою, а вместе с тем все громче раздавались голоса социалистических проповедников. Осмеяли и погребли под насмешками Фурье; осмеяли и погребли под насмешками сенсимонистов и Мишель Монтеня; но насмешки оказались бессильны перед возрождающимися требованиями, перед грозной диалектикой Прудона, перед событиями 1848 года. Ненависть сменила насмешку; прочность искусственного политического строя, как органического целого, оказалась мифом; могли насильственно сдерживать массы в их развитии, но примирить их требования с условиями политического строительства оказалось невозможным. Глубокая нравственная апатия овладела обществом, которое увидело, что ему нет исхода на прежней дороге и не могло решиться вступить на новую. Для этого глубокого нравственного расстройства мы имеем не одно, не два, а множество свидетельств.

Royer Collard 1815 г. [:] «Общество распадается в прах. Ему остаются лишь воспоминания, сожаления, утопии, безумия, отчаянье». Proudhon de la Justic, 1858 (изд[ание] 1866, I, [с.] 71) [:] «Ничего

не осталось: разрушение полное. Нет ни мысли о справедливости, никакого уважения к свободе, никакой солидарности между гражданами. Нет учреждения, которое уважали бы люди: нет начала, которое не было бы отрицаемо, осмеяно. Нет авторитета ни духовного, ни светского; повсюду умы отброшены на их я без точки опоры, без света. Нам не о чем клясться и нечем клясться; наша клятва не имеет смысла. Сомневаясь в принципах и, распространяя это сомнение на людей, мы не верим ни в неподкупность суда, ни в честность власти. Угасло нравственное чувство, а с ним, по-видимому, и инстинкт самосохранения. Эмпиризм руководит всем: биржевая аристократия бросается, ненавида *должников* (*les partageux*), на общественное имущество; средний класс умирает от трусости и глупости; простонародье опускается под давлением нищеты и дурных советов; женщина увлечена горячкою роскоши и разврата; молодость безнравственна, детство страдает старческою болезнью; духовенство, наконец, обесчещено скандалами и мстительностью, потеряло веру в самого себя и едва тревожит молчание общественного мнения своими мертворожденными догматами: таков очерк нашего времени. Наименее боязливые чувствуют это и беспокоятся. Уважение исчезло, говорил мне деловой человек. Как тот император, который чувствовал, что он становится богом, я чувствую, что становлюсь плутом и спрашиваю себя, чему я верил, когда я верил в честность».

Кавелин: Задачи психологии. 1872 (янв[арь], [с.] 131)<sup>9</sup> [:] «...Какой-то червь точит душу современного человека. При умственном богатстве он чувствует нравственную пустоту, ему не по себе. Текущее недовольство человека собою и окружающим — не прежнее, сознательное, деятельное и энергическое, которое отчетливо формулировало зло и средства как его исправить. Современный человек исполнен сомнения и раздумья; он скучает, сам хорошецко не зная отчего; не веря в возможность выхода из такого состояния, он старается развлечься и забыться. Утонченная испорченность, отсутствие идеалов, равнодушие к добру и злу и нравственным благам, предпочтение внешних мотивов внутренним, безразборчивый реализм — все эти черты давно уже служат характеристикою текущего общества... Человек в собственных глазах ничего, сам по себе, не стоит; для него внутренней жизни и деятельности нет самостоятельного критерия, потому что эта жизнь и деятельность, независимо от общественной среды, ни во что не ценятся».

(Апр[ель], [с.] 503) [:] «Сами люди более и более чувствуют и сознают свое бессилие и ничтожество... Душа, видимо, оскудевает в людях и в их взаимных отношениях... Быстро исчезает та добродушная веселость, то радостное настроение, та беззаботная бодрость, которые сближают людей, устанавливают между ними прочные связи, подымают общежитие и общественность и с которыми живется так легко даже при самых трудных и прискорбных обстоятельствах. На-

родонаселение быстро растет, сношения между людьми ежедневно усиливаются, обмен услуг и мыслей возрастает в поражающей прогрессии, а в нравственном смысле люди больше и больше становятся похожи на троглодитов — так равнодушны, холодны, недоверчивы, подозрительны становятся они друг к другу, так мало между ними искренности, задушевности и сердечного доброжелательства. С виду общественная жизнь никогда так не процветала; на самом деле каждый глубоко ушел в самого себя, старается отгородить себя от других каменною стеной и думает только о себе, мало заботясь о других. Действительное одиночество, при кажущейся общительности, сушит и портит людей. Цвет, краски и благоухание жизни теряются; даже потребность в них, смысл к ним постепенно вымирают из поколенья в поколенье. Оттого нравы, при видимой утопичности, на самом деле грубеют; самый горизонт взорений суживается, мысль теряет размах и полет, а с утратою широты мысли и убеждения человек мельчает характером, делается менее и менее способным настойчиво преследовать задуманные планы и цели, теряет твердость и выдержку, бежит [от] труда, сразу хочет получить то, что приобретается лишь долгим, напряженным усилием, и при первой неудаче оказывается жалким и малодушным. Характеры бледнеют и исчезают... Так или почти так, иногда теми же словами, жалуются все от мала до велика, образованные и простые люди, у нас и в Европе».

И что говорят представители общественной мысли, вчерашние герои критики, на которых еще так недавно смотрели с ужасом консерваторы? Они преклоняются пред силою, они становятся в ряды реакции, они отказываются от самой возможности осуществить собственную программу последовательного либерализма, программу, которую выработали их отцы ценою стольких усилий и уступок.

Ренан говорит: «Жизнь человеческая стала бы невозможной, если бы человек не давал себе права подчинять животных; она точно так же была бы невозможна, если бы держались того отвлеченнего понятия, по которому все люди рождаются с одинаковым правом на имущество и на общественное положение... Общество есть иерархия... Не все существа равны; они суть члены обширного тела, совершающего божественную работу... Мы уничтожили бы человечество, если бы не допустили, что целые массы должны жить славою и наслаждением других... Природа хотела, чтобы жизнь человечества имела многие степени... Грубость многих есть условие воспитания одного... пот многих позволяет немногим вести благородную жизнь».

Давид Фридрих Штраус печатает в нынешнем году апологию завоевателей и войны, находит, что «нельзя мыслить развития человечества, прогресс его цивилизации без вмешательства» завоевателей, и с насмешкою обращается к проповедникам мира со словами: «знаете ли, милостивые государи и государыни, когда вы достигните того, что человечество будет разрешать свои споры лишь мирными согла-

шениями? В тот самый день, когда вы устроите, что то же человечество будет размножаться лишь путем разумных разговоров». Давид Фридрих Штраус становится заступником принципа национальностей, показывает их даже формами, существующими «по божественной воле» (*gott gewollten*), превознося всемирное гражданство Гете и Шиллера, которые «охватывали своим сочувствием все человечество, желая видеть у всех народов осуществление своих идей изящной нравственности и разумной свободы». «Но чего хотят,— продолжает он,— нынешние проповедники братства народов? Они хотят прежде всего уравнения материальных условий человеческого существования, средств для жизни и для наслаждения». Штраус объявляет их союзниками — кого бы вы думали — пропагандистов католического ультрамонтанизма.

Когда мы вспомним, чем был писатель, которого я цитирую, и что такое теперешний прусский цезаризм с его императором и с его Бисмарком, то едва веришь глазам, читая, как Штраус защищает монархию против республики, обособленное дворянство, как опору монархии, когда читаешь следующие строки: «Мы, немцы, должны считать себя счастливыми, что вследствие деяний и событий последних лет династия Гогенцоллернов пустила глубокие неистребимые корни и за прусские границы, во всех немецких землях, во все немецкие сердца»; когда он называет проповедников рабочего движения «гуннами и вандалами новой культуры» и угрожает работникам уничтожением права сходки; когда он повторяет со всеми современными рутинерами — «собственность есть неизбежное основание нравственности и цивилизации»; когда, наконец, он, товарищ Фейербаха, автор «Критической жизни Иисуса» и знаменитой Догматики, он, один из величайших героев мысли тридцатых и сороковых годов, не только ставит Бисмарков и Мольтке рядом с Гумбольдтом и Гете, но признает их столь «величественными фигурами», что всякий должен смотреть на них снизу, чтобы увидеть их, «хотя бы до колен».

Худшего самоубийства мысли, более глубокого падения в истории я не знаю. С болезненным чувством видишь страшную эпидемию понижения умственного уровня, которое предсказывали Германии уже с 1866 года как следствие господства прусского цезаризма, но которого трудно было ожидать в такой острой форме. Не будем произносить суда над героем прошлого: его дело осталось; не будем винить даже Германию, на которую сыплется так много укоров со всех сторон. В отречении Штрауса от его великого прошлого, в его заклании мысли перед идолом грубой государственной силы мы имеем тоже явление, как и в распространении Гартманновского или вернее Шопенгауэровского отчаяния, в том глубоком нравственном бессилии, которое высказывается всеми замечательными представителями французского общества, не ограничивающимися фразами, и которое более или менее верно повторяется и в других странах той

же цивилизации. Политический организм, как социологический идеал, не имеет уже верующих; великий период государственного строительства кончен, политических уступок сделать больше невозможно, по этому пути идти дальше некуда; надо силою, механически, хищнически поддерживать старое или бросить его и строить общество заново не по государственному типу, а по иному. Политический эмпиризм на индивидуальной основе пришел к самоотрицанию; его представители сознают это, но не решаются сознаться в этом и вступить на новый путь; они выросли на уступках, на соглашениях и все еще надеются как-нибудь обойтись без цельного решения вопроса настоящего.

Таким образом, теоретические результаты работы мысли высшего наследия легально-промышленной Европы требуют именно того, что бессильно решить это самое общество. Построение социологии есть задача современного периода развития теоретической мысли. Бессиление решить социальный вопрос есть характеристическая черта современного политического строя. «Кроме ругательства и картечи, политическая экономия теперь не имеет более аргументов против работника, требующего сполна свой заработок», — пишет Элизе Реклю и своей последней статье.

Если данная цивилизация в своих теоретических и практических результатах пришла к выводам, противоречащим основам ее существования, то ее дело кончено. Она совершила свой труд на пользу человеческого прогресса, вызвала новые вопросы и должна передать дальнейшее дело иной цивилизации. Прошедший период оставил заметный вклад в историю мысли, в выработке научного метода и в распространении его с замечательным успехом на всю область явлений физических, а в значительной доле и на психические явления в отдельной личности; он подорвал все сверхъестественные и метафизические традиции, свел их все на человеческие начала, на естественные потребности; он сделал более, он испробовал все возможные формы государственной жизни и практически доказал истину, что с прогрессом человечества элемент государственности в обществе должен уменьшаться, что всякий успех в политической жизни ведет к тому, чтобы она делалась менее политическою, чтобы легальная принудительность обращалась в свободную общественность. Он внес в цивилизацию общества привычки сдержанности и критики, терпимости в отношении врагов и более строгого отношения к друзьям; он оказался бессильным лишь пред построением социологии, которая не может быть построена только теоретически и для которой тип государственности, им выработанной, оказался бессильным. Новая цивилизация должна выработать социологию теоретически, как венец предшествовавших наук; она должна выработать ее практически по-новому, уже не государственному типу.

И вот новое верование растет в мире рядом с обессиленiem всех

элементов прежней цивилизации. Оно имеет своих теоретических догматиков и проповедников, своих ученых исследователей, рассеянных среди старого легально-промышленного общества; оно имеет свою естественную опору в раздражении рабочего сословия всего мира против давящего его капитала; оно распространяется на все теоретические и практические вопросы настоящего и почти во всех них становится вразрез с предшествовавшей цивилизацией.

Оно приняло от нее одно наследие сполна — право безусловной критики, исключительную правомерность научного метода, отрицание всякой сверхъестественной традиции.

Оно требует разложения государственного начала, чтобы осуществить настоящую справедливость, настоящую свободу, настоящее равенство и братство, которые государственный строй поставил как свою задачу, но осуществить не смог.

Оно требует общественного строя, основанного не на борьбе каждого против всех под ухищренными формами легальности, но на гармонической кооперации всех для общей цели, при полном развитии способностей каждого и при искреннем отношении к себе, к другим и к целому обществу.

Из этого вытекает потребность систематической общественной гигиены как единственного научного обоснования всякого общежития.

Из этого вытекает неизбежная задача нового экономического строя, как осуществления полного вознаграждения труда и безусловного его господства.

Из этого вытекает задача новой педагогической системы, чуждой сколастического предания, проникнутой реальными стремлениями настоящего и практическими вопросами общественной кооперации.

Из этого вытекает задача нового общежития, где женщина занимает место как равноправный деятель общественного развития; где перерожденная семья, потеряв все элементы принудительности и исключительности, станет прямо решать свои 2 основные задачи: взаимное развитие 2 равноправных личностей, симпатически сблизившихся по свободному выбору; педагогическое действие наиболее способных в педагогическом отношении личностей на растущее поколение.

Из этого вытекает задача новых международных отношений, где раздельность, соперничество и ненависть наций должны перейти в кооперацию всех общественных групп для общего прогресса человечества, в верование их для быстрейших и более прочных завоеваний в области истины и справедливости.

Эти верования и задачи, ими поставленные, далеко не походят на то, что называет новою верою утомленный и ослепленный борец тридцатых годов. В стремлении к ним лежит вера в будущее, отрицающее ту болезненную философию отчаяния, представителем которой является модный германский философ.

Но эти верования еще составляют отдельные цели и в самом отношении к ним далеко не сходятся представители современной мысли. Еще в рядах социалистов не исчезли поклонники метафизических сверхъестественных начал; еще прирак государственности и легальности не потерял своей обаятельности для людей, глубоко преданных делу будущего, по мечтающим, что государство, сущность которого заключается в легализации конкуренций, может служить формою для братской кооперации социалистического строя. Еще значительное число защитников пролетариата, озлобленного против всего предыдущего периода, отбрасывая его практические формы, готовы отрицать и его великое наследие — точную науку, забывая, что лишь она доставит прочное орудие для постройки нового общества; все же — построенное без нее — существует лишь на мгновенье. Еще деятели рабочего вопроса не хотят видеть настоятельности вопроса о семье, которая в своей нынешней форме хранит зародыш стремления к монополии и перерождение которой поэтому составляет неизбежное условие прочного изменения экономического быта, отрицающего монополию. Еще сторонники борьбы по семейному вопросу, который обыкновенно называют женским, не всегда ясно видят, что лишь при полном экономическом перевороте возможна и правильная постановка задачи, которая их специально занимает. Еще национальные предания и обращения живут в душе тех самых, которые всего громче проповедывают сближение народов и масс в общее международное дело борьбы за господство труда.

Не достает цельного воззрения, объединяющей связи между элементами нового верования. Привычка к отдельному решению вопросов, к борьбе с помощью легальных фикций и буквенных форм, привычка к уступкам и к частным соглашениям — все эти привычки, вынесенные из старого политического строя, мешают весьма часто и группам пролетариата и их представителям охватить все элементы нового верования, все их связи и все их целости; не достает также до сих пор и народа, который, как общество, дал бы место новому верованию, стал бы центром, где прежде других его теоретическая проповедь и его практическое осуществление подвинулось бы всего далее и откуда начались бы общественные преобразования, неминуемо предстоящие человечеству.

Какое племя, какая страна будут вызваны историей на это общечеловеческое дело?

Что будет решить нельзя: оно зависит от тысячи обстоятельств в их комбинации. Я уже говорил, что народы, как личности, могут пройти мимо своей исторической задачи. Всюду борьба началась. Она идет в книгах, в стачках, в пропаганде международного общества, на легальной почве и на баррикадах, в протесте медиков на почве общественной гигиены, в протесте женщин на почве учения общественных прав и семейных сношений. Тот народ,

который первый из всех совокупит эти стремления и даст им прочную основу, заслужит видное место в истории человечества.

Наш вопрос прост: могут ли быть славяне этим народом, могут ли они в четвертый раз стать деятелями в истории человеческой мысли? На основании предыдущего я позволяю себе ответить на этот вопрос, не колеблясь, утвердительно: могут. Их отличительная черта была цельность взгляда, малая способность к частным решениям, к уступкам и соглашениям, решимость идти до конца в мысли и осуществить эту мысль без оглядки в жизни. Именно поэтому они недостаточно взвешивали условия *возможности* осуществления своей мысли; именно поэтому были мало способны к политическому строительству, к государственной жизни, основанной на уступках и соглашениях, на частной борьбе по частным вопросам, на легальных фикциях и на искусственных комбинациях форм. Оттого и неудачи их политической жизни. Но период политического строительства и уступок прошел; государственный организм пришел к отрицанию себя как организма, способного развиваться; частные решения и уступки уже невозможны. Нужен именно цельный взгляд, нужна именно решимость отречься от старого, от блестящей традиции прежнего периода. Эта традиция всего менее дорога славянам, потому что их недавнее прошлое не блестящее, их история не привлекательна. К тому же, в их быте мы находим некоторые элементы, которые, принадлежа к самым трудным вопросам западного мира, облегчают это решение для славян или, по крайней мере, для части их. У них сохранилось общинное владение землею, тогда как на западе история вызвала форму мелкой собственности, которая составляет одно из главнейших препятствий распространению социалистических идей в селах. Правда, это старая община патриархальных семей, где главы семей деспотически господствуют над домашними, распределяют между собой землю, но монополизируют ее продукты в своих семьях; тем не менее, от этой первобытной формы легче перейти к общине рациональной, чем от мелких частных владений.

Другой трудный вопрос на западе Европы есть семья; женщины составляют там едва ли не самый консервативный элемент и, строго держась консервативных форм семьи, в сущности лицемерно нарушают на каждом шагу, побуждают большинство теоретиков отделить семейный вопрос от экономического, а часто и стать, подобно Прудону, в ряды противников перерождения семьи. Именно в славянских землях, специально в России, получил, по-видимому, прочную основу тот протест женщин против их настоящего положения, который слишком хорошо известен здесь каждому, чтобы на нем долго останавливаться; там установились первые те разумные, равноправные, человеческие отношения между молодежью двух полов, которые едва может понять молодежь западных народов. Не буду

перечислять жертвы, которые уже принесли славяне социальному делу, но замечу, что первый язык, на который была переведена книга, впервые научно установившая принципы неизбежной борьбы капитала с рабочими, был язык русский, что эта книга, весьма не легко читаемая, быстро разошлась в целом издании и что самый подробный разбор ее, по сознанию самого автора, писан молодым русским ученым<sup>10</sup>.

Итак, славянские народы по естественной склонности своего характера, по некоторым историческим обстоятельствам своего быта и по некоторым явлениям своей жизни в новое время, по-видимому, могут явиться в настоящем слова деяниями в истории мысли, по теоретической выработке социологии и по практическому осуществлению социального строя, отрицающего все политические, экономические и семейные предания недавнего прошлого, чтобы развить форму сознательной гармонической корпорации людей с целью взаимного развития.

Могут, да, они это могут.

Но действительно ли они сделают это? Не пройдут ли они мимо возможности, предоставив другим племенам, столь гордым своею традицией политического строительства, совершив и это великое дело будущего? Это решит история, которую провидеть нельзя. Всякий истинный патриот должен желать, чтобы в его нации выработались прочные основы этого будущего и должен содействовать осуществлению этого будущего. Но результат принадлежит комбинации исторических условий.

Можно лишь указать на те опасности, которые могут мешать этому делу, на те направления, которые сознательно и бессознательно враждебны осуществлению этого будущего.

Критика мысли есть единственная основа всякой успешной борьбы. Лишь труд дает право на продукты труда. Легальные формы, выработанные коллегией, борьбою каждого против всех, прямо противоположны условиям свободной кооперации для общей цели. Лишь в перерожденной семье и в содействии всех племен и рас возможно прочное благо человечества.

Поэтому враждебны этому будущему все, ослабляющие значения критики мысли. Все, кто говорит,— нам не нужно знание, вредят своему делу, потому что они отнимают у него единственную прочную основу — точное знание о слабостях у своих единомышленников, единственное орудие борьбы — мысль, изощренную точным методом. Когда минута борьбы наступила — приходится идти на нее с тем запасом знания, который есть налицо, не обращая внимания на недостаточную точность решения того или другого вопроса; по чем больше этот запас — тем лучше, чем больше знания — тем лучше выработана критика мысли, тем прочнее основа нашего убеждения.

Враждебны будущему и те, которые безусловно требуют веры своему слову, которые приучают окружающих их и веряющих им — автоматически идти по указанному пути. Отвычка мысли [sic!] в одном случае отзывается во всех и ослабляет способность бороться при новых обстоятельствах. Всякий обязан критически выработать в себе убеждения и следовать лишь сознательно тому, за кем он идет.

Враждебны будущему те, которые впосят тайну и неискренность, ложь и иллюзию в отношения между единомышленниками.

Враждебны будущему те, которые рядом с правом труда ставят какое-нибудь иное право, которые преклоняются перед какою-нибудь иллюзией, вынесеною из старого общества, и требуют уступок для этой иллюзии.

Враждебны будущему те, для которых легальные формы настоящего суть не только неизбежная почва для борьбы со старым миром, создавшим эти формы, но и для борьбы с союзниками и единомышленниками; лишь в свободной кооперации для одной цели различными средствами, усвоенными самостоятельно разными личностями, лежит возможность нового строя.

Враждебны будущему те, которые хотят частного решения его вопросов, не сознавая их связи; хотят решить вопрос рабочий, с насмешкой или презрением относясь к женскому движению; хотят умственного развития женщины, отрицая ее обязанность стать борцом и деятелем в решении социального вопроса.

Враждебны будущему, наконец, те, которые отрицают участие всех племен и рас, сообразно особенностям каждой, в построении будущего. Будущее не может и не должно быть единообразным общественным механизмом под одинаковой для всех регламентациею. Это есть, повторяю, кооперация, в которую каждое племя вносит свою особенность в форму развития, в способе стремления к цели, хотя все племена, как все личности, могут иметь одну цель. Одни могут ошибаться и избрать ложный или более долгий путь, другие — более верный. Одни могут внести в свои стремления более элементов старого, другие — менее. Но, сходясь в одной цели, они все союзники, все сотрудники, и вражда национальностей, ненависть есть один из вреднейших элементов для общего дела.

Охранив себя от этих опасностей, личность, желающая содействовать будущему, и народ, желающий в нем участвовать, должны подготовиться по возможности строгою критикой, по возможности всесторонним развитием к великому моменту, который даст начало новому общественному строю. Лишь сильный может что-нибудь сделать, а прочная основа всякой общественной силы есть личное и общественное критическое развитие мысли.

Но это лишь основа; сила действовать не есть еще деятельность. Второе требование есть крепкая, полная преданность делу бу-

дущего, как бы ни тяжело было отречься от старой традиции, от усвоенных привычек, как бы ни хотелось перенести в новый мир что-либо из дорогого нам прошлого. Старый политический, легально-промышленный мир обречен смерти не нами; он сам дошел до отрицания своих основ в полученных им результатах, до отрицания логических результатов своей жизни и мысли для сохранения своих преданий. Он потерял веру в себя. Он жить не может, он может только окоченеть и перейти в новый насильственный Китай, в новую механическую федерацию империй. Мы можем завернуться в его саван, произнести с ним: будущее невозможно, или должны способствовать новой жизни на его развалинах, содействовать разрушению того, что никакого будущего не имеет. Когда настает минута борьбы, мы должны положить все наши силы в эту борьбу, малы ли они или велики, выработались ли в ясное миросозерцание или в смутные, но горячие верования. Мы должны идти вперед.

Кто же это мы? Я говорю по-русски, я обращаюсь к славянам и славянкам со словами: вот ваше прошедшее, оно вас подготовило кциальному воззрению на вопросы, к беззаботной преданности своему убеждению. Вот настоящее: оно поставило вопросы, которые не в силах разрешить старый мир, которые должны решиться при пособии цельного взгляда на вещи и беззаботной преданности делу. Вот возможное будущее: хотите ли, чтобы оно было ваше будущее?

Но говоря по-русски, обращаясь к славянам и славянкам, я распространяю это «мы» вне пределов, где понятно русское слово, вне территории, где живут славянские племена, хотя бы их и было 80 миллионов. Я понимаю под этим словом всех верующих в необходимость отречения от старого мира в пользу нового, всех жаждущих истины в мысли и справедливости в жизни. Пред этим великим целым общиной верующих в лучшее социальное будущее и решившихся содействовать его осуществлению должны побледнеть все различия полов, племен и рас, всякие национальные особенности, всякое национальное недоверие и самохвальство. Лишь как борцы в общем деле славяне могут быть чем-нибудь или они ничем не будут. Их роль в будущей истории мысли может быть полною преданностью общечеловеческим стремлениям, или у них вовсе нет никакой роли. Их дело остановиться и умереть со старым разрушающимся миром или идти вперед, сознав задачу мира нового.

## Комментарий

<sup>1</sup> Речь идет о Первом Интернационале — Международном товариществе рабочих, созданном и руководимом К. Марксом и Ф. Энгельсом.

<sup>2</sup> Здесь и далее по тексту Лавровым сокращено обращение «милостивые государи».

- <sup>3</sup> При подготовке рукописи к печати Лавров дополнил лекции дигитатой из книги А. Декондоля «История науки и ученых XVIII и XIX столетий» (1873 г.), составившей фундаментальный вклад в изучение истории науки.
- <sup>4</sup> Манихейство — религиозное учение, возникшее на Ближнем Востоке в III в. и представляющее собой синтез халдейско-аввилонских, персидских (зороастризм, маздеизм, парсизм) и христианских мифов. Название происходит от имени его полулегендарного основателя Мани (ок. 216—277 гг.). Основное содержание манихейства — пессимистическое учение об изначальности и непреобразимости зла (которое выступает как начало столь же самостоятельное и исконное, как и добро). «Связывая зло с материей, а добро со светом как духом, Мани, однако, не считал тьму или материю следствием угасания света, как его современник Плотин; в манихействе царство тьмы как равное противостоит царству света. Мировая история — борьба света и тьмы, добра и зла, бога и дьявола. При нападении тьмы на свет часть света была полонена тьмой. Смысл последующей истории — в освобождении полоненного света. По манихейству, человек двойствен: творение дьявола, он сотворен все же по образцу небесного «первчеловека» и заключает в себе элементы полоненного тьмой света. Согласно манихейству, евангельский Христос был лже-Христом, вторгшимся в дело настоящего Христа, который не вооплощался и не сочетал в себе естество бога и человека. После Христа был прислан Мани-параклет (утешитель) — главный из посланцев царства света. Западное манихейство сблизилось с христианством и рассматривалось им как христианская ересь ... Манихейское учение о дуализме добра и зла развивали в Европе павликиане ... богомилы, катары, альбигойцы, молокане, а на Востоке — персидские маздакиты» Чапышев А. Манихейство.— Философская энциклопедия, М., 1963, т. 3, с. 290—291). Маздеизм — распространенное название ряда древнеиранских религиозных систем, происходящее от имени верховного божества Ахурамазды.
- <sup>5</sup> Присциллинисты, мосяlianе, марклониты, павликиане — антифеодальные, религиозно-политические движения в средние века, принявшие форму религиозной ереси; в целом были направлены против социальных порядков и идеологии феодального строя. Наибольшего развития достигло в VIII—IX вв. павликианство, опиравшееся на манихейские традиции и наследие дуалистический характер. Павликианство исходило из признания двух начал: злого бога-созидателя, демиурга мира — и «отца небесного», которому якобы будет принадлежать власть в будущем. По учению павликиан, весь мир пронизан злом; земные порядки не созданы «небесным отцом» и могут рассматриваться как порочные. В соответствии с этим павликианство осуждало церковную иерархию, пышность церковного церемониала, монашество; оно отвергало Ветхий завет и из «священных книг» христианства признавало лишь Евангелия, послания и деяния апостольские. Павликианство отбрасывало православное учение о Богородице, Таинстве и крестном знамении. Проповедуя равенство, павликиане создавали общины, члены которых пользовались равными правами. Учение павликиан оказало идеальное влияние на богомильство и некоторые более поздние западноевропейские еретические движения.
- <sup>6</sup> В смысле — проклятие.
- <sup>7</sup> Т. е. светопреставление.
- <sup>8</sup> Реформация явилась широким и разнородным социальным дви-

жением в большинстве стран Европы XVI—XVII вв., имевшим непосредственной целью реформу католицизма и носившим в целом антифеодальный характер. Отстаивая идею о непосредственном общении человека с богом, реформация провозгласила внутреннюю личную веру единственным путем «спасения» (выдвинутый М. Лютером принцип «оправдания единственно верой» в противоположность католическому догмату о спасении путем «добрых дел»), что вело к отрицанию претензий католической церкви на посредничество между человеком и богом, отвергала авторитет так называемого священного предания — папских декреталий, постановлений церковных соборов и т. п. и признавала священное писание единственным источником откровения. В социальном плане эти идеи бурггерской реформации были связаны с требованиями ликвидации монашества и церковного землевладения, упрощения культа (реформация сохранила только два из церковных таинств — крещение и причастие) и демократизации богослужения, которому реформация придавала национальный характер (многие реформаторы переводили Библию на национальные языки).

<sup>9</sup> Здесь и далее Лавров цитирует работу К. Д. Кавелина «Задачи психологии», опубликованную в 1872 г. в январской и апрельской книжках журнала «Вестник Европы».

<sup>10</sup> Речь идет о первом томе «Капитала» К. Маркса, впервые переведенном на русский язык в 1872 г. и вышедшем в Петербурге весной этого же года тиражом 3 тыс. экз., которые быстро разошлись. Отмечая это в послесловии ко второму немецкому изданию, К. Маркс указал, что еще в 1871 г. профессор Киевского университета Н. И. Зибер писал о его теории стоимости в книге «Теория ценности и капитала Д. Рикардо»; Маркс называл эту книгу ценной и поражающей «раз принятой чисто теоретической точки зрения» (Соч., т. 23, с. 19).

# СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие . . . . .	3
-----------------------	---

## СТАТЬИ

<i>A. С. Мыльников.</i> Об истоках становления славяноведения в России. (К вопросу об изучении «предыстории» славистики) . . . . .	5
<i>M. В. Никулина.</i> И. Добривский и русские ученые (из истории русского славяноведения первой трети XIX в.) . . . . .	43
<i>Г. В. Макарова.</i> М. Т. Каченовский и становление славяноведения в России . . . . .	63
<i>B. В. Ишутин.</i> Славянская проблематика в научных заседаниях Общества истории и древностей российских при Московском университете в первой половине XIX в. (1804—1848 гг.) . . . . .	97
<i>B. И. Дурновцев.</i> Проблема «Россия, славянский мир и Запад» в освещении К. Д. Кавелина, С. М. Соловьева, Б. Н. Чичерина . . . . .	116
<i>E. П. Аксенова.</i> История народов Австро-Венгерской империи после революции 1848 г. в освещении русской революционно-демократической подцензурной периодики 50—60-х годов XIX в. . . . .	134
<i>B. Я. Дьяков, Е. К. Жигунов.</i> Народническое направление в русской славяноведческой историографии и П. Л. Лавров. . . . .	157
<i>M. A. Робинсон.</i> Теоретические основы трудов русских историков-славяноведов начала XX в. . . . .	216
<i>B. В. Иванов.</i> О становлении структурного метода в гуманитарных науках славянских стран и его развитие до 1939 г. . . . .	239
<i>A. Н. Горяинов.</i> О подготовке славистических кадров в Ленинградском университете (1920-е годы) . . . . .	261
<i>M. Ю. Досталь.</i> Методологические вопросы истории славяноведения в чехословацкой и советской историографии последнего двадцатилетия . . . . .	283

## ПУБЛИКАЦИИ

Лекции П. Л. Лаврова о роли славян в истории мысли. . . . .	307
Публикация В. А. Дьякова и Е. К. Жигунова . . . . .	

# ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СЛАВЯНОВЕДЕНИЮ И БАЛКАНИСТИКЕ

Утверждено к печати  
Институтом славяноведения  
и балканистики  
Академии наук СССР

Редактор издательства

Л. С. Кручинина

Художник

И. Е. Сайко

Художественный редактор

Н. А. Фильчагина

Технический редактор Е. Н. Евтилова

Корректор В. Г. Петрова

ИБ № 28507

Сдано в набор 06.04.84

Подписано к печати 17.08.84

Т-05759 Формат 84×108<sup>1/32</sup>

Бумага типографская № 2

Гарнитура обыкновенная

Печать высокая

Усл. печ. л. 19,74. Уч.-изд. л. 24,6. Усл. кр. отт. 19,74.

Тираж 1450 экз. Тип. зак. 156

Цена 3 руб.

Издательство «Наука»

117864 ГСП-7, Москва В-485 Профсоюзная ул., 90

4-я типография издательства «Наука»

630077, Новосибирск, 77, Станиславского, 25

## **В 1985 г. В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «НАУКА» ВЫЙДУТ В СВЕТ:**

---

### **КРИТИКА БУРЖУАЗНЫХ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ ИСТОРИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОДРУЖЕСТВА В ЕВРОПЕ**

**15 л. 1 р. 60 к.**

Книга — совместный труд советских и чехословацких ученых, раскрывающая несостоятельность буржуазных исследователей в освещении истории социалистической системы. На конкретных фактах критически разбираются немарксистские антисоветские концепции многих известных советологов (З. Бжезинского, Д. Мортона, Н. Джемготча, А. Шлезингера, В. Кондори, Л. Лайбера, Р. А. Ремпингтон и др.).

---

### **ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ КРИЗИСА БУРЖУАЗНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО СТРОЯ (страны Центральной и Юго-Восточной Европы.**

**Межвоенный период)**

**20 л. 2 р. 60 к.**

В книге рассматриваются политические системы стран Центральной и Юго-Восточной Европы, их структуры и основные черты, динамика развития, общие и специфические формы проявления кризиса этих буржуазных политических систем на первом этапе общего кризиса капитализма, показываются изменения политического механизма, политических отношений и политической идеологии в странах региона в период кризиса политической системы капитализма в целом.

---

СССР И СТРАНЫ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ  
1944—1949 гг.  
ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОГО ТИПА  
34 л. 3 р. 20 к.

Книга — издание справочного характера, в которой комплексно исследуются исторические, экономические, государственно-правовые вопросы становления международных отношений СССР с европейско-демократическими государствами со времени их возникновения. На конкретном материале прослеживается начальный этап развития мировой социалистической системы и международных отношений нового типа. Подробно рассматриваются отношения между социалистическими странами и капиталистическими, освещаются проблемы идеологической борьбы, разоблачаются концепции буржуазных фальсификаторов и ревизионистов.

---

Для получения книг почтой заказы просим направлять по адресу: 117192, Москва, Мичуринский проспект, 12, магазин «Книга — почтой» Центральной конторы «Академкнига»; 197345 Ленинград, Петрозаводская ул., 7, магазин «Книга — почтой» Северо-Западной конторы «Академкнига» или в ближайший магазин «Академкнига», имеющий отдел «Книга — почтой».

- |  |  |
|--|--|
| 480091 Алма-Ата, ул. Фурманова 91/97 («Книга — почтой»);         | 252030 Киев, ул. Пирогова, 2;                            |
| 370005 Баку, ул. Джапаридзе, 13 («Книга — почтой»);              | 252142 Киев, проспект Вернадского, 79;                   |
| 320093 Днепропетровск, проспект Гагарина, 24 («Книга — почтой»); | 252030 Киев, ул. Пирогова, 4 («Книга — почтой»);         |
| 734001 Душанбе, проспект Ленина, 95 («Книга — почтой»);          | 277012 Кишинев, проспект Ленина, 148 («Книга — почтой»); |
| 375002 Ереван, ул. Туманяна, 31;                                 | 343900 Краматорск Донецкой обл., ул. Марата, 1;          |
| 664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 289;                             | 660049 Красноярск, проспект Мира, 84;                    |
| 420043 Казань, ул. Достоевского, 53;                             | 443002 Куйбышев, проспект Ленина, 2 («Книга — почтой»);  |
| 252030 Киев, ул. Ленина, 42;                                     | 191104 Ленинград, Литейный проспект, 57;                 |



ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПО СЛАВЯНОВЕДЕНИЮ И БАЛКАНИСТИКЕ